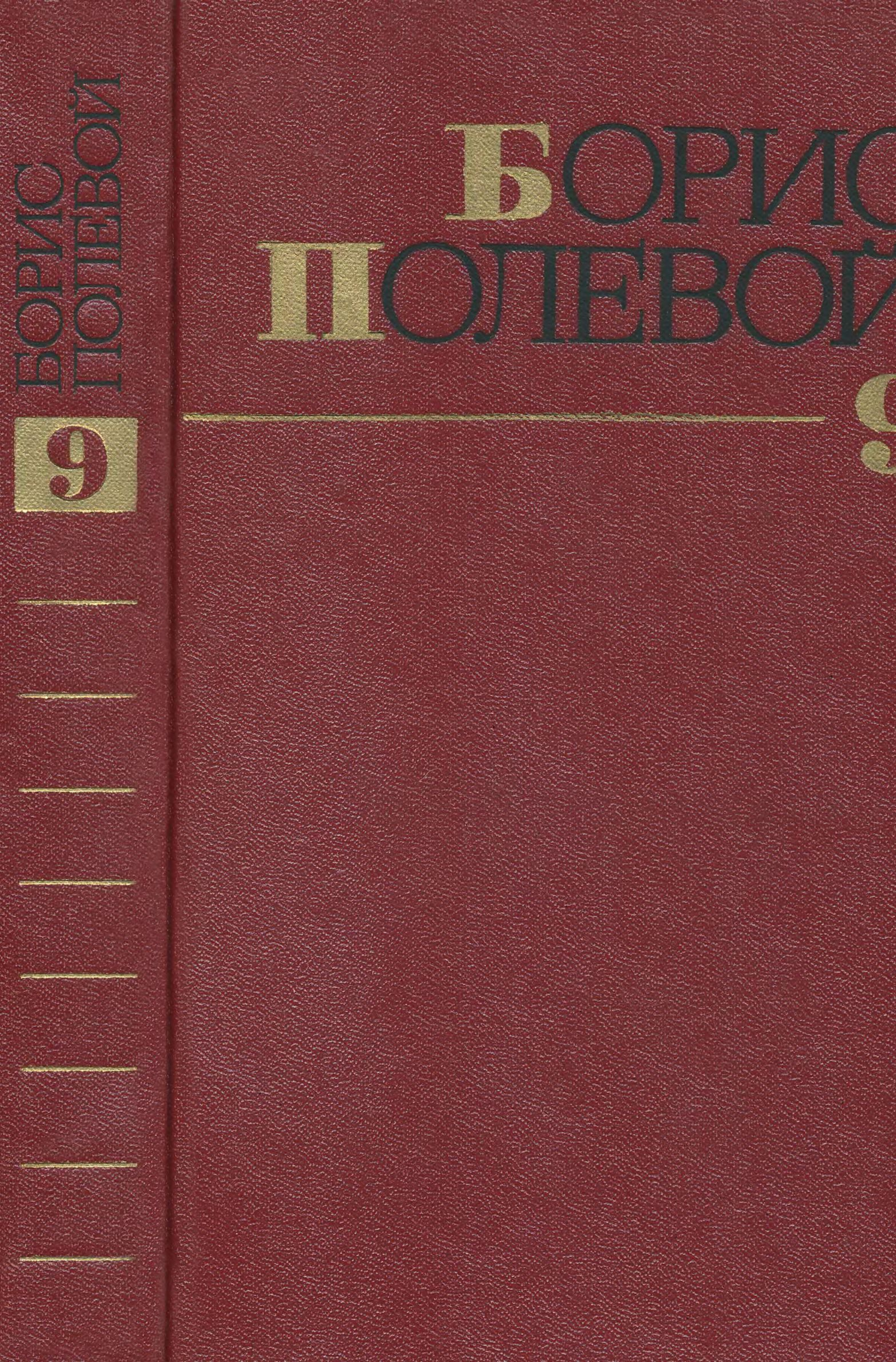

Борис Полевой
9
Борис Полевой
9

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ДЕВЯТЫЙ

•

СИЛУЭТЫ
НОВЕЛЛЫ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

Р2
П49

Комментарии
Н. ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

П $\frac{4702010200-160}{028(01)-86}$ подписное

© Комментарии, оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОЙ КНИГИ

Так уж бывает в жизни: где-то, за каким-то точно не обозначенным рубежом, вдруг начинаешь путать собственные телефоны, имена-отчества знакомых и забывать подробности того, что было совсем недавно. И наоборот: с необычайной яркостью вспоминается давно и очень давно прошедшее, живо воскресают в памяти целые сцены, лица давних друзей, звучат в ушах их голоса.

Мне повезло. И дома, и за рубежами нашей советской земли жизнь сталкивала и сталкивает меня с интереснейшими людьми. Вот о них-то, о моих друзьях и добрых знакомых — писателях, журналистах, художниках, с которыми меня сводила судьба, и будет книга «Силуэты», которую Вы, читатель, держите сейчас в руках. «Силуэты» я назвал ее потому, что это не монографии и даже не литературные портреты, не обстоятельные рассказы о их жизни и творчестве, а лишь то, что бросилось в глаза при знакомстве, что сохранила и несет через годы моя память.

Возможно и вероятно, что исследователи жизни и творчества некоторых из них будут изучать их биографии, их творчество. Ну что ж, пусть эти, порой беглые, наблюдения послужат для них литературным материалом. Мне же, их современнику, было бесконечно приятно рассказывать об их жизни, их делах, и я буду считать себя вознагражденным, если перед читателем этой книги пройдут хотя бы силуэты людей, которые хранит моя память.

В конце этой книги я пошел даже на некоторый риск, пригласив себе в соавторы одного из ее героев. Борьба за мир в 50-х и 60-х годах свела меня со знаменитым британским физиком, профессором Джоном Д. Берналом — интереснейшим человеком, оставившим глубокий след в науке. Обаятельный собеседник, он не любил и не умел рассказывать о себе и сразу же умолкал, когда

перед ним возникали карандаш и записная книжка: нет-нет, не надо, лучше оставим это раз и навсегда. Единственно, чего мне удалось добиться, это обещания, что он когда-нибудь в свободное время сам напишет для меня о себе, ответит на мои вопросы.

Свободное время! Все знали, как он погружен в науку и общественную деятельность. Его время было нарезано по минутам: университетские лекции, лабораторные работы, руководство Всемирным Советом Мира, который он возглавлял после Фредерика Жолио-Кюри. И все-таки однажды я получил из Великобритании объемистый пакет с рукописью, озаглавленной «Рассказы для мистера Бориса Н. Полевого». В сопроводительной записке говорилось, что это можно использовать как «литературное сырье» для моего эссе. Когда их для меня перевели, я понял, что использовать эти бесхитростные истории из жизни великого ученого и друга нашей страны как сырье было бы бессовестно. Выпускать же эту книгу без Бернала считаю невозможным. Поэтому, в нарушение всех правил, вставляю в нее эти рассказы целиком.

Не скрою от Вас, читатель, всех, чьи силуэты пройдут перед Вами в этой книге, я люблю и вполне допускаю, что, рассказывая о них, я в чем-то не вполне беспристрастен. Ну что ж, я вообще не верю в беспристрастность литературы.

Борис Полевой

17 июля 1973 года,
Дубулты

СИЛУЭТЫ

НОВЕЛЛЫ

...И если я гореть не буду,
И если ты гореть не будешь,
И если мы гореть не будем,
То что ж тогда рассеет мрак?

Назым Хикмет

СОЛОВЕЙ ВОЛЖСКОЙ ДЕРЕВЕНЬКИ

Своим первым «печатным трудом» я обязан одному из любопытнейших российских людей — поэту-крестьянину Спиридону Дмитриевичу Дрожжину. В дни, когда тверская общественность отмечала пятидесятилетие его литературной деятельности, поэта привезли к нам в семилетнюю школу № 24, где я тогда постигал науки, пребывая в шестом классе «Б».

Впечатление он произвел на нас ошеломляющее. Ну как же, живой поэт появился в школе! Стихи Дрожжина были в те годы обязательной принадлежностью любой хрестоматии. Каждый из нас еще в первом классе учил их, и, вероятно, поэтому сам автор представлялся нам таким же далеким, как Кольцов, Некрасов, Суриков и другие его соседи по хрестоматийным страницам.

И вот мы, мальчишки и девчонки, во все глаза смотрели на плечистого, длинноволосого старца с грубоватым крестьянским лицом, с негустой седой бородкой, с мохнатыми бровями, сердито нависавшими на голубые добрые глаза. Он бесшумно ступал по сцене в фетровых «старорежимных» ботах, говорил тихо, но свои стихи, простые, распевные, как народные песни, читал почему-то трубным, хриплым голосом. Шумная публика, битком набившая в этот день емкий двусветный зал, была необычайно тиха. Она как бы замерла, слушая такое всем знакомое:

...Честным порывам дай силу свободную,
Начатый труд довершай.
И за счастливую долю народную
Жизнь всю до капли отдай.

Выдающееся событие это мы широко отметили в школьной стенной газете, где я в ту пору активно сотрудничал, ведя сатирический раздел «Кому что снится» и помещая фельетоны под псевдонимом Б. Овод. А вот на этот раз я расхрабрился, переступил границы стенной газеты и описал эту встречу в губернской газете «Тверская правда» в ...десятистрочной заметке — первом моем печатном труде. Эта заметка вышла без подписи, где-то на

задворках четвертой страницы, и гордый псевдоним Б. Овод под ней отсутствовал. Но я-то знал, кто ее написал. Я выучил заметку наизусть и таскал с собой эту газету, пока она совершенно не истерлась.

Когда Спиридону Дмитриевичу исполнилось восемьдесят лет, я был уже профессиональным журналистом. Писал очерки, издал небольшую книжицу под устрашающим названием «Мемуары вшивого человека» и даже рискнул послать ее, разумеется с самой лестной дарственной надписью, патриарху русской демократической поэзии, так поразившему когда-то мальчишеское воображение. Ответа не последовало. И вот теперь, направленный редакцией «Тверской правды» в деревеньку Низовку написать о С. Д. Дрожжине юбилейный очерк, я, кутаясь в огромный ямщицкий тулуп, гадал — как-то меня встретит этот удивительный, самобытный и, как мы все знали, гордый, своенравный человек. Получил ли он мой дар, прочел ли и, если прочел, почему не ответил? Не понравилось? Вызвало досаду? Если так, было бы, конечно, лучше, если бы редакция послала к нему кого-нибудь другого.

Автомашин тогда в Твери было — по пальцам перечесть, в уезд отправлялись чаще всего на подводе. Поэтому путь мой до Низовки, лежавший в основном по шоссе, по времени, вероятно, был даже более продолжительным, чем у Радищева, когда тот проезжал этот отрезок на ямских перекладных, совершая свое знаменитое путешествие из Петербурга в Москву. Неторопливо, то шагом, то рысцой, поёкивая селезенкой, заиндевевшая лошадка тянула сани. Сосновые лески то подкрадывались к самому большаку, то отбегали от него к горизонту, и тогда открывшийся снежный простор отливал холодной стальной голубизной.

Я мысленно перебирал факты необыкновенной биографии Дрожжина, вычитанные в разное время из книг. Удивительную он прожил жизнь. Из известных мне литераторов такой жизнью мог похвастать разве что шотландец Роберт Бёрнс.

Рожденный в бедняцкой многодетной семье, Спиридон Дрожжин до тринадцати лет был крепостным богатых бар Безобразовых. Земли у низовцев были скупые, да и мало их. А так как деревня лежала на смычке двух великих российских путей — водного, Волги, и шоссейного, соединявшего две столицы, — люди тут исстари кормились от ямских и бурлацких промыслов.

Бурлацкие ватаги, ямщики победнее, «еще не набравшие сил», которым не по карману были большие трактиры богатого села Городня, шли «гулять» в сторонку от тракта, в маленькую Низовку, где их охотно привечали по крестьянским избам. И первое, что крепко вошло в память маленького Спиридона, прежде чем он научился у дьячка по Часослову грамоте, были волжские бурлацкие песни да ямщицкие байки и пословицы. В те времена Дрожжиным не так уж плохо жилось — кое-что перепадало от постояльцев, проезжих и прохожих людей.

Но вот Петербург и Москву соединил железнодорожный путь. По Волге «побежали» первые пароходы. Низовцы лишились своего стороннего промысла и, оставшись наедине со своей неродивой землей, стали быстро нищать. Глава семьи в поисках своей доли бросил соху и ушел в Питер, на заработки. Но там было много таких, как он, горемык. Отказывая себе во всем, перебиваясь с хлеба на квас, отец будущего поэта мало чем мог помочь своему хиревшему хозяйству...

В эту поездку я захватил с собой старую книжечку С. Дрожжина «Автобиография с приложением избранных произведений». Это простодушный рассказ поэта, вероятно, одно из самых искренних жизнеописаний из всех, какие когда-либо издавались. Пока лошадка тянет сани, я перечитываю заранее отчеркнутые строки: «Раз, перед Рождеством, бабушка поставила последнюю квашенку. Корова пала, продавать и закладывать нечего. Во дворе от бескормицы околевает старая Буланка да бродят две-три курицы». Так жила семья Дрожжиных, и, чтобы спасти родных от нищенства, маленький Спиридон отправляется вслед за отцом в Питер — искать заработка и счастья. Этому обстоятельству и посвящен его самый первый стих, сложенный еще в уме и записанный лишь потом, годы спустя:

...Локомотив тут застучал
И в Петербург меня умчал.
И вот теперь уж пятый год
Я милых сердцу не видал.

В Петербурге Спиридон служит сначала бесплатно, «за харч», мальчишкой, а затем за два рубля в месяц половым в трактире «Кавказ». Потом он уезжает на постройку железной дороги в Среднюю Азию, скитается по городам Центральной России. Но всюду, куда ни загоняет его голод, он возит с собой тоску по родным верхневолжским краям, по крестьянскому делу, а в заплечном

его мешке вместе с парой запасных лаптей да с праздничной сатиновой рубашкой всегда лежат томики стихов Кольцова, Никитина, Некрасова.

Юноша самозабвенно любит русскую поэзию, занимается самообразованием, много читает. Он всегда готов продекламировать по памяти засидевшимся допоздна посетителям трактира, или соседям по шалашу где-нибудь в степи на железнодорожной стройке, или покупателям табачной лавочки, где он служит приказчиком, или пассажирам, ожидающим запоздавшего парохода на пристани общества «Самолет», где он продает билеты, стихотворения и целые поэмы любимых авторов.

Он сам слагает стихи. Сначала устно, потом записывает их. Стихов этих становится все больше. Работая продавцом в книжной лавочке, он тоже охотно декламирует их посетителям. Среди них оказываются думающие, доброжелательные люди. Они прислушиваются к молодому поэтическому голосу, заинтересовываются Дрожжиным. Так поэт, еще ничего не напечатав, входит в круг демократических литераторов. В 1878 году ему удается тиснуть в журнале «Грамотей» свое первое произведение. «Песня о горе добра молодца» называется оно. Это печальный, лирический по своему строю стих. В нем, как и во всей поэзии Дрожжина, сливаются три его истока — сказки деда Степана, до которых тот был великий мастер, бурлацко-ямщицкие песни, слышанные в детстве, и отголоски произведений поэтов-демократов, которыми он увлечен.

Тяжело живется даровитому юноше. Его приют — угол в переполненной ночлежниками комнате, где по ночам шелестят тараканы. Его пища — хлеб, в праздничный день — кусок сычуга или иной требухи. Белье он стирает сам. Но на каждый свободный пятак он покупает на развале старые книги. Вот она, эта чудесная запись, которую я тоже отчеркнул в «Автобиографии», отправляясь в гости к Дрожжину,— запись, сделанная им в январе 1869 года: «...Ну вот, слава богу, купил том Белинского! Теперь я миллионер!.. Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Белинский, Никитин, Шевченко, Некрасов, Шиллер, Гейне, Беранже и многие другие — все это мое! А я еще, безумный, горюю, что я несчастлив!..»

В раздумьях о судьбе человека, к которому я еду, как-то незаметно прошел в общем-то по тем временам неблизкий путь до места, где нам надо было уже свертывать с большака. Слева белела, сливаясь с горизонтом,

замерзшая Волга, справа с шоссе сбегали в поле расходящиеся в разные стороны два плохо накатанных проселка. Который же из них на Низовку? Навстречу движется обоз с дровами, и мой возница идет к подводчикам разведать путь.

— Как говоришь, Низовка? — переспрашивает молодой курносый парень, топчась у головных дровней.— Чтой-то такой не слыхал. Низовка? Нет, не знаю... Эй, дядя Леш, вот Низовку какую-то проезжие спрашивают.

Подошел дядя Леша, плечистый мужик в оранжевом, туго перепоясанном полушубке, по которому, как моря по географической карте, разливаются огромные заплаты.

— Низовка?.. Как не быть Низовке! Вот она,— говорит он, показывая кнутищем куда-то вправо.— Не к соловью ли нашему? Не к Спиридону ли Дмитричу?.. К нему много ездят. Из Москвы, из заграниц разных бывают.

— А вы его знаете, Дрожжина?

— Ну, а как же не знать? — удивляется дядя Леша, ощипывая сосульки с метелкообразной бороды.— Низовку, верно, можно и позабыть. Много их, деревень-то, а Дрожжин один на всю Россию. Как не знать! В школе еще мальчонком учил: «Невеселая картина: дождь стучит в окно, чуть горит в светце лучина, по углам темно...» А как же? Дрожжин, кто его не знает!

С детства! А у дяди Леши уже проседь в бороде. В самом деле, сколько уже лет ходят по Руси стихи поэта, начавшего печататься еще в некрасовские времена! Вот с кем мне предстоит разговаривать, вот о ком буду писать! Это самое необыкновенное задание из всех, какие я получал. Как же с ним разговаривать, с этим литературным патриархом, до сих пор продолжающим крестьянствовать и писать стихи? Шут его знает, о чем с ними в таких случаях говорят, с этими корифеями.

В волнении я совсем не замечаю, как узенький проселок, пробитый прямо по полям, приводит нас в деревеньку, избы которой курятся среди старых ветел уютными пушистыми дымками. Румяная молодайка, встретившаяся с полными ведрами, показывает рукавичкой на приземистый крепенький домик, смотрящий на улицу четырьмя окошками. Все на нем — оконницы, ставни, крыльцо, конек крыши — украшено затейливой деревянной резьбой, а сверху на шесте поднял хвост жестяной петушок.

— Тут, тут, стучите крепче — глуховат он, а внучка до кооперации побегла! — кричит издали молодайка,

полные ведра которой как бы предсказывают успех экспедиции.

Стучим. За матовой изморозью, покрывающей стекла, мелькает чье-то лицо, в сенях слышится мягкая, шаркающая поступь. В двери сам поэт. Несколько мгновений он неподвижно осматривает нежданных гостей, а потом произносит ласковым голосом:

— Милости прошу в избу.

На нем кожаный фартук, весь в золотистых опилках. Длинные волосы по-старинному прихвачены ремешком, чтобы не лезли на глаза, не мешали. На лбу очки.

— Вот, апостольским промыслом занимаюсь, столярничаю,— поясняет он.— Школу тут моим именем окрестили... Так вот, из Твери в эту школу портреты писателей начальство прислало. Писатели прибыли, а рамок для них нет. Мастерю вот рамки. Не кнопками же Некрасова или Толстого к стене пришпиливать. Нехорошо, неуважительно.

Несколько мáстерски сделанных, прочно сшитых рамок стоит у стены. На полу курчавятся стружки. Пахнет смолой, свежими хлебами, печным дымком.

Жилье, как и сама жизнь этого человека, разделено на две части. Пятистенный дом разрезан переборкой пополам. Жилая половина совсем крестьянская. К русской печи прижалась деревянная кровать с подушками в пестрых ситцевых наволочках. У двери на гвоздях — хомут, сбруя, пила. Старый полушубок свисает с полатей. Возле большого стола — самодельные стулья, лавки. В простенке в черных рамках фотографии родичей: бородатые, коренастые мужчины с напряженными лицами, женщины в сатиновых жестких, будто бы стеклянных, кофтах, солдаты с медалями, вытянувшиеся по стойке «смирно». Меж пестрядинными дорожками проглядывают белые, чисто выскобленные полы. За занавеской возле печи верстак, с которого хозяин дома не торопясь прибирает сейчас инструмент.

За дощатой, не доходящей до потолка переборкой,— как говорили в те дни «на чистой половине»,— изба имеет совсем иной вид. Это жилье сельского интеллигента, человека со скромным, но хорошим вкусом. Полки с книгами режут комнату поперек. У окна, выходящего во двор, письменный столик. На нем, под старинной лампой с зеленым козырьком, рукописи и томик Белинского, раскрытый на статье о Кольцове. В простенках — фотографические портреты Толстого и Горького, оба с

дарственными надписями. Чувствуется, что хозяин любит порядок, чистоту. Книги уложены аккуратнейшим образом. Как в библиотеке, авторы выстроились строго по алфавиту. Многие томики с дарственными надписями.

Пока я все это разглядываю, у печки звонко грохочет сброшенная охапка дров. Тихо ступая в валенках, поэт появляется в дверях. Щеки, лоб разрумянились на морозе. На лохматых бровях и ресницах бисеринки оттаявшего инея.

— Богатствами моими интересуетесь? Есть, есть что посмотреть.— Своей большой рукой он как-то очень бережно снимает с полки том Толстого, раскрывает, показывает размашистую надпись: — Видите? Бывал я у НЕГО. ОН ко мне хорошо относился,— хозяин дома както особенно произносит «него», «он», словно пишет эти слова большими буквами.— Перед тем, как из города в деревню сюда вернуться,— а это уж, поди-ка, лет тридцать пять тому назад было,— приехал я к НЕМУ». ОН долго ходил со мной по парку, все расспрашивал, как да почему бросаю город, почему меня к хлебопашеству тянет и не забыл ли я крестьянского дела... Очень ОН одобрил, что я к сохе возвращаюсь, и книгу вот надписал: «Поэту-пахарю Спиридону Дрожжину от Льва Толстого. Дружески»... Видите?

Рассматриваю автографы Толстого, Горького, Леонида Андреева, Глеба Успенского, Гаршина, Златовратского, и, пока я занимаюсь интересным этим делом, хозяин задумчиво говорит:

— Полагаю, нет такой второй литературы, как русская,— ширь, размах. Ведь как прежде писали! А сейчас бывает... Вот тут один теперешний, летом мне книжку прислал...

Говоря это, поэт отправляется к тому месту полки, где выстроились авторы на букву «П». Я холодею, начиная догадываться, о какой книжке идет речь. И в самом деле, он извлекает мой тощий труд со столь претенциозным названием. Все это я вижу как в худом сне, а главное — проснуться нельзя и деться некуда.

— Прислал вот. Надписал: «Вам на суд»,— безжалостно продолжает хозяин. — Читал, читал — ничего не пойму, какой уж тут суд — вот ведь как написал. Может быть, его, как араба какого, сзаду наперед читать надо... Балуются вот, а на тетрадки ребятишкам бумаги не хватает...

Я смотрел на своего грозного судью и все старался понять, узнал он меня или не узнал. Может, и сцену эту разыгрывает нарочно. Но на старческом лице, обрамленном серебряными волосами, ничего, кроме простодушного недоумения. Должно быть, когда я представился, он не расслышал моей фамилии. Собеседник и автор столь безжалостно раскритикованной книжки явно были для него разные люди.

Что греха таить, заходить с ним в кабинет я больше не решился. Обосновавшись в жилой половине избы, мы долго и не без удовольствия слушали, как из жерла трубы старого граммофона Вяльцева, Варя Панина и другие уже давно умершие знаменитые певицы пели романсы и песни, написанные на тексты хозяина дома. Их оказалось много, простых, бесхитростных дрожжинских текстов, переложенных на музыку и запечатленных на старых, заигранных пластинках. Поэт вместе со мной растроганно слушал старые, сипящие и трещащие мелодии. Расшевеленный воспоминаниями, он трубным, хрипловатым голосом читал свои старые и новые стихи. В числе их прочел и только что в ту пору написанное, неопубликованное и даже еще не законченное:

...Мы, певцы крестьянской доли
И гнетущего труда,
Песен радости и воли
Не певали никогда.
Потому и не певали,
Что от юности не знали
В жизни тягостной своей,
Кроме горя и печали,
Никаких счастливых дней...

Тем временем внучатая невестка его — разбитная молодая женщина — бросила на стол льняную скатерть, поставила тарелки. Обед был простой, крестьянский: щи, каша. Щи ели с кашей, заправляя льняным маслом. Яичница с крупно нарезанной колбасой шкварчала и брызгалась маслом на сковородке — это уже по случаю гостя. Водку поэт сам наливал из зеленоватой поллитровки, причем, раскупоривая бутылку, он одним ловким ударом ладони вышиб из нее пробку. Пил он охотно, но не хмелел — только розовели уши. Завершилась трапеза крынкой топленого молока, холодного, коричневого, душистого, с крепкой, будто бы жестяной, пенкой.

Потом на столе тоненьким голосом замурлыкал самовар свою самоварную песню. Поэт пил чашку за чашкой, вытирая со лба пот льняным полотенцем, лежавшим у

него на коленях. Теперь уже не приходилось задавать ему вопросы. Старик разговорился, и так как беседа перебрасывалась с темы на тему, я с удивлением убеждался, насколько широк круг интересов этого человека, восьмидесятилетие которого исполняется на днях. Новые книги советских писателей... Сельскохозяйственная коммуна, организовавшаяся где-то в верховьях реки Шоши, где Дрожжин уже успел не раз побывать... Сельсоветские дела, в которых поэт принимал горячее участие... Школа крестьянской молодежи как новая форма образования, очень ему нравившаяся. Народные суды. Оказывается, он был бессменным народным заседателем, и процессы, в которых он участвовал, помогали ему, пожилому человеку, наблюдать все новое, что приходило тогда в деревню. И он радовался этому новому, хотя, по его собственному признанию, и не совсем еще понимал его.

— «Мой», «моя», «моё» — на этом вся деревня наша держалась,— говорил он.— «Наше»-то — как оно, будет ли действовать?.. Лентяев-то, чужеспинников не наплодим? А? Есть такое у меня опасение... А любопытно: будто взошел ты на кручу, и столько перед тобой всего открылось, что голову кружит... Привычки, они веками слагались, а отвыкать вот за годы надо.

Он налил еще по стопочке. Со вкусом выпил. Крякнул. Довольно погладил негустую свою бородку, сквозь которую просвечивала розовая стариковская кожа.

— И опять же, все ли старое — оно плохо? Вот в Городне, что на Волге, церковуха. Комсомольцы требуют ее аннулировать, а общество не дает: споры-раздоры. Во время крестного хода в батюшку тухлым яйцом залепили: кончай служить, церковь под избу-читальню... А того не ведают и знать не хотят, что храм этот пять веков отстоял, крепостью против татар был, тверяки со стен его нашествие отбивали, Русь обороняли. То, что Радищев и Пушкин в ней по пути молились,— это им не известно... А тут закрывай, ломай... Сами не ведают, что творят. И не окна там, а бойницы, и вокруг не овраг, а ров... Это перл старинной архитектуры — в Питере таких нет. А они — переделать в читальную избу, и баста... Вот вы там заступитесь за тот храм в газетах — доброе дело сотворите...

И опять в желтом полумраке избы из трубы старого граммофона пели Вяльцева и Панина.

А вечером, когда стемнело и возница отправился уже запрягать лошадь, старик на прощанье сам спел несколь-

ко песен, сложенных на его тексты. Если при чтении стихов голос его обретал какую-то искусственную хрипловатую трубность, в песне он креп и звучал мелодично, нежно...

— А ведь и Алексей Максимович спел мою песенку,— сказал старик, улыбаясь.

— Горький?

— Ну да... Недавно побывал я у него... Чаем он меня потчевал с каким-то непонятным вареньем. Из орехов. Чудное такое варенье... Невкусное... Но хорошо поговорили. Он пел. И вот написал на прощанье. Извольте глянуть.

Старик показал записную книжку, и в ней крупным, округлым, всему миру знакомым почерком было выведено: «На память старому поэту с удивлением перед его неиссякаемым творчеством.— С. Д. Дрожжину М. Горький». И дата «28.IX 28 г. Москва»...

На прощанье расцеловались. Шелковистые седины опрятно пахли табачком, хлебом. Провожать старик вышел не одеваясь. Так и стоял под луной, сверкая серебряной головой, пока сани, раскатившись на повороте, не скрылись за избой. А мороз к ночи окреп. Небо густо вызвездило. Снег круто скрипел под полозьями.

Уткнув нос в кисловато попахивающий тулупный мех, я обдумывал подробности необыкновенной встречи. И так как голубовато мерцавшая хрусткая ночь располагала к необыкновенным мечтаниям, казалось мне, что в этот день сила какого-то волшебства занесла меня в середину прошлого века.

Таким он мне и запомнился, соловей деревни Низовка, как назвал его давеча земляк-подводчик. Таким вот, стоящим с обнаженной серебряной головой на морозном ветру, и вспоминаю я его всякий раз и теперь, проезжая по Ленинградскому шоссе и смотря на воды рукотворного Московского моря, похоронившего под своими водами маленькую деревеньку Низовку.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ

РОЖДЕНИЕ «СМЕНЫ»

Все чаще вспоминаю я теперь одну старую, несколько странную, можно, пожалуй, сказать, уникальную дружбу, завязавшуюся в свое время между тверскими комсо-

мольцами и Алексеем Максимовичем Горьким жившим тогда, как говорится, за тридевять земель от наших верхневолжских краев.

В 1927 году Тверской губком комсомола решил преобразовать свой еженедельный листок «Путь молодежи», выходивший при «Тверской правде», в самостоятельную газету, которую, после долгих и шумных дебатов в комсомольских кругах, решено было назвать «Смена». Она еще и не родилась, эта «Смена», но вокруг заводилы этого дела журналиста Ивана Рябова, считавшегося среди нас классиком тверской молодежной поэзии, из энтузиастов и доброхотов уже выкристаллизовывался штаб будущей редакции. Это были юнкоры «Пути молодежи», уже попробовавшие свои перья на печатных страницах.

Вот закрою сейчас глаза, и передо мной встает шеренга этих будущих сменовцев, встает, как живая. Иван Рябов, ясноглазый парень с развевающимся пшеничным чубом, напевно читающий свои, но главным образом есенинские стихи; и вышневолоцкий юнкор Леша Исаков, трудяга и отчаянный рыболов со щекой, раздутой флюсом; и Григорий Пантюшенко — белокурый томный юноша, поэт, деликатнейший парень, старавшийся и писать, и декламировать под Маяковского; и продавщица из книжного магазина Наташа Кавская, прехорошенькая девушка, щеголявшая по комсомольской моде тех дней в красной косынке и юнгштурмовке, туго перетянутой ремнем; и, наконец, будущий секретарь будущей редакции Самуил Аксельрод, в просторечии Мулька, но чаще всего Кислород, ибо прозвище это необыкновенно подходило к этому энергичному, жизнерадостному, подвижному парню.

Собирались в маленькой комнатке, где стоял единственный стол Кислорода, собирались и горячо обсуждали, какова же должна быть эта еще только зачатая газета. Спорили-спорили и решили задать этот вопрос ее предполагаемым читателям — молодым текстильщикам Твери, Вышнего Волочка, обувщикам Кимр, рыбакам Осташкова, молодым крестьянам из пригородных волостей: что больше всего хотелось бы им видеть в своей газете? Написали от руки и разослали по комсомольским организациям сотни писем. Получили десятки ответов.

Ответы очень разнообразные. Но в одном почти все читатели сходились: это в своем интересе к литературе и литераторам, в своей любви к Горькому, творчество которого в те дни занимало всех. Решено было обстоятельно ответить на этот единодушный, настойчивый запрос.

Но как? Какое из произведений Горького стоило бы напечатать? К какой из известных его биографий обратиться? Как завязать связь с этим человеком, так интересующим молодежь?

Ведь говорили — он нездоров. Знали, всемирная слава несет к нему потоки писем со всех концов земли. Знали, как он занят и как это нечестно — беспокоить столь загруженного человека. Всё знали. Но пожелания читателей и наше стремление сделать интересную газету в конце концов опрокинули все эти трезвые сомнения, и в Италию, в Сорренто, где в те дни жил писатель, пошло толстое письмо, к которому был приложен только что вышедший тогда первый номер «Смены».

АККУРАТНЕЙШИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Отослали и, по совести говоря, забыли об этом письме, ибо слишком мало было надежд даже на получение ответа. И вдруг в почте от 24 ноября 1927 года Наташа Кавская, ведающая в числе других обязанностей и отделом писем, нашла голубой конверт с иностранными марками. Круглым энергичным почерком был выведен адрес: «Советский Союз. Тверь. Советская улица, 45. Редакция газеты «Смена». Всем». Слово «Всем» было дважды подчеркнуто.

Горький! Ответ Горького! Эта весть как молния осветила этот редакционный день. Не знаю уж, какими путями она мгновенно разнеслась по городу, и помнится, что в маленькой комнате, где за единственным столом восседал наш Кислород, в этот день не смолкал телефон и стены просто трещали под напором посетителей, требовавших не только прочесть, но посмотреть, подержать в руках, пощупать голубоватый жесткий конверт.

Горький писал:

«С газетой я вас, товарищи, искренне поздравляю, очень удалось — живая, бойкая, интересный материал, горячо подан, притом грамотнее некоторых провинциальных «взрослых» газет.

Может быть, потому, что теперь для меня время бежит, как нахлестанное, и потому, что я слишком хорошо помню мучительно медленный шаг прошлого, но мне кажется, что вы, комсомол, растете удивительно быстро. Это не комплимент человека, который хочет нравиться, а действительное мое впечатление, вызванное, разумеет-

ся, не только одной вашей газетой. Нет, я имею в виду то, как решительно отказываются комсомольцы от некоторых своих ошибочных увлечений, например, в области современной литературы, которая иной раз слишком торопится густо подчеркнуть темные стороны быта,— возьмем хотя бы отношения полов. Подчеркивая по-судейски отрицательные явления, литература сосредоточивает нездоровое внимание на том, что требует здоровой и активной борьбы. Мне кажется, что комсомольцы понимают, как неверны и обидны для них торопливые выводы.

Посоветовать вам, что из моих рассказов можно бы напечатать в «Смене», затрудняюсь. Не совсем ясно представляю, что явится для вашего читателя наиболее интересным по смыслу и по форме.

Может быть, подойдет «Человек», «Песня о Соколе», «Буревестник»? Пожалуй, рекомендовал бы «Мать», из «Итальянских сказок». Мне кажется, что теперь перед матерями стоят новые и огромные задачи по отношению к детям и что девицам комсомола следует подумать и над этой своей ролью в жизни. Возможно, что моя «Мать» заставит подумать над этим.

Если хотите познакомить читателя «Смены» с моей биографией, рекомендую вам статью товарища Ильи Груздева из «Молодой гвардии» за 27-й год, книги 1-я, 5-я.

Обращение к молодежи напишу в январе, раньше не могу, очень много работы.

Примите мой товарищеский привет.

А. Пешков

18.XI—1927 г.
Сорренто» [1]

После получения письма редакция недели две не знала покоя. Письмо это торжественно опубликовали. Но подлинник пришлось вставить в рамку и повесить на стену, чтобы любопытствующие посетители, поток которых не прекращался, могли читать с оригинала, без опасности затереть и замаслить его. В субботние дни, когда на фабриках работа кончалась пораньше, у письма собиралось столько народу, что наш Кислород хватался за голову и кричал, что ему уже нечем дышать. На это наша стенная

---

[1] Это и другие письма цитирую по книге «Письма из Сорренто», написанной моим другом Георгием Куприяновым и мной и вышедшей в Тверском издательстве. (*Здесь и далее примечания автора.*)

газета, носившая несколько странное название «Пегашкин жеребенок», даже откликнулась сатирической репликой: «Кислород задыхается».

Ответ писателю решено было сооружать коллективно. Для этого в начале декабря было создано расширенное редакционное совещание с юнкоровским активом, как значилось в повестке дня, «...для написания коллективного ответа А. М. Горькому». Это было чрезвычайно шумное совещание, ибо каждый настойчиво требовал, чтобы в письмо включили то или другое. Его писали как запорожцы на известной картине Репина, причем роль маленького запорожца в черном камзоле и очках, записывавшего мнение общественности, была доверена мне. Потом мы с Рябовым свели воедино самое важное из того, что тогда накричали участники совещания. Вот отрывки из этого, так сказать, «исторического» ответа.

«Дорогой Алексей Максимович! — писали молодые люди города Твери от имени десяти тысяч читателей «Смены».— Трудно выразить радостное волнение, которое вызвано Вашим письмом.

...Мы благодарим Вас за сердечный отклик на нашу просьбу, за Ваши советы и указания молодежи. Из Вашего письма видно, что судьба советской молодежи для Вас далеко не безразлична, что Вы следите за ее жизнью, за ее бытом. Это тем более ценно потому, что наша молодежь рада многому учиться по Вашим произведениям.

«Мать», «Дело Артамоновых», «Мои университеты» — наиболее популярные книги среди рабочих и учащихся. Именно за этими книгами в любой из библиотек длинная очередь читателей. Этот читатель глубоко интересуется Вашими литературными планами, известия о которых встречаются в печати, и нас глубоко радует Ваш замысел — писать книгу о новой России.

Алексей Максимович!

Мы надеемся, что свой юбилей Вы будете праздновать в новой России — на своей родине.

Советскому Союзу есть что показать своему писателю. Десять лет революции внесли огромные изменения, произвели большой переворот во всех областях работы, жизни и быта страны.

От векового экономического угнетения, от бесправия масс — к их освобождению, к осмысленному участию масс в управлении своим государством. От духовной кабалы, темноты и невежества — к пышному расцвету сил

и возможностей, к невиданному до сих пор подъему народного творчества.

Например, нашу газету заливает прибой рукописей из города и деревни. Масса стихов, очерков, рассказов свидетельствует о большой жажде молодежи к творчеству... Наряду с этим мы наблюдаем исключительный подъем интереса и любви молодежи к литературе...

Повторяем, что наша молодежь терпеливо будет ждать выполнения Вашего обещания — художественно отразить нашу жизнь, приехать к нам в Советскую республику.

Мы были бы рады видеть вас в Твери. Здесь мы можем показать Вам фабрики, принадлежащие уже не богачам Морозовым (одного из которых вы описали), а всем трудящимся.

Мы можем показать Вам просторные, светлые клубы, школы и рабфаки, детские сады и ясли, показать новые отношения между людьми, показать все, чего никогда не было, да и не могло быть при Морозове.

Ваш приезд явился бы большим праздником для нашего города, для нашей губернии.

Выражая эту просьбу рабочей и учащейся молодежи Твери, расширенная редакция «Смены» еще раз передает ее горячий привет и пожелания творческой работы своему любимому писателю».

Потом состоялась церемония подписания этого послания. Именно церемония. Кроме сотрудников редакции под ним поставили свои подписи десятки юнкоров с фабрик, заводов, из деревень, для чего иным приходилось отшагать немало верст по очень негладким проселочным дорогам того времени.

Так и возникли добрые отношения между Горьким и тверскими комсомольцами, которые наш знаменитый корреспондент назвал потом дружбой.

РЕШЕНИЕ МОЕЙ СУДЬБЫ

Тут перо мое начинает дрожать, ибо я приступаю к описанию одной лихой газетной затеи, которую до сих пор не могу вспоминать без содрогания. Газету «Тверская правда» вел в те дни Алексей Иванович Капустин — самый инициативный редактор из всех, какие только потом попадались мне на моем уже длинном газетном пути. Блестящий выдумщик, держащий руку на

пульсе жизни, он всегда был озабочен, чтобы газета, под которой стояла его редакторская подпись, была не только боевой, не только умной, но и обязательно интересной.

— Нет на свете ничего скучнее скучной газеты,— поучал он молодых журналистов.

Дни студенческих каникул я целиком отдавал газете, и Капустин избрал меня одним из исполнителей этих своих затей. Так, одно лето, чтобы потом дать несколько очерков о тверской деревне, где в те дни еще только пробивались первые ростки коллективного землепользования, я проработал избачом в селе Микшино — центре тверской Карелии. На другое лето, когда потребовались очерки о лесозаготовках и лесосплаве в волжских верховьях, он командировал меня к истокам Волги, в село Селижарово. Там я определился рабочим в сплавную контору, участвовал в сплачивании плотов, а потом на гонках в качестве «заднего кормового» прошел путь от волжских верховьев до города Рыбинска, изрядно при этом заработав, ибо гонщикам, как в наших краях звали плотовщиков, в те дни платили куда больше, чем газетным репортерам. Ну, а пока течение неторопливо несло гонки вниз по реке, писал по ночам у костра очерки «На плотах».

Нэп в те дни был уже на закате. И время это было отмечено ростом преступности, проституции и всяческих иных потайных зол. Параллельно с большим миром, начинающим строить социализм, возник эдакий подпольный маленький, очень ядовитый мирок, который стал мешать миру большому делать свои благородные дела.

Так вот, неугомонный наш редактор вызвал однажды меня к себе. Запер дверь кабинета и таинственно сказал:

— Вот что. Ты был избачом и гонщиком. Получилось. А теперь становись блатняком. Понимаешь, поживи в их блатной шкуре, подгляди, что там у них и как, связи их повысмотри, кто им помогает, кто им ворожит. Понимаешь? А потом грохнем серию разоблачительных очерков, всю эту шваль будто шляпой накроем. Ну как, нравится такая затея? Чего молчишь? Слабо? Штаны мокрые?

Я переминался с ноги на ногу.

— С кем надо, это согласовал. Если угодно, можешь рассматривать как комсомольское задание. Только, чур, не болтать, могила. Согласен? Вот и хорошо. Чекисты тебя оборудуют. У тебя, кажется, в Москве есть тетя?

Тетя Маня? Вот и хорошо. Ну, так для всех ты уезжаешь к своей любезной тете Мане, навестить старушку. Она хворает. Понял?

И вот, соответственно преображенный, я как бы влез в шкуру молодого московского налетчика, запасся явками, крупными купюрами с переписанными номерами для дачи взяток и больше чем на две недели, так сказать, опустился на дно. Свыкся со страшным бытом, настолько вошел в роль, что, обнаглев, однажды явился в собственную редакцию, якобы в сильно пьяном виде, затеял в бухгалтерии большой шухер и был изгнан в шею сотрудниками отдела информации, где, как известно, по традиции работают самые дюжие люди. Изгнан и не узнан — вот в чем был репортерский шик.

Серия очерков, написанных в результате этого моего похода, по причинам, от редактора не зависящим, напечатана не была, и друзья из Тверской ассоциации пролетарских писателей, которых сокращенно называли «таппами», помогли мне сбить эти очерки в книжку. Книжке этой дали устрашающее название «Мемуары вшивого человека». Мой старший друг — поэт и партработник Александр Ярцев — написал к ней доброе предисловие, и вскоре она увидела свет.

Отчетливо сознаю, что качества этого моего первого книжного труда были весьма сомнительны. И вспоминать о нем я не стал бы сейчас, если бы не события, развернувшиеся впоследствии. Жажда тем для продолжения диалога, завязавшегося с Горьким, надоумила моих сменовских друзей послать эту книгу в Сорренто. Это было сделано без моего ведома. Узнав об этом, я не только огорчился, но и здорово рассердился: оторвать золотое время Горького на чтение моего скороспелого труда... Тут есть отчего покраснеть.

Каково же было общее удивление, когда вскоре из Сорренто пришел довольно толстый конверт. Оказалось, что Горький не просто прочел книгу, но прочел, так сказать, с карандашом, по-редакторски, и нашел время ответить пространным письмом на шести рукописных страницах.

«Б. Полевому.

Товарищ Ярцев находит, что язык Ваших очерков «солен, меток, богат образами». Давайте разберем, так ли это.

Прежде всего — откинем язык диалогов, его сочность и меткость принадлежит не Вам, Вы его почерпнули из

«блатной музыки». Вам принадлежит язык описаний. «Ночлежка — каменный череп», пишете Вы. Это — плохой образ, потому что не ясный. Говоря «череп», нельзя отказаться от представления о форме шара, хотя и не совершенной. А Вы, говоря «ночлежка — череп», говорите о части черепа, черепной крышке, о своде, причем заставляете меня, читателя, видеть ее не снаружи, а изнутри. Понятно? Затем: необходимо избегать соединений конечного слога одного слова с начальным другого, когда эти слова, сливаясь, образуют третье: ка-ка.

«Лампочки точно желтые глаза собаки» — этот образ повторяется у Вас дважды на тринадцатой и шестнадцатой стр. «Тускло цедят желтый грязный воздух». Цедят всегда сквозь что-нибудь и медленно или быстро, а «тускло» цедить — это никто не поймет. И как могут лампочки цедить, т. е. пропускать сквозь себя воздух? Затем: если Вы сказали «лампочки желтые», этим Вы уже сказали, что и свет желтый, не нужно повторять одно и то же слово на близком расстоянии, скучно это.

Вы часто искажаете слова: «швыбздик» — правильно будет «шибздик». Не «сколыпнул», а «сколупнул»,— от глагола — колупать. «Очини ухо»,— ухо — не карандаш. «Очини» это должно быть украинское «отчини» — открой. «Заместо голландского отопления бы нанялся» «бы» следовало поставить после «нанялся». Русские всегда так и ставят. Человек у Вас «кусал, царапал, целовал, ласкал» землю. Возможно, что он все это и делал, но не так, как Вами написано, потому у вас трудно поверить, что человек действительно делал это.

Все это — не пустяки, не мелочи, а — техника. Так же как токарь по дереву или металлу, литератор должен хорошо знать свой материал — язык, слово, иначе он будет не в силах «изобразить» свой опыт, свои чувства, мысли, не сумеет создать картин, характеров и т. п. Вы, молодежь, должны учиться владеть техникой литературной работы так же мастерски, как владели ею наши классики. Вам надобно знать все, что знали они и — знать лучше их. История призвала Вас к созданию новой жизни, значит — Вы должны и литературу тоже обновить. Вам не надо торопиться хвалить друг друга за малые успехи, на Вас возложена обязанность стремиться к успехам большим. На Вас, на Вашу работу с надеждой смотрит трудовой народ всего мира, из Вашей среды должны выйти поэты, ученые, вожди. Вы должны учиться,

не щадя себя, учиться всему, что есть лучшего в мире, всякой технике и, конечно, технике словесного творчества. Этому научиться не так трудно, потому что у Вас есть великолепные образцы: Гоголь, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Пришвин и немало других отличнейших знатоков русского языка, строя русской речи. Поймите меня: я говорю не о подражании, а только о необходимости для Вас обогатиться словами, изучить дух языка, строй речи. Идеологической заразы отравления духом враждебного Вам класса бояться не следует,— всякий страх возникает из непонимания, да и уже проходит то время, когда рабочие люди чего-то боялись.

Затем, возвращаясь к т. Полевому, я должен сказать, что он, несмотря на его промахи технические, человек — по натуре его — даровитый, это — ясно. Но, учиться надо, товарищ, учиться!

М. Горький

30 марта 1928 г.,
Сорренто»

Биографию фабрики, пожалуй, Полевому рано писать, очено трудная тема»... [1]

Помню, схватил это письмо, убежал на набережную Волги, на тот самый ее конец, где иссякал город и начинались пустыри, сел на какое-то бревно и снова и снова перечитывал слова: «...Так же как токарь по дереву или металлу, литератор должен хорошо знать свой материал — язык, слово...», «Вам не надо торопиться хвалить друг друга...» «Учиться надо, товарищ, учиться». Эти фразы так вросли в память, что и сейчас вот, сорок пять лет спустя, я легко воспроизвожу их, не боясь ошибиться даже в запятых.

Это письмо молодые тверские литераторы не только читали, но по фразам заучивали наизусть. Оно стало программой литературного кружка, организовавшегося при редакции «Смены». Что там греха таить, все мы тогда были ребятами с большим самомнением. И, написав по паре-тройке стихотворений или тиснув в газете рассказец, начинали мнить себя поэтами, писателями и торопились расстаться с фабрикой или деревней, бросить учебу и перейти на литературный труд. Сколько такого приходится наблюдать и сегодня!

---

[1] М. Горький. Письма к рабкорам и писателям. М., «Жургазобъединение», 1937.

Письмо Горького как бы сразу охладило нас, не обрубив крылья, поставило, однако, на землю и заставило многих серьезно взяться за учебу. Думается мне, что эти горьковские советы, адресованные, в сущности, не одному, а всем молодым писателям, и сегодня не выцвели, не потускнели, не потеряли своего организующего значения.

Для моей же судьбы письмо это было решающим. Я понял, что литература, журналистика — профессии сложные, серьезные, требующие труда и максимальной самоотдачи, что нельзя ими заниматься между делом, что надо им отдаться целиком.

НАШ СОВЕТЧИК

Переписка Тверь — Сорренто продолжалась. Она стала регулярной и принимала все более дружеский характер. Горький и адресовался к нам как к своим друзьям, давал советы, сообщал интересные новости из своей жизни и обращал внимание на самое интересное, что было в те дни в международном положении.

16 марта 1928 года мы получили радостное известие. Горький сообщал, что готовится выехать в Советский Союз, и обещал, что приедет в Тверь лично познакомиться со своими корреспондентами — тверской молодежью — и поговорить о принятии шефства над газетой «Смена», на что мы более или менее неуклюже намекали почти в каждом своем письме.

В этом письме он, в частности, советовал: «На днях в «Известиях» или в «Читателе и Писателе» появится статейка моя «О науке». Вы бы в «Смене» перепечатали кусочка два-три».

В конце письма Горький, между прочим, писал:

«Получил письмо из Нью-Йорка от одного товарища. Сообщает, что после нескольких лет официального благополучия здесь начинается глубокий кризис, который всего заметнее на быстром росте количества безработных.

В Ист-Сайде огромнейшие, в несколько тысяч человек, очереди безработных в ожидании бесплатной тарелки супа или места в ночлежке. В Колорадо и Пенсильвании между шахтерами и владельцами копей идет борьба. В настоящее время около 200 тысяч шахтеров, в буквальном смысле слова, умирают с голода.

Товарищ — солидный человек, к преувеличению не склонен.

В прошлом году в Нью-Йорке была организована выставка коллекций почтовых марок. Стоимость этой выставки, ни к черту не годных кусочков бумаги, оценена была в 40 миллионов долларов, т. е. в 800 миллионов рублей.

Так-то.

А. Пешков»

Это была совсем уже дружеская информация. Так пишут отцы детям, делясь с ними тем, что особенно занимает и увлекает их, желая, чтобы дети разделили их тревоги.

КТО ЕСТЬ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Особенно интересным было письмо, полученное тверскими комсомольцами 19 апреля 1928 года. Его Алексей Максимович прислал по своей инициативе, без всяких вопросов с нашей стороны. Просто захотелось, по-видимому, поделиться с людьми, которым он симпатизировал, тем, что его занимало, а может быть, и тревожило.

В этом письме Алексей Максимович коротко сообщал, что литературный кружок в профтехнической школе в г. Покровском обратился к нему с вопросом: пролетарский ли он писатель? На этот вопрос он ответил статьей, которую вместе со своим письмом прислал и в «Смену».

Вот эта статья, которую почти целиком перепечатываю из «Смены» № 46, за 20 апреля 1928 года.

«Дорогие товарищи! Лично меня не интересуют споры критиков о том — пролетарский я писатель или не пролетарский. В массе юбилейных поздравлений, получаемых мною от рабочих со всех концов Союза, рабочие единодушно именуют меня «нашим», «пролетарским» и «товарищем». Голос рабочих для меня, разумеется, внушительнее голоса критиков. Я очень горжусь тем, что рабочие меня считают своим человеком, своим «товарищем»: это искренняя моя гордость и великая честь для меня. А термин «пролетарский», на мой взгляд, уже не совсем отвечает действительному положению трудовой массы Союза Советов. «Пролетариатом» именуется, как вы знаете, класс людей, живущих личным заработком и не имеющих иных средств к существованию. Но приложимо ли это наименование к рабочим и крестьянам

Союза Советов, к трудовой массе, которая взяла в свои руки политическую власть в нашей стране и постепенно овладевает всем хозяйством, всеми сокровищами страны. Вопрос должны решать вы сами.

Вы спрашиваете: «По каким признакам можно определить действительного пролетписателя?» Думаю, таких признаков немного. К ним относятся активная ненависть писателя ко всему, что угнетает человека извне его, а также изнутри, все, что мешает свободному развитию и росту способности человека; беспощадная ненависть к лентяям, паразитам, пошлякам, подхалимам и вообще к негодяям всех форм и сортов.

Уважение писателя к человеку, как к источнику творческой энергии, создателю всех вещей, всех чудес на земле, как борцу против стихийных сил природы и создателю новой, «второй» природы, создаваемой трудами человека, его наукой и техникой для того, чтобы освободить его от бесполезной траты его физических сил, затраты неизбежной, глупой и циничной в условиях государства классового.

Поэтизация писателем коллективного труда, цель которого — создание новых форм жизни, таких форм, которые совершенно исключают власть человека над человеком и бессмысленную эксплуатацию его сил.

Оценка писателем женщины не только как источника физиологического наслаждения, а как верного товарища и помощника в трудном деле жизни.

Отношение к детям как людям, перед которыми все мы ответственны за все, что мы делаем.

Стремление писателя всячески повысить активное отношение читателей к жизни, внушить им уверенность в их силе, в их способности победить и в самих себе, и вне себя все то, что препятствует людям понять и почувствовать великий смысл жизни, огромнейшее значение и радость труда.

Вот в краткой форме мой взгляд на писателя, который необходим трудовому миру...

...История возложила на вас, молодежь, великий труд — быть проповедниками нового отношения к человеку, учителями строения новой жизни. Это обязывает вас дружно и усердно учиться, прежде всего учиться. Чем больше знает человек, тем он сильнее. Это неоспоримо. А когда человек знает, как огромна и величественна цель, поставленная им себе, он становится еще сильнее.

Тогда для него пошленькие «мелочи» жизни, вся старенькая дрянь ее, вся ее грязь и «пыль веков» — все то, что создает позорную психологию «мещанства», «мелкобуржуазность», не существует, не может заразить писателя. Он, писатель, не должен подчинять себя ядовитому хламу «бытовизма», а упорнейше бороться против него; не должен скулить и охать, потому что «мелочи жизни» стесняют его, немножко мешают ему. Он должен знать, что уродливости быта мешают всем и жалобами их не одолеешь. Только смелая борьба, только упорный и радостный труд преодолевают все уродливости нашей жизни.

Писатель должен твердо знать и помнить, что человек по натуре своей не «негодяй», а существо, испорченное отвратительной организацией классового государства, которое не может существовать, не насилуя людей, не возбуждая в них зависти, жадности, злобы, лени, отвращения к подневольному и часто бессмысленному труду, стремления к легкой наживе, к дешевеньким и дрянненьким удовольствиям, к распутству, пьянству и всяким пакостям.

Вы, молодежь, должны знать и помнить, что есть люди, которым выгодно и необходимо утверждение, что «негодяйство» есть «врожденное», как говорят они, свойство человека, что оно коренится в его зоологических звериных инстинктах, внушено и внушается дьяволом, что все человеческие поступки — «выражение извечной борьбы дьявола с богом за обладание душой человека». В основе этой проповеди скрыто стремление ограничить, убить волю человека к лучшей жизни, к свободе труда и творчества, стремление воспитать его рабом классового государства и общества. Эта проповедь рассматривает человека только как сырой материал, как руду, из которой можно делать топоры, цепи, штыки, утюги, вообще орудия, инструменты.

Проповедники этого учения тоже «негодяи», т. е. люди, негодные для честной активной и трудовой жизни, люди, которые не могут, да и не хотят представить себе жизнь в иных формах, чем та, в которой жизнь цинически и унизительно для трудового народа заключена. Учение о «врожденных» или от внушения дьявола исходящих злых инстинктах очень легко опровергается тем фактом, что так называемые «дикари» — негритянские племена Африки или наши сибирские племена — якуты,

буряты, тунгусы — в сущности очень добрые люди, как это доказывается учеными-этнографами...

...И если вы хотите быть честными людьми, вы должны быть революционерами.

М. Горький

30 марта 1928 г.,
Сорренто»

У ГОРЬКОГО В ГОСТЯХ

Это письмо, полученное «Сменой» от А. М. Горького, оказалось последним. Летом мы узнали, что он выехал в Советский Союз. Стали ждать. Готовились. Наш славный корреспондент был не из тех, кто нарушает свои обещания. У нас родился даже головокружительный проект: если он поедет через Ленинград, собраться всем комсомольцам и толпой выйти к ленинградскому экспрессу. В нашем литературном кружке был поэт, ездивший за кочегара на паровозе по маршруту Москва — Тверь. На него возложили обязанность своевременно сигнализировать общественности о том, когда поезд с гостем проследует через наш город.

Эта затея сорвалась. Мы прозевали. Зато москвичи, как мы узнали из газет, оказали любимому писателю грандиозную встречу. Страна приветствовала своего великого гражданина и великого писателя с исключительной теплотой.

А потом для Горького началась страда почета. Его наперебой приглашали к себе фабрики, заводы, культурные учреждения. За право «залучить к себе» Горького хотя бы ненадолго, на несколько минут, ссорились писатели и академики, военные части и институты. Мы, тверские комсомольцы, с ревностью следили за поездкой Горького по стране, следили, огорчались, досадовали на себя: ну какие же мы, к черту, комсомольцы, если не сумели залучить к себе человека, который сам обещал приехать, называл нас своими друзьями.

И вот родилась грандиозная идея составить энергичную делегацию, без предупреждения нагрянуть в Москву, захватить писателя врасплох и увезти, благо недалеко и поездов сколько угодно. Ну, а если не увезти, то хотя бы пожать Горькому руку от имени всей тверской комсомолии.

К выбору делегации отнеслись со всей серьезностью. Комсомольцы текстильных фабрик, вагонного, кожевенного заводов выбирали своих представителей на собраниях, тщательно обсуждая каждую кандидатуру. Пионеры на городском слете вручили полномочия краснощекой рыженькой девочке по прозвищу Морковка, которая обычно специализировалась в Твери на произнесении речей и приветствий. От «Смены» были включены в делегацию Наташа Кавская и я, а возглавить все это предприятие должен был тот самый Кислород, без которого в те дни не обходилась ни одна сменовская затея.

Ох, как ясно встает перед глазами этот погожий день в разгаре лета. Мы ехали в почти пустом вагоне. В открытые окна ветерок вместе с солоноватой серпистой гарью из паровозной топки забрасывал запах сена. Откосы полотна пестрели цветами, и мы до хрипоты орали песни, как бы зажигая их одну от другой.

План операции, как я уже сказал, был такой. Не заходя ни в какие организации, которые, по тогдашним нашим понятиям, «распределяли Горького», ввалиться к нему на квартиру, адрес которой промелькнул в какой-то газете.

И мы нагрянули. Пренебрегли лифтом. Поднялись по широкой лестнице на нужный этаж. Довольно энергично постучали. Вышедшей на стук маленькой, миловидной, немолодой уже женщине с необыкновенно живыми и острыми глазами объявили, что мы делегация, имеющая особые полномочия. Вероятно, в этот день мы были уже не первыми и по тому, как сурово и несколько раздраженно взглянула на нас эта женщина, мы поняли, что посетители ей давно уже надоели. Однако, поборов раздражение, она довольно мягко сказала:

— Алексея Максимовича, к сожалению, нет. Он с утра уехал на какой-то завод.— И совсем уже добродушно добавила, явно апеллируя к нашей совести: — Ему ведь просто житья нет. Его совершенно заездили по разным собраниям. Мы его дома совсем не видим.

Нет, совести у нас не было. За нашей спиной стояли десятки тысяч тверских комсомольцев. Мы чувствовали их нетерпеливое дыхание. Мы выполняли их волю.

Дверь совсем было закрылась перед нашими носами, но выручила храбрая Морковка.

— Не гоните нас... Ну, пожалуйста... Мы издалека, — жалобно сказала она, и щеки ее стали краснее, чем галстук.

— Ну, если уж издалека, ждите,— ответили нам уже из-за двери.

И мы, усевшись на ступеньках лестницы, стали ждать. К этому мы были тоже готовы. С нами был фанерный баульчик с картошкой, луком, яйцами и огурцами. И одна вареная курица на всю команду. Не теряя времени, мы принялись уничтожать эти запасы и так этим увлеклись, что не сразу услышали, как загудел большой лифт. Когда роскошная, похожая на католическую часовню кабина остановилась за сеткой двери, мы встретили ее с набитыми ртами. В лифте было двое мужчин, из которых мы разглядели только одного — высокого, сутуловатого, с моржовыми усами, в круглой широкополой шляпе, с палкой в руке.

Он, Горький! Кто же его сразу не узнает! Судорожно проглотив еду и вытирая руки о штаны, мы загомонили на разные голоса:

— Здравствуйте, Алексей Максимович!

Такой знакомый по портретам, такой родной по письмам, он недоуменно смотрел на своих незваных гостей. Морщинистое, утомленное лицо. Тяжелые желтовато-седые усы, обвисшие вниз. Клочковатые брови нахмурены. Он мог бы показаться сердитым, даже неприязненным, если бы не теплое мерцание глаз. Глаза эти придавали суровому, солдатскому лицу выражение добродушия и юмора.

— Что за люди? Как вы сюда попали? И почему именно здесь, на лестнице, а?

— Здравствуйте, Алексей Максимович,— снова загалдели мы, идя на второй заход.

Вперед вышел энергичный Кислород. Объяснил, кто мы такие, зачем приехали и почему ждем именно на лестнице.

— Ну, народ,— совсем уже въявь усмехнулся Горький.— Сидите как сирые и убогие у парадного подъезда. Проходите в дом.— И все мы сразу же обратили внимание, что круглое, сочное нижневолжское «о» как бы перекатывается в его речи.

Он провел нас в небольшую комнату, служившую ему, по-видимому, временным кабинетом, и так как стульев на всех не хватило, сам принес несколько штук.

— Садитесь, в ногах правды нет. Только, братцы, уговор: придется вам меня обождать. Мне еще пообедать надо. Есть хочется.

Ушел в соседнюю комнату. Застучали тарелки. А мы

сидели; жадно озирались, стараясь не пропустить ни одной детали в обстановке этого временного его жилья. И сейчас вот перед глазами светлая комната, большой, просторный неписьменный стол перед глубоким креслом. На нем пухлая рукопись в разукрашенной виньетками папке. Страницы заложены карандашами. Справа другая рукопись, раскрытая,— по-видимому, читаемая. Фаянсовая тарелка с десятком нераспечатанных писем. Пачка остро отточенных карандашей, торчащая из стакана. Книга, на которой можно рассмотреть дарственную надпись: «Творцу «Буревестника» с горячей любовью».

Прочел я эту надпись и ощутил неловкость. Видимо, вот так, с приветом и соответствующими словами, и следует пересылать книги. А моя-то пришла чистенькая, стало быть, я оказался перед Горьким невежей. Четко, во всех деталях, вижу этот писательский, этот рабочий стол. Хотя и временный, он как бы хранил на себе незримый отпечаток трудолюбия своего хозяина.

Тарелки в соседней комнате продолжали еще греметь, а Горький уже появился в дверях, вытирая рукой усы. Осмотрел нас из-под клочковатых бровей веселым взглядом.

— Разместились? Сдвигайтесь поближе к столу. Без церемоний, без церемоний.— И сам поудобней уселся в кресле. — Вчера вот украинская делегация меня посетила, сегодня вы. Во все концы тянут... Жил себе человек спокойно, жил и жил. Потом вот приехал на родину, теперь теребят и теребят. За что, а?

Мы смущенно молчали. Наш собеседник улыбался. Наташа, обладавшая даром записывать все со стенографической быстротой, старательно склонилась над тетрадкой. Карандаши у нее от усердия один за другим сломались. Горький увидел ее беду. Достал из стакана один из остро отточенных карандашей и протянул ей. На лице ее отразилось блаженство: ну как же, заиметь карандаш, которым писал Горький... Наша Морковка не растерялась, извлекла из кармана мятый блокнотик и тоже протянула руку за карандашом. Наш хозяин, по-видимому, разгадал этот маневр, так как на лицах наших отразилась зависть. Он дал нам каждому по карандашу. Все это произошло при полнейшем нашем молчании. Хозяин кабинета, улыбаясь, с явным увлечением делился своими впечатлениями о Советском Союзе.

— Здорово, здорово у вас все шагнуло. За шесть лет такие перемены. Не ожидал, не ожидал.

И, по своей привычке иллюстрировать все яркими примерами, тут же и сказал:

— Вот недавно был в колонии социально опасных, организованной ГПУ. Колонией этой, представляете себе, друзья, управлял бывший преступник. Три года назад попал сюда как вор... Ходят они там свободно. На руках у них... деньги громаднейшие. Ни копеечки не пропадает. Я разговаривал с некоторыми — хорошие, занятные люди.

Помолчал, басовито покашлял в ладонь. Достал папиросу, размял в руках и вдруг вежливо обратился к нашей Морковке:

— Вы разрешите?

— Валяйте, валяйте,— не смущаясь разрешила она.— Ничего...

Покуривал. Выдыхал дым в сторону, отвертываясь от нас, и продолжал на ту же, вероятно особенно интересовавшую его тему:

— Женщина одна там среди них есть. Миловидная. Рассказывая о себе, говорит: «Я и сейчас недурненькая, а ведь и вовсе красивенькая была». Ну, и крала по магазинам, шарашничеством это у них называется. А сейчас вот работает в мастерской, ткет плахты — это такие полотнища с национальным украинским орнаментом. Замуж вышла. Ребенка ждет... И ведь и сейчас очень хорошенькая... Прекрасно.

Отложил в пепельницу недокуренную папиросу и прислюнил, чтобы она не дымила.

— А один попал в эту самую колонию — украл что-то. Его поймали. Украденное отобрали и отпустили. Украл вторично. Удачно украл. Но сам потом в милицию пришел, говорит, арестуйте, не выдержал, спер. Но на этот раз все-таки осудили. Попал в колонию. А сейчас слесарь. Еще какой слесарь-то, лекальщик. Коньки там мастерят. Так он у них за главного. И еще в заводском оркестре на генерал-басе играет, как в свое время император всероссийский Александр Третий... Вы, поди, и не слышали о таком? — обратился он к Морковке.

— Слышали,— ответила та басом.— Толстый такой.

— Вот, если вдуматься во все это, ведь как это замечательно. Я прямо поражаюсь. Такое возможно только в стране таких дерзких людей, как большевики.

О современной молодежи говорил с необыкновенной сердечностью.

— Не хочу говорить вам комплиментов, но не могу не сказать: молодцы вы все-таки, милостивые государи.

Сколько бодрости, задора, воли. Именно воли. Молодежь, возглавляемая комсомолом, бодра, энергична, упорна. Нет у ней той хандры и грусти, которая в свое время даже культивирсвалась в русской молодежи как эдакая будто бы национальная черта. Вам смешно, а в мою молодую пору модно было даже покашливать, дескать, у меня, кхе-кхе-кхе, туберкулез. А этому туберкулезнику только кули с солью на пристани таскать. Навидался я таких.

И сейчас же, хитро прищурившись, приводит пример:

— У меня, знаете ли, был вчера забавный случай. В московской пятьдесят шестой школе. Выходит на сцену эдакий господин лет четырнадцати, ершистый, лицо точно обрызгано веснушками, и так заговорил, будто Плевако — был такой на Руси адвокат. Неважно, что слова путал, главное, говорил с той уверенностью, с таким задором, что и меня захватил. Так-то...

Помолчали.

Задумчиво посмотрел в окно, на пустынный переулок.

ЗЕЛЕНОЕ КРЕСЛО

— Да-а, большие, большие у вас перемены, столько нового, интересного.— И как бы подчеркнул: — Такие быстрые перемены могут происходить лишь в атмосфере невероятной энергии.

Мы, разумеется, все молчали. Слушали. Записывали. Запоминали. И только Морковка отважилась перебить нашего маститого собеседника:

— А вы Ленина знали?

— Владимира Ильича? — Лицо Горького стало задумчиво. Воспоминания на миг разгладили на нем глубокие морщины. — Знал, знал. Вот человечище-то был. — И вдруг сказал: — Он здесь, в этой квартире, у меня бывал... Вместе Бетховена слушали... Нет, не самого Бетховена, конечно,— с этим уточнением он адресовался прямо к Морковке.— Пианист Добровейн бетховенские пьесы играл.— Он встал, открыл дверь в соседнюю комнату.— Вон на том рояле. Хорошо играл Добровейн. А мы, Ленин, Екатерина Павловна и я, слушали. Владимир Ильич сидел, кажется, в том вон кресле.— Он показал в глубину соседней комнаты, и все мы спрессовались в дверях, желая увидеть, в каком именно кресле сидел Ленин. Но не увидели. Кресло было несколько в стороне.

Горький улыбнулся.

— Хотите кресло посмотреть? Ничего особенного, обычное старое кресло. Ну, пойдемте.

Он встал, и мы прошли в соседнюю комнату, где маленькая пожилая симпатичная женщина стелила на стол бархатную скатерть. Это была просторная гостиная. Лампа под стеклянными висюльками плавала над столом. Несколько отличных акварелей на стенах. Большой рояль. На крышке рояля странные деревянные игрушки — клоуны, черти, полицейские, все с оскаленными зубами.

— Это щелкунчики,— пояснил наш хозяин.— Орехи колоть. Может, кто видел балет «Щелкунчик»? Так вот, такие щелкунчики.

Морковка не выдержала, присела в кресло, в котором сидел Ленин. В обычное, резное, обитое выгоревшим зеленым плюшем кресло, какие бывали в староинтеллигентских квартирах прошлого века. И, стыдно признаться, нам, взрослым, захотелось сделать то же. И сделали. Стали присаживаться по очереди. А Горький стоял в дверях, смеялся, откровенно и весело так смеялся, потом как-то особенно задушевно сказал:

— Хороший человек был Владимир Ленин. Мало таких людей жило на земле.— И из слова «хороший» выкатились увесистые, круглые, как бублики, «о».

Два часа продолжалась встреча. Два часа и пять минут — точно засекли для себя все мы. Разумеется, мы напомнили Горькому обещание приехать к нам в Тверь, встретиться с тверскими комсомольцами, познакомиться с нашими фабриками, заводами и напомнили о его обещании взять литературное шефство над «Сменой».

— Думаете, я у вас не бывал? — ответил он. — Бывал. Тверь знаю. Хороший город. Знаю еще, что козлами вас, тверяков, именуют и что вы утверждаете, что Тверь старше Москвы. Насчет козлов-то, разумеется, я не судья, а насчет возраста Твери так оно, кажется, вроде и есть. Я ведь однажды целую зиму прожил у вас в Тверской губернии. Со своим приятелем —лаборантом, он на бумажной фабрике у купцов Кувшиновых работал. Сперва они ко мне ничего относились, в общем-то неглупые были промышленники и вроде бы будущее видели. И все-таки потом, весной, Кувшинов меня вместе с моим приятелем попросил. Не сошлись взглядами на рабочий вопрос. Ну, я на него не сержусь, не осуждаю. Каждая птица поет тем голосом, какой ей природа дала... Так-то. Еще вопросы есть?

Мы понимали, что неудобно продолжать беседу в передней. Знали и пословицу: «Не бойся гостя сидящего, бойся гостя стоящего». Морковка этой пословицы, видимо, не знала и угостила хозяина таким вопросом:

— А кто это Екатерина Павловна, которая нас в квартиру не пустила?

Горький смущенно откашлялся.

— А это, милостивая девица, моя бывшая жена, мать моего сына Максима, который со мной приехал. Вы его видели. И самый близкий для меня в Москве человек. Вы на нее не сердитесь, она хорошая, добрая, гостеприимная, только уж больно много люду ко мне сейчас ходит... Меня она бережет. Так-то.

Он пожал нам всем руку, и когда очередь дошла до Морковки, она руки ему не подала, ответила пионерским салютом,— и рука Горького повисла в воздухе.

— И всегда-то эти ваши малыши меня подводят,— смущенно сказал Алексей Максимович, даже слегка покраснев.— Никак не могу усвоить их обычай...

И еще раз повторил свое обещание приехать в Тверь.

Увы, болезнь не дала ему тогда выполнить это. Он так и не приехал и вскоре вернулся в свое Сорренто, откуда мы больше уже не получали писем.

ТАК ОТКУДА ЖЕ ШЛИ ПИСЬМА?

Вот и все, что я могу вспомнить о странной двухлетней дружбе, связавшей тверских комсомольцев с великим писателем Максимом Горьким.

С тех давних пор небольшой итальянский город Сорренто меня особенно интересовал, хотя в солнечной стране этой множество интереснейших городов, красот и архитектурных сокровищ, пользующихся гораздо большей славой.

Когда советские люди совершали первый круиз вокруг Европы и наш лайнер подошел к причалу Неаполитанской бухты, все мы настоятельно потребовали посещения Сорренто. На нескольких автобусах привезли нас в этот ослепительно белый город, красиво вписанный в яркую вечную зелень, накрытый ультрамариновым небом. Первый же встречный карабинер назвал нам улицу и даже любезно проводил до небольшого двухэтажного особняка, выглядывавшего из яркой зелени.

Владелица этого особняка, какая-то маркиза или графиня, при виде пестрой массы людей, наступающей на ее довольно скромный дом, скрылась, и пожилая служительница доложила нам, что хозяйки нет дома, а пустить нас в дом без нее она не может. Постояли, пошумели, пофотографировались у мемориальной доски и вернулись в автобусы, не очень даже ворча на негостеприимную хозяйку. Ее можно было понять: каждый пароход, прибывший из России, привозил к ней целую толпу гостей.

Но совсем недавно сбылась мечта юности, и я все-таки побывал в этом доме. На этот раз поступил хитрее. Мой старый друг, итальянский писатель и сенатор, дал мне записку к соррентийскому квестору, что переводится как полицеймейстер.

— Он человек левых убеждений, друг Советского Союза, — пояснил сенатор. — Он вам устроит. — Сенатор был настолько любезным, что даже позвонил квестору по телефону.

Полицеймейстер левых убеждений оказался действительно премилым человеком. Он созвонился с маркизой или графиней. Что он говорил ей по-итальянски, я, разумеется, не понял, но только двери дома перед нами раскрылись, и хозяйка его, немолодая женщина, хранящая, однако, следы энергичной итальянской красоты, сама вызвалась стать нашим гидом.

Из горьковских вещей в доме сохранилось две: картина, пейзаж весны, российской весны, — черная пахота, жирные борозды, грачи над ними, а вдали на фоне леса белая церковка. Все русское, русское. На втором полотне изображена была Волга где-то в ее среднем течении. Широкая, раздольная, сверкающая на солнце, а на воде — вереница плотов. Тоже Россия. Коренная Россия. Такой, какой ее знал Горький.

О ней, вероятно, он и думал, и мечтал, сидя в своем кабинете, из больших «итальянских» окон которого за пальмами виделось синее-синее море, накрытое ультрамариновым небом.

Остальные комнаты не показали. Хозяйка, смущаясь, сообщила мне, что они сданы американским туристам и она не имеет права в них входить. Да они, эти остальные комнаты, и не были мне интересны. Меня интересовал лишь кабинет, где писались те самые письма, что приходили когда-то к нам в город Тверь. В этом кабинете я как-то особенно живо представил себе Горького, каким я видел его в двадцать восьмом году: в голубой рубашке, с

галстуком-самовязом из той же материи, с папиросой в руке, сидит и читает письма. Читает, задумывается, что-то прикидывает в уме А может быть, наклоняется к столу над какой-нибудь рукописью, а может быть... Может, быть, пишет письмо. Письмо из Сорренто. Письмо тверским комсомольцам, в мои родные края

Я до сих пор благодарен квестору левых убеждений и милой смуглой графине или маркизе за то, что они позволили мне уже теперь, в сегодняшние мои дни, постоять у окна бывшего горьковского кабинета и воссоздать для себя эту дорогую картину.

НЕ БЫЛ, А ЕСТЬ!..

По широкой обшарпанной лестнице, ведущей па второй этаж неуютного, царской постройки, казенного здания, к двери, на которой висела не очень аккуратно написанная вывеска «Тверской губернский комитет РКСМ», поднимался тощий длинный парнишка с пачкой книг и тетрадей, заткнутой за пояс. Он нерешительно потоптался у двери, робко приотворил ее. В большой прокуренной комнате, за одним из разнокалиберных, беспорядочно расставленных столов, круглоликая девушка в красной косынке, читая какие-то бумаги, грызла яблоко, большое и румяное, как и ее щеки. Посетитель робко предстал перед ней и стал сбивчиво излагать, что он юнкор, что несколько его заметок уже напечатаны в «Тверской правде» и что теперь вот им написан очерк на интереснейшую молодежную тему.

— Так тебе что? — спросила девушка, оторвав глаза от бумаг.

— Мне редакцию «Путь молодежи».

— Там,— был ответ, и рука, державшая наполовину съеденное яблоко, указала на дверь, из-за которой доносился молодой голос, ласково, распевно читавший стихи.

За второй дверью бродили все те же сизые клубы табачного дыма. Так же тесно толпились столы. На них сидели какие-то парни, девушки, и один из них, ясноглазый, чубатый, с живым, подвижным лицом, озорным мальчишеским голосом читал, округло размахивая рукой:

...Моя родимая, сосновая,
Вот эта — наша быль.
Поют по-новому, по-новому
Дорожные столбы.

Все те же серенькие тучи
И серых изб кольцо,
Но ветер молодой и жгучий
В мужицкое лицо...

Слушали, дымя папиросами, серьезно, будто доклад. Заметив вошедшего, чубатый, приостановив чтение, через головы слушающих вдруг спросил его:

— Ну как? Нравится?

— Нравится,— ответил тот, заливаясь краской.

— Знаешь, чьи стихи?

— Н-н-н-ет... Есенина?

Воцарилось неловкое молчание. Губкомольцы с осуждением, с насмешкой смотрели на невежду. Но читавший вдруг рассмеялся, да так заливисто, заразительно, как смеются лишь добрые люди, обладающие крепким душевным здоровьем. Против этого смеха нельзя было устоять. Скупо заулыбались важные губкомольцы, и даже вновь пришедший, уже успевший понять, что он сморозил чепуху, отчего лицо его приняло свекольный оттенок, тоже поддался обаянию этого смеха. Вытирая слезы, выступившие на глазах, и все еще лучась улыбочками, вихрастый снисходительно сказал:

— Чудило — это же я написал. Мои стихи... А ты, между прочим, парень, к кому?

— Мне бы редактора «Пути молодежи».

— Это тоже я,— сказал поэт, садясь за стол, на котором только что сидел, и с шутливой подчеркнутостью отрекомендовался: — Редактор Рябов Иван, все, как ты заметил, зовут Ванька. Тебе тоже разрешается.— И показал на заваленный бумагами, гранками стол: — А это — моя редакция. Садись. Стихи принес?

— Нет, очерк.

— Очерк — это хорошо. Давай сюда. А то завалили стихами. Впрочем, удивляться не приходится, стихи в твоем, брат, возрасте — проявление не столько литературное, сколько физиологическое... Понял? Эге, я вижу, ты смекалистый... Ну, посиди, а я прочту твою опусину. С очерками у меня как раз зарез...

Мы были знакомы с Иваном Рябовым больше тридцати лет, работали вместе в юношеской газете «Смена», частенько встречались потом у нас на родине, в Твери, именуемой теперь Калинином, и многие годы, сотрудничая после войны в редакции «Правды», жили в одном доме. Он стал известным, получил всеобщее признание как один из лучших очеркистов страны, потолстел, изме-

нился внешне. Но для меня он на всю жизнь остался тем складным, чубатым, ясноглазым пареньком, с живым, подвижным лицом, могущим мгновенно менять свое выражение, с лицом, на котором, однако, всегда жила то скрытая, то явная, но какая-то неугасимая, неиссякаемая улыбка, — словом, таким, каким я увидел его в первый раз, когда он принял из моих рук мой первый очерк, к слову сказать, тут же, на месте, им и забракованный.

Это был русский человек, с душой богатой и необыкновенно щедрой. Это был добрый человек. Но его доброта не имела и оттенка показного добрячества. Наоборот, с юношеских лет, с тех пор, как мы видели его редактором сначала вкладки «Путь молодежи», появлявшейся по субботам во «взрослой» «Тверской правде», а затем заместителем редактора боевой, инициативной «Смены», он зарекомендовал себя человеком прямым, резким в суждениях, склонным скорее к сатире, чем к юмору. Никто лучше его не умел у нас в глаза автору разбранить халтурную рукопись, сказать человеку, совершившему неблаговидный поступок, все, что он по этому поводу думает, и сказать самыми резкими словами. Но за этой его непримиримостью всегда чувствовалось желание помочь человеку, исправить его, очистить его душу от накипи и дряни. Заблудившегося он готов был терпеливо выводить на дорогу, падающего никогда не толкал.

Это был литератор, как говорится, «милостью божией», литератор каждой клеткой своего существа, каждым уголком и закоулком души. И хотя стихи свои он печатал лишь в юности, а потом никогда не переиздавал, он оставался поэтом до конца своих дней.

Тверская комсомольская газета «Смена», родившаяся в конце двадцатых годов, возникла при его горячем участии. Это была самая демократическая редакция, какую только можно себе представить, и в центре ее неизменно стоял живой, ясноглазый юноша с озорными глазами — Ваня, как звали его все, от редактора до пожилой курьерши тети Елены, самого положительного персонажа редакции.

Работал тогда Рябов весело, со вкусом, без всякого напряжения. Под шум, смех, под рассказы веселых историй, под все, что обобщалось популярным в те дни словечком «балдеж», он мог написать передовую на какую-нибудь весьма непоэтическую, но важную тему, как, например, участие комсомольцев в яйцезаготовках. Пишет, весь уйдет в дело, бормоча какие-то слова. Острые,

размашистые буквы, тесно лепясь одна к другой, ложатся на бумагу, и вдруг, когда «балдеж» достиг кульминационной точки и все позабыли о рождающейся передовой, в комнате раздается громкий певучий голос:

...Вы помните, вы все, конечно, помните.
Стояли вы, приблизившись к стене...

Настает тишина. Все удивленно оглядываются. Рябов стоит веселый, озорной, лукаво посмеивается. Потом, будто поймав что-то, что ускользало, не давалось ему, быстро склоняется над столом и, точно стараясь поскорее пригвоздить к листу это недающееся, ускользающее, снова яростно пишет, позабыв обо всем и вся.

Читал он много. Стихами был просто перенасыщен, и они прорывались у него порой без всякого видимого повода, даже посреди делового разговора и так вот, во время работы. Любил и Пушкина, и Некрасова, и Тютчева, и Фета, и Маяковского, и Тихонова, и Багрицкого. Множество знал наизусть, легко приводил на память целые стихотворения. Но больше всего, как мне кажется, в ту пору любил он Есенина, его деревенские стихи, хотя всячески это отрицал и очень сердился, когда кто-нибудь говорил ему об этом. Но увлекался он не «Москвой кабацкой» и не «Исповедью хулигана», которые тогда кружили немало неустойчивых молодых голов. Он любил лучшее, что было в стихах прекрасного русского поэта,— богатство его языка, силу его слова, насыщенность образов, его ощущение мира сельского труженика, стоявшего тогда на распутье двух дорог, из которых одна была веками обкатанная, с глубокими, трудными колеями, полными вязкой грязи, а другая — большая, широкая, но еще не изведанная, неведомо что сулящая и что таящая за горизонтом.

И в юношеских стихах Рябова, написанных когда он был еще избачом маленького сельского клуба в деревне Селищи, говорилось:

Тяжело мне под этой крышей —
Мне, видавшему много крыш.
Только ветер сердитый колышет
Над деревней осеннюю тишь.
И в угрюмый, холодный вечер
Я грущу одиноко о том,
Что, как встарь, похвалиться нечем
Мне тобою, отцовский дом.
Но я знаю, и слышит каждый
Вот из этих поникших изб,
Как по-новому мается жаждой
Вековая крестьянская жизнь.

Быть еще и засухам, и ливням,
Но взрастет полнокровная новь
В перепутанных жнивьях
Миллионов мужицких голов...

Этих своих юношеских стихов, изданных в 1927 году в Твери, Рябов потом стеснялся и, вероятно, не разрешил бы цитировать их, если бы перед публикацией мог прочесть эти мои строки. Но, думается мне, нельзя представить себе этого большого советского публициста во весь рост, если обойти первые его произведения, написанные в ранней юности, когда он селькорствовал, был избачом, секретарем волисполкома, организатором одной из первых в Тверской губернии сельских комсомольских ячеек.

Думается, что именно в те уже далекие теперь дни навсегда и определился в нем интерес к жизни сельских тружеников, возникла любовь к родной, скромной, милой верхневолжской природе, появилось умение ценить слово — чистое, звонкое, точное русское слово. Все это он пронес через жизнь в журналистике и литературе.

Вскоре он уехал из Твери в Москву, но — и это кажется мне характерным — никем в родных краях не был забыт. Все, даже те, кто приходил в тверские редакции уже позже, когда его не было, считали Рябова своим, гордились успехами земляка и по-прежнему называли его не по фамилии, не Иван Афанасьевич, а Ваня...

Ваня! Это как-то очень к нему шло и будто даже определяло его душевные качества.

Но и он, работая в столичных газетах и журналах, набирая силы, приобретая литературное имя, оставался прежним, юношески пылким, чутким, жизнелюбом, жадным до всего нового, с восторгом относившимся ко всем проявлениям истинной новизны и со столь же горячей ненавистью к пошлости, к глупости, к узкому мещанскому мышлению в искусстве, в литературе, в быту, к приспособленцам, к лакировщикам действительности, к тем литераторам, что действовали по принципу «чего изволите».

Помнится, в конце тридцатых годов встретились мы с ним на узловой станции Лихославль. Он возвращался из города Торжок, а я ехал туда, чтобы написать о молоденькой колхознице, ошеломившей в ту осень всю нашу льноводческую область обещанием взять тонну волокна с гектара. Я подошел к билетной кассе и вдруг слышу — из человеческой толчеи доносится знакомый заразительный, заливистый смех. Рябов! Ну, так и есть. Он стоит, показывая каким-то военным, как оказалось, случайным

попутчикам, небольшую бумагу, и хохочет, заливается, заставляя улыбаться окружающих.

Не виделись мы с ним лет пять. Очень обрадовавшись, бросился я к нему. Едва взглянув, он скороговоркой пробормотал:

— А, это ты?.. Здравствуй! Куда едешь?

И, не слушая ответа, показал мне бумагу.

— ...Нет, ты прочти, прочти, какие объявления развешивают у вас тут, в богоспасаемом городе Торжке. Вот, собственноручно со столба отлепил... Уникум!

Это был рукописный плакат. Некая артель «1 Мая» извещала, что она с началом учебного года начинает валку теплой детской обуви... «из шерсти родителей».

— Ты смотри, смотри, что они там объявляют!

И снова звенит его милый, звонкий, заразительный смех, и снова все вокруг, даже те, кто и подозревать не может, о чем идет речь, глядя на этого уже полнеющего человека со шляпой на затылке, с толстым, тяжелым портфелем, который он прижимает к животу, как ребенка, невольно улыбаются.

— Да мы, кажется, еще и не поздоровались...— спохватился он.— Ну, извини. Здравствуй. Так зачем и куда едешь?

Я стал рассказывать. Он слушал будто рассеянно, думая о чем-то другом. Потом выхватил из кармана бумажник, стал быстро пересчитывать деньги. Их оказалось не много. Он огорчился:

— Жаль, не хватит... Знаешь, а ведь это здорово интересно, насчет этой льноводной девицы. Вот молодец! Надо бы и мне поехать... А, была не была. Дам телеграмму в редакцию,— может, пришлют...

И он отправился обратно, в тот самый новоторжский колхоз, где произошло знаменательное событие. Известный московский журналист снова имел возможность поразить своего провинциального коллегу дотошностью, жадностью до всего нового, интересом, любовью к людям.

По природе творчества, в отличие от меня, он не был репортером. Его интересовал не сам факт — тонна волокна с гектара. Его интересовала психология подвига, интересовало, как семнадцатилетняя девушка, ничем до той поры не примечательная, пришла к государственной мысли, что лен лучше «не размазывать» по посевным площадям, а, сосредоточив силы, удобрения, машины на площадях меньших, суметь взять больше волокна и лучшего качества. Пока я бродил по полям, он беседовал с герои-

ней, с ее матерью, дедом и пришел в неописуемый восторг, узнав, что этот самый дед «еще при царе Николашке Кровавом» на узенькой полоске тощей тверской земли брал столько, что и в современном пересчете звучало солидно: тонна с гектара.

— ...Нельзя быть иванами, не помнящими родства. Русский мужик искони был талантлив, необыкновенно талантлив, умен, самобытен. Только не поддерживали в нем этого горения, и гас огонь, развеивался у кабацкой стойки...

Был прохладный сентябрь. На ночлег мы с Рябовым устроились в сарае, набитом неистово пахнущим луговым сеном. Мелкий дождь шелестел по драночной крыше. Где-то рядом, в сене, спал тот самый дед, который только что своим «государственным разумением» умилил моего друга. А Рябов не спал, все ворочался. Шуршало сено.

— Боже ж ты мой, как безмерно талантлив русский человек... Не спишь? Знаешь, у Глеба Успенского...

Дальше было импровизировано блестящее эссе об Успенском, которого Иван Афанасьевич чтил больше всех дореволюционных публицистов и которому впоследствии посвятил серьезный труд.

Рябову были одинаково противны как стремления обеднить и принизить богатое великими делами, открытиями и изобретениями прошлое народов России, так в одинаковой степени бытовавшее в ту пору поветрие, выражающееся в желании доказать, что все хорошее и ценное, что сделало человечество в науке, в технике, родилось именно у нас. Этого проявления комчванства, которое Рябов именовал советским зазнайством, он тоже терпеть не мог.

Однажды в редакции некий не в меру экзальтированный литератор пустился при Рябове с обычным для себя преувеличенным пылом обосновывать одно такое сомнительное утверждение. Рябов стоял, переминаясь с ноги на ногу, с отсутствующим видом. Вдруг лицо его стало подчеркнуто серьезным.

— Правильно,— сказал он,— а ведь и рентгеновские лучи открыл вовсе не Вильгельм Конрад Рентген, а владимирский иерей Феофан Благовещенский... Да, да. Что думаете! В пятнадцатом веке. И это легко доказать.— Рябов говорил серьезно, даже сердито. Не отвечая на удивленные взгляды, он продолжал: — Вот вы не знаете, а в так называемом Троицком списке русских летописей значится, что однажды на масленице оный иерей в сердцах сказал своей попадье: «Я тебя, стерва худая,

насквозь вижу». Видите — уже видел насквозь! До Рентгена.— И, обращаясь к рассказчику, посоветовал: — Можете написать об этом еще одну статью. Диссертацию защитить. А что?

И, не дождавшись, пока с лиц слушателей сойдет удивление, повернулся и вышел.

Большой книгочий и книголюб, отдававший все свободное время этой благородной страсти, Рябов как никто знал историю русской публицистики от Радищева, Добролюбова, Белинского до Короленко, Глеба Успенского. Об Успенском он написал книгу. Это плод раздумий самого Рябова о журналистике, о месте литератора в жизни, о силе слова в борьбе нового со старым, прогрессивного с реакционным, о великом значении публицистики в воспитании душ человеческих.

Рябов не только восторгался Успенским. Он старался следовать его примеру. Он стремился всегда быть среди своих будущих героев. Неутомимо разъезжал он с корреспондентским билетом «Правды» по своим любимым областям Центральной России, и лучшие его очерки, корреспонденции, фельетоны, как это легко установить, даже просто перечитывая их теперь, возникали именно в дни его живого общения с действительностью. Зато когда в последние годы переутомленное сердце шалило и болезнь, как он с горечью выражался, пришпиливала его к стулу, он был сам не свой. Ходил мрачный, сердитый, точно ему, привыкшему дышать полной грудью, не хватало воздуха. Писать же по готовым фактам, разговаривать о том, о чем только слышал, он просто не мог.

Однажды у нас зашла речь об одной редакции, где существовала даже специальная должность — сборщик фактов. Некто собирал интересные факты и данные для выступления какого-нибудь писателя-белоручки.

— Гадость, гадость,— сердился Рябов.— И как это можно витийствовать на основе фактов, собранных кем-то другим, ведь истинная публицистика и начинается при соприкосновении с жизнью.

В досаде он плюнул на пол и сказал гадливо:

— Терпеть не могу консервы. Кусок самого скверного мяса, мослак какой-нибудь в сто раз милей, чем роскошные консервы, приправленные лавровым листочком.

Журналистов-лакировщиков, любивших к тому же «приправлять факты лавровым листочком», просто не переносил. Об одном писателе, весьма в те годы преуспевавшем, отмечавшемся из года в год наградами, он сказал:

— Если положить его тома под типографский пресс, из них вытечет уйма сладкого сиропа. И останутся одни переплеты... Брр! Наверное, по ночам несчастный кричит в страхе, когда его обступают картонные, покрытые розовым лаком герои... Жуткое дело!

Сам он умел видеть людей такими, какие они есть, без прикрас, с их достоинствами и недостатками, со светлыми и темными сторонами характера, видеть в движении, в борении, в совершенствовании. Именно поэтому победа нового в его очерке ощутима, убедительна, а разоблачение старого, с каким бы сарказмом, с какой бы злостью он его ни производил, никогда не было мрачным делом, и сам он не выглядел при этом ни ура-энтузиастом, ни брюзгой. Он оставался самим собой, Иваном Рябовым, хорошим советским человеком, с живой, умной искрой в глазах, умеющим наблюдать жизнь, слышать, как бьется пульс его великого народа.

Весьма обширное литературное наследство И. А. Рябова, к сожалению, издано лишь в незначительной степени. Это — множество фельетонов, очерков, рецензий, литературоведческих статей, которые старшее поколение советских читателей знает и помнит по газетам. Перечитываешь эти густо населенные героями, хранящие массу описаний, полные живой, яркой мысли произведения и задумываешься: кто же он был, Рябов? Фельетонист? Да. Очеркист? Да, конечно. Литературный критик? Несомненно. Автор многих правдинских передовых, которые, как известно, не подписываются? Говорят, что да. Говорят, что именно ему принадлежат многие яркие, взволнованные, окрыленные высокой идейностью, согретые живым теплом патриотической мысли, передовые статьи. И все-таки, выступая во множестве литературных ипостасей, в лучших своих работах Рябов оставался поэтом, человеком, влюбленным в слово, в образ, в музыкально звучащую фразу.

Именно поэтому, когда он бывал, говоря спортивным языком, «в форме», все выходившее из-под его пера было красиво, доходило не только до ума, но обязательно трогало и сердца читателей. И прежний комсомольский пыл, который когда-то, в дни нашей юности, так привлекал к нему, не потух в нем до последних дней. За обликом немолодого, грузноватого, больного человека с огромной лысиной и мягким лицом всегда виделся вихрасный, стремительный парнишка с веселыми чертиками, продолжавшими жить в нестареющих, ясных глазах.

Он почему-то не любил, когда его называли писателем.

— Какой я писатель? Я журналист,— сердито буркал он.— Журналист, большевистский журналист!.. Что может быть лучше?

Это не было стремлением порисоваться. Он верил в это, считал нашу профессию важной и просто взрывался, когда какой-нибудь литературный юнец с билетом Союза писателей отзывался о журналистике с пренебрежением.

Однажды по пути из «Правды» я обогнал его на улице. Он сердито шагал в обнимку со своим портфелем.

— Здорóво, здорóво,— торопливо обронил он в ответ на приветствие и замолчал, по-видимому, чем-то раздосадованный.

В такую минуту его было опасно трогать. Так и шли молча. Но уже у ворот его вдруг прорвало:

— Этот...— Тут рядом с именем собственным он употребил энергичный, но совершенно не предназначенный для женского и детского слуха эпитет.— Этот сухой идиот спросил у меня сейчас: как мне «не надоест мотаться в газете?». Мотаться в газете! А? Да все его дохлое собрание сочинений на иной номер газеты не поменяю... Ты только подумай — он там работает, а мы с тобой мотаемся.

Равнодушный к наградам, ко всяким внешним выражениям почета, Иван Рябов не скрывая гордился тем, что он старый правдист, и показывал пример, как надо носить это славное звание. При этом он был необыкновенно скромен, никого не поучал и, как его ни упрашивали, отказывался читать лекции по журналистике. Но в его докладах на семинарах и даже в простых выступлениях на редакционных летучках столько интересных мыслей о печатном слове, о журналистской профессии, что если бы их систематизировать, они могли бы оказать добрую помощь начинающей литературной молодежи.

Его друг, правдист Юрий Лукин, готовясь к докладу о творчестве Рябова, извлек некоторые его суждения о профессии из старых стенограмм.

Говоря о радости быть большевистским журналистом Рябов восклицал: «Газета — зеркало жизни. Ценно уже это одно ее качество. Но газета не только отражает то, что уже вошло в жизнь, стало явью, реальностью. Газета выступает в качестве организатора нового в жизни. Она смотрит вперед и выше, ей присущ полет мысли, у нее есть крылья мечты, недаром она стала такой привлека-

тельной силой для энтузиастов и романтиков нового века в деревне».

«...У нас есть силы, энергия, желание работать. У нас есть все возможности для работы, предоставленные литераторам нашим великим и великодушным народом, столь любящим и ценящим литературу».

И дальше, верный своей поэтической манере, Рябов говорит: «У каждого человека от природы есть внутри тонкая чудодейственная пружина. Когда ее заведут, зарядят, она двигает человека к великим целям. Но если она долго остается без употребления и ее не заряжать, она ржавеет и тогда только напрасно бременит человека. И заряжать ее должен сам носитель».

Сколько раз все мы, знавшие Рябова, слышали от него двустишье Ибсена, которое он цитировал еще когда-то, в сменовские времена:

...Того позабудет завтрашний день,
Кто сам о сегодняшнем дне забывает.

Его последняя, напечатанная незадолго до смерти, статья, посвященная новой книге молодого поэта, так и называется «Приметы времени». Многозначительное двустишье Ибсена я процитировал по ней.

Но, сделав современника и современность главной темой своей литературной деятельности, обладая счастливым даром замечать новые явления в момент их зарождения, радуясь всему новому, Рябов презирал тех коллег, которые, спекулируя на современном звучании темы, несли читателю всяческие недопеченные скороспелки. В редакции одного журнала мне привелось стать свидетелем такого многозначительного диалога. Рябову предлагали написать рецензию на одну такую ультрасовременную книгу, весьма в ту пору поднимаемую и окуриваемую критикой.

На мгновение брови Рябова сердито сошлись, но потом в глазах вспыхнули лукавые огоньки.

— Рецензию? Нет, я напишу фельетон. Ладно? Фельетон о литераторе, старающемся современность заменить сиюсекундностью. Идет?

Мысль эта ему, видимо, очень понравилась. Раздался задорный тонкий смешок, отразившийся не только в глазах, но и в каждой морщинке лица.

— Ох, соленый будет фельетон о человеке, который, позабыв о том, что на свете есть самый внимательный

советский читатель, забыв о реальной жизни, как Бобчинский или Добчинский, стремится лишь первым сказать «э».

И, развивая эту мысль, которую вынашивал с юношеских лет, он в зрелые годы говорил: «Искать жизнь — это в первую очередь искать и находить людей, творящих эту жизнь, преобразующих свое бытие. Надо искать и находить людей, олицетворяющих наш народ, выражающих в своей личности, в своем мышлении, в своих делах и подвигах генеральную линию нашего века, генеральную линию коммунистического строительства».

Людей он любил и всегда говорил, что именно в деятельности советского человека — стиль, дух его героического времени, его неповторимость, его новшества, его богатства. И он советовал, как искать и находить таких людей: «Надо брать их не по должностному признаку, не по анкетным данным, не по внешним приметам и не по рекомендациям, которые часто являются поверхностными. Очеркист, писатель должен в огромном человеческом море находить человеческие индивидуальности, расцветшие в условиях коммунистического строительства. И черты этой человеческой индивидуальности, черты советского человека вводить в мир газеты, делать их достоянием литературы»...

Перечитываешь его очерки, фельетоны, корреспонденции разных лет, и перед тобой проходит в образах, в портретах, в живых зарисовках история нашей страны, вереница тружеников, строящих социализм, готовящих себя к построению коммунизма. Глубокая человечность рябовского творчества сделала лучшие из его литературных миниатюр нестареющими, они с интересом читаются и сегодня, сохраняя свое боевое звучание на завтра, и на послезавтра, и, может быть, на многие годы.

Завтрашний для Рябова день не забывает того, кто так сердечно, проникновенно, умно писал о дне вчерашнем и позавчерашнем. Вот почему, вероятно, всем, кто знал Ивана Афанасьевича, Ваню, так трудно говорить о нем в прошедшем времени.

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ

Все, что произошло сегодня, 18 ноября 1955 года, похоже на странный сон. И если бы сейчас не горела в углу долговязая лампа, если бы в приподнятую металлическую

оконную раму вместе с ночной прохладой ветер не задувал неумолкающий шум Нью-Йорка, ей-богу, можно было бы подумать, что все, что я собираюсь сейчас описать, привиделось в странном сне.

Мы были в гостях у Этель Лилиан Войнич. Ну да, у Войнич, автора романа «Овод». Я знаю, что это сообщение звучит приблизительно так же, как если бы я сказал: «Знаете, я сегодня завтракал в аптеке на уголке с Владимиром Галактионовичем Короленко», или: «Я встретился на Парк-авеню с Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным». Но тем не менее это так. Мы с ней виделись, и сейчас я постараюсь подробнейшим образом описать обстоятельства этой встречи, а также и все предшествующее ей...

Когда-то, когда мне было лет двенадцать, мать дала мне книжку в желтеньком, как сейчас помню, переплете.

— Прочти, вот любимая книжка твоего отца,— сказала она.

Это у нас в доме было мерилом самых высоких литературных качеств. Помнится, были какие-то ребячьи дела, помнится, что сел я за книжку с неохотой, но прочел несколько страниц — и потом два дня не мог оторваться. С тех пор бесстрашный, благородный, злой Овод стал моим другом на всю жизнь. Даже первые заметки в «Тверской правде», которые я писал еще шестиклассником, были самонадеянно подписаны: «Б. Овод». Потом я не раз перечитывал этот роман, видел поставленные по нему фильмы, и черно-белый и цветной, видел в разных театрах инсценировки «Овода». И каждый раз к прежнему впечатлению добавлялось что-нибудь не замеченное прежде. Это одна из тех счастливых книг, которые можно читать много раз, извлекая еще что-то новое, соответствующее возрасту, жизненному опыту, настроению.

Автор же книги рисовался мне романтическим мужчиной, этакой помесью Байрона со Степняком-Кравчинским, давно погибшим в какой-нибудь революционной схватке при защите баррикад.

И вдруг советский критик Евгения Таратута в статье, напечатанной в «Огоньке», сообщает, что Э. Войнич — англичанка Этель Лилиан Буль, жившая в давние годы в России, участвовавшая в борьбе русской революционной интеллигенции, друг народовольца С. Кравчинского, жена другого народовольца — М. Войнича, отважного человека, бежавшего с царской каторги, бывшего в Лондоне одним из организаторов помощи российским политическим эми-

грантам и знаменитого фонда Вольной русской прессы. С портрета, воспроизведенного в «Огоньке», по-видимому со старинной фотографии, смотрела девушка с нежным, но смелым, волевым лицом.

Эту статью все читали с интересом. А прилетев в Нью-Йорк, мы вдруг узнали от советского сотрудника ООН Петра Павловича Борисова совсем уже потрясающую новость: Лилиан Войнич жива, она здесь, в этом городе, и он, Борисов, даже бывал у нее.

С этого дня, путешествуя по Америке, мы не забывали, что где-то впереди нас ожидает визит к автору «Овода», и сама возможность такого визита вопреки всему казалась все-таки чем-то несбыточным, почти фантастическим.

И вот сегодня в семь утра в мой номер постучал П. П. Борисов. Мы договорились быть у писательницы в восемь тридцать, но Петр Павлович зашел раньше, чтобы рассказать, как ему удалось сделать это свое удивительное открытие.

Он давно уже говорил по-английски, но свое пребывание здесь решил использовать, чтобы глубже изучить язык. Жена одного из членов английской делегации в ООН, почтенная леди, училась в свою очередь русскому языку. Они договорились заниматься вместе, на паритетных началах, по очереди читая и разговаривая то на одном, то на другом языке. На один из таких уроков Петр Павлович захватил «Огонек» со статьей об авторе «Овода». Урок и был начат с чтения этой статьи. Первые же фразы заинтересовали англичанку. Она пожелала дочитать статью до конца. В этот день английским не занимались, а читали по-русски и говорили о судьбе Лилиан Войнич.

— Если ее девичья фамилия Буль, если она действительно дочь великого математика и племянница знаменитого полковника Эвереста, именем которого названа высочайшая вершина Гималаев, я о ней слышала,— задумчиво наморщив лоб, сказала англичанка, напрягая память.— Больше того: мне кажется, она должна быть где-то здесь, в Штатах, возможно, в Нью-Йорке. Неужели ее творчество у вас популярно? А ведь мы его почти не знаем.

Леди оказалась энергичным человеком.

— Знаете, все это меня заинтересовало, я должна ее разыскать,— сказала она, прощаясь.

Она обратилась в сыскное бюро, к частному детективу,

и на следующем занятии Петру Павловичу был вручен адрес: «Этель Лилиан Войнич, Нью-Йорк, 450 Вест, 24-я улица, квартира 17-ф».

— ...На другой день я поднимался на семнадцатый этаж большого старого доходного дома,— рассказывает Петр Павлович.— Дрожащей рукой постучал в дверь. Мне отперла мис Энн Нил, как оказалось, компаньонка писательницы. Компаньонка — это слово из их прошлого. Теперь Нил библиотечный работник. Они обе живут на ее маленький заработок. Я сказал мисс Нил, кто я и зачем пришел, и она тоже поразилась, узнав, что книга ее подруги пользуется такой популярностью. Она даже просила не сразу сообщить об этом миссис Войнич, чтобы не взволновать ее.

С тех пор Петр Павлович стал частым гостем в маленькой квартирке на семнадцатом этаже. Войнич девяносто один год. Для своего возраста она чувствует себя на редкость бодро. У нее хорошая память, но она быстро устает, и поэтому разговор с ней приходится вести понемногу. Удивительно, как престарелая писательница помнит и любит Россию. Вместе с уважением к русскому народу, в борьбе которого она участвовала совсем юной девушкой, она сохранила знание русского языка и интерес к русской культуре. В один из последних визитов Петр Павлович пришел к ней вместе с женой и дочерью Ириной. Писательница была растрогана. Она долго смотрела на румяную, коренастую девочку, конфузливо сидевшую на старом диване, и подарила ей книгу, предварительно написав на титульном листе:

«Дорогая Ирина! Ты единственный советский ребенок, которого я встретила, и это сделало радостным и незабываемым день, когда ты навестила меня вместе со своими родителями. Пусть же все дети твоей страны, которую я посетила много лет назад, живут в мире всего мира.

Э. Войнич

22 октября 1955 года»

Книга здесь, Петр Павлович показывает ее. Почерк ровный, твердый, с ятями и твердыми знаками. Тем временем мои товарищи по путешествию — шестеро советских журналистов — собрались у меня в номере. Все необычайно торжественны, непривычно молчаливы. Книга с дарственной надписью Войнич переходит из рук в руки.

Долго едем в такси.

Нарядный Нью-Йорк со своими щеголеватыми, точно бы накрахмаленными, небоскребами давно остался позади, и мимо машины проносятся мрачные, закоптелые стриты и авеню, где дома не так уж высоки, зато густо закопчены, унылы. Здесь уже никто, по-видимому, не озабочен ни чистотой, ни архитектурой. Острый, холодный ветер гоняет по тротуарам бумажный мусор и треплет полы наших плащей. Машин почти не видно, спешащие на работу прохожие бегут, подняв воротники, кутая шеи шарфами.

Рано. Мы первые посетители крохотного цветочного магазинчика, где, впрочем, можно купить и всяческие хозяйственные вещи, предметы гигиены. Выбор небольшой, но цветы хорошие, свежие, будто только что с клумбы, еще покрыты холодной росой.

Выбираем нежно-розовые хризантемы. И торопливо шагаем по совсем уже опустевшим улицам, с которых схлынул поток спешащих па работу. Торопимся: госпоже Энн Нил тоже скоро нужно идти в свою библиотеку, а уходя, она, по ее словам, вынуждена запирать престарелую подругу на ключ, чтобы кто-нибудь ненароком не забрался в квартиру.

Ага, вот и двадцать четвертая улица, узкая, длинная, скучная, как старый, неумело рассказанный анекдот. Вот и дом — огромная кирпичная коробка, закопченная, как будка паровозного машиниста. Лифт, покряхтывая и поскрипывая, поднимает нас на семнадцатый этаж. Звоним. Дверь открывает маленькая пожилая быстрая женщина в очках.

— Энн Нил,— деловито рекомендуется она и подает твердую, холодную руку.

У нее вид одной из тех тружениц, которые всю жизнь работают незаметно, старательно, не рассчитывая ни на славу, ни на благодарность, ни на признание окружающих, ни даже на повышение заработка. Скромно делают свое дело — и все.

— Входите, входите, мы вас ждем. Госпожа Войнич сейчас к вам выйдет. Прошу сюда.

Небольшая комната. Очень старая, потертая мебель. Единственное украшение — цветы: ухоженные, вымытые, политые, они весело зеленеют у единственного окна. Из него видна закопченная стена дома напротив, оплетенно-

го по фасаду ржавой паутиной пожарных лестниц. Над диваном рисунок пастелью: старая женщина с энергичным лицом. На противоположной стене портрет: юноша в черном бархатном берете стоит, небрежно опершись локтем о какой-то парапет. Фон, которым является неясно прорисованный итальянский пейзаж, руки юноши — все это не тщательно выписано. Зато внимание захватывает худое, аскетического склада, задумчивое, волевое и очень печальное лицо. Лицо человека, фанатически преданного своему делу.

— Тут изображена госпожа Войнич,— говорит мисс Нил, показывая на пастель.— А это... Нет, об этом портрете вы лучше узнаете от нее сами.

Мисс Нил с улыбкой смотрит на нас, и чувствуется, что этой маленькой женщине приятно заинтересовать и озадачить семерых иностранных журналистов.

— Это правда, что в вашей стране роман госпожи Войнич так популярен, как говорил нам наш друг господин Борисов? — спрашивает она полушепотом, оглядываясь на дверь.— Для нее это так неожиданно. Ведь уже сколько лет никто, совсем никто...

Она, к счастью, не успевает закончить фразу, так как дверь открывается и появляется седая женщина в свободном светлом платье. И хотя она идет медленно, опираясь на палку, фигура у нее прямая. Старческие руки будто обтянуты пергаментом, но лицо и особенно глаза сохранили живость, и, если судить по ним, никак не скажешь, что перед нами друг Степняка-Кравчинского, человек, помнящий Салтыкова-Щедрина, знакомый с Плехановым и Верой Засулич.

— Здравствуйте, господа,— произносит она и при этом так чисто и так хорошо выговаривает эти слова по-русски, что становится ясным: Борисов не преувеличивал, она не только знает, но и помнит наш язык.— Здравствуйте... Садитесь... Мне очень... приятно... вас видеть.

Говоря, она как бы прислушивается к самой себе, и кажется, что слова, которые она так хорошо выговаривает, приходят к ней откуда-то издалека.

Она садится на свое любимое место, в уголок дивана, у столика, ласково смотрит на Петра Павловича.

— Когда вот он сказал мне... меня хотят видеть журналисты... русские... я не знала, верить, не верить. Странно... меня помнят в России... Очень странно.

Мы галдим, как потревоженный пчелиный рой:

— Как это можно не помнить автора «Овода»!.. Ваша книжка у нас одна из любимых... Ее читали великие наши революционеры... «Овод»!! Девяносто изданий, на сорока девяти языках народов СССР. Два фильма... Пьеса идет уже несколько лет подряд... Опера... Написана музыка!

Смотришь на писательницу и не понимаешь, то ли она слышит, то ли нет, то ли верит нам, то ли думает, что перед ней странные какие-то люди, которые невесть зачем говорят ей приятные и совершенно неправдоподобные вещи.

— Россия... Какая она... Россия... сейчас?

Мисс Нил принесла маленькую книжку в знакомой мне желтой обложке. Универсальная библиотека, издательство «Польза», 1912 год, Москва — С.-Петербург. Писательница берет эту книжку, с задумчивой улыбкой смотрит на нее.

— Это... русское издание... Других не знаю.

Вот судьба! Быть одним из самых известных писателей в Советском Союзе и во всем социалистическом мире, иметь миллионные тиражи — и не знать об этом! Думать, что ты давно позабыта, полагать, что литературная слава так же далека, как романтические годы, проведенные в России, как образы давно погибших русских революционеров, как собственная молодость... Ведь это же сюжет для нового романа!.. И вдруг, когда перевалило за девяносто лет, слава, живущая на другом конце мира, где потомки друзей ее юности созидают нечто смелое, невиданное, небывалое и все-таки мало понятное ей, слава эта неожиданно врывается в маленькую бедную квартирку на семнадцатом этаже скучного нью-йоркского дома.

По рукам идут старые фотографии, письма, документы, такие интересные, что им бы надобно лежать под стеклом на витринах музея. Вот пожелтевший снимок бородатого упрямого человека с большим шишковатым лбом. Это С. М. Кравчинский, человек бурной биографии, рассказанной им самим в романе «Андрей Кожухов». Мы знаем, что в юности, на первых революционных своих шагах, он стал жертвой поповского предательства. Тайна исповеди верующего юноши была выдана Третьему отделению, а дальше тюрьмы, ссылки, побеги, работа в подполье. Бомбы, новые побеги, скитальческая, полная борьбы жизнь. Эмиграция и снова борьба.

Степняк-Кравчинский подарил эту фотографию писательнице и на оборотной стороне надписал: «Лили Буль на память. 19 декабря 1890 года».

А вот его письмо, в котором Кравчинский, уже прославившийся на родине как романист Степняк, предсказывает юной англичанке литературное будущее: «...Ах, Лили, если бы вы знали, как хороши ваши описания природы... Вы непременно должны попробовать свои силы на писательстве...»

— Не после этого ли письма вам пришло желание попробовать свои силы в литературе?

Собеседница будто не слышит вопроса. Взгляд ее устремлен куда-то вдаль. Может быть, в эту минуту она забыла о нас, сидящих рядом на диване и за нехваткой мебели просто на полу у ее ног.

— ...Он часто бывал у нас, Кравчинский... Мы с сестрой... шутя звали его «опекун»... А почему... я и не знаю... Наверное, потому, что совсем молоденькие были, а он... со своей бородой... казался нам старым... А может быть, потому, что он помогал нам... советами... Для нас он был... герой. Когда не виделись, он писал... часто писал, давал советы в письмах... Прекрасный, честный человек... Вы, русские, кажется, все славные... люди. Я люблю... Россию...

Она смотрит на нас по очереди, будто в нас, приехавших из далекой страны, хочет уловить черты друзей юности. Говорить ей трудно. Фразы все время прерываются паузами. Мы стараемся не переутомлять ее вопросами, но в биографии Степняка-Кравчинского столько черт, схожих с Оводом, что удержаться от соблазна трудно, и Анатолий Софронов начинает издалека: как, мол, родилась у вас идея романа? Не было ли в жизни прототипов, подсказавших и образ героя, и всю историю?

Писательница снова задумывается. На лице та же улыбка, обращенная в прошлое, к людям, которых давно уже нет, к словам, которые давно отзвучали и живут только в ее памяти.

— Это... трудно сказать... как родится роман... Разве знаешь... Если бы кто-нибудь мог объяснить... Удивительные люди, масса впечатлений... юный ум... Нет, не то.

Потом лицо ее обращается туда, где висит картина, к средневековому юноше в черном берете, со скорбной складкой волевых губ. Она долго смотрит на него.

— Девушкой была в Париже... ходила по галерее Лувра... и вот портрет итальянского художника Франчабиджо... Шестнадцатый век... Он сразу понравился... Купила репродукцию, повесила над кроватью. Видите, висит... Больше семидесяти лет... Смотрите: лицо мужественное и печальное... Это Артур... Когда писала, смотрела на него... А так очень трудно... сказать, как рождается образ...

Наступает пауза. Мы сидим тише воды ниже травы. Ждем, пока собеседница отдохнет, соберется с мыслями.

Узнаем новые подробности ее биографии. Дочь крупного английского математика Джорджа Буля, племянница знаменитого полковника Эвереста, ученого-путешественника, открывателя Гималаев. Воспитанница Берлинской консерватории, которую окончила одновременно со славянским отделением университета. Она по велению сердца бросила дом и устремилась в Россию, где революционная молодежь после разгрома «Народной воли» снова пыталась сколачивать свои силы. Она ехала в далекую, неизвестную страну не как дочь знатного англичанина, а как скромная гувернантка, таящая желание связать судьбу с русской революционной молодежью. В Петербурге, поступив на службу в семью влиятельного генерала, сблизилась со студенткой-медичкой, женой народовольца, вошла в кружок русской революционной молодежи и с упоением проводила свободное время в их убогой квартирке где-то на петербургской окраине.

— И господина Кропоткина... встречала... Когда моего знакомого арестовали, я через хозяйку-генеральшу добилась разрешения... посещать арестованных... в тюрьме на Шпалерной. Знакомый был болен... Тюремная пища очень дурна... Носила ему передачи... Уголовных держали вместе с политическими. Приходилось целый час дожидаться... Очень неудобно... уголовные не всегда были добрыми людьми. Они находились здесь же.

Писательница берет у меня записную книжку и начинает рисовать, как проходил тюремный коридор, где обычно ей приходилось сидеть, ожидая свидания с арестованными, где находились уголовники.

Чувствуется, что несущественные эти подробности ей дороги и что она считает очень важным, чтобы мы представили себе расположение тюрьмы.

— Но там был хороший... старичок... тюремщик... Он меня жалел, запрещал уголовным меня обижать. Они бы-

ли... несчастные... люди. Они тоже привыкли ко мне... Мы разговаривали... Они пели мне песни...

Давнее время, бесконечно далекие дни. Будто кто шевелит страницы старых мемуаров...

В юности Лилиан увлекалась славянскими языками, переводила на английский Лермонтова, Пушкина, Шевченко. Задумала перевод Мицкевича и для совершенствования в польском языке приехала в Варшаву. Тут, по ее выражению, ей «в душу упало первое зерно любви», к человеку, который стал потом ее мужем. Как-то в воскресенье шла по Варшаве и заметила, что люди спешат куда-то.

— Партию кандальников в Сибирь ведут! — бросила ей на бегу какая-то женщина.

Юная англичанка пошла в том же направлении. Арестантов уже вывели из тюрьмы, и они стояли перед воротами посреди мостовой, ежась от холода и щурясь на ярком солнце. Печально гремели кандалы. Дыхание осаживалось на усах, на бородах, на матерчатых тюремных шапчонках белой изморозью. И тут, в этой толпе, девушка заметила высокого, совсем молодого человека в очках. Темные усики, негустая юношеская бородка, кажущаяся совершенно черной на лице, белизна которого так контрастировала с серым сукном грубого тюремного халата. Лицо юноши было такое свежее, чистое, хорошее, что взгляд молодой англичанки невольно задержался. Юный арестант тоже смотрел на нее. Они и простояли друг против друга, пока не раздались крики конвойных, и колонна, позванивая кандалами, двинулась в далекий путь.

Случилось так, что семья народовольца, с которой Лилиан Буль дружила в Петербурге, была сослана в Сибирь и там познакомилась с молодым ссыльным поляком М. Войничем. Он готовил побег. А так как царское правительство уже знало за ним немало грехов и за ним надзирали с особой бдительностью, решено было, что, бежав, он пересечет границу Монголии и постарается пробраться в Англию, в Лондон. Петербуржцы знали, что Лилиан уже вернулась на родину, и дали беглецу письмо к ней, прося на первых порах помочь ему устроиться в чужом городе.

Побег состоялся. Беглец благополучно пересек границу, попал в Монголию, а потом кружным путем добрался до Лондона. Он без труда нашел довольно известный в столице дом Булей, явился туда и, к великому своему удивлению, узнал в адресате, которому он принес

письмо, ту самую девушку, которую видел когда-то в Варшаве. Лилиан тоже опознала в нем бородатого юношу в тюремном халате. Они, пораженные, смотрели друг на друга. С этой встречи началась их дружба. Потом Лилиан Буль стала Лилиан Войнич, женою народовольца, одного из активных деятелей русской революционной эмиграции.

Давняя история, давние времена.

— А ведь я была... на похоронах Салтыкова... Щедрина,— говорит наша хозяйка, как бы перелистывая странички воспоминаний.— Да, господа, была... Много людей его... провожало. Какой-то писатель говорил... речь... Его тут же, у могилы, арестовали. И тогда все, кто был на кладбище, организовали демонстрацию. Я тоже... шла... Боже... неужели меня еще читают в России?

Мы опять возбужденно галдим о том, сколь славна и любима у нас ее книга. Она слушает, тихо покачивая головой. Взгляд устремлен в окно, а за ним — мокрая красная стена, кусок крыши. Собеседница явно устала. И все же когда она прощается, то встает и стоит, опираясь на палочку.

— До свидания... У вас еще говорят «до свидания»? «Спасибо»? Или у вас говорят, как раньше, по-французски, «мерси»?

Тихо выходим из квартиры, спускаемся вниз и останавливаемся в подъезде. Холодно. Осенний ветер гонит по тротуарам мусор, стучит оторванный железный лист о какой-то карниз.

Вот и все. Сон это или явь? Трудно даже поверить в реальность этой встречи, которая останется в памяти на всю жизнь.

...Три года назад мне пришлось подниматься на стареньком лифте на семнадцатый этаж некрасивого нью-йоркского дома, где живет автор «Овода». Что такое три года, когда человек, к которому я направляюсь, прожил почти 95 лет! И все-таки именно эти годы коренным образом изменили ее жизнь. Советский читатель ознакомился еще с двумя романами Этель Лилиан Войнич. О ней было написано немало статей. О многом я узнал из ее писем, которые, хотя и редко, приходили в Москву. Обычно под диктовку писательницы их отстукивала на машинке на английском языке Энн Нил, но в конце обязательно была собственноручная приписка Войнич, сделанная по-русски крупным, твердым, округлым почерком. И это были всегда самые интересные строки,

И все же, поднимаясь теперь, в апреле 1958 года, на семнадцатый этаж, я волновался так же, как и три года назад. Писательница продолжала оставаться для меня фигурой почти легендарной.

На этот раз спутниками моими были ветераны второй мировой войны — веселые, громогласные люди. Но и они притихли, стали говорить вполголоса, когда мы подошли к знакомому дому. И только розы, самый большой букет роз, какой нам только удалось набрать в цветочном магазине, неистово благоухали, перебивая классические кошачье-помойные ароматы, наполнявшие полутемный коридор.

Войнич вышла к нам все такая же прямая, хотя, как показалось мне, ступала она не так уж твердо. На ней было то же белое свободное платье. Такими же пытливыми были ее светлые глаза. Вообще она мало изменилась. Зато в знакомой квартирке перемены были разительными. Исчезла ветхая мебель. Ее заменила удобная, современная. Стены комнаты совсем скрылись за сплошными полками книг. Это были книги Войнич, изданные на языках народов Советского Союза, на чешском, китайском, польском, вьетнамском, на многих других языках. Книг было так много, что квартирка стала еще теснее, а юноша с портрета Франчабиджо смотрел на нас печально-встревоженными глазами из узкого прогалка меж тесно лежащими томиками.

К двери приколота кнопками афиша: опера советского композитора Спадавеккиа «Овод». Афиша вся испещрена автографами советских певцов и певиц — участников спектакля, трогательными надписями, адресованными автору книги.

— Видите — ко мне пришло сразу... так много славы... что тут стало... совсем тесно,— сказала хозяйка дома, показывая эти свои богатства.— Тут есть одна книжка.— Писательница медленно поднялась, подошла к полке, взяла томик на непонятном нам языке.— Вот эта... монгольская... Она мне особенно... дорога... Знаете, почему?.. Мой муж бежал с каторги... в Монголию... Он рассказывал: родовой строй... кочевники... ламы... И вот — моя книга...

Русские слова, фразы получались разрубленными. И все-таки это был замечательный, чистый, староинтеллигентский русский язык.

На столе лежал ворох свежей почты. Множество разноцветных конвертов с марками и штемпелями, главным

образом социалистических стран. Некоторые конверты не были еще и вскрыты...

— Нас с мисс Нил совсем... как это... нас захлестнуло... Не успеваем читать — такое внимание... Прошу вас присесть... Теперь всем хватит стульев... Прошу вас.

Но все-таки мы по-прежнему уселись кружком на ковре, чтобы не заставлять собеседницу напрягать голос.

— Я теперь... богатая... помещица... У меня своя... усадьба, свой парк. Парк с прудом... с рыбками... Русский парк...

В самом деле, на круглом столе, стоящем впритык к окну, кто-то чрезвычайно искусно насадил для нее из маленьких растений и мхов микроскопический парк, живой парк с аллейками, с зарослями, с «прудиком» посредине, роль которого исполняла наполненная водой голубая тарелка. В «прудике» действительно плавали крохотные рыбки. Но самым примечательным в этом расположенном на столе парке, подобие которому мне доводилось видеть лишь на юге Китая, было то, что пересекала его аллея растеньиц с белыми стволами, очень похожими на стволы берез, а над водой склонились мхи, напоминавшие наши плакучие ивы.

Рядом с парком стояло глубокое старое кресло, единственное сохранившееся от былой обстановки. На спинке его довольно нагло сидела знакомая мне кукла-матрешка, какими у нас накрывают чайники. С год назад моя жена послала сюда эту куклу ко дню рождения писательницы с дружеской надписью, сделанной на фартуке.

— Утром мне откроют окно... Я сажусь в кресло рядом с... Матреной Ивановной... Мы сидим с ней молча... Смотрим на березки... вспоминаем Россию... Вы прекрасный, талантливый народ... Мы с сестрой вами всегда восхищались... Вы заслужили свою великую долю...

Писательница с нашей помощью опустилась в любимое кресло. Кукла очутилась у нее на руках. Но на этот раз собеседница не рассказывала, а спрашивала. Все о нашей стране интересовало ее — школы и спутники, медицинское обеспечение и, как она выразилась, «крестьянский вопрос», положение женщин, религия, дети, дорожное дело, семья...

И хотя нам хотелось расспрашивать, а не рассказывать, мы честно старались удовлетворить ее любопытство. Легко было понять ее интерес к тем. кого она оставила в нищете и угнетении и кто живет теперь в новом, неведо-

мом и, вероятно, мало понятном ей мире. В мире мечты ее юности, откуда к ней неожиданно, на склоне лет, пришла слава...

...Я делаю эти записи в семейном номере скромной гостиницы «Сольгрев», в который мы — делегация ветеранов войны — в целях экономии валюты втиснулись все впятером. И сейчас вот под разноголосый храп моих друзей по путешествию как бы доносится до меня ее глуховатый голос, ее слова, которыми она подстегивала наше повествование о Советском Союзе...

— Удивительно... Это ошеломляет... Рассказывайте, пожалуйста, рассказывайте...

И такое уважение к нашему народу, такой интерес к нашим делам и дням звучали в этой нетерпеливой просьбе, что становилось ясно: нет, не угас пламень этой души. Она, радостно приветствовавшая когда-то, во мраке царизма, первые, робкие проблески революционной зари, находясь теперь на другом конце планеты, думает о нас, думает и стремится постигнуть величие наших дел.

Прощаясь, один из ветеранов, что называется, «потеряв ориентир», пригласил писательницу в Советский Союз. Она серьезно посмотрела на нас. Губы ее дрогнули.

— Ах, если бы я могла! — И это прозвучало как вскрик боли. Нелегко такому человеку было признаваться в своем бессилии.

1963

ДВА ОБЛИКА САМУИЛА МАРШАКА

Редко, очень редко, но бывают люди, которые оставляют в памяти и в душе друзей такой след, что о них необыкновенно трудно, почти невозможно, писать в прошедшем времени. Живым представляешь такого человека без всякого труда. Видишь его. В ушах звучит его голос. Можно даже угадать, что человек этот сделает, как поступит в той или иной ситуации. А вот вспоминать о них трудно. Вот и сейчас — пишу, вспоминаю, но так и кажется: вдруг раздастся телефонный звонок, послышится знакомый, очень знакомый голос и скажет веселой стариковской скороговорочкой: «Дорогой, ну что вы там обо

мне понаписали? Зачем это, голубчик? Кому это нужно?..»

К таким людям принадлежит и Самуил Маршак. Я был хорошо с ним знаком, и, может быть, поэтому вспоминать о нем особенно трудно.

Маршак! Это имя я хорошо знал еще в моей далекой комсомольской юности. «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной» — это было у нас поговоркой. А «Мистера Твистера» я рисковал когда-то декламировать со сцены молодежного клуба. Борьба за мир сводит нас с самыми разными иностранными людьми. Среди знакомых появились миллионеры и даже миллиардеры. Это очень разные люди, но в каждом из них я как-то невольно ищу и, что самое удивительное, нахожу какие-то черточки мистера Твистера. Такова уж сила маршаковского слова.

Но стихи эти, как и все настоящие стихи, жили как бы сами по себе, в отрыве от автора, и с самим Самуилом Яковлевичем, создавшим их, я познакомился уже во время войны в редакции «Правды», куда он вместе с художниками Кукрыниксами давал свои политические, как тогда говаривали, блицфельетоны, иллюстрируемые разящим пером этих трех мастеров. Впрочем, «познакомился» не то слово. Просто почтительно пожал руку коренастого подвижного человека с крючковатой палкой в руках, человека простодушной внешности, в учительских очках в тонкой металлической оправе, с широким, будто тронутым оспой лицом, на котором где-то, не то в глазах, не то в уголках рта, не то в морщинках у глаз, незаметно жили эдакие веселые чертики.

Да и позже, хотя мы несколько дней сидели с ним рядом в президиуме Второго съезда советских писателей, настоящего знакомства не произошло. Несколько вежливых фраз — это не знакомство. И хотя я по старой памяти оставался поклонником его музы, обладавшей великолепным, почти волшебным даром перевоплощения, хотя к тому времени именно он, Маршак, по-настоящему открыл для меня Роберта Бёрнса, Дж. Байрона, Вильяма Шекспира, Генриха Гейне, в президиуме съезда мы были лишь вежливыми собеседниками: «Ну, как вы себя чувствуете?» — «Ничего, неплохо, спасибо. А вы?»

По-настоящему Самуил Маршак открылся для меня как поэт и как человек лишь зимой 1955 года, в совместной поездке в Шотландию, на бёрнсовский фестиваль. Поездка эта была для меня неожиданной. Много дел было в Москве. Бёрнса я знал еще плохо, лететь в Шотлан-

дию было не с руки, тем более что в делегации будут знаменитый переводчик Бёрнса Самуил Маршак и знаток английской и шотландской литературы, профессор Анна Елистратова. Кому из литераторов льстит перспектива быть гарниром при двух столь увесистых и сочных котлетах?

Встреча на Внуковском аэродроме, помнится, не улучшила настроения. Самуил Яковлевич появился в тяжелой шубе на хорьковом меху, в бобровой шапке, какие у нас зовут «боярками», с крючковатой тростью, в сопровождении стайки суетливых дам разных возрастов, которые на ходу закутывали его в кашне и шарфы и проявляли такие шумные заботы о здоровье, что на его месте было бы просто бессовестно тут же не занемочь. И он действительно слабым, дребезжащим голосом сообщил, что чувствует себя неважно.

— Голубчик мой,— говорил он, покашливая,— я в авиации профан. Воздушное путешествие — это очень тяжело?.. Вы знаете, голубчик, у меня сомнения — как я все это перенесу? Лететь не надо бы. Врачи запрещают. Но я все-таки вот лечу... Как-никак бёрнсовский фестиваль. Для этого можно рискнуть. И они так трогательно, так настойчиво меня приглашали, эти самые организаторы,— просто по земле стелились...

Он стоял, тяжело опираясь на вопросительный знак своей трости, грузноватый, растерянный, и красивая молодая женщина — жена его сына, летевшего вместе с нами, старательно кутала его шею теплым мохнатым шарфом.

Что греха таить, кошки заскребли у меня на душе. А вдруг? Всякое бывает. Пронеси, господи, хотя бы через первый отрезок пути, до Копенгагена.

Введенный под руки в самолет все теми же заботливыми и суетливыми дамами, к которым, вероятно, по корпоративному женскому чутью, присоединилась и стюардесса, Самуил Яковлевич был бережно опущен в кресло, еще раз окутан шарфами и кашне, и наказы беречься, вовремя ложиться спать и не путая принимать лекарства, перебил лишь вой прогреваемых моторов.

По старой военной привычке не терять в пути времени даром, я уснул сразу же, как только самолет поднялся в воздух. Но, вопреки обыкновению, проснулся быстро: кто-то энергично, сильной рукой, тряс меня за плечо.

— Голубчик, извините, один, только один вопрос... Вы в авиации свой человек.— Возле моего кресла стоял

Маршак; шуба, шарфы, боярская шапка и палка с крючком — все это валялось на его кресле, а он стоял преображенный, крепкий, коренастый, энергичный, даже моложавый.— Ведь, кажется, они положили наш багаж в передний отсек? Ведь так? Ведь правда? Я не ошибаюсь?

Мы летели на самолете «ИЛ-12», где багаж действительно клали в переднем отсеке, сразу же за пилотской кабиной.

— Там чемоданчик из крокодиловой кожи. Маленький, безобидный такой чемоданчик. Голубчик, вы в авиации свой человек, у вас все летчики друзья, как нам достать этот чемоданчик, а? Вы его сразу узнаете — небольшой, крокодиловой кожи. Это сейчас очень важно. И вам, как мне кажется, ничего не стоит уговорить летчиков дать нам этот чемоданчик, ведь вы же написали повесть о летчике...

Уразумев наконец, что от меня хотят, скажу прямо, без особого удовольствия, я подтвердил, что чемоданчик крокодиловой кожи, вероятно, достать действительно можно. Но зачем? К чему возиться? Мы же часа через два будем в Копенгагене.

На широком лице Самуила Яковлевича появилось прехитрейшее выражение, отчего лицо еще больше помолодело.

— В этом чемоданчике крокодиловой кожи, голубчик мой, у меня коньячок. Чудесный армянский коньячок, «Двин». Четыре звездочки. Мне кажется, сейчас самая пора пригубить хороший коньячок... Ведь я не ошибаюсь, нет? Ведь на этот счет в авиации нет каких-нибудь предрассудков?

Предрассудков в авиации на этот счет не было. Бутылка была извлечена из чемоданчика крокодиловой кожи и прогуливалась по всему салону. Пассажиры пришли в отличное настроение, и я больше всех, ибо видения сердечных приступов, нитроглицерина, свинцового гроба — все, что обступало меня на аэродроме, исчезло, сгинуло после пары рюмок. Передо мной был совсем другой, незнакомый, веселый, жизнерадостный Маршак, с жизнерадостной скороговорочкой, с юношеской озорцой, и веселые чертики, теперь уже не таясь, прыгали в его близоруких глазах за толстыми стеклами очков.

Вот с этим-то, новым для меня, Маршаком, обаятельным и жизнерадостным, совсем не похожим на расслабленного, избалованного старика, каким он выглядел в

окружении заботливых дам на аэродроме, мы с профессором Елистратовой и сыном Маршака, инженером, которого Самуил Яковлевич звал Маршак-юниор, и совершили двухнедельное путешествие по бёрнсовским местам Шотландии и Англии. Это путешествие сейчас, много лет спустя, вспоминается как одна из самых интересных поездок.

Обаяние Маршака, умевшего чувствовать себя отлично в любой незнакомой среде, однако не сливаясь и не теряясь в ней, создавало вокруг нашей маленькой группы атмосферу тепла и доброжелательства. Поэта на Британских островах знали. Его, как старого друга, приветствовал и знаменитый современный шотландский поэт Хью Мак-Дермит, которого считают современным Бёрнсом, и шахтеры из копей Айра — поклонники своего великого земляка, знающие наизусть его стихи, и знаменитые шотландские винокуры, столетиями держащие в своих руках секрет приготовления виски «Белая лошадь» и «Лонг Джон», и мэр столицы Шотландии, и герцог Эдинбургский, устроивший прием в честь участников фестиваля в своем дворце. У всех находились для Маршака слова восхищения. Его просили снова и снова читать свои переводы, и «Неистовый Хью», как зовут в Шотландии Мак-Дермита, во время одной совместной телепередачи брякнул в эфир, что ни одному английскому поэту до сих пор не удалось так хорошо и тонко почувствовать и перевести шотландские стихи Бёрнса, как Маршаку на далеком от шотландского русском языке. Выступление это, переданное по всем Британским островам, вызвало бурный отклик телезрителей. Вопросы. Недоумение. Возмущение. Восторги.

Крупнейшие телекомпании просят Самуила Яковлевича читать стихи по-русски. Читает. С присущей ему веселой озорцой тоненьким голосом рубит:

При всем при том,
При всем при том,
Хочу вам рассказать я...

Новые отклики, шум, гам. Так понемногу поэт, приехавший из России, становится лидером фестиваля. Его снова и снова заставляют читать русские переводы. Музыка этих переводов так мелодична и выразительна, так удивительно близка звучанию шотландских оригиналов, что это поражает и шотландских и английских слушателей.

Недаром в финале торжества, после ритуального съедения знаменитого шотландского национального блюда — хаггиса — бараньего желудка, набитого черной кашей,— Самуилу Яковлевичу устраиваются бурные овации, а при исполнении шотландского народного гимна «Олд лонг сайм», который, ритмично покачиваясь и положив руки на плечи друг другу, поют все присутствующие: и знаменитые поэты, и лорды, и случайно оказавшиеся в зале официанты, и принцы,— во время этого почти священнодейственного обряда пожилой коренастый поэт из России оказывается между женой мэра и знаменитой английской киноактрисой, автографы которой оцениваются солидной цифрой с нолями.

Это не было дипломатической вежливостью или вполне понятным в данном случае уважением к возрасту участника фестиваля: были там люди и постарше, обремененные всяческими титулами и званиями. Нет. Это было, и мы чувствовали все время, проявлением уважения к удивительному таланту Маршака, к его любви к Бёрнсу, к его поразительному умению как бы перевоплощаться в этого гордого, беспокойного, иронически-веселого шотландца, который превыше всех титулов, наград и официальных признаний ставил любовь своего народа.

Вот в эти дни я и познал силу поэзии Маршака, сполна почувствовал глубину идей животворного ленинского интернационализма, заложенного Владимиром Ильичем в фундамент нашей культуры.

Обратно мы возвращались на французском самолете компании «Эр Франс». Нелегкая даже для меня, человека в те дни среднего возраста, поездка отлично завершалась. Даже профессор Елистратова, в силу своего высокого ученого звания, естественно, оценивавшая наши гастроли с самых критических позиций, как мне кажется, была довольна. Мы подлетали к Москве.

Хью Мак-Дермит, с которым во время фестиваля я подружился, сделал мне замечательный подарок. Он подарил знаменитое первое, так называемое «кильманрокское», издание произведений Бёрнса на старом шотландском языке. Книга эта библиографическая редкость. Где он ее достал, я так и не узнал, но подарил он мне ее с милой дарственной надписью. Подарок был сделан на вечеринке, в присутствии шотландских литераторов, в каком-то старом кабачке, размещавшемся в подвале. Все были в прекрасном настроении, и постепенно старая эта

книга украсилась всяческими дружескими пожеланиями в адрес советской литературы и нашей страны.

И вот когда на световых табличках уже появилась надпись: «Не курите, пристегнитесь к креслу» — и тоненькая, как хлыстик, стюардесса обнесла нас никому не нужными леденчиками, Самуил Яковлевич вдруг снова потряс меня за плечо.

— Эта библиографическая диковинка у вас с собой? Дайте-ка мне ее, голубчик. Они чудесные люди, эти шотландцы, великолепные, я не могу не присоединиться к надписям, которыми они испортили это редкое издание.

Уже плыли под крылом самолета огни Подмосковья, когда Самуил Яковлевич вернул мне книгу. В добавление к шотландским автографам он дописал на третьей странице свой перевод знаменитого бёрнсовского стиха «У которых есть что есть...» и задорные стихи собственного, мгновенного сочинения. Вот они:

На фестивале мы побывали,
Мы ели хаггис и пили джин,
И без закуски коньяк французский,
И очень много различных вин.

Но в строгой тайне пусть это будет,
Смущать не станем мы земляков.
Пускай в Союзе нас не осудит
Уже не пьющий Ф. В. Гладков [1].

Книга пошла по рукам пассажиров. Под общий смех, вызванный этим веселым, молодым, озорным стихотворением, мы приземлились на Внуковском аэродроме. И тут на трапе самолета произошло мгновенное обратное перевоплощение. Едва оказавшись в толпе встречавших его лиц, Самуил Яковлевич снова преобразился. Стоял, тяжело опираясь обеими руками на свою палку, покорно давал суетливым дамам окутывать себя кашне, шарфами и слабым, дребезжащим голосом уверял всех, что это просто счастье... случайность... стечение обстоятельств... что он все перенес, выдержал и вернулся на родину живым...

Потом, когда я начал редактировать «Юность», одним из учредителей, организаторов и болельщиков которой

---

[1] Шутка эта — ответ на выступление Федора Гладкова на Втором съезде советских писателей, где он критиковал литераторов за неумеренное потребление алкоголя.

был С. Я. Маршак, мне приходилось общаться с ним довольно часто. По возрасту и состоянию здоровья он не мог посещать заседания редакционной коллегии, да от него этого никто и не требовал. Но я не ошибусь, если скажу, что в довольно обширной редакции «Юности», многие члены которой годились во внуки Самуилу Яковлевичу, не было человека, более активно участвовавшего в жизни журнала. Никто не читал верстку с таким вниманием, как он. По прочтении и мне, и другим редакторам приходилось иногда подолгу слушать по телефону его критические замечания, записывать его советы. Иногда это вызывало недовольство: старик просто брюзжит. Но после совместной поездки по Шотландии я не верил в его стариковское брюзжание, а замечания его, хотя всегда довольно язвительные по форме, неизменно оказывались резонными и очень тонкими.

Несколько последних штрихов. Самуил Яковлевич у себя дома, за обеденным столом, читает свое самое последнее произведение — пьесу «Умные вещи». Среди других приглашенных и мы, как он нас называл, юниоры, то есть работники «Юности» — ответственный ее секретарь Леопольд Железнов и я. Читает, слушаем. Чай, лимон, сушки. Больше ничего. Бодро звучит хрипловатый, напористый голос. Умные вещи! Вещь, изделие рук человека, воплощение мастерства. Тема! Но не темой, а каким-то особым внутренним, глубоко прочувствованным сказочным миром пленяет всех эта его пьеса. И персонажи-то вроде традиционные. И глуповатый король, и вздорная королева, и язвительный шут, и тупой придворный, и умные мастера. И все-таки все новое. Маршаковское. Согретое маршаковским юмором. Напечатай без подписи — все узнают автора. Берем! Вопреки традиции «Юности» не печатать пьес, киносценариев и вещей иностранных авторов, решаем взять. Застолбили за собой пьесу. Старик доволен. Мы тоже. Яростно пьем чай. Грызем сушки. Даже по такому случаю Самуилу Яковлевичу дома не дают поблажки.

И вот последняя страница, как бы завершающая для меня силуэт этого удивительного писателя. Лето. Пьеса «Умные вещи» публикуется в журнале. Мы уже все знаем, автор тяжело болен, лишился зрения, что дни его сочтены. Его не разрешают беспокоить посещениями. И несмотря на это, он требует, именно требует, гневно требует корректуру. Посылаем, разумеется. Так, для вежливости.

До рукописи ли человеку, когда врачи ведут борьбу за каждую минуту его жизни?

И вдруг мне на дачу в Болшево звонок. Женский голос:

— С вами хочет говорить Самуил Яковлевич.

Зная его состояние, я, признаюсь, подумал: какой скверный розыгрыш. Сразу же приходит на ум наш общий знакомый, который умеет отлично его изобразить. Я уже готов соответственно отреагировать на эту, как мне кажется, неуместную шутку, а в трубке уже слышится:

— Бога ради, простите... Я, голубчик, беспокою вас на отдыхе. Ведь да? Ведь так? Ну вот, видите!.. Я насчет гранок. Мне их прочитали. Извините, но вот вынужден побеспокоить вас, надо внести некоторые поправки. Да-да, голубчик, очень существенные поправки. Так что, голубчик мой, примите их по телефону.

Все, все знаю. И то, как он болен. И то, сколько ему осталось жить. Неужели это действительно он? Нет, конечно же розыгрыш. Говорю как можно суше и бюрократичнее:

— Не понимаю, о каких поправках речь.

И тут я слышу то, что сразу меня убеждает, что это не мистификация, что я говорю с настоящим Маршаком, и поэтом, находящимся при смерти:

— Голубчик мой, вы, наверное, слышали, я ослеп. Ничего не вижу. Но гранки мне прочли. Поверьте, там есть серьезные огрехи... Нет-нет, не ваши, а мои огрехи. Гранки перед вами? Найдите страничку такую-то. Нашли? Реплика короля. Разве король может так говорить? Это же интонация маленького бюрократа. Возьмите карандашик, я вам продиктую поправку.

Мне становится страшно.

— Самуил Яковлевич, я к вам заеду. Журнал потерпит.

— Нет, нет, нет, это мы с вами можем потерпеть, а журнал терпеть не может. У нас миллион читателей, им надо вовремя доставлять журнал. Записывайте.— Это звучит уже как приказ.

Записывал и думал: вот это художник. Художник каждой клеткой своего существа, художник до последнего дыхания. Записывал и радовался — нет, есть еще порох в пороховницах, не иссякла казачья сила. Раз так активно живет, трудится, стало быть, дело пошло на поправку. Ведь не может же человек подниматься со

смертного одра, чтобы править какие-то гранки и искать верные интонации для сказочного короля.

С облегчением положил на рычаг трубку. Но уже вечером слушали мы сообщение о кончине Самуила Яковлевича Маршака.

РЕЖИССЕР И СТАТИСТ

В книге Ильи Эренбурга «Годы, люди, жизнь» между прочим описан и такой случай. Испуганное бурным ростом движения сторонников мира, правительство Великобритании решает сорвать их конгресс, который намечено созвать в большом индустриальном городе Шеффилде. Не запретить, нет, это не в британских традициях — запрещать. Официальное разрешение на проведение конгресса дано. Сроки согласованы. Даже сдан в аренду большой зал Сити-холла, муниципалитета. Конгресс решено было именно сорвать, запретив въезд на Британские острова наиболее активным участникам движения.

Как это рассказывает Эренбург, два чиновника секретной службы изучают список советских делегатов, запросивших визу на въезд. Трудясь над списком, они идут навстречу друг другу по буквам алфавита сверху и снизу. Английская буква «пи» находится в середине алфавита. Они ее не поделили и, понадеявшись друг на друга, фамилии делегатов, начинающихся на эту букву, не проверили. И вот из многочисленной делегации четверо, фамилии которых начинались на «п», проскочили через тонкое полицейское сито. Другие джентльмены, ведающие уже выдачей виз, механически дают им разрешение на въезд.

Так ли все это происходило, как описывает в своей книге один из участников и организаторов движения, судить не берусь. Но это факт, что четыре визы были даны академику Палладину, прядильщице из Шуи Прохоровой, кинорежиссеру Пудовкину и мне. Все это мы узнали в самолете, несшем нас в Прагу. В тот же вечер в маленьком уютном кабачке, как бы врубленном в массив Градчанского холма, состоялось заседание организаторов конгресса. Было решено в связи с такими чрезвычайными обстоятельствами конгресс перенести в Варшаву. Там, на окраине, в огромном помещении еще не оборудованного ткацкого зала текстильной фабрики, молодежь трудилась, чтобы превратить это фабричное помещение в зал заседа-

ний. Обсуждался острый вопрос: как быть с теми делегатами, которые, получив визу, уже приехали в Англию и уже собираются в Шеффилде? Как их переправить в столицу Польши?

Очень поздно, а точнее — очень рано, когда солнце, выкатившееся из-за стрельчатой колокольни собора святого Витта, осветило крыши города, было закончено обсуждение кризисной ситуации. В числе прочего решено было послать в помощь британским друзьям для организации, так сказать, «воздушного моста» Лондон — Варшава двух советских делегатов, фамилии которых начинались на счастливую букву,— Всеволода Илларионовича Пудовкина и меня.

Признаюсь, от поручения этого я в восторг не пришел. Ситуация была острая. Мы уже получили известие, что великий физик Фредерик Жолио-Кюри, которому как французу для въезда в Англию и визы-то не требовалось, уже задержан агентами секретной службы и ему отказано в британском гостеприимстве. Было над чем поразмыслить. Я повесил нос. Зато мой товарищ по намечавшемуся путешествию был в полном восторге.

— Это же страшно интересно! — воскликнул он, вдохновенно сверкая своими умными выпуклыми глазами.— До сих пор мы только слышали: «Скотланд-ярд», «Интеллидженс сервис», а тут... нет-нет, мой юный друг, тут мы увидим глазами, что это такое. Чудесно, прелестно!

— Но в этой игре могут быть и проигрыши.

— Чепуха. Все беру на себя. В этой операции я, как и при первом нашем знакомстве, режиссер-постановщик, ну, а вы по-прежнему статист. Да, да, да! И увидите, какой великолепный приключенческий фильм мы с вами поставим на этом материале, мой юный друг,— не хуже «Потомка Чингисхана»...

«Юный друг» — это, очевидно, как и «чудесно и прелестно», было в те дни его присловием, ибо разница в годах у нас была всего лет десять — пятнадцать. Что же касается роли статиста, то и для этого было свое объяснение. Кто же не знал у нас, да и во всем мире этого замечательного художника. Его «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана» к тому времени обошли уже все мировые экраны. Но у меня с этим славным художником, с которым мы как следует познакомились только в самолете, по пути в Прагу, были давние и особые отношения.

Ряд сцен фильма «Мать», и в том числе великолепно

отснятые эпизоды разгона казаками рабочей демонстрации, снимались у нас в Твери. Я был тогда студентом. Жили мы весьма скудно. На призыв проворного администратора картины, предложившего нам в этой сцене изображать избиваемую толпу за три рубля в день, мы горячо откликнулись. Профком даже договорился с дирекцией, что на дни съемок нас будут освобождать от занятий, взяв с нас слово, что это не отразится на академических успехах.

И вот настала волшебная пора. С раннего утра, облачившись в подходящую одежду и соответственно подмалевавшись, мы, студенты, выходили на весеннюю улицу. Слушали режиссерские наставления, старались их выполнять. Гонимые казачьей конницей, которую изображали знакомые нам ребята из кавалерийской школы имени Коминтерна, мы бежали к волжскому мосту, и те из нас, кому хотелось получить не трешку, а пятерку, с ходу плюхались в грязь, под ноги кавалерийских коней, и пластались на весенней, покрытой жидким навозом мостовой.

Пудовкин стоял на кухонном столе и командовал в жестяную трубу:

— Начали!.. Пошли!.. К мосту, к мосту, какого черта! Падайте, пластайтесь по земле, падайте!

Не помню точно, по каким именно обстоятельствам, кажется, из-за того, что в те дни студенты коллективно конструировали радиоприемник, мне нужна была не трешка, а именно пятерка. Я самоотверженно бросался в навозную жижу, слушая цокот копыт перескакивавших через меня коней. Человек с жестяной трубой, в фуражке, перевернутой козырьком назад, заметил эту мою старательность. В час выдачи мзды он оказался рядом с нами и, когда мы получили синенькие пятерки размером в конфетную обертку, тряс нам руки:

— Чудесно, прелестно. Благодарю от имени искусства. Спасибо, юные друзья...

Очень он мне тогда запомнился, большеглазый, с худым, аскетическим лицом, с этим своим «чудесно и прелестно» и «юные друзья». Оказавшись его соседом по креслу в самолете, я напомнил ему ту давнюю весну и свои самоотверженные броски в навозную жижу. Это его нисколько не удивило. Он даже сделал вид, что узнал меня. Не выходя из своей обычной возбужденно-трагической манеры, он с хорошо разыгранным удивлением воскликнул:

— Так это были вы?.. Как вы бросались в грязь! Чу-

десно, прелестно! У вас здорово получалось. Может быть, в вас погиб большой актер. А?— И при этом выпуклые глаза его весело блестели...

И вот теперь, два с лишним десятка лет спустя, нам с ним лететь в Лондон с весьма щепетильным поручением, которое не казалось мне ни чудесным и ни прелестным.

В хмурый, слякотный день мы ходим по перрону пражского аэровокзала. Всеволод Пудовкин, Александр Фадеев и я. Ходим, нетерпеливо поглядывая на небо, ожидая, когда появится на нем авиалайнер британской компании «БЕА». Как всегда за границей, Фадеев одет с подчеркнутой элегантностью: отлично выглаженный плащ перехвачен поясом, широкая, на французский манер замятая шляпа. А в руках у него хозяйственная сумка, какие в Москве называют «авоськами». В сумке несколько свертков, обернутых бумагой со штампом фирменных продовольственных магазинов. Из пакета победно торчат аппетитно поджаристые роглики, из другого высовывает нос копченая колбаса. «Авоська» эта как-то особенно не монтируется с фадеевским обликом.

— ...Английские друзья — великолепный народ, отличные организаторы. Их не надо учить и, спаси бог, поучать. Поучения не терпит ни одна нация, а английская в особенности. Вы просто офицеры связи. Помните пословицу: «Умный любит учиться, а дурак поучать»,— говорит Фадеев, перекладывая «авоську» из одной руки в другую.— Ваша задача — убедительно выступить на собрании делегатов, съехавшихся в Шеффилд, разоблачить нехитрую провокацию и убедить их лететь в Варшаву, ну и... Передайте английским друзьям эту «авоську». В ней, так сказать, путевки из Лондона в Польшу. Но... словом, постарайтесь, чтобы в нее не совали нос таможенники. Понимаете?

Что тут было не понять! Мне не раз доводилось бывать на Британских островах. С английской секретной службой я был знаком не только по полицейским романам. Пудовкин тоже жил в Англии, знал англичан, имел там много знакомых и друзей в кинематографическом мире. Но, в отличие от меня, он пришел от этого поручения в восторг: чудесно, прелестно...

— Саша, ты можешь положиться на моего юного друга и на меня.

Он взял из рук Фадеева «авоську» и, когда самолет

прилетел, поднимался по трапу, легкомысленно размахивая ею. Заняли свои места, разделись. Отдавая учтивейшему стюарду пальто и шляпу, Пудовкин вместе с ними отдал ему и заветную «авоську».

— Всеволод Илларионович...— с ужасом прошептал я.

— Спокойно, мой друг, спокойно. Я — режиссер, вы — статист. Так значится на титрах нашего сегодняшнего фильма. Он потребовал у стюарда английский журнал и преспокойно углубился в разгадывание какого-то кроссворда.— Не вертитесь, не оглядывайтесь на вешалку... Лучше назовите популярное слабительное из пяти букв.

Так же спокойно, легкомысленно сдвинув набок шляпу, он явился в таможенный зал британского аэродрома, где на рундуки уже бросали наши чемоданы. Очевидно, здесь было известно о необходимости особо тщательного досмотра тех, кто прибывает на шеффилдский конгресс. За спиной таможенников, неторопливо и умело открывавших чемоданы и опытным глазом, бегло, но точно просматривавших их содержимое, маячили какие-то неприметной внешности люди, которые в процессе досмотра участия не принимали. Наши чемоданы были тщательно перерыты, обшарены даже карманы парадных костюмов — все было уже положено на место. И вдруг таможенный офицер показал на сетку, лежавшую у ног Пудовкина:

— А что тут?

Признаюсь, при этом вопросе я облился холодным потом. Но Всеволод Илларионович пренебрежительно бросил сетку на досмотровый рундук.

— Здесь? — переспросил он, сделав ужасные глаза, и зловещим голосом ответил таможеннику: — Здесь атомная бомба. Мы с моим юным другом завтра будем взрывать Букингемский дворец.— При этом он отщипнул кусочек румяного роглика и стал преспокойно его жевать, доброжелательно улыбаясь.

И, к удивлению своему, я увидел, как в свою очередь заулыбался таможенный офицер, как передал он фразу Пудовкина своим коллегам, как те тоже в свою очередь заулыбались, а потом без долгих разговоров фиолетовым мелком поставили галочки на наших чемоданах.

Великое мастерство художника-человекознатца, которое до сих пор я знал лишь по фильмам, победило и тут. Ну что ж, как говорят артисты, он не выходил из образа.

Полтора часа мариновали нас в комнате для сомни-

тельных иностранцев, якобы для того, чтобы уточнить некоторые детали в оформлении наших паспортов. Подсел какой-то тип, сказавшийся делегатом, не допущенным на конгресс. На скверном русском языке начал ругать английское правительство, английские законы и даже бедного, ни в чем не повинного Георга VI. Пудовкин спокойно перелистывал журналы, предоставляя мне отмахиваться от этих таких примитивных провокаций. Заветная «авоська» висела на вешалке над его шляпой.

Было уже очень поздно, когда мы наконец вступили на британскую территорию. Мокрый ветер бросал горстями липкий снег прямо в лицо. Под ударами этой противной, мокрой метели, как оказалось, уже более полутора часов ожидала нас толпа английских сторонников мира с плакатами и приветственными транспарантами, раскисшими от непогоды. После всех мытарств два советских делегата, фамилии которых начинались на счастливую букву «пи», оказались в их дружеских объятиях.

Нас бережно отвезли куда-то на окраину и разместили в микроскопической гостинице, в крохотном двухкоечном номере. Бросили горсть жирных пенсов в автоматическую газовую печку, которая за эту сумму должна была обогревать нас до утра. И все заботы и опасения как-то забылись в этом тепле человеческого добра. Потом с нами остался один из встречавших, белокурый человек с чеканным профилем античного воина. Ему мы вручили заветную «авоську», предварительно, правда, изъяв из нее румяные роглики и копченую колбасу, которые оказались нам очень кстати.

Прощаясь, он предупредил:

— Вы в Великобритании и не в самую удачную для дела мира пору. Не удивляйтесь, если заметите, что за вами следят. Просто не обращайте внимания.

Мы последовали этому совету и не стали обращать внимания, хотя уже с первого же завтрака в нашем скромнейшем отеле, где снова утром пришлось кормить увесистыми пенсами газонагревательные автоматы, мы заметили исключительное внимание к нашим скромным персонам двух благопристойных по виду англичан. Один из них был пожилой, почтенный, с великолепно уложенным косым пробором на голове — благородный отец, как определил его Пудовкин. Другой, толстый, лысый, похожий на актера Хенкина, комик — согласно его же определению. Они не мешали. Нет, и не надоедали — боже сохрани. Но мы все время чувствовали их присутствие.

Понемножку с этим чувством мы свыклись, как свыклись и с серо-бурым, мглистым воздухом английской столицы. Просто перестали их замечать, ибо ничего противозаконного не делали, а наши встречи, беседы и выступления — все это не нарушало ни одной буквы британских законов.

На уик-энд мы были приглашены за город, к давнему доброму другу Пудовкина — одному из организаторов движения — литератору, мастеру кино, близкому родственнику крупного финансового деятеля страны. Нам сообщили, что на вечере этом будут парламентарии, видные религиозные деятели и не исключено, что и члены кабинета. Посоветовали соответственно приодеться.

Смокинг, крахмальный жилет великолепно облекли Всеволода Илларионовича. На мне все это, вероятно, выглядело как хомут на корове. Но ничего не попишешь: чего не сделаешь во имя мира на земле. В отличном настроении вышли мы из гостиницы, у подъезда которой нас ждала на этот раз весьма респектабельная машина. Мой агент, похожий на Хенкина, топтался у подъезда и, когда мы появились, сделал вид, что изучает товары на витрине табачного магазинчика. Благородного отца не было.

Всеволод Илларионович беспокойно огляделся:

— А где же мой?

Сели в машину, назвали адрес. Но Пудовкин посмотрел на часы.

— Нет, погодите, ехать нельзя. Если благородный отец нас прохлопает, его ждут крупные неприятности.

— Всеволод Илларионович, ну какое нам с вами дело до агентов английской секретной службы?

— Сэр,— холодно ответил он,— прошу не забывать: вы статист, а я режиссер. Ведь мы, мой юный друг, встретимся с парламентариями, может быть, с кем-то из членов кабинета. А он прохлопал. Представляете, как ему за это всыпят. Могут уволить. Без пенсии... Нет-нет, он пожилой человек, у него, наверное, семья, дети, внуки. Давайте пять минут подождем.

Ждем, смотрим на часы. Проходит минута, три, пять, десять.

— Всеволод Илларионович, опаздываем.

Ничего не ответив, он выскакивает из машины, подбегает к комику, что-то ему бурно говорит, потрясая кулаком. Тот делает недоуменное лицо. Он не понимает. Пудовкин, весь охваченный своим добродушным гневом,

тычет пальцем в циферблат часов. Возвращаясь в машину, он с треском захлопывает дверцу.

— Уф, могу сказать, как некий древний римлянин: «Я сделал, что мог, пусть больше сделают могущие». И если эту старую шляпу выкинут с работы, мы с вами повинны не будем.— Помолчал. Фыркает от смеха.— А мы-то с вами думали: «Шерлок Холмс... Лоуренс Аравийский... «Интеллидженс сервис». Нет-нет, запаршивела британская секретная служба.

На следующий день мы в Шеффилде. В большом зале заседаний Сити-холла, или, по-нашему, городского совета. Идет бурное заседание тех сторонников мира, которым повезло так же, как и нам, советским делегатам, фамилии которых начинались на счастливую букву «п». Председательствуют попеременно виднейший британский ученый, профессор Джон Д. Бернал и достопочтенный Хьюлетт Джонсон — настоятель знаменитого собора в Кентербери, Дин Кентерберийский, как почтительно зовут его англичане,— величественный старик с седыми волосами и юношеским румянцем на лице. В президиуме целый парад знаменитостей, европейских, азиатских, заокеанских: ученые, литераторы, профсоюзные вожаки, артисты. И в центре всей этой плеяды маленький, смуглый, быстрый Пабло Пикассо и худощавый, нервный Всеволод Пудовкин. Я так и не узнал, были ли они знакомы до этого или как-то быстро сблизились, понравились друг другу. Научились даже бойко объясняться на какой-то странной смеси английского, французского и русского языков.

Пабло Пикассо на трибуне. Это сенсация. Рой репортеров обступает его. Сверкают молнии блицев, жужжат киноаппараты.

Мэтр достал из кармана листок величиной в полстранички, бегло прочел текст речи и сунул его в карман. Толпа подхватывает его, несет на руках, и все поют по здешнему обычаю: «Он наш хороший парень, он наш хороший парень». Говорят, что этой песней встречают тут даже короля. Пудовкин среди тех, кто его несет, даже, как мне показалось, командует этой восторженной толпой.

Потом автобусы везут нас в гостиницу. Везут долго, что-то около часа. Пикассо и Пудовкин оказываются рядом. На той же смеси языков ведут оживленный разговор, который до прибытия в гостиницу не кончается и продолжается уже после ужина, перед горящим камином. Я было скромно напомнил своему режиссеру, что,

дескать, не пора ли на боковую, завтра рано вставать. Он сердито сверкнул выразительными своими глазами.

— Вы не знаете, что такое Пабло Пикассо! Это не человек, это явление. Нам чудовищно повезло — быть с ним рядом.

Пудовкин в ударе. Сегодня он хорошо выступил. Его горячо встретили. И с «воздушным мостом» Лондон — Варшава, кажется, дело начинает налаживаться.

— Гениальнейший субъект,— подытоживает он свой разговор о Пикассо.— Талант так и прет из каждой клетки... Как я завидую вам. Умираю от зависти. Как это вам повезло!

А повезло мне действительно здорово. После ужина я подарил художнику только что вышедшую в Париже «Повесть о настоящем человеке». Потом подал ему цветную открытку с его знаменитым голубем, изданную в Англии, и попросил поставить на ней автограф. Он брезгливо посмотрел на открытку, с отвращением разорвал ее: «Халтурщики! Так переврать цвета...» Выхватил из кармана листок со своей речью, быстро, почти молниеносно нарисовал на ней великолепного турмана с мохнатыми ногами. Вывел дату: «12. II. 1950». Поставил свою всемирно известную подпись. Добавил печатными буквами по-русски: «Пикассо». С двумя «с». И пошутил:

— За семьдесят лет я ни разу не писал своих речей. Это первая написанная. Вы будете единственным обладателем этого литературного памятника.

Мохнатый, хохлатый турман был, как нам показалось, нарисован одной линией, одним точным движением пера.

— Как это вам удается?

И тут славный мэтр открыл для нас страницу своей биографии, которую мы не знали. Он рос в семье учителя рисования. Учителям в Испании живется не легко. Жалованья едва хватало, чтобы скудно прокормить семью. И вот отец брал у торговца писчебумажными товарами заказы на разрисовку рождественских и пасхальных открыток. Обычно он набрасывал контуры, а маленького Пабло заставлял дорисовывать и раскрашивать. Чаще всего это были голуби, которых так любят за Пиренеями. Голуби всех пород. Мальчик почти механически повторял одни и те же рисунки.

— Я могу рисовать голубей с завязанными глазами,— сказал Пикассо и действительно мгновенно нарисовал пальцем на запотевшем стекле гостиницы какого-то хохлатого голубя уже другой породы.

Так мы узнали, как родился тот самый белый голубь, который в те дни уже облетел все пять тревожных континентов земли, стал символом нашего движения.

— Вам нравится его творчество? — спросил я Пудовкина.

— Как вам сказать... Далеко не все. Но он великий мастер. Он ведь может рисовать, как сам Леонардо.

— А Герника?

— Герника — это здорово. Герника — это, так сказать, запечатленный кошмар. Но как бы он мог рисовать и сейчас, если бы работал, скажем, в манере своего голубого периода...

Свой последний день на Британских островах мы провели на вечеринке у профессора Джона Д. Бернала. Знаменитый физик, как оказалось, обитал в ту пору в мапсарде своего института, помещавшейся на верхнем этаже ветхого шестиэтажного здания. Шляпы и пальто бросали прямо на какие-то физические машины, на модели кристаллов. В комнате со скошенным потолком, где мебели не хватило, сидели прямо на полу. Но это был расчудесный вечер. Он походил на студенческий междусобойчик: пели, танцевали, в каком-то эмалированном ведре варили терпкий глинтвейн, пили его из химической посуды, заедали крохотными сандвичами, которые тут же с помощью гостей сооружала очаровательная ассистентка профессора.

В финале этого во всех отношениях необыкновенного вечера Пикассо взял кусок лабораторного угля и, засучив рукава, начал рисовать прямо по штукатурке скошенной стены. Маленький, смуглый, длиннорукий, похожий на быструю обезьянку, он, казалось, забыл обо всех окружающих. И комната, которая только что, как казалось, готова была рассыпаться от веселого шума, наполнилась благоговейной тишиной.

И в тишине этой мы увидели, как на стене вырисовывался фас Бернала, затем стала появляться очаровательная головка его ассистентки, готовившей тут же свои микросандвичи. Затем Пикассо увенчал их обоих венками. Напоследок приделал им ангельские крылышки. Посмотрел. Поставил дату: «12. II. 50». Подписал, бросил уголь и многозначительно вытер руки о штаны.

Всем участникам вечеринки показалось, что они присутствовали при каком-то удивительном волшебстве. Волшебство искусства. И хотя рисунок был шуточный, сам художник не скрывал радости и от своей удачи, и от того

впечатления, какое эта его удача произвела на присутствующих.

На следующий день, провожаемые большою шумною толпой, мы заняли свое купе в лондонском экспрессе. Мы на диване рядом с Пудовкиным, Пабло Пикассо напротив со своей женой — молодой, стройной женщиной с холодным, точно мраморным, античным профилем, таким всем теперь знакомым по множеству вариаций рисунка женщины-голубки.

Поезд шел, игнорируя станции и полустанки. Выехали затемно, чтобы пораньше поспеть в Лондон. Ну конечно же перед отъездом никто не позавтракал. Но когда стюард выдвинул стол и подал завтрак, все мы уже дремали, укачиваемые пульмановскими мягкими рессорами. К завтраку никто не притронулся. По своей привычке вести дневник я достал записную книжку и стал заносить в нее самое интересное, что наблюдал за последние дни. Углубившись в это занятие, не поднимал глаз, а когда поднял, увидел, что художник тоже не спит.

Каким-то хищным, прицеливающимся взглядом он уставился в лицо Пудовкина, сидевшего напротив него. Смотрел на него долго, пристально, потом вдруг легко вскочил на диван, бесшумно, осторожными движениями, взял с полки самый пестрый и яркий букет. Засучил рукава, стал обрывать лепестки цветов и класть их на столе кучками: красные, розовые, синие, желтые, фиолетовые. Заметив, что я слежу за ним, сделал запрещающий знак: молчи, мол, ничего не спрашивай, не мешай.

Потом, так же ловко расстелив на столе бумажную салфетку, он стал хватать из кучек цветные лепестки и ногтем большого пальца придавливать к полотну салфетки: то красные, то желтые, то синие. При этом огромные черные с кофейным отблеском глаза его так и метались от бумаги к лицу Пудовкина и обратно. Я понял — рисует. Рисует не обыкновенным способом, используя краски цветочных лепестков. Заинтересовавшись, потянулся через стол, попробовал увидеть, что у него там, на бумаге. Он грубо оттолкнул меня и продолжал работать.

Признаюсь, я даже обиделся. Не очень приятно, когда тебя вот так, без всякого предупреждения, толкают в лоб. Но художник в этот момент, как мне кажется, ничего не видел, кроме своей модели. Пудовкин спал, как ребенок, приспустив нижнюю губу и аппетитно при этом посапывая. Руки художника, волосатые руки, так же жадно

продолжали хватать лепесток за лепестком, а глаза большие, черные, в эти минуты я их назвал бы даже хищными, продолжали следить за мирно спящей моделью и за тем, что рождалось на невидимой мне бумаге.

Где-то на подъезде к Лондону, когда колеса уже грохотали на стрелках, Пикассо бросил работу, рукавом смахнул с салфетки крошки раздавленных цветов, стряхнул и повернул лист ко мне. Я просто ахнул. Передо мной был портрет Пудовкина в виде известной русской иконы Спаса Нерукотворного. Причем портрет, выполненный в реалистической манере, я бы сказал — проникновенный портрет, на котором, хотя глаза героя были закрыты, а нижняя губа немного отвисла, мой режиссер был воспроизведен с точнейшей психологической характеристикой. Его беспокойная, ищущая душа. Его энергичная творческая натура. Его холерический характер и, если так можно выразиться, его оптимистический трагизм — все это было отражено на бумажной салфетке с помощью раздавленных цветочных лепестков.

Пудовкин проснулся, увидел портрет, был поражен, удивлен, потрясен — все это вместе. Дома, на родине, существовало немало портретов этого виднейшего деятеля кино — и живописных, и скульптурных, и фотографических. Но такого портрета он еще не видел. Поразился, стал умолять автора подарить ему этот маленький шедевр.

Пикассо был непоколебим: нет-нет, он сделает еще один портрет мосье Пудовкина. Тушью, сангиной, углем — чем угодно, ну, так, как он, скажем, сделал портрет Ильи Эренбурга. Этот он ему не отдаст. Это первый опыт. Ему в первый раз довелось работать такими красками. Красками природы. Этот портрет он оставит себе. Да он уж никому, кроме автора, и не нужен. Завтра краски высохнут, и портрет превратится в лист перепачканной бумаги. А автору он дорог. Он в первый раз проэкспериментировал этот способ.

Пудовкин просил, умолял, даже со свойственной ему экспансивностью вставал на колени. Не помогло. Экспресс уже замедлял ход. За окнами пестрела огромная толпа, встречавшая на этот раз, увы, не нас, а Пабло Пикассо. Художник и его жена вышли из вагона, их обоих и даже их чемоданы толпа подняла и понесла на руках к выходу.

Мы с Всеволодом Илларионовичем остались на пустом перроне, и с нами два друга из движения сторонников мира, пришедшие проводить нас до отеля. Уже на ходу

нам сообщили, что все ол райт, «воздушный мост» Лондон — Варшава действует. Первая партия делегатов уже переброшена на континент. Варшава наши действия одобряет. Через два дня там открывается конгресс. Передали приветы от Жолио и от Александра Фадеева. Я искренне радовался. Всеволод Илларионович рассеянно ронял: «Чудесно, прелестно!» Но мысленно, как мне кажется, он был еще в «мастерской» Пикассо, которой волей случая на этот раз было вагонное купе.

Ну, а я в эту поздку сделал для себя на всю жизнь вывод, что при хорошем режиссере-постановщике приятно и интересно быть даже статистом и что в общем-то все действительно чудесно и прелестно.

ХОРОШИЙ МУЖИК АНТЕЙ

Рассказ об этом человеке — моем крестном в делах литературных — должен начать с нескольких автобиографических обстоятельств, с того, как у меня, репортера тверских газет, никогда всерьез и не задумывавшегося о писательстве, неожиданно родилась повесть.

Это были дни бурного подъема социалистического соревнования. То там, то тут на старых фабриках и заводах нашего пролетарского города начинал бить родничок трудового почина. И мне, в те дни заведовавшему промышленным отделом в очень инициативной газете «Пролетарская правда», однажды посчастливилось подсмотреть в кузнице вагоностроительного завода один из таких еще только начинавших бить родничков.

С заводом этим меня связывала старая дружба. Лучший его кузнец, очень почитаемый в нашем городе человек, поразил тогда всех, поставив всесоюзный рекорд по ковке вагонных осей. О рекорде этом много тогда писали в газетах. Однажды в той же кузнице случилось происшествие, которое всех поразило. Знатный кузнец этот уехал передавать свой опыт на заводы Урала, и заместил его у молота хулиганистый паренек с весьма неважной репутацией. И этот паренек, неожиданно для всех, и прежде всего для своих товарищей по кузнечной бригаде, поставил новый, совсем уже небывалый рекорд, опередив своего отсутствующего учителя.

Всех это просто поразило, ибо в те дни все мы были наивно убеждены, что совершать трудовые подвиги мо-

гут лишь люди благонравные, достойные во всех отношениях. Что случилось? Как? Почему?

Словом, заинтересованный этим случаем, я засел в кузнице, стал изучать не только производственную, но и психологическую сторону дела и тут неожиданно натолкнулся на драму сильного, неуживчивого, эгоистического характера, который под влиянием доброго коллектива переродился и раскрылся в лучших своих чертах.

Отличный собрал материал. Но беда была в том, что не лез этот материал ни в один, ни в два, ни в три, как говорят газетчики, «подвала». Больше газета отвести для него не могла. Измаявшись над сокращениями, я заменил собственные имена, стер адреса и, освободившись от необходимости точно идти по следам совершившегося, превратил очерки в повесть и назвал ее «Горячий цех».

Привез в Москву в редакцию журнала «Октябрь», больше и интереснее других занимавшуюся в те годы трудовой темой. Сдал секретарю, очень молодому, очень серьезному человеку в больших очках с очень черной оправой, именовавшемуся Александром Чаковским. Отнесся он ко мне по-дружески. Рукопись принял. Но предупредил, чтобы скорого ответа я не ждал, ибо после рецензирования он передаст ее заведующему отделом и уже тот вручит ее самому редактору. И доверительно добавил, что без воли редактора в журнале этом ничего не делается, а у того неистребимая страсть лично открывать молодые дарования.

Все оказалось правильным, за исключением сроков. Меньше чем через неделю от редактора, Федора Ивановича Панферова, пришла лаконичная телеграмма: «Повесть заинтересовала тчк Приезжайте любое удобное время тчк Расходы поездки оплачу». Не «оплатим», а «оплачу». Это меня несколько удивило. Но особенно поразило: «в любое удобное для вас время».

Нужно ли говорить, что на следующий день я предстал перед Панферовым. Ширококостный, плечистый, с красивым, русским лицом, он сидел грузновато, но изящно втиснувшись в кресло. Рукописи перед ним не было, но, как оказалось, он знал ее досконально, помнил имена героев, по памяти точно разбирал главы и, тоже по памяти, критиковал недостатки, недоделки, критиковал доказательно, ни к чему, однако, не понуждая, ничего не требуя, а как бы размышляя вслух, советуя.

Потребовал принести чай и для себя, и для меня. Чай и сушки с маком. Пил вприкуску, чуточку, вероятно,

рисуясь этой русской манерой чаепития. Я не большой любитель этого напитка, но присутствие стакана, в котором заманчиво золотела долька лимона, как бы приближала ко мне, автору, делающему первые шаги в литературе, этого широкоизвестного писателя, располагала к беседе.

— Я хочу приготовить вашу повесть поскорее и помочь вам поточнее ее подправить. Отдал рукопись внешнему редактору, а пока он над ней колдует, вы подумайте-ка сами над тем, что я вам сказал.

Что такое «внешний редактор» — я тогда не знал. С советами Панферова в основном согласился и отбыл в свой Калинин в самом радужном настроении. Сделав сам, что смог, я, сговорившись с журналом, снова прибыл в Москву — знакомиться со своим «внешним редактором». То, что тот сделал с моей повестью, повергло меня в трепет и гнев. Вся рукопись оказалась исчерканной, ни одной целой главы. Местами из нее были безжалостно выхвачены целые сцены, и, наоборот, на полях повисли пузыри со вставками. Ну, нет, с такой хирургией я, разумеется, не мог согласиться. Написал Панферову весьма раздраженную записку, заявив, помнится, что свинья, забравшись в огород, не произвела бы в нем больше опустошений, чем этот самый «внешний редактор». Положил записку на стол ответственного секретаря и потребовал рукопись обратно.

Очень молодой, очень серьезный человек в больших очках с очень темной оправой, столь дружески когда-то меня встретивший, охладил мой гнев, резонно заявив, что над повестью редакция с моего согласия начала работать, что публикация запланирована в один из ближайших номеров и что он, разумеется, не может мне вернуть принятую рукопись без ведома редактора.

— Вы журналист, вы должны это понимать,— поучительно заявил он и опять конфиденциально добавил, что без ведома Федора Ивановича в редакции «Октябрь» и стул с места на место переставить нельзя, а не то что вернуть принятую рукопись.

Потом он позвонил Панферову домой, сказал не без юмора: вот, мол, тут рядом бушует начинающий автор...

— Федор Иванович просит вас заехать к нему,— сообщил он мне и положил трубку. Солидно поправил свои профессорские очки. Потом написал на бумажке адрес и даже номер автобуса, на котором можно было доехать.

Уже по пути, поостыв, листая в автобусе рукопись, я убедился, что «внешний редактор» не такой уж кровожадный изверг, каким он мне поначалу показался, и что правка в общем-то произведена толковая. Словом, перед редактором я предстал успокоенным.

Панферов с женой — немолодой женщиной с хорошим лицом сельской учительницы — пили чай. Усадили за стол и меня, будто старого знакомого, завернувшего на огонек.

— Вам не слишком крепкий? А то ведь Федор Иванович у нас любит черный, как деготь, круто завариваем.

Никогда, ни до, ни после, не видел я, чтобы чай пили с таким вкусом, смаком, как за этим столом. Панферов пил стакан за стаканом с блюдечка, откусывая сахар от большого куска. На коленях у него лежало развернутое полотенце, время от времени он отирал им пот и обмахивался.

О рукописи за чаем не было сказано ни слова. Только когда был выпит последний стакан и хозяин, перевернув его, отставил в сторону, положив сверху оставшийся кусочек сахару, он придвинул ко мне кресло.

— Чаковский говорит, что вы там, в редакции, разбушевались. Напрасно. Я вам дал хорошего внешнего редактора. Вы «Фарт» Антонины Коптяевой у нас читали?

— Читал.

— Нравится?

— Интересный роман.

— Еще бы!.. Так вот тот же редактор был. А Тихона Семушкина «Чукотку» читали? Нравится?

— Интересно, самобытно. Необыкновенно.

— То-то. А ведь первая его книга. Сам-то он учитель. И опять тот же редактор. Он многих начинающих в литературу подсадил. Все благодарили. Чутье, вкус — дай господи. И сам хорошо пишет. Раз он вас взял редактировать — хороший признак. Стало быть, вы его заинтересовали.

Грузновато, как-то очень значительно ступая в шлепанцах, прошел по комнате, остановился у моего стула.

— Сидите, сидите. У меня, как у петуха, привычка такая — ходить. Так вот, мое правило: ничего не навязывать автору. Все, что там намазано, в рукописи, принимайте как совет. Только как совет. Что не нравится — вычеркивайте, что нужно — оставляйте... Только быстро. Вы у меня через номер стоите... Перепечатку оплачу.

Все эти «я», «у меня», «мое правило» и даже это самое «оплачу», так отчетливо прозвучавшие в телеграмме и здесь вот, в беседе, в чьих-то других устах звучали бы, вероятно, неприятно, а у Панферова как-то совершенно естественно. Я уже понял, что журнал он считает чем-то глубоко своим, все происходящее в нем воспринимает сердцем, и понятно стало, почему в редакции без его ведома и стула переставить нельзя.

Когда меня вызвали в Москву читать верстку, Федор Иванович считал меня уже своим человеком. Пригласил в Малый театр, на репетицию своей пьесы «Жизнь». Посадил рядом, щедро рекомендовал своим знакомым, рекомендовал с такими преувеличенно лестными характеристиками, что мне стало даже неудобно.

— Федор Иванович, зачем так!

— Нужно. Вам нужно, не мне. Книге большой тираж дадут.

Спектакль получался несколько клочковатый, но образы его, знакомые по первым книгам «Брусков», этой эпопеи крестьянской жизни,— и Кирилл Ждаркин, и Стеша, и сатирически заостренные фигуры противников коллективизации Ильи Плакущева, Егора Чухляева — на сцене вырисовывались сочно, во плоти и крови. В целом постановка производила впечатление.

Панферов очень переживал перипетии действия. То и дело вопросительно смотрел на меня.

— Ну как, ничего, доходит?.. А не дожали, не дожали они эту сцену.

Была там сцена гулянки. Подвыпившие мужики спорят о коллективизации, о чувстве собственности. В ярости спора один из них сдирает резные деревянные наличники с окна и вешает их на шею своему оппоненту в споре:

— На, на, общее так общее.

Эта, несколько натуралистическая, картинка произвела на автора особое впечатление: он откровенно плакал. Когда занавес закрылся в последний раз, спросил, глядя прямо в глаза:

— Впечатляет? Ну? Только искренне.

Я искренне ответил:

— Интересно.

— У вас в Калинине хороший театр?

— Очень хороший.

— Рекомендуйте им мою пьесу. Сам приеду читать.

И выполнил обещание, приехал.

Прочел пьесу, угостил труппу в лучшем нашем ресторане «Селигер». Всех покорил своим хлебосольством и простотой.

Вместе со своим заместителем по редакции, суровейшим и умнейшим Василием Павловичем Ильенковым, который был при нем, как я уже теперь догадывался, чем-то вроде комиссара, интересно выступил в педагогическом институте. Потом оба потребовали, чтобы я отвез их на вагонный завод и познакомил с живыми прототипами «Горячего цеха».

Поехали. Сановитый Панферов, в бобровой шапке, в шубе на хорьковом меху с хвостами, во мраке громозвучной знойной кузницы выглядел довольно странно. Однако сразу же нашел с кузнецами общий язык и повел беседу не менее уверенно и умело, чем Ильенков — человек с обликом партийного работника тех дней, в гимнастерке и сапогах, сам работавший когда-то на паровозостроительном заводе и удачно дебютировавший в литературе романом с вполне индустриальным заглавием «Ведущая ось».

Панферов обладал редким даром сходиться с людьми, слушать людей, при этом вызнавать у них самое главное и интересное.

Прототип положительного героя повести Лузгина — человек, имя которого несколько лет уже не сходило с заводской доски Почета,— Федора Ивановича не заинтересовал. А вот озорной, цыгановатый, дерзкий на язык парень, послуживший прототипом Женьки, просто-таки его увлек. По окончании работы они вместе шли в потоке смены, такие разные: худой, весь подобранный, нервный, в замасленной стеганке молодой кузнец и сановитый писатель в своей боярской шапке. Шли настолько оба заинтересованные разговором, что не обращали внимания на удивленные взгляды встречных.

У ворот выяснилось, что молодой кузнец пригласил писателя для «душевного разговора» в ресторан клуба «Металлист», как говорили здесь тогда, «на груздочки». Была тут такая форма приглашения, на заводе, да и за пределами завода довольно известная, ибо тут на закуску подавались соленые грузди с мохнатыми краями, величиной с чайное блюдце, грузди особого посола, которые ОРС завода заготовлял где-то в лесном краю, у истоков Волги.

— Груздь — это здорово... У нас в Вольске тоже любили грузди,— оживился Федор Иванович.— Бывало, на масленице бочками на базар вывозили. Сходим «на

груздочки», Василий Павлович, проведем вечерок с рабочим классом?

Ильенков насторожился, посуровел.

— Не пойду, Федор. И тебе не советую. Завтра мы с утра на охоту собрались, ведь за нами товарищи чуть свет заедут.

Панферов не настаивал. Ясно было, что не эти самые грузди его притягивали, а хотелось всласть наговориться с заинтересовавшим его человеком. Я в этот день дежурил в редакции по номеру и задерживаться не мог. Оставили Федора Ивановича у машины, а сами вернулись в город на трамвае. Ильенков был встревожен и даже мрачен:

— Знаю я эти грузди...

Где-то около полуночи, когда я, отдежурив, вернулся в мою узенькую, как пенал, комнатенку и уже собирался ложиться спать, дверь распахнулась. В ней стоял Панферов. Боярская шапка на затылке, шуба распахнута, хорьковые хвосты на ней воинственно торчат.

— Интереснейший тип,— провозгласил он прямо с порога.

— Кто?

— Да ваш герой, конечно... Во всем — двадцать два.

— Простите, что это, в каком смысле?

— Двадцать два — значит перебор. В очко, что ли, никогда не играл? Во всем перебор, абсолютно во всем: и в привязанности, и в неприязни, и в любви, и в ненависти... Был у нас в Вольске такой молодой человек. Учился с похвальными грамотами, с золотым дипломом кончил. Ему карьеру Ушинского пророчили. Богатейший наш мукомол единственную свою дочку в жены ему сулил, а он... взял да человека зарезал. Так, ни за что ни про что. Поссорился в трактире с каким-то приказчиком. Тот его по морде, а этот ему столовый нож в сердце. А потом вышел на площадь: вяжите меня, православные, человека убил... Ты это можешь понять? Нет, не можешь... Характер. Русский характер... Вот и твой герой такой же. Лихо, между прочим, на гитаре играет. Цыган, прямо цыган.

Было ясно, что знаменитые грузди съедены не впустую. Обычно немногословный, сдержанный, Федор Иванович говорил без умолку, в обращении путал «ты» и «вы», и в языке его отчетливо слышалось этакое волжское оканье.

Пошел его провожать. От моего жилья до гостиницы «Селигер» было улицу наискосок перейти. Но гостю спать не хотелось, тем более что там, в гостинице, ждал его строгий Василий Павлович.

— Пойдем проветримся. Где у вас тут гуляют-то?.. Набережная? Отлично.

Пошли на набережную Волги. Устало гремели на улицах последние трамваи, торопливо сбегаясь в парк на ночевку.

— ...Я вот, по совести говоря, тебе не поверил, что повесть-то прямо из жизни выросла. Теперь вижу, ты не слукавил. Есть, живут такие люди... Не слукавил, и правильно поступил. Так вот и дальше из жизни людей выбирай. Я вот тоже все из жизни. Кирилл Ждаркин — он мой дружок, наш, саратовский. Тебе бы его посмотреть: глыба, человечище.

И вдруг перескочил на давнюю свою обиду:

— Вот Горький в письме к Серафимовичу меня ругал: язык-де Панферов засоряет, слова калечит, тащит в литературу натурализм, анахронизмы, черт те что. А я ему говорю, отвыкли вы, Алексей Максимович, там, в своих Италиях, от родного языка, давно его не слыхали... Верно я говорю или нет?

Я, конечно, знал о дискуссии, развязанной в литературе вокруг письма Горького лет за десять до того, как шел этот разговор. Но имя Алексея Максимовича было для меня священно. Дружба Горького с тверскими комсомольцами, наша с ним переписка и мудрейшее письмо, которое он прислал мне однажды по поводу моего первого литературного дебюта, письмо, слова которого я все время берегу в заветном уголке сердца,— все это не позволяло мне хотя бы из вежливости согласиться с Панферовым.

— А вот мне очень помогло письмо Алексея Максимовича. Именно его критика, и в особенности критика моего языка помогла,— набравшись храбрости, ответил я.

— Как, разве и тебе он писал? — с некоторой обидой удивился Федор Иванович и как бы сразу похолодел: — Не знал, не знал...

Что именно он не знал, так и не сказал, но, уже не трогая имени Горького, вернулся к теме, которая, видимо, его очень занимала:

— А я вот считал и считаю, что мои «Бруски» тем и сильны, что я обеими ногами на земле стою, что все герои мои не из чернильницы, а из земли, из жизни, что я

им сват, брат, кум и свояк... Они ко мне чай пить заходят, мои герои. Кирюха Ждаркин сейчас на Саратовщине большой человек, но как в Москву попадет, в наркомат, никогда меня не обойдет.

И хотя Горького давно уже не было в живых, старая обида явно была не забыта. Видимо, рана еще ныла, и разговор снова свернул в прежнюю колею.

— Горькому из-за границы трудно нас было понять. Ну хоть вот этот твой цыган из повести. Ты его тоже из жизни выдернул. Мы хорошо с ним поговорили под грузди. Занятный парень... Груздочки ох хороши. Я уж договорился, мне тамошние кооператоры бочоночек выделят. Августовского засола. Так вот, жизнь-то не в бинокль, а глазами видеть надо... Ну, пошли, что ли, в гостиницу? Наверное, Василий Павлов там икру мечет.

И уже в подъезде «Селигера» он произнес фразу, которая очень мне запомнилась и которая для меня стала ключом к пониманию его литературных удач и неудач:

— Писатель — он как тот древний мужик Антей. Он силен и необорим, пока обеими ногами на земле стоит. А оторви его от матушки земли — и нет у него сил. Помните вы это, молодые. Все время помните. Хороший, правильный мужик Антей!.. Ты тоже от земли не отрывайся.

Я долго раздумывал тогда над этой фразой: хороший мужик Антей. И сейчас вот понимаю: добрый, очень добрый мне тогда был дан совет. Теперь как редактор, задумываясь иной раз над неудачной рукописью даровитого писателя, обязательно вспоминаю Антея, вспоминаю Панферова, этого талантливого, сложного, противоречивого человека, щедрою рукой благословившего когда-то и меня и многих писателей моего поколения на литературный путь.

МАДЛЕН РИФФО

Бывает, увидишь незнакомого человека — и вдруг начинает казаться, что когда-то и где-то ты его уже встречал. Принимаешься перебирать в памяти случаи, где это могло быть, отвергаешь одно предположение за другим, а уверенность, что ты этого незнакомца все-таки знаешь, растет да растет.

Подобное навязчивое чувство пришлось мне испытать на Третьем Всемирном конгрессе профсоюзов в Вене, ког-

да на скамьях соседствовавшей с нами французской делегации появилась худенькая девушка с необыкновенно большими, очень черными и как-то странно блестевшими глазами, с толстой темной косой, переброшенной через плечо.

По-видимому, она не была делегатом — на скамьях у нее не было постоянного места. Но по нескольку раз в день она появлялась в зале, всегда в одной и той же темной вязаной кофточке, обтягивающей ее тоненькую, складную фигурку, в неизменном белом накрахмаленном воротничке, оттенявшем густую смуглоту лица. Вид у нее был озабоченный, строгий. И все французы, даже самый старый среди них, знаменитый ветеран рабочего движения, с львиной гривой седых волос, с большими пушистыми усами, обычно мирно дремавший на заседаниях,— все при ее появлении начинали улыбаться и двигаться на скамьях, освобождая ей место.

Кто эта девушка? Где и когда я видел это тонкое лицо?

Дня два безуспешно решал я эту задачу, пока наконец в перерыв, взяв в компанию одного из друзей-делегатов, свободно говорящего по-французски, не отважился подойти к ней, отрекомендоваться и после всяческих приличествующих случаю извинений спросить, где я ее встречал. Вопрос был, конечно, странный. Серьезно, без удивления, выслушав его, она отрицательно покачала головой:

— Мы с вами никогда не встречались.

— Но почему ваше лицо мне так знакомо?

Не на губах, а где-то в глубине черных глаз появилась улыбка.

— Вы знаете живопись Пикассо? — спросила она вместо ответа.

И все прояснилось. Ну да, среди реалистических портретов этого удивительного мастера, среди тех немногих его работ, в которых сила своеобразного, оригинального таланта не маскируется причудливостью формы, особенно запоминаются три: лирически-проникновенный портрет матери, портрет Мориса Тореза, написанный с необычайной, можно сказать, философской глубиной и живой хваткой, рисунок, изображающий героиню французского Сопротивления, юную девушку, которая однажды, мстя оккупантам за уничтожение жителей села Орадур, днем, в центре столицы, на глазах у сотен гуляющих, выстрелом из пистолета казнила одного из палачей Парижа.

Сколько раз, раздумывая над работами этого необыкновенного художника, я старался понять, как это мастеру удалось скупыми, нарочито примитивными штрихами схватить и запечатлеть прелесть сложного образа девушки, почти девочки, ставшей народным мстителем сражающейся Франции! Теперь, вспоминая рисунок, я невольно сличал его с оригиналом.

Лицо на рисунке блещет юностью. Не чувствуется на нем ни этой землистой смуглоты, ни темных кругов, как бы еще увеличивающих и без того огромные глаза. И сами глаза не отмечены тем особым, беспокойным блеском, что так заметен сейчас. И все же несомненно...

— Мадлен Риффо?

— Да, Мадлен Риффо... Я тоже, признаться, все хотела подойти к вам и спросить, как поживает Алексей Маресьев.

— Вы с ним знакомы?

— Да... Он однажды очень помог мне в трудную минуту.

— Где вы с ним встречались? В Париже?

— Нет. Когда он приезжал в Париж, меня там не было. Я была больна... Мы с ним вообще не знакомы. Но я ему страшно благодарна.

— За что?

— О! Это длинная история. Слишком много пришлось бы рассказывать.

— А вы не любите рассказывать?

— Нет, почему же! Я ведь немножко поэтесса. А поэт не может не любить рассказывать...

Еще и поэтесса! Кто же из нас не помнит об этом выстреле, прозвучавшем в дни войны в оккупированном гитлеровцами Париже! Он был символичен, этот выстрел. Он прозвучал, как клич непокоренной, сражающейся Франции, и он нашел отзвук в сердцах советских людей, хотя тогда еще не называли фамилии героини. Я сказал обо всем этом собеседнице. Она оживилась:

— Правда? В Советском Союзе слышали об этом маленьком парижском деле? А как у вас отнеслись к нему? Мне очень важно знать. У нас ведь были, да и сейчас есть товарищи, и хорошие товарищи, которые осуждают меня: интеллигентская выходка, террор, не наш метод борьбы и так далее...

Большие глаза смотрели вопросительно, требовательно. Я сказал, что и наши партизаны, среди которых у меня много друзей. так же вот казнили особо зверствовав-

ших палачей, что храбрая советская девушка, живущая сейчас со мной в одном доме, убила гитлеровского наместника в Белоруссии и что теперь она врач, Герой Советского Союза и очень уважаемый в нашей стране человек...

— Нет, в самом деле?.. Спасибо... То, что вы говорите, для меня очень важно...

— Может быть, теперь вы все-таки расскажете о себе?

— Хорошо. Теперь расскажу.

И вот мы сидим в кафе, расположенном по соседству с залом, где идет заседание конгресса. Столики не заняты. Лишь какой-то лысый, немолодой репортер в дальнем углу что-то медленно, старательно пишет на узких листках, время от времени прихлебывая из бокала. Из зала едва доносится чье-то выступление, изредка прерываемое гулом аплодисментов. Тихая речь собеседницы течет неторопливо, и понемногу я узнаю, в сущности, простую и в то же время необыкновенную историю этой маленькой француженки.

Мадлен Риффо родилась в семье сельских учителей в деревеньке, находящейся невдалеке от известного теперь всему миру селения Орадур. Родители ее, провинциальные интеллигенты, социалисты по убеждению, мечтали, что и дочь их со временем станет учительницей и социалисткой. Это были непритязательные, трудолюбивые люди, и если теперь из девочки Мадлен, что в белом фартучке и нарукавничках, всегда тщательно причесанная, смирная, ходила в школу, она выросла такой, какая есть, за это она благодарна своему деду Жану Риффо, пастуху по роду занятий, поэту по складу характера и садоводу по всем своим устремлениям. Больше всего на свете этот бедный человек, едва зарабатывавший себе на хлеб, любил розы. На клочке земли возле домика он растил много роз и из десятилетия в десятилетие прививками, перекрестным опылением выводил новые экземпляры самой удивительной расцветки и формы.

— ...У вас в Советском Союзе он, вероятно, стал бы известным мичуринцем. У нас до самой своей гибели он оставался чудаком,— задумчиво звучит голос рассказчицы.— Он научил меня любить цветы, различать звезды и созвездия, привил мне вкус к старым народным песням. И если теперь я хоть немножко поэт, этим я тоже обязана деду.

Школой жизни, суровой политической школой, научившей девушку из провинциальной учительской семьи различать друзей и врагов, быть преданной одним и ненавидеть других, школой, воспитавшей в ней любовь к Франции, сделавшей из нее борца за большую судьбу своей страны, стала война.

Девочкой ходила Мадлен по крестьянским домам, собирала пожертвования и вещи для интернированных испанских республиканцев. Уже тогда слово «фашист» было бранным у французского народа. Но оно, это новое еще слово, было лишено для нее конкретного выражения. Фашист, «нази́», как говорили французы,— это было чем-то мерзким, но далеким, неопределенным, как, скажем, «черт». Только когда гитлеровские бомбы стали крушить дома Франции, а по дорогам на север хлынули потоки обезумевших от ужаса, все побросавших, отчаявшихся людей, когда потоки эти смыли и унесли с собой семью сельских учителей,— только тогда слово это обрело для совсем еще юной Мадлен свой истинный облик.

В дни этого страшного движения испуганных, отчаявшихся людей умер пастух-поэт Жан Риффо. В ту же зиму в покинутом им палисаднике были убиты морозом выведенные им новые сорта роз, лишенные привычной зимней защиты. И тогда же в душе Мадлен навсегда погасли привитые ей родителями политические иллюзии. Преданная врагу, поруганная лежала Франция. По парижским площадям, хранящим память о ее величии, гусиным шагом шли гитлеровские батальоны, и, заложив два пальца за борт кителя, в наполеоновской позе, Адольф Гитлер снимался на фоне Эйфелевой башни.

В эти дни девушка из провинции поняла, что родина — это не маленький домик, где течет ее жизнь, и не милое сердцу селение, где она выросла, не дюжина прелестных, с детства дорогих пейзажей, которыми она любовалась вместе с дедом, а великая, захваченная врагом земля, боль которой Мадлен начала ощущать как свою собственную. Видеть гитлеровскую физиономию на фоне Триумфальной арки Парижа ей было так же омерзительно, как слышать смех и песни чужих солдат в кабачке родной деревни. И, как многие французы в ту тяжелую пору, Мадлен панически думала: Франция повержена, вражеские солдаты топчут ее — стоит ли жить?

Вследствие ли скитаний по дорогам в потоке беженцев, от холода ли и недоеданий этой первой оккупацион-

ной зимы, или от постоянного ощущения безысходности, а вероятней, от всего этого вместе впечатлительная девушка слегла в постель, потеряла аппетит, интерес к жизни, стала медленно угасать. Она не идеалистка, нет!.. Но и сейчас ей кажется, что из этого тяжкого состояния вывела ее одна фраза, которую она когда-то слышала от раненого испанского республиканца, одного из тех, для кого она собирала среди односельчан старые вещи: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Девочкой она запомнила эти семь слов просто потому, что они красиво звучали. Теперь, когда она сама находилась на грани гибели, подавленная всем, что происходило вокруг, она уже по-другому повторяла эти слова и понимала, что это не звонкая фраза, что это жизнь, надежда, приказ. Испанец, от которого она когда-то услышала эти слова, сказал ей, что их произнесла бесстрашная женщина, которую солдаты наделили красивым прозвищем. Имя это девочка запамятовала. Но теперь она будто видела, как светлело измученное лицо раненого, когда он называл это имя. И еще помнила она, что женщина, произнесшая эти слова, была коммунисткой.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» С этой мыслью ехала Мадлен в Париж. В руках был маленький чемоданчик, в памяти — адреса нескольких подпольщиков, которые ей дал старик механик с бензозаправочной станции. Родным она сказала, что едет учиться. На самом же деле ее влекло в столицу решение связаться с теми, кто в эти дни не растерялся, не впал в панику, не искал компромисса с врагом, кто продолжал сражаться за свободу Франции. Ей повезло: она нашла таких людей. Они ей поверили.

— Мне поручили вести работу среди студентов. Ах, какие это были ребята! Романтики, храбрецы... Все хотели и действительно готовы были умереть за свободу Франции, все стремились немедленно в бой, и мне, по возрасту самой младшей среди них, приходилось удерживать своих товарищей от героического безрассудства, разъяснять им, что нужно стремиться не к смерти храбреца, а к тому, чтобы выжить и победить...

Рассказчица взволнованно улыбается. По зарумянившемуся лицу, по загоревшимся глазам видно, что и сейчас не перекипели в ней страсти тех дней. Да, они были романтиками, эти юные парижские подпольщики с медицинского факультета, юноши и девушки разных верований и убеждений, сплоченные общей ненавистью

к оккупантам. Все было: и фабрикация подложных медицинских свидетельств, спасавших молодых людей от отправки в Германию; и громкие читки стихов Гюго и Элюара; и маленькие диверсии против вражеских транспортов; и бурные споры о том, кто же поможет освободить Францию — западные союзники или Красная Армия; и печатание листовок и воззваний; и неудачная попытка взорвать военный склад... Была и любовь, да, робкая девичья любовь к молодому врачу-коммунисту, скромному, кажется даже излишне скромному, человеку, погибшему потом, во время парижского восстания...

— Детали? Что ж, можно рассказать и детали.

Как, например, француженка Мадлен Риффо вдруг превратилась в немца Райнера, что потом не раз сбивало со следа гестаповских шпиков. А произошло это так. Когда подпольщики пригляделись к девушке, коммунист, организатор боевой группы, сказал ей:

— Выбери себе кличку.

Кличку? Это оказалось почему-то очень трудным. Разговор происходил в библиотеке.

— Я не знаю, какую мне взять кличку,— смущенно сказала девушка, почему-то краснея.

— Да, это, конечно, чертовски трудный вопрос,— пряча улыбку, произнес организатор.— Хорошо, Мадлен. Положи не глядя руку на какую-нибудь книгу.

Зажмурившись, Мадлен протянула руку к книжной полке и нащупала корешок. Это были стихи немецкого поэта Райнера Мариа Рильке.

— Ну вот, теперь ты будешь Райнер,— сказал организатор.

— Как? Я, француженка, приму имя боша?!

Организатор рассмеялся.

— Гёте, Гейне, Рильке — разве это боши? Мы хотим уничтожить оккупантов, Гитлера, а не немецкую культуру и немецкий народ. Гюго говорил: короли рождаются и умирают, а народ остается, народ вечен...

Так в библиотеке, за этим маленьким политическим уроком, родился отважный французский партизан, носящий немецкое имя Райнер. И парижский филиал всемогущего гестапо, имевший в столице огромную сеть шпионов и осведомителей, так до конца и не дознался, что неуловимый Райнер, доставивший ему столько хлопот, вовсе не немец-антифашист, а всего-навсего хорошенькая парижская студентка с тихим голоском, огромными глазами и черной длинной косой.

— ...Нет, в самом деле, эта история с псевдонимом не очень смешно звучит для советских людей, суровых воинов, сломивших хребет фашистскому зверю?.. Нет?.. Тогда я вам расскажу и еще подробности.

Одной из постоянных забот подпольной организации медицинского факультета была добыча оружия. Ребята не могли, скажем, делать палеты на военные транспорты и таким образом обеспечивать себя необходимым вооружением, как это делали советские партизаны. Приходилось кустарничать. Заманивали фашистских солдат по одному, в темные улицы, оглушали ударом, забирали автомат, патроны и скрывались. В организации была прехорошенькая девушка, с виду прямо-таки ангелок с рождественской открытки. Смелая девушка! В таких операциях она изображала проститутку. При ее внешности ей не стоило труда очаровать на улице солдата или офицера. Она шла с ним в бар, подпаивала его, а потом вела будто бы к себе, в один из тихих переулков, где уже поджидала засада. Несколько раз это сходило с рук.

Но оккупанты становились все осторожнее. Был уже комендантский приказ: солдатам с наступлением темноты разрешалось появляться на улице только группами. Об этом приказе подпольщики еще не знали, и однажды девушка очутилась в жутком положении. Вместо того чтобы привести одного пьяного боша, девушка вдруг появилась в условном месте в сопровождении трех, да к тому же трезвых. Друзья, караулившие в подворотне, замерли. Как поступить? Как хотя бы спасти свою подружку? И тут один из них, обычно славившийся своей рассеянностью, поэт, вечно все везде забывавший, нашелся раньше других. Он выскочил из ворот, бросился к девушке, отвесил ей звонкую пощечину.

— Ах, негодная, вот ты чем, оказывается, занимаешься по вечерам! Марш домой! Отец с тобой поговорит.

И по-немецки пояснил солдатам:

— Извините, господа, это моя сестра.

Так он и спас боевого товарища, этот юный рассеянный поэт, у которого в партизанской группе была итальянская кличка «Мартини» и который в оккупированном Париже в сорок третьем году написал поэму «Красные маки».

Это была поэма о белорусских партизанах, о стране, где он никогда не бывал. Но среди молодых подпольщиков стихи пользовались успехом. После поэмы Мартини взялся за пьесу. И пьеса эта была о борьбе партизан

Украины, которую он тоже никогда не видел. Он увлекся новой работой и писал уже третий акт, когда в боевой своей деятельности допустил оплошность. Отнимая оружие у оглушенного гитлеровца, он заметил, что тот в сознании и наблюдает за ним. Партизанская заповедь гласила: врага, видевшего тебя, нельзя оставлять живым. Мартини был романтиком не только в поэзии. Он не решился добить поверженного нази́. А некоторое время спустя, когда он шел по переулку, его обогнал грузовик с солдатами. Машина вдруг остановилась. Какой-то солдат выскочил из кузова и бросился к Мартини. Партизана схватили и, избив до полусмерти здесь же, на улице бросили в машину. Его долго мучили, требовали выдать сообщников.

В партизанской группе Мартини был хранителем оружия. Где был тайный склад, никто не знал. Он мог умереть и унести с собой тайну. А оружие, оно так дорого давалось! И вот Мадлен, объявив себя невестой заключенного, пошла в тюремную больницу, где Мартини умирал от побоев. Это был риск, но ей все-таки удалось узнать у него адрес тайного склада до того, как поэт умер, так и не дописав своей пьесы о партизанах Украины.

— ...Если бы вы знали, как много для нас значили сражения, которые вела Советская Армия! Вести о ваших победах, даже самых маленьких, были как кислород для легких. Его жадно глотала оккупированная Франция. Они возвращали нам жизнь... Теперь есть люди, которые не любят об этом вспоминать. Есть и такие, что и самую память об этом хотят истребить даже в самих себе. Глупцы! Разве это забудешь? Бывало, ночью приникнешь к приемнику, шаришь-шаришь в эфире и вот сквозь свист и треск нацистских глушителей слышишь позывные, что давались у вас перед салютом. И эта простая музыкальная фраза говорила нам: «Мы с вами, братья! Держитесь! Теперь уже недолго. Мы идем к вам на помощь».

Мадлен задумывается и вдруг как-то сразу очень хорошеет, вновь становится такой, какой, была, вероятно, когда действовала под именем Райнер.

— ...Вы были всегда с нами... А Сталинград! После этой вашей победы все закоулки Парижа были исписаны призывом: «К оружию, граждане!» Это из «Марсельезы». А на окраинах писали лаконичней. Там писали: «Сталинград!» И это тоже звучало призывом.

Со Сталинградской победой у неуловимого партизана Райнера связано и личное воспоминание. Мадлен везла в один из районов только что отпечатанные листовки. На них был изображен советский солдат и написано одно только слово: «Сталинград». Листовки были связаны пачками, и пачки равномерно размещены под пальто. В метро была давка. Бечевка одной из пачек лопнула, и девушка почувствовала, что листовки потекли вниз и рассыпаются по полу. Она не знала, что делать. В нескольких шагах от нее, держась за ремешок, стоял французский полицейский. К счастью, он смотрел куда-то поверх голов. Но каждую минуту он мог опустить глаза. Девушка даже зажмурилась. Сейчас он увидит, подымет...

Но что это — сон или бред? Проходит минута, другая... Вагон бежит. Отчетливо стучат на стыках колеса, и никто не замечает листовок, на которых изображен советский солдат. Никто, даже полицейский, у ног которого они рассыпаны. Вот полицейский наклонился, взглянул в окно. Мелькают серые стены тоннеля. Полицейский направляется к Мадлен... Попытаться открыть дверь вагона? Прыгать на ходу? Разбиться?.. Полицейский наклоняется. Что такое он говорит?

— Мадемуазель, не знаете, какая следующая остановка? — И, не дождавшись ответа, начинает торопливо проталкиваться к выходу, бормоча: — Ну, так и есть, моя, чуть не прозевал...

Он действительно сходит на этой остановке. И вместе с ним сходят все, кто был в вагоне. Только россыпь листовок остается белеть на полу, поражая всех, кто садится на этой станции. А партизан Райнер, затерявшийся в толпе, едва тащит ноги: только бы выдержать, только бы не упасть... Добравшись до друзей, сдав опасный груз, девушка падает на диван, плачет, плачет, как маленькая. Ей дают воду, но зубы выбивают дробь о стакан, вода льется на грудь...

Наступление на Восточном фронте продолжает развиваться. Как отклик на эти победы, растет, крепнет французское Сопротивление. Каждое утро Париж просыпается, исписанный антифашистскими лозунгами. Гестаповцы безумствуют. Страну облетает слово «Орадур». Из названия небольшого селения оно превращается в страшный символ. Там, в районе этого селения, активно действовали партизаны. Гитлеровцы сровняли село

с землей. Мужчины, мальчики, старики были расстреляны. Женщины, дети были согнаны в церковь, заперты там и заживо сожжены.

Эта трагедия, потрясшая страну, для Мадлен являлась и личной трагедией: Орадур для нее не просто крохотная точка на карте Франции. Это родные места. Она помнит домики, что снесены теперь с лица земли, сады, что вырублены. Как живая, встает в памяти церковь, где сгорели женщины и дети, и среди них, может быть, знакомые, родственники. Думая об этом, девушка лишается сна. В разных концах оккупированной Франции партизаны мстят за Орадур. Решают мстить и юные подпольщики с медицинского факультета: пусть каждый уничтожит по гитлеровскому палачу.

Легко решить. Но как осуществить? Гестаповцы не зайцы и не кролики. Сейчас, когда Париж кипит гневом, они особенно осторожны. Офицеры стараются не появляться на улицах без сопровождения. Солдаты ходят командами. Все это так, но кости сгоревших, похороненные под закопченными развалинами, вопиют о мщении. Мадлен не знает покоя. Нет, к черту осторожность! Надо рискнуть, чтобы открыть счет. И пусть откроет его девушка. Ведь каждый француз немножко рыцарь. Казнь гестаповского палача, осуществленная девушкой, вызовет отклик во всех уголках Парижа. Да, именно такой был у Мадлен расчет, когда она готовилась к этому своему выстрелу.

В праздничный день она кладет в карман пистолет. Садится на велосипед и едет в одно из самых людных мест Парижа. Сад в этот час особенно красив. По аллеям, деревья которых пронизаны лучами солнца, уже повернувшего на закат, движется пестрый поток гуляющих. «Ах, эти французы! Несмотря ни на что, они выглядят беспечными, веселыми». Мадлен неторопливо нажимает на педали. На ней пестрое платье. За спиной коса, и в косе бант. В этот день она оделась с особой тщательностью. И вот теперь, двигаясь навстречу судьбе, она испытывает не страх, а горечь, горечь оттого, что никто из гуляющих не знает, что вот сейчас она будет стрелять в их врага и что еще через сколько-то мгновений, вернее всего, и сама упадет мертвой на нагретую солнцем землю, чтобы больше никогда уже не видеть ни этого сероватого неба, ни сочной зелени.

Неторопливо доехала до моста Сольферино, не увидев ни одной подходящей мишени. Попадались немецкие

солдаты. Они ходили обособленными группками. Одна из таких группок даже обратила внимание на хорошенькую велосипедистку. Вслед Мадлен раздались грубоватые комплименты. Послышался смех. Нет, нет, это все не то! Но вот у моста она вздрогнула и как-то инстинктивно притормозила велосипед. У перил стоял эсэсовский офицер в праздничной форме. Это был высокий и немолодой уже человек с толстым розовым загривком. В руках у него была булка. Опираясь грудью о перила, он бросал с моста куски хлеба и смотрел вниз. Он весь ушел в это занятие, и если бы не форма, можно было бы подумать, что это благодушный рантье, отец семейства, безобидно развлекающийся на досуге. Но на нем была вражеская форма. Это старший офицер «СС». Эс-эс — тех, кто сжигал людей в церкви Орадура. Жандарм оккупированного Парижа — достойная цель.

Как-то вся сразу точно бы окаменев, действуя почти механически, девушка соскочила с велосипеда. Теперь только выхватить револьвер из кармана. Он ведь туда с трудом влез. Нет, кажется, ничего... Ах, черт! Какой-то подросток тоже перегнулся через перила возле эсэсовца, смотрит вниз, где рыбы будто клюют куски хлеба. Этак ненароком попадешь в него. Мадлен люто возненавидела мальчишку и застыла в оцепенении. Так они трое и стояли у перил: эсэсовский офицер с булкой в руках, мальчишка и хорошенькая, совсем юная велосипедистка. Люди медленно шли мимо них. Мадлен оцепенела. Она больше всего боялась, что эсэсовец вдруг услышит, как шумно бьется у нее в висках кровь. Совсем как сельский колокол: бум, бум, бум.

Наконец-то проклятый мальчишка засвистел, отошел. Он, вероятно, уже заметил смуглую девушку с толстой косой за спиной. Может быть, она ему понравилась, и потому он тотчас же оглянулся. И, оглянувшись, вскрикнул от неожиданности, увидев, что девушка целится в офицера. Раздался выстрел. Офицер обернулся как бы с удивлением и, оторвавшись от перил, медленно, как подпиленное дерево, стал валиться на тротуар. На мясистом лице его было все то же удивленное выражение.

Тут Мадлен услышала крик. Кричал мальчишка. Девушка, которая мгновение назад действовала почти механически, ощутила во всем теле противную дрожь. С трудом вскочила на велосипед и, не оглядываясь, быстро поехала через мост, навстречу людям, бежавшим к месту происшествия. Никто не пытался ее задерживать. Так бы

она, вероятно, и скрылась, затерявшись в толпе, если бы поблизости не оказался патрульный автомобиль. Машина сейчас же покатила вдогонку, настигла Мадлен и ударом крыла сбила ее с велосипеда. Девушка упала, и, прежде чем успела подняться на ноги, щелкнули наручники.

Мадлен доставили в известный всему Парижу дом гестапо. В воскресенье гестаповцы отдыхали. Французский жандарм, принимавший девушку, хмуро поглядывал на арестованную.

— Зачем ты это сделала? — проворчал.

И в голосе его Мадлен послышалось сочувствие.

— Они убили моего жениха... Я обезумела от горя... Я поклялась им отомстить,— твердила она заранее придуманную на этот случай версию.

Это же она повторяла и гестаповцам, когда те приступили к допросу по всем правилам своего окаянного ремесла. Окружив ее живым кольцом, они по очереди били свою жертву кулаками, бросая от одного к другому. В конце концов обессилев она, окровавленная, падала на пол. Ее отливали водой и спрашивали:

— Кто вас научил? Кто ваши сообщники? Где вы взяли оружие?

Она твердила все те же слова. Едва живую ее отнесли в камеру без окон и бросили на цементный пол. Через несколько суток, когда она немножко пришла в себя, допрос возобновился. Теперь ее привязали к стулу, сорвали с нее одежду и били резиновыми бичами.

Тело постепенно превращалось в сплошной синяк. Девушка перестала чувствовать удары. Спокойный голос не громко, не зло, но настойчиво спрашивал:

— Назовите вашу организацию, назовите ваших сообщников...

До затуманенного сознания едва доносились эти спокойные и потому особенно страшно звучавшие вопросы. Постепенно Мадлен привыкла к ним. Иногда она вспоминала свою партизанскую кличку. И в уме у нее маячила строка из немецкого поэта Райнера Мариа Рильке, имя которого было ее партизанским псевдонимом:

...Бог, дашь ли ты каждому смерть,
Которая будет достойна жизни...

А распухшие от ударов губы еле слышно, автоматически твердили:

— ...Нет, нет, я ничего не знаю... Я мстила за своего жениха. Я ничего больше не знаю. Ничего и никого.

Даже оставшись одна в своей камере, в бреду она повторяла: «Нет, нет, нет...»

Тогда палачи, желавшие, очевидно, во что бы то ни стало до казни вызнать, с кем она была связана, прибегли к одной из самых изощреннейших пыток. Гестаповец, работавший над ее делом, оказывается, уже напал на след. По номеру револьвера, из которого она стреляла, стало известно, что оружие было добыто в результате налета на полицейского. В каком-то досье отыскали ее фотографию, тайно сделанную в тюремной больнице, когда она под видом невесты ходила прощаться с умирающим поэтом Мартини. Нити привели к медицинскому факультету. А до этого был схвачен подросток, совсем мальчик, которого иногда их организация привлекала для расклейки листовок. И однажды палачи привели Мадлен в пустую комнату и привязали к стулу. Потом был введен этот подросток.

— Вы знаете его?

— Нет,— ответила девушка.

— А ты ее знаешь?

Мальчик был избит. Багровый синяк закрывал его правый глаз. Он весь дрожал. Но это был храбрый французский мальчик. Единственный зрячий глаз в упор смотрел на Мадлен.

— Нет, не знаю. Я никогда ее не видел.

Тогда на глазах у Мадлен палачи начали пытать мальчика, выламывать руки, загонять деревяшки под ногти. Он корчился от крика и часто терял сознание. Его приводили в себя с помощью какого-то лекарства, и все начиналось снова.

— Мадемуазель, признайтесь, назовите фамилии сообщников, мы сейчас отпустим этого щенка домой.

— Нет, нет, я ничего не знаю.

— А ты, мальчик, ты не хочешь к маме? Она, наверное, с ума по тебе сходит. Неужели из-за этой девки, которая убила нашего полковника, потому что он мало заплатил ей за ночь, ты хочешь умереть, даже не попрощавшись с родителями?

— Нет, нет, я никогда ее не видел...

И самое страшное было в том, что окно во двор было открыто, что там буйствовала ласковая и хмельная

парижская весна. Восковой подсвечник каштана, сияя на солнце, тянулся к окну. Этажом выше кто-то играл на рояле Баха, и торжественные, величественные аккорды беспрепятственно влетали в комнату, где два гестаповца спокойно, без злобы, методично выполняя привычную работу, терзали мальчика с рыжими веснушками, густо рассыпанными по переносице.

— Мадемуазель, вы не любите детей,— говорил один из гестаповцев.— Такая милая девушка и такая жестокая. У вас каменное сердце.

— Нет, нет, нет, я ничего не знаю... Я никого не знаю,— упрямо твердили воспаленные, растрескавшиеся губы.

Так ничего не добившись и на этот раз, Мадлен бросили в камеру смертников, в каменную коробку, куда не проникал луч света.

Понемногу она освоилась и с новым убежищем. В сплошной темноте ничего нельзя было разглядеть, но пальцами она нащупала на стенах много надписей, выцарапанных теми, кто прошел через эту комнату на казнь. Чтобы убить время, она на ощупь разбирала надписи одну за другой. Чаще всего это были фамилии, адреса и просьбы передать на волю, что такой-то или такая-то погибли как настоящие французы. Были и слова прощания с миром, слова проклятия палачам, слова привета оставшимся в живых, слова веры в победу и во Францию.

Так, исследуя стены сантиметр за сантиметром, Мадлен нащупала в углу выцарапанное в штукатурке слово «Сталинград». И вдруг вспомнились метро, листовки, полицейский, спрашивающий, какая следующая остановка. Как будто старый и верный друг вошел в одиночку. Вошел и принес надежду. Теперь Мадлен частенько щупала пальцами штукатурку в этом заветном месте.

Вскоре она и сама надумала выцарапать на стене звезду. Пятиконечную.

— ...Звездное небо для меня и сейчас самое волнующее зрелище,— слышится ровный, задумчивый голос рассказчицы.— Я вам говорила, что дед научил меня читать небесную азбуку. Мы часто смотрели с ним на небо, и оно казалось мне огромным садом, а звезды — светящимися цветами... Там, в тюрьме, в ожидании казни, я сочинила

несколько стихов. Это, наверное, неважные стихи, я их забыла. Но вот одна строчка еще помнится: «С тех пор, как я в партии, в груди у меня вместо сердца красная звезда...»

В камере смертников Мадлен продержали довольно долго. Она свыклась с темнотой и потеряла чувство суток и счет дням.

Потом, совершенно для нее неожиданно, из камеры смертников ее перевели в обычную одиночку. Режим питания улучшился. Дали писчую бумагу. Француз-тюремщик, приносивший еду, иногда даже заговаривал с ней. Утром он галантно спрашивал:

— Как вам, мадемуазель, спалось?

Мадлен никак не могла понять, что все это значит. Потом все-таки догадалась, что дела у фашистов, должно быть, ухудшились. И, по-видимому, продолжали ухудшаться, ибо тюремщик становился все болтливее. Он шепнул, что Красная Армия уже в Польше, в Румынии. Союзники, кажется, наконец всерьез взялись за войну. Похоже, что они скоро двинутся к Парижу. Говорят, будто в городе появились парашютисты-разведчики из французских дивизий де Голля.

— Пусть мадемуазель когда-нибудь вспомнит, что я был вполне лоялен. Служба есть служба, но я с вами обращаюсь хорошо, не правда ли?

Эта фраза была для Мадлен самой достоверной информацией о том, что происходило на воле. И вот совсем уже неожиданно Мадлен Риффо и партизанку из сторонниц генерала де Голля гестаповцы через нейтральных послов выменяли на каких-то захваченных союзниками гитлеровских генералов.

Так, будто в сказке, к девушке пришла свобода. Для человека, вернувшегося из ада, свобода означала одно — борьбу. И хотя Мадлен еле держалась на ногах, она тут же, едва оправившись, вступила во французскую армию, где ей за заслуги присвоили звание лейтенанта и удостоили награды.

Отдыхала и поправлялась она, уже воюя. Она командовала взводом имени Сен-Жюста, и взвод этот до последнего дня войны успешно действовал главным образом в тылах врага. До полного освобождения родины девушка была одной из тех, кто в боях с гитлеровцами завоевывал свободу...

— Вот и вся история,— сказала девушка, допивая кофе, и окликнула официанта: — Герр обер, рюмочку коньяку.

Коньяк она выпила залпом, как пьют солдаты, и по смуглым щекам ее разошлись неровные пятна болезненного румянца.

— О дальнейшем не хочется говорить...

Что же к этому добавить? Шли годы, и странные, трагические перемены происходили на глазах Мадлен. Те самые боши, которые еще недавно гусиным шагом маршировали по оккупированному Парижу, снова ходили по нему, уже в качестве гостей. Полицейский, который когда-то в воскресный день свалил Мадлен ударом крыла машины, растолстел, повышен в чине. Он даже как-то раз, встретив Мадлен на улице, вежливо поклонился ей. Шикарные немецкие лимузины лихо подкатывают к подъезду дворца, где помещается командование НАТО. Оттуда выходят с портфелями те самые гитлеровские генералы, которые когда-то свирепствовали во Франции, и раззолоченный швейцар раскрывает перед ними двери.

Но Мадлен уже не удивляется. Это не прежняя наивная девушка из провинции, не юный очаровательный партизан Райнер и не молоденький лейтенант французской армии, каким ее изобразил Пикассо. Три книжки стихов, которые она выпустила после войны,— это, конечно, романтические книги. Но в них звучит уже голос опытного борца, серьезно разбирающегося в событиях, борца, знающего законы истории и законы классовой борьбы. И она продолжает оставаться борцом — отважным солдатом газетной армии, из тех, которые сражаются за мир, за честь Франции, за взаимопонимание народов, за мирное сосуществование различных социальных систем. Вот и сюда, на конгресс, она приехала как боевой корреспондент профсоюзной французской рабочей газеты.

...В зале, где продолжает заседать конгресс, аплодисменты, шум, крики. Кого-то приветствуют с особым энтузиазмом. Журналист, который в течение всей нашей беседы корпел над статьей в опустевшем кафе, бросает свои блокноты, вермут, недокуренную сигарету и кидается в зал. Мадлен Риффо тоже порывается вскочить, но потом, улыбнувшись, машет рукой и остается, задумчиво свертывая в трубочку листок меню.

— Журналистский рефлекс... Как видите, уже стала настоящей газетчицей... Хотя, собственно, почему бы нам не пойти и не послушать? Я уже все рассказала.

— Ну, а как же вам помог Алексей Маресьев?

Она улыбается.

— Просто. Неужели не догадались? Пребывание в гестапо для меня не прошло бесследно: отбили легкие. Вскоре после войны меня свалил туберкулез... То, что происходило тогда во Франции, как вы понимаете, не могло бодрить,— наоборот, порой мне даже начинало казаться, что мы боролись напрасно. Такой ценой выгнали нази, а теперь они возвращаются в Париж. Болезнь одолевала, а у меня не хватало сил и, скажем прямо, желания сосредоточиться для борьбы с ней. Тогда один мой друг дал мне книгу об Алексее Маресьеве. Каюсь, сначала я не поверила вам, но когда узнала, что вся история подлинная, была потрясена. И вдруг мне в голову пришла простая мысль: чем, черт возьми, я, французская девчонка, хуже этого советского парня! Он коммунист, я коммунистка. Он солдат, я солдат. И общий враг еще не сломлен. И борьбы на наш век хватит. Так я сказала себе. Вот и все. И передайте за это спасибо майору Маресьеву от лейтенанта запаса французской армии Мадлен Риффо.

— И от славного партизана Райнера?

— Ну что ж, и от партизана Райнера.

И тут я увидел, как партизан Райнер достал из сумочки, которую носит на длинном ремне, на манер офицерского планшета, зеркальце, губную помаду и очень привычным, изящным женским движением мазнул себя по губам.

Он, этот отважный партизан, оставался француженкой до мозга костей.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАТРИАРХА

Я видел, как трудовой Копенгаген прощался с ним. Процессия растянулась на несколько километров. Люди заполняли тротуары на ее пути. Иные откровенно плакали. Женщины бросали цветы, можжевеловые ветви. Мне довелось выступать на траурном митинге в одном из крупнейших залов датской столицы. С того времени прошло немало лет. И тем не менее трудно говорить

о Мартине Андерсене-Нексе в прошедшем времени: он жил, он писал, он боролся. Это к нему как-то не подходит.

Нексе принадлежит к той редкой категории людей, над которыми смерть как бы не властна. Он весь в своих книгах, в своих делах, и, хотя умер он уже давно, тем, кто его знал, кто дружил с этим удивительным человеком, он вспоминается, как живой среди живых, как человек, всю свою жизнь шедший и как бы продолжающий идти вперед и вперед.

...Вот он медленно, со старческой неторопливостью переставляя больные ноги, поднимается на трибуну писательского съезда в одной из народно-демократических стран. Это особый, это первый, учредительный съезд. Очень разные люди сидят в зале. У них разные, далеко еще не общие убеждения, литературные симпатии. До согласия и единомыслия еще очень далеко. Но когда Нексе, большой, плечистый, со своим румяным лицом, с массивной головой, опушенной вьющимися сединами, с зоркими глазами навыкате, поднимается над трибуной, настает дружная тишина. Такая тишина, что становится слышно, как большая муха бьется где-то в оконное стекло. Потом столь же дружно вспыхивают аплодисменты, и он, с досадой отмахиваясь от них, делает сердитые, запрещающие жесты. Дескать, не тратьте попусту драгоценное время. И, не дождавшись, пока волна оваций схлынет, начинает говорить. Сразу, словно бы по команде, зал смолкает. Его фразы, произносимые отрывистым хриплым голосом, падают в абсолютную тишину, в которой снова отчетливо слышно, как муха бьется о цветные стекла окна.

— Патриарх, патриарх литературы,— тихо определяет Константин Александрович Федин, с которым мы сидим рядом среди иностранных гостей этого съезда.

И в самом деле он говорил как мудрый патриарх. Ничего декларативного, ничего предвзятого, заученного. Его речь — поток мыслей, как бы даже и не очень связанных одна с другой. Но какие мысли! По репортерской своей привычке я стараюсь записать перевод его речи.

— ...Писатель, который живет замкнувшись, полагая, что он жрец в храме искусства, никогда не сможет положить на стол перед простым человеком свою душу и ответить на его жгучие насущные вопросы.

—...Работая, писатель должен обязательно чувствовать, переживать. Непременно. В свое произведение надо

вкладывать лишь подлинное, а не выдуманное чувство — любовь к заблудшему... И все настоящее, невыдуманное... А как же, коллеги, разве можно что-нибудь настоящее создать без подлинной героики... Фальшивый бриллиант может сверкать даже острее, чем настоящий, но глаз человека сразу скажет, что это всего лишь ловко ограненная стекляшка...

— ...Какие задачи стоят перед настоящим поэтом, даже если он пишет прозу? Мне представляется, что каждый подлинный поэт играет на каком-то своем инструменте. Вы слышите: обязательно на своем. А литература в целом — это оркестр, в котором бесчисленное количество разных поэтических голосов сливается в одну общую симфонию. Это было бы очень скверно, если бы все поэты вдруг заиграли, скажем, только на скрипках, или засвистели на флейтах, или, упаси бог, все начали бы колотить в барабаны...

Я едва успеваю записывать эти мысли. Константин Александрович шепчет:

— Мудрец, настоящий мудрец.

И действительно, в старинном зале, где происходит съезд, немало талантливых, Нексе походит на мудрого учителя, читающего увлекательный урок. И это не вежливое внимание к иноземному гостю. Слушают с интересом, с редким для писательского собрания единодушием, слушают, боясь пропустить хотя бы слово.

С нашей родиной, с нашим народом у Мартина Андерсена-Нексе самые добрые, давно уже установившиеся отношения. Не раз нам доводилось слышать от этого старого датчанина, что он больше всего гордится статьей, которой когда-то приветствовал красный флаг, поднявшийся над броненосцем «Потемкиным» в тысяча девятьсот пятом году, в дни первой русской революции. Он очень дорожит и тем, что когда-то в Дании, а может быть, и вообще в Западной Европе, в этой статье он первый как бы предчувствовал великое революционное будущее нашего народа. С той давней статьи он и ведет отсчет своей дружбы. И, вероятно, поэтому гордится и нашими достижениями как своими собственными.

Последнее свое десятилетие он прожил в Германской Демократической Республике, в Дрездене, в особняке, высоко вознесенном над широкой и быстрой в этих краях Эльбой. В дни, когда я первый раз посетил его там, этот город, его исторический центр, составляющий как бы сгусток соборов, музеев и дворцов, еще лежал в развалинах,

превращенный перед самым концом войны в груду обугленных руин двумя ночными «ковровыми» налетами огромных масс англо-американских самолетов.

Из большого окна в кабинете писателя открывался вид на эти руины, лежащие за рекой, и Нексе просто трясся от гнева, показывая на них.

— Зачем, зачем они это сделали? Ты вот рассказываешь, что здесь воевал. Объясни: зачем вашим тогдашним союзникам надо было разрушать этот центр мировой культуры, который люди называют северной Флоренцией?

Я тоже разделяю гнев этого славного старца. Я вспоминаю, что здесь вот, на крутом берегу Эльбы, почти рядом с домом, где живет Нексе, находился командный пункт моего старого знакомца — генерала Александра Родимцева, корпусу которого и предстояло брать центр Дрездена. Родимцев — один из выдающихся героев Сталинграда. Он командовал там знаменитой 13-й гвардейской дивизией. Оттуда, с нижней Волги, с боями дошел он сюда, на Эльбу, и я очень хорошо помню, как он, полководец, соединению которого предстояло брать Дрезден, вместе с начальником штаба ночью мучились над оперативным планом предстоящего штурма, стараясь в час наступления сохранить город от, казалось бы, неизбежной артиллерийской подготовки. Я рассказываю Нексе, как Родимцев посылал в город парламентеров, как требовал сдачи без боя и как в конце концов сумел-таки форсировать широкую реку, не произведя ни одного артиллерийского залпа.

Нексе уже знал об этом. Он очень интересовался подробностями и самой личностью Родимцева, снова и снова заставляя меня говорить о нем. И я рассказывал, как этот русский человек, сражавшийся когда-то в Испании в Интернациональной бригаде под именем Павлито, прошедший с боями через всю нашу страну, видавший сотни разрушенных городов и тысячи сожженных деревень, сидя вот здесь, над Эльбой, над картой Дрездена, качал головой и говорил:

— Фашизм есть фашизм. Он везде одинаков. Вот в Мадриде фалангисты влепили несколько снарядов в музей Прадо. В знаменитый музей. А я помню, как мы в свободную минуту бегали туда с передовой смотреть картины и скульптуры и осторожно ступали по комьям извести и разбитых стекол. Но то были фашисты, а англо-американцам зачем было уничтожать этот город?

Нексе всплескивает большими, тяжелыми руками и кричит в соседнюю комнату, где его жена накрывает на стол:

— Иоганна, Иоганна, послушай, что он рассказывает! Это ж очень интересно... Гитлеровцы у них разрушили много музеев, разграбили много картинных галерей, а вот их сталинградский генерал берет Дрезден, а потом они по описи возвращают немцам картины Дрезденской галереи и сокровища из коллекции саксонских королей. По описи! А ведь по всем исконным военным законам это их трофеи.

И вдруг:

— Покажи мне, где был командный пункт этого сталинградского генерала. Я должен посмотреть это место.

С трудом поднявшись на свои распухшие ноги, он заставляет меня отвести его к дому, где был штаб Родимцева и где ко времени нашей встречи уже размещалось какое-то детское учреждение.

Прощаясь в этот раз, я оставил хозяину на память свою книгу «Повесть о настоящем человеке», в те дни только что вышедшую в Берлине, на немецком языке. Оставил как благодарность за гостеприимство и конечно же без всякой надежды, что этот старый больной человек заинтересуется ею и найдет возможность прочесть.

Легко представить себе радость, которую я испытал, получив от него большое письмо. Все оно было посвящено книге. Там было мало обычных вежливых похвал. Но в письме этом звучала радость тем, что мы, советские писатели, можем брать реальных и даже продолжающих жить современников за руку и вести их на страницы книг, на сцены театров, на экран кинематографа. Он верил всему написанному, но считал, что для того, чтобы писать такую книгу, «...нужно много больше фантазии, чем для того, чтобы изображать какое-нибудь привидение, которое бродит по ночам, держа под мышкой собственную голову». Я не удержался, показал письмо Константину Александровичу Федину, который любил и уважал этого писателя. Федин подчеркнул для меня именно эту фразу.

— Поздравляю вас с благословением патриарха,— сказал он...

Не забудется и последнее пребывание Нексе в Советском Союзе. Хорошо подлечившись в одном из подмосковных санаториев, он пригласил к себе в номер нескольких

друзей на прощальный ужин. В этот день он был необыкновенно весел и оживлен.

— У вас отличная медицина. Я уважаю врачей, которые меня лечили. Знающие, внимательные врачи. Но не они, нет, не они, черт возьми, поставили меня на ноги. На меня волшебно действует ваш, советский воздух, очищенный грозами трех революций. Столько в нем озона! Дышу и молодею. Ведь я же помолодел, Иоганна, как ты находишь? — Он по-крестьянски хитро подмигивает.— Жена первая замечает, когда муж молодеет.

Не знаю уж почему, но в этой последней беседе, которую нам довелось с ним вести, он часто обращался к мысли о роли писателя в современном мире.

— Писатель, если он настоящий писатель, должен быть со своим народом, жить его радостями, печалиться его печалями, а для этого надо иметь на руках мозоли, и не от аплодисментов на всяких там собраниях, банкетах, съездах, а от работы, хотя бы и за письменным столом.

Заспорили об очень известной в те дни книге. Один из нас — поэт — стал восхищаться красотой и своеобразием языка этого произведения. Нексе слушал, макал в вино хлеб и ел неторопливо, аккуратно прожевывая. В его совиных, широко открытых глазах постепенно зажглись иронические, озорные огоньки.

— Об этом сборнике мне судить трудно,— сказал он вдруг своим напористым, хрипловатым голосом.— А насчет языка так. Язык произведения хорош, когда он язык народа. Хороший литературный язык сливается с народным языком. Хороший язык писателя читатель не замечает, как здоровый, цветущий человек не замечает, что у него есть сердце, печень и почки. Человек начинает замечать, что у него есть сердце, печень и почки, лишь тогда, когда они у него болят. Читатель начинает обращать внимание на язык писателя, лишь когда этот язык неуклюж, или шероховат, или излишне, нарочито красив либо вычурен. Словом, когда он мешает процессу чтения.

Старый больной человек, горячо озабоченный судьбами мира, он с большой надеждой следил за движением сторонников мира, которое в те дни еще только набирало силы. Расспрашивал Александра Фадеева и меня о последних международных конгрессах, на которых болезнь помешала ему присутствовать. Врезались в память его слова об особой ответственности людей умственного труда в теперешнее напряженное время.

— Интеллигенция — глаза человечества. Если глаза видят зорко, не застилаются вредным шовинизмом, местничеством, тогда у империалистов меньше возможностей развязать войну.— И, словно бы содрогнувшись от омерзения, он вдруг сказал: — На севере живет художник, большой художник, которому фашистская муть заволокла глаза. Он морально убил сам себя. Это Кнут Гамсун, который когда-то был моим хорошим знакомым. Когда-то! Он жив, но для народа своего он мертвец. А ведь самое страшное — стать мертвецом вживе.

Явно волнуясь, Нексе разом осушает бокал. Потом ладонью сгребает крошки хлеба со скатерти и отправляет в рот.

— Знаете, какую медленную казнь придумали для Кнута Гамсуна его земляки? Они каждый день бросают его книги за забор его дома. Это страшно, наверное,— находить у себя под окном свои книги, выброшенные как мусор. Мне порой даже жалко этого мертвеца, не знающего покоя могилы.

Вспоминается прощание. Внуковский аэродром. Предотъездная толчея. Нексе по очереди крепко, по-крестьянски, обнимает каждого провожающего. Уже у трапа, перед тем, как шагнуть на ступеньку, он говорит:

— Я не расстаюсь с Москвой. Она всегда со мной, вот здесь.— Он прикладывает свою большую, пухлую, свою стариковскую руку, руку труженика, к левой стороне груди...

Это были последние слова, которые я от него слышал. А потом, за несколько дней до известия о его смерти, я получил от него письмо, полное бодрости, оптимизма. Он сообщал, что чувствует себя лучше, что каждый день работает над третьим томом «Мартина Красного» и что дело идет, как ему кажется, неплохо. Ему шел тогда восемьдесят пятый год. И ушел он из жизни, как солдат, в разгар атаки. Вот, наверное, почему и трудно говорить о нем в прошедшем времени.

МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРОСТИ

В первую послевоенную осень, в дни, когда борьба всех прогрессивных сил Румынии с реакцией, пытавшейся тащить страну назад, достигла наивысшего накала, мне вместе со скульптором В. И. Мухиной довелось присутст-

вовать на каком-то торжественном рауте в здании Бухарестской филармонии.

Перед началом в центральной ложе, в окружении придворных в опереточных, расшитых золотом мундирах, появился король. Инерция прошлого еще действовала. При появлении молодого офицера с красивым, но маловыразительным, точно фарфоровым, лицом все присутствующие поднялись. И тут сразу бросилось в глаза, что в зале, в левой ложе, продолжает сидеть один человек.

Это был грузный, величественный старец с крупной, львиной головой. Он сидел невозмутимо, будто и не замечал, что вокруг него происходит. Широкое лицо оставалось каменно спокойным. Но зато на нем жили глаза — цепкие, ясные, должно быть все замечающие. И в них, в этих узких глазах, в ту минуту отражались сразу и озорноватая усмешка, и незамаскированное презрение, и даже, пожалуй, этакая неловкость, которую ощущает человек независимого мышления, когда в его присутствии во имя условности совершается нечто нелепое.

— Посмотрите, какая замечательная голова! — прошептала Вера Игнатьевна, указывая на этого человека.— А какое спокойствие... Лев!.. Вот его бы я с удовольствием слепила.

Мы шепотом поинтересовались у сидевшего с нами румынского друга, кто это. Тот удивленно посмотрел на нас, как на людей, спрашивающих о том, что всем уже давно известно.

— Как кто?.. Садовяну. Михай Садовяну. Это наш лучший писатель, наш классик, гордость Румынии.

Ни разу до этого не встречаясь, мы, разумеется, знали Садовяну. И вот теперь с интересом рассматривали его, а Вера Игнатьевна, положив на сумочку программку, принялась набрасывать его гордую, характерную голову...

Я совершенно забыл теперь, чему было посвящено это собрание, забыл короля, которого, признаюсь, рассматривал тогда во все глаза, как некую диковинку, а вот массивный старец, один сидящий в небрежной позе среди стоящих людей, его неподвижная, гордо посаженная голова, его узкие, зоркие глаза, его улыбка — все это и теперь вспоминается отчетливо. И хотя нас в тот же вечер познакомили, хотя с тех пор он — посещая Москву, а я — бывая в Румынии, неизменно навещали друг друга, хотя, глубже познакомившись с творчеством этого художника, я с увлечением читал каждую его новую книгу, как только ее переводили на русский язык, он вспоминается

мне всегда таким, каким мы увидели его тогда, в первый раз.

Творчество Садовяну огромно, богато, многообразно. Он давно уже стал в нашей стране одним из любимых и читаемых иностранных писателей, а ведь переведена лишь малая часть того, что он создал. Около ста томов написано им. Целые толпы героев ввел он в литературу, и ни один его герой не похож на другого. У каждого свой облик, свой характер, свой душевный склад, свои привычки, своя, зорко подмеченная и точно запечатленная художником, внешность — целый калейдоскоп душ человеческих.

Но среди характеристик, которыми мастер наделяет своих героев, имеется одна отличительная черта. Если герой произведения труженик, если это простой человек, он описан с теплотой, с любовью, с уважением. Читая книги Садовяну, начинаешь вместе с автором любить всех этих пахарей, лесорубов, пастухов, сплавщиков леса, крестьянских девушек, умеющих гордо хранить свою девичью честь и проносить любовь сквозь жуткие испытания, трудолюбивых, мужественных матерей, часто несущих всю тяжесть забот о семье. И, любя их, невольно проникаешься уважением к румынскому народу, душу которого так умел показать его великий мастер.

О простых людях Садовяну рассказывает как о близких друзьях, которые при всех их недостатках — их он тоже не скрывает — ему любы и дороги. Зато каким острым, колючим, злым, порой даже яростным становится перо писателя, когда он начинает набрасывать портреты угнетателей простого народа — бояр, землевладельцев откупщиков, купцов, судейских чиновников, буржуазных парламентариев. Тут голос Садовяну гремит грозно. Писатель становится беспощадным и нередко пускает в ход бич сатиры.

Мне никогда не забудется первая беседа с Садовяну. Она произошла той же осенью 1945 года у него на даче, в рабочей комнатке, которую трудно даже назвать кабинетом. Как сейчас вижу комнату, едва ли не самую меньшую в доме. Окно выходит на виноградник, окрашенный осенью в густые багряные и золотые тона. Рабочий стол простецкого образца, заваленный рукописями. Он совсем невелик, этот стол, но почему-то кажется, что он занимает бо́льшую часть комнаты. Перед столом стул, на котором лежит плед. Книжный шкаф и тахта.

На тахте мы и уселись.

Разговор начался с книг, с литературных симпатий, антипатий. Нам было, разумеется, известно, что румынская критика учителями Садовяну называет известного летописца Иону Никулича и классика румынской литературы Иона Крянгэ. С полным основанием доказывается, что на их произведениях воспитывался его литературный вкус.

— Так ли это?

— Ну что же, может быть и так,— задумчиво отвечает Садовяну.— Но уж ежели заговорили об учителях, как можно умолчать о русских классиках?.. Иван Тургенев и Лев Толстой — разве не они показали всем моим литературным сверстникам, как надо наблюдать мир? Первые их книги, прочитанные мною в молодые годы, были целым откровением. Дочитаешь, отложишь книгу, оглянешься кругом — и будто начинаешь видеть то, что раньше не замечал...

Из погреба приносят глиняный кувшин с вином. Оно такое холодное, что кружки сразу запотевают. Кажется, будто жидкость хранит прохладу и терпкий аромат осеннего дня.

— Мое вино. Сами приготовляем, попробуйте,— говорит собеседник.

Вино оказывается отличным. Хозяин доволен. Разговор заметно оживляется. Мы не заводим речь о политике, но по каким-то двум-трем замечаниям, не нарочито оброненным Садовяну, становится ясно, что этот большой малоподвижный человек, уже и тогда проработавший больше полувека в родной литературе, живет бурной политической жизнью, что симпатии его на стороне коммунистов, что он живо интересуется всем, что происходит у нас в Советском Союзе, в советской литературе, в советской культуре.

Кто-то из собеседников заводит речь о случаях террора, начатого железногвардейским охвостьем вкупе со сторонниками реакционных, так называемых «исторических» партий.

— Выск,— цедит сквозь зубы Садовяну, и крупный рот его складывается в брезгливую гримасу.

Даже переводчик, хорошо знающий румынский, не сразу находит русский эквивалент этого слова. Хозяин поднимается со стула, манит нас к окну. За ржавым осенним виноградником виднеется могучее дерево, все оплетенное каким-то растением вроде плюща, сохраняющим яркую зелень листвы. Вершина великана уже мертва,

Оказывается, это растение, называемое по-румынски выск,— злейший паразит. Понемногу оно вскарабкивается на крепкие, здоровые деревья, запускает под кору жадные щупальца своих корешков и высасывает соки до тех пор, пока дерево не высыхает. Тогда паразит, отбрасывая по траве побеги, переползает к следующему дереву и столь же быстро оплетает новую жертву.

Нужно быть художником до мозга костей, чтобы, характеризуя реакционные партии и коварную политику, которую они вели в те дни под прикрытием трескучих фраз о «великой Румынии», о «любви к сеятелю-кормильцу», дать такой точный образ. И хотя Садовяну ни слова не сказал тогда о своих убеждениях, стало ясно, на чьей он стороне в той яростной борьбе, которая шла по всей стране.

Ближайшие годы, годы строительства новой Румынии, показали, что эта наша догадка была правильной. Вскоре мы увидели имя Михаила Садовяну среди передовых интеллигентов, вставших в ряды строителей социализма. Он избирается председателем вновь организованного Союза румынских писателей, заместителем председателя парламента. На международных конференциях мы видим его среди активнейших борцов за мир. Участвуя в политической жизни Румынии, он в то же время плодотворно пишет.

— Я сам себе удивляюсь, работается легко, как в молодые годы,— признавался он мне в один из своих приездов в Москву.

Одно за другим выходят его новые произведения. Верный своей генеральной теме, живущий в народной гуще, он зорким глазом наблюдает перестройку, которая начинается в деревне, жестокую ломку вековечной частнособственнической психологии крестьянства, становление новых характеров.

Небольшая повесть Садовяну «Митря Кокор» получает заслуженную известность не только на родине, но и в Советском Союзе, в социалистических странах и даже в капиталистическом мире. В ней с тонким знанием крестьянского мышления рассказывается о том, как бедняк хлебопашец, хлебнувший нашего животворного воздуха, возвратившись домой из плена, становится активным строителем новой жизни, как перерождается, расцветает сама земля, превращаясь для хлебопашца из мачехи в мать. Знаменитый румынский художник Корнелиу

Баба иллюстрирует эту повесть. Искусство двух замечательных мастеров превращает ее в целое явление.

Успех книги таков, что ему может позавидовать любой писатель.

Помнится, в Трансильванских Альпах меня познакомили с невысокой, но очень какой-то складной крестьянкой с удивительно миловидным лицом. Ее звали Мария Зидару. Она организовала в этих горных краях первую сельскохозяйственную артель, отбирала землю у помещика, сражалась с кулаками, с бюрократами.

— ...Это наш Митря Кокор в юбке,— сказал про нее один дед, дружески хлопая ее по спине, и я увидел, что окружающие восприняли эти слова как похвалу.

— Да что вы, дядя, где мне! — ответила Мария, блеснув двумя рядами ровных белых зубов.— Митря Кокор-то всем нам пример, он наш учитель.

О литературном герое она говорила как о живом человеке, а это ли не свидетельство проникновенности писателя? Это ли не показатель того, что он умеет проникать в толщу жизни, слушать ее живое трепетание, рассказывать о самом интересном, чем живет его народ?

В богатейших россыпях румынских сказок есть одна, что зовется «Молодость без старости». Вот этой-то сказочной, неувядающей творческой молодостью и был отмечен редкий талант моего доброго друга Михая Садовяну, крупнейшего румынского писателя современности.

ЛАФАЙЕТ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ?

Имя француза Лафайета необыкновенно популярно в Соединенных Штатах. Есть город Лафайет, есть улицы, площади, скверы, носящие это имя. Французский аристократ, воспитанный на идеях просветителей,— Мари-Жозеф-Поль Лафаейт, захваченный в юности передовыми для своего времени призывами американской «Декларации независимости», пересек океан, чтобы принять участие в освободительной войне на стороне армии Джорджа Вашингтона против войск английского короля. Он оказался храбрым человеком и закончил войну генералом американской армии. У Джорджа Вашингтона было немало и своих храбрецов. Главная заслуга Лафайета перед молодой заокеанской республикой состояла в другом.

В те дни реакционные дворы Европы ненавидели и проклинали освободительную борьбу североамериканцев. Армии генерала Вашингтона, плохо вооруженные, оборванные, в буквальном смысле слова разутые, наступая, оставляли на снегу кровавые следы босых разбитых ног. Но, сильные духом, они громили отлично оснащенные и экипированные войска английского короля. В Европе же эти армии рисовали шайками грабителей, насильников и убийц. И вот француз Лафайет, очевидец и участник событий, вернувшись в Старый Свет, рассказывал правду об освободительной войне, о Джордже Вашингтоне, о молодой Североамериканской республике, рожденной в боях.

Жил в Соединенных Штатах человек, которого все — друзья и недруги — называли Лафайетом русской революции. Это писатель-публицист. Его имя Альберт Рис Вильямс. Будучи юношей, увлекающимся социалистическим учением, начинающим журналистом, он узнал о крушении русского царизма. Примерно в том же возрасте, что и Лафайет, он пересек океан в обратном направлении и с корреспондентским билетом нью-йоркской газеты прибыл в революционный Петроград.

Выходец из потомственной шахтерской семьи, он был полон интереса к русской революции, к борющемуся народу. Выпускное сочинение, написанное им при окончании колледжа, называется «Альтруизм и эгоизм в политике». Это призыв к политическим действиям, полный сочувствия к трудящимся. Позже Вильямс знакомится с учением о социализме и коммунизме. Но у него еще нет твердого мировоззрения. Увлеченный событиями, происходящими в России, он с головой бросается в революционный водоворот, и сама революция, которую он наблюдает пытливым, зорким и непредубежденным глазом, становится его политической школой.

Желая вникнуть в суть происходящего, понять соотношение сил, ощутить направление революционного движения, Вильямс работает неутомимо, страстно, забывая об отдыхе и сне. Он проникает в кабинет к Керенскому, интервьюирует членов Временного правительства. Он знакомится с лидерами всех борющихся партий. Бывает на собраниях, на митингах, посещает редакции петроградских газет, правительственные учреждения. Неистощимое любопытство, крепнущее ощущение, что революция не остановилась, что свержение самодержавия — это лишь пролог к чему-то новому, большему, понимание, что это новое

рождается не в кабинетах министров Временного правительства и не в респектабельном центре столицы, а на ее задымленных заводских окраинах, в промерзлых окопах, в глухих деревнях, увлекает любознательного американца к простым людям — к рабочим, крестьянам, солдатам, к матросам Балтийского флота и, наконец, приводит его к большевикам. Все пристальней приглядывается он к этой численно еще небольшой, но бурно растущей партии, к которой тянутся простые люди. И тут, в беседах и спорах с большевиками, он постепенно приходит к выводу, что именно у большевиков эпицентр нарастающего революционного землетрясения.

Нет, он ничего не хочет принимать на веру. Жажда проследить движение событий влечет его из революционного Питера в провинцию, в уездные города, в волости. Он, иностранец, смело проникает в солдатские землянки, где агонизирует разутая и голодная гигантская армия, которую Керенский пытается бросить на убой, чтобы утвердить за собой славу «сильного правителя». Вильямс беседует с помещиками и крестьянами, с рабочими и промышленниками, с преуспевающими спекулянтами и голодными женщинами, мерзнущими в очередях, с министрами и швейцарами. Он сопоставляет призывы различных партий, изучает статистические таблицы, собирает факты. И он, американец, воспитанный на принципах буржуазно-демократических свобод, все больше утверждается в мысли, что правда все-таки на стороне большевиков, что события в России под напором снизу уже переросли хорошо известные ему рамки буржуазной революции, что тут, на территории огромной страны, подавляющее большинство населения которой неграмотно, рождается нечто совершенно небывалое и что это новое будет ярче, шире и прекрасней идеалов, впитанных им, Вильямсом, еще в родном Мэриэтколледже, где он считался когда-то способным студентом и был капитаном знаменитой на весь штат бейсбольной команды...

— Наблюдая события, я чувствовал, как постепенно рушатся мои представления о революциях. То, что рождалось у меня на глазах, не могло не поразить и не увлечь. Мои записные книжки, как губки, впитывали уйму невероятных наблюдений. Галстуки и сорочки в моих чемоданах уступали место листовкам, брошюрам, воззваниям, пачкам газет. Я начинал понимать, что становлюсь свидетелем событий, каких не доводилось описывать еще ни одному журналисту, и собирал все это, боясь что-ни-

будь пропустить, позабыть, утерять,— рассказывал мне Вильямс, вспоминая о тех днях.

В день, когда происходил этот наш разговор, писатель только что вышел из советской больницы, где пролежал несколько месяцев, прикованный к койке тяжелой болезнью. Он был еще слаб — этот огромный, плечистый человек: щеки покрывала бледность, на лбу выступали росинки пота. Но жесты больших рук были энергичны. Глаза глядели молодо из-под седых, сбившихся на лоб прядей. И так же молодо рокотал раскатистый голос, несколько медленно, нараспев, но правильно выговаривая русские фразы:

— Мы с другом Джоном Ридом, разумеется, в те дни, летом 1917 года, еще не могли угадать, куда мчится поезд русской революции. Но мы неслись в нем и жадно следили за всем, что открывалось перед нашими глазами...

Чудесная, совсем юношеская память была у этого пожилого американца, которому привелось стать свидетелем самых волнующих событий Октябрьской революции и первых лет советской власти. Он, как и его друг Рид, мог бы с полным правом сказать стихами Маяковского:

Мы
  диалектику
    учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
    она врывалась в стих...

Именно зоркость журналистского глаза, чуткость уха, объективность восприятия событий сдружили корреспондентов нью-йоркских буржуазных газет с большевиками, которых менее дальновидные или более предубежденные западные журналисты рисовали в те дни в виде зверей в облике человеческом. Именно объективный анализ массы фактов, ежедневно наполнявших их блокноты, позволил этим двум людям из-за океана угадать во Владимире Ильиче Ленине центральную фигуру революции.

— По вечерам, когда мы, падая от усталости, добирались наконец до своих постелей в отеле, мы часто говорили об этом еще не виденном нами человеке. Старались представить, каков он из себя, в чем сила его обаяния, чем он так влечет к себе сердца всех этих голодных рабочих, оборванных солдат, добирающихся в столицу с разрушающихся фронтов, военных моряков, представлявших, как многим казалось тогда, самые необузданные силы революционной стихии,— продолжал рассказывать Вильямс.

Теперь, когда в воспоминаниях он совсем ушел в те далекие бурные дни, его массивное красивое лицо мгновениями становилось совсем молодым, глаза по-юношески блестели...

— Ленин, таинственный Ленин, которого одни проклинают, объявляют немецким шпионом, даже антихристом, а другие превозносят, считают истинным революционным гением, которого яростно травит печать почти всех партий, само имя которого вызывает просто звериный оскал у офицеров и зажигает восторгом глаза рабочих, солдат, матросов,— этот еще не виденный нами Ленин все больше и больше занимал наше воображение... Мы расспрашивали о нем наших друзей — революционных русских эмигрантов, живших у нас в Штатах и теперь репатриировавшихся домой. Некоторые из них знали Ленина, другие были только знакомы с его делами. Но все с восторгом говорили о нем. И характерно — никому из них не удавалось нарисовать его портрет. Нам все больше не терпелось увидеть этого человека, а он в те дни вынужден был скрываться от ищеек Временного правительства.

— Ну, и каково же было ваше впечатление, когда вы впервые увидели Владимира Ильича? — спросил я собеседника.

Лицо Вильямса стало задумчивым, в глазах отразилась нежность.

— Мое впечатление? Вы думаете, так легко рассказать... Я впервые увидел Ленина в актовом зале Смольного, переполненном толпами солдат, рабочих, матросов. Это было в ту ночь, когда прогремел выстрел «Авроры». Зал рокотал, гудел, дрожал от напряжения... Но тут председатель произнес: «Слово предоставляется товарищу Ленину...» На мгновение все стихло, а потом разразились такие аплодисменты и приветствия, что казалось, задрожали и сами массивные колонны. Мы, сидевшие на журналистских местах, замерли: вот сейчас появится человек, которого мы так жаждали видеть. Но сначала, как мы ни приподнимались, можно было заметить лишь движение на сцене, где кто-то пробирался к трибуне среди ликующих и аплодирующих людей. Наконец мы увидели Ленина и были поражены. Мы представляли, что перед нами появится мужчина огромного роста, сама внешность которого сразу же приковывает внимание, а на сцене стоял невысокий, коренастый, лысый человек с рыжеватой бородкой. Зал был готов развалиться от грома приветствий, а он стоял, слегка улыбался, делал нетерпеливые жесты,

показывая на часы,— дескать, время идет, не надо терять его попусту... И когда ему как-то удалось пригасить эти овации, он энергичным, я бы сказал, веселым голосом произнес слова, которые мы, разумеется, тотчас же записали, но которые вот и сейчас, столько лет спустя, я легко воспроизвожу по памяти: «...В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства...» Так начал он... Это было мое первое впечатление.

Видя, что я старательно записываю, Вильямс улыбнулся.

— Не стоит. Ведь я тоже журналист и, разумеется, описал это и сам. Вы найдете это в моей книге о Ленине. Она вышла у нас в Штатах в 1919 году, и я очень горжусь, что мне — одному из первых иностранцев — довелось рассказать Западу об этом удивительном человеке. Но все эти годы я не могу себе простить, что тогда не набрался храбрости послать эту книжку Ленину. Не решился — и все... И вот всю жизнь жалею...

Альберт Вильямс, как и Джон Рид, был настоящим репортером, не мог удовлетвориться долетевшими до него отзвуками событий. Он хотел быть в самой гуще. Он хотел все видеть своими глазами, получать новости из первых рук. Эта неутолимая жажда все видеть и слышать сделала его сначала невольным, а потом сознательным участником многих героических эпизодов социалистической революции и делала потом, по прошествии многих лет его корреспонденции, статьи и книги не только интереснейшими свидетельствами зоркого, наблюдательного очевидца, но придавала им характер исторических документов, значение которых с годами не теряется, а нарастает.

Он был свидетелем провозглашения советской власти и вместе с делегатами II съезда Советов аплодировал рождению нового, социалистического общества. Вместе с солдатами и рабочими он, вооруженный лишь блокнотом и карандашом, участвовал в штурме Зимнего дворца, наблюдал арест министров Временного правительства. В острейший момент Октября, когда перешедшая в контратаку реакция захватила Петроградскую телефонную станцию и забаррикадировавшиеся в ней офицеры арестовали в качестве заложника Антонова-Овсеенко, Вильямс проникает в здание телефонной станции и становится свидетелем того, как этот большевистский руководитель с риском для собственной жизни предотвращает самосуд

над офицерами после того, как их вынуждают сложить оружие. Характерно и важно, что два американских корреспондента — очевидцы и участники Октябрьской революции, как и третий американец — руководитель Красного Креста полковник Раймонд Робинс, тоже волею судьбы оказавшийся в гуще бурных событий той поры, вернувшись на родину, становятся страстными пропагандистами гуманизма Октябрьской революции, дисциплины широких масс, предводительствуемых большевиками, пропагандистами величия ленинской стратегии, позволившей осуществить переворот в гигантской стране, избегнув при этом значительных кровопролитий и террора.

Альберт Рис Вильямс был активной натурой и не довольствовался ролью летописца событий. В январе 1918 года в Михайловском манеже был назначен митинг солдат, отправлявшихся на фронт. Узнав, что будет выступать Владимир Ильич, Вильямс устремился туда. В полутьме манежа, как допотопные чудовища, теснились старые, видавшие виды броневики. Плотная масса красногвардейцев обступила один из них. Владимир Ильич выступал, используя броневик как трибуну. Его характерный энергичный баритон разносился по всему огромному помещению. Эхо в темных углах повторяло слова. Подвойский, который вел митинг, попросил выступить и Вильямса. Тот поразился: выступить? Выступить после Ленина? Он никогда не забывал, как взволновало его это предложение. И все же согласился и, стоя у машины, стал мучительно подбирать и складывать в голове русские фразы своей будущей речи.

Ленин кончил. Как всегда, его выступление сопровождалось взрывами шумного одобрения; как и всегда после своих речей, он чуть улыбался, улыбался одними глазами. Дружеские руки помогли ему сойти с броневика.

— А теперь перед вами выступит американский товарищ,— уже объявлял Подвойский.

Толпа сразу стихла, настороженно замолчала. Ленин все с той же улыбкой, которая жила в его узких, чуть раскосых глазах, ободряюще пожал Вильямсу локоть и, словно угадав его сомнения и тревоги, быстро сказал:

— Говорите по-английски, а я буду переводить.

— Нет, я хочу говорить по-русски,— ответил Вильямс.

Ленин с любопытством смотрел на него, и улыбка тронула уже и губы, и в глазах засветились задорные

огоньки. Вильямсу показалось, что Ленин с любопытством ждет, как он будет наказан за свою самонадеянность. И действительно, выпалив весь запас заготовленных фраз, оратор споткнулся на каком-то слове и замолчал.

— Какого слова вам не хватает? — живо и доброжелательно спросил Владимир Ильич, глаза которого продолжали светиться улыбкой.

— Enlist,— смущенно произнес оратор.

— Вступить,— быстро подсказал Владимир Ильич, и потом всякий раз, когда Вильямс останавливался, споткнувшись о неведомое или позабытое слово, он заботливо подсказывал это слово по-русски.

Сойдя с трибуны, Вильямс дал Владимиру Ильичу обещание изучить русский язык. Ленин не забыл это и однажды, встретившись с Вильямсом на одном очень важном собрании, тихо спросил: как идет учеба? И тут же стал шепотом давать советы, как, по его мнению, лучше изучать иностранные языки.

Революция все крепче захватывала Вильямса. Когда войска Вильгельма II развернули наступление и молодая советская власть призвала народ к оружию, он записался в Красную Армию. Перед отправкой на фронт он пришел к Владимиру Ильичу проститься. Тот крепко пожал ему руку. Как всегда, добрый почин тотчас же дал толчок творческому ленинскому мозгу.

— А может быть, вы сумели бы найти и еще кого-нибудь из иностранцев?.. Революционный иностранный отряд... это было бы нам крайне важно.

И он еще раз пожал руку. Пожатье у него было короткое, но сильное, мужественное — так, что слипались пальцы...

На следующий день «Правда» напечатала набранный по-русски и по-английски призыв Вильямса к иностранцам, находящимся в России. Он начинался словами, сделавшими честь проницательности молодого американского социалиста: «В эту страшную мировую войну... интернациональные силы были разрознены и рабочий класс повсюду скован империалистами всех стран...» Вильямс призывал иностранцев, находящихся в России, вступать в интернациональный отряд, защищать молодую Советскую республику. Спустя короткое время этот отряд уже двигался на телегах на самый опасный участок фронта.

Вильямс не стал, подобно Лафайету, генералом армии, отстаивающей свободу другого народа. Он остался красноармейцем, солдатом пролетарской революции. Но воин-

ское звание в данном случае значения не имеет. Его большое, мужественное сердце, сердце человека, унаследовавшего от деда-шахтера лучшие черты своего великого народа, с тех пор было верным делу, на которое благословил его Ленин. Первая в мире социалистическая держава приобрела в нем большого друга. Друга навсегда.

Свою книгу, посвященную событиям тех славных дней, книгу, которая является сестрой-близнецом книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», Альберт Рис Вильямс озаглавил «Сквозь русскую революцию». Но заглавие ее является не совсем точным, ибо, действительно став зорким, непредвзятым очевидцем событий тех дней, автор прошел не сквозь революцию, а в ней и с ней, в рядах активных ее участников.

В те дни газеты Запада были полны самых диких вымыслов о том, что происходит в России. Победоносное завершение пролетарской революции, напугав капиталистический мир, вызвало в нем чудовищный пароксизм злобы. Стараясь нейтрализовать ее влияние на умы тружеников мира, зарубежные газеты соревновались между собой в самых диких выдумках, от которых у трусливых мещан кровь стыла в жилах: «Советы национализируют женщин...», «На рынках голодающего Петрограда из-под полы продают человеческое мясо, причем особенно ценится мясо детей...», «Людей состоятельных классов, если им не удается скрыться, матросы ловят и живыми топят под невским льдом...», «Десятки христианских священнослужителей заперты и сожжены в соборе пьяной толпой военных моряков...»

С особой яростью реакционная пресса обливала грязью Владимира Ильича Ленина.

— ...Все это дикое вранье в чудовищных дозах обрушивалось на головы доверчивых обывателей,— рассказывал Вильямс через несколько дней после беседы в больнице, когда мы посетили его в гостинице «Пекин».— Было ясно — западная реакция мобилизовала все силы, чтобы сделать блокаду Советской России непроницаемой. Я понял — мое место там, за этим сплошным кордоном. Я понял — мой долг нести в мою страну истину о Советской России, о том, что в ней произошло и происходит, истину о пролетарской революции, о ее массах, о ее вожде...

Рассказчик замолкает, поднимается, подходит к окну, стоит к нам спиной. За окном просторная площадь, два

потока машин текут по ней. Мощная фигура поэта — певца великой революции — застыла посреди площади, облитая жаркими лучами летнего солнца. Возле монумента пестрые фигурки играющих детей. Сверху кажется, будто поэт читает им стихи.

— Какой она стала новой, Москва,— взволнованно произносит седовласый очевидец Октябрьской революции. Потом, все еще улыбаясь, опускается в кресло, возвращается к давно минувшим дням. Чувствуется, что картины прошлого, которые даже мое поколение советских людей воспринимает уже как историю, вырисовываются перед ним так же четко, как вот эта залитая солнцем московская площадь, памятник поэту, играющие возле него дети.

Перед отъездом Альберта Вильямса В. И. Ленин принимает его в Кремле. Журналист делится своими планами, говорит о мечте написать книгу. Он рассказывает, что собрал богатейший материал — целый чемодан литературы, документов. Ленин улыбается все той же своей улыбкой, которая, как кажется собеседнику, постоянно живет в прищуре его глаз.

— У вас прекрасная коллекция документов. И что же, вы всерьез думаете, что ваше правительство пропустит вас с этим материалом в Америку?

— Я в этом не сомневаюсь,— убежденно отвечает Вильямс.

Писатель все еще наивно верил, что правительство США введено в заблуждение недобросовестной информацией, что оно желает знать правду о Советской России и русской революции. Ленин качает головой. Он уже не скрывает усмешки.

— Прекрасно. Может быть, я ошибаюсь. Рад был бы ошибиться. Посмотрим.

Владимир Ильич берет перо и тут же собственной рукой пишет на бланке обращение ко всем работникам железных дорог, прося их содействовать проезду американского корреспондента через города Дальнего Востока, поручает им беречь его чемодан.

Но Владимир Ильич, как всегда, оказывается прав. Когда, проделав огромный путь через всю страну, путь, продолжавшийся почти три недели и обогативший писателя новыми наблюдениями сдвигов, которые Октябрьская революция произвела «во глубине России», путь, который сделал его свидетелем рождения советской власти в Сибири и Приморье и очевидцем оккупации Владивостока американскими, японскими, английскими и чешскими войска-

ми, когда, претерпев множество приключений, лишь чудом спасшись от пули осатаневших белогвардейцев, Вильямс на деньги, тайно собранные для него владивостокскими грузчиками, прибывает наконец в Сан-Франциско,— пароход встречает военный катер. С него поднимаются на борт офицеры морской разведки Соединенных Штатов. Вильямс арестован. У него отобрали с такой тщательностью собранные материалы, блокноты, черновую рукопись будущей книги, вообще все бумаги! Обыскали карманы, заставили снять ботинки, заглянули за ленту шляпы, подпороли подкладку пиджака...

— Я был поражен,— продолжает рассказчик,— но поражен не тем, что со мной происходило. В оккупированном союзниками Владивостоке я видел и не такое. Я поразился тому, что Ленин и тут в своем предсказании оказался прав. Эта мысль как-то даже настроила меня на веселый лад. И когда допрашивающий меня полицейский чин спросил, каких я придерживаюсь политических убеждений, я, стараясь изо всех сил говорить серьезно, ответил ему: альтруизма, оптимизма и прагматизма. Вы, вероятно, не поверите, но он старательно, прямо по буквам, записал названия этих новых редкостных и опасных «русских» учений, «импортируемых» мною в Америку. Он шутку принял всерьез.

Рассказчик прерывает свое повествование и звучно смеется, смеется весело, так, что большие глаза его превращаются в щелочки.

— Идиоты! Они прощупали у меня каждый шов на брюках, но они не могли обыскать мою душу и отнять то, что хранила моя память...

Вскоре Альберту Вильямсу вместе с Джоном Ридом, полковником Раймондом Робинсом и другими американцами, вернувшимися на родину из Советской России, пришлось предстать перед судом американских сенаторов. Нельзя без волнения читать теперь стенограмму показаний Альберта Вильямса так называемой «оверменовской комиссии». Каким достоинством, какой верой в Великую социалистическую революцию, каким уважением к советскому народу проникнуты его слова. Нельзя удержаться, чтобы, рассказывая об этом человеке, не процитировать отрывки из стенограммы его показаний.

«Сенатор Уолкот. ...Свидетели, недавно выехавшие из России, определяют количество большевиков в три процента населения.

Сенатор Юмс. Пять процентов.

Альберт Вильямс. Нетрудно произвести подсчет. С фронта вернулось двенадцать миллионов солдат. Половина их возвратилась с винтовками. Это шесть или восемь миллионов ружей. И вот, если бы в России существовало широкое и глубокое антисоветское движение, эти винтовки были бы использованы силами, стремившимися сокрушить советскую власть... Но каждый раз, когда возникала новая угроза советской власти, эти миллионы винтовок и штыков вставали на защиту Советов...»

И, обобщая свои показания, Вильямс бросает в лицо сенаторам страстные слова: «Я верю в советскую власть как в великую творческую силу, соответствующую нуждам русского народа. Я верю в нее всей душой, ибо другие правительства самим фактом своей гибели доказали, что они не имели права на существование... Большевики пользовались доверием народа, и он возложил на них все свои надежды...»

Работу над книгой об Октябрьской революции писатель возобновил в горах, над Гудзоном, в маленьком домике Джона Рида. В это время Альберта мучил ишиас. Острые боли не давали ему подолгу сидеть на стуле. Приходилось писать лежа, писать, испытывая страдания, которые выжимали из глаз слезы. Когда ему становилось невмоготу, Джон отрывался от своей рукописи, раздувал духовой утюг и через полотенце гладил больному спину. Как-то в одну из таких трагических минут Риду пришло в голову: «Вот если бы Ленин посмотрел, как пишутся книги о его революции». И расхохотался. С ним вместе расхохотался Вильямс. Он смеялся, несмотря на боли, смеялся плача.

Так были написаны замечательные книги «Сквозь русскую революцию» и «Ленин — человек и его дело». Эти книги-документы стали на полки библиотек рядом со знаменитым ридовским очерком «Десять дней, которые потрясли мир».

Реакционная пресса сразу спустила на эти книги самых злых своих псов, попыталась опорочить и произведения, и факты, в них излагаемые, и самих авторов. Но несмотря на дикий вой, свист и хрюк, голоса двух правдивых свидетелей Октябрьской революции прозвучали на всю Америку и вместе с зарубежными изданиями этих книг проникли в другие капиталистические страны. Не-

смотря на яростные атаки прессы, у этих книг были многомиллионные тиражи. Простые люди увидели в книгах маленькие окошечки, прильнув к которым человек капиталистического мира мог заглянуть в иной, необычный, только что родившийся социалистический мир.

Не удовлетворившись написанием книг, друзья отправились в лекционное турне по крупным городам Соединенных Штатов. Американский биограф Альберта Вильямса подсчитал, что за три года он прочел около трехсот лекций об Октябрьской революции, о советской России, о Ленине и ленинской политике. Триста лекций в недоверчивых, предубежденных, но любопытных, жадных до истины аудиториях — это подвиг, который трудно даже представить. Вильямс его совершил. Его лекции, как и его книги, покоряли строгой простотой. В них он преподносил факты, и только факты, и заставлял слушателей самих делать выводы. Правда побеждала ложь. Лекции неизменно проходили при переполненных залах. В одних городах их прерывала полиция, в других солдаты, науськанные реакцией, пытались разгонять слушателей, в третьих пьяные хулиганы стремились заглушить слова лектора. И все же большинство лекций удавалось довести до конца.

Со всех сторон сыпались вопросы желающих знать правду об Октябрьской революции. Как-то в разгаре турне Вильямс, отобрав и обдумав наиболее часто повторяющиеся вопросы, навеянные антисоветской пропагандой, написал книгу-памфлет, озаглавленную «Семьдесят шесть вопросов и ответов о большевиках и Советах». Реакционная пресса снова пошла в атаку на автора, но американские рабочие раскупили и эту книгу, изданную в двух миллионах экземпляров. Огромный, редкий для Соединенных Штатов тираж!

В разные годы Альберт Р. Вильямс, на этот раз уже с женой Люситой, писательницей, сценаристкой, корреспондентом женских журналов, приезжал в нашу страну, жил в ней, совершал большие путешествия. Однажды, по совету М. И. Калинина, Вильямсы отправились в деревню, тогда делавшую лишь первые шаги к социалистическому землепользованию. Альберт терпеть не мог быть наблюдателем, летописцем, «человеком с блокнотом». Верный себе, он всякий раз старался найти место среди активных строителей и борцов. То он работал механиком, чинил в украинских селах сельскохозяйственные машины, обосновавшись на хуторе близ Диканьки. То жил в крестьян-

ском доме в маленькой деревне Сабурово в Подмосковье, учился пахать землю, сеять, косить. Был воспитателем в трудовой сельскохозяйственной колонии имени Джона Рида, где приобщались к труду беспризорники. А заинтересовавшись решением религиозных вопросов, сделался даже на некоторое время... кладбищенским сторожем. И всюду рядом с ним, неустанным журналистом, искателем истины, была его верная подруга Люсита, маленькая, с виду такая домашняя, нежная, но мужественная, не боящаяся трудностей женщина, которая так же, как и ее муж, умела грести против течения.

Эти поездки, активная жизнь среди советских людей давали живые наблюдения, обогащали супругов множеством друзей в нашей стране, среди которых были рабочие, крестьяне, наркомы, самые знаменитые наши ученые, режиссеры, писатели, композиторы и самые обыкновенные домохозяйки.

— Мы приезжаем к вам как к родным, у которых давно не были. Я радуюсь каждому новому дереву на ваших улицах,— говорит Люсита, так же, как и муж, пронесшая через десятилетия молодую, отзывчивую на все хорошее душу, молодой голос, молодые глаза.

Смотрел я на супругов и с удивлением видел, что, в сущности, оба они страшно похожи на тех Вильямсов на фотографиях, где они сняты с красногвардейцами, с дальневосточными партизанами, с коммунарами Украины, с девушками из трудовой колонии сорок, тридцать лет тому назад.

Когда Гитлер, нарушив договор о ненападении, бросил на Советский Союз всю свою военную мощь — двести дивизий, уже покоривших в короткое время сильнейшие государства континентальной Европы,— Вильямсы жили в маленьком домике на острове Ванкувер. Альберт работал над новым изданием книги «Советы».

Ничто — ни драматическое для нас начало войны, ни победные реляции гитлеровской ставки, ни мрачные прогнозы обозревателей нью-йоркских газет, уже гадавших, сколько — месяц или год — может выдержать Красная Армия сокрушительный напор гитлеровской военной машины,— не поколебало веры супругов Вильямсов в советский народ, в прочность социалистического строя, в патриотизм советских людей. Именно в те нечеловечески тяжелые для нас дни через океан полетела телеграмма Альберта, в которой он предсказывал неминуемую победу Красной Армии. И это не было выражением малодушного

стремления спрятаться от жестоких фактов, выдать мечту за действительность. Эта телеграмма, напечатанная в свое время в наших газетах, была продиктована глубоким знанием нашей жизни, советского человека, его преданности идеям коммунизма, его непоколебимой веры в большевистскую партию...

— Я помню, как, послав эту телеграмму, мы принялись обсуждать между собой возможные варианты развития военных событий, стали гадать, когда Красная Армия разобьет гитлеровцев — через месяц, через два, через год,— говорит Люсита, вспоминая тот далекий вечер на тихом острове, и добавляет: — О возможности поражения мы даже не говорили. Это не приходило в голову.

— Да это и не могло прийти нам в голову — мы знали вас,— подтверждает Альберт...

В дни, когда Советская Армия вела великое единоборство с объединенными силами фашизма, бывший красногвардеец Альберт Вильямс, находясь за океаном, был как бы в рядах сражающихся. Это пора нового расцвета его публицистической и журналистской деятельности. Он — редактор журнала «Сэрвей грэфик», рассказывавшего американцам правду о жизни и борьбе их советского союзника, о воинах и партизанах, о тружениках советского тыла, о том, как на оккупированной немцами территории советские люди не складывают оружия и сохраняют дорогие им порядки. Он пишет на эту тему статьи. Его книги о Советской Армии, о ходе войны на советско-германском фронте издаются, переиздаются, выходят огромными тиражами.

Он далеко от нас. Но, находясь за океаном, он с нами. Вместе с нами он радуется победе над гитлеризмом, посвящает ей страстные статьи...

Шли годы. Началась «холодная война». На Америку надвинулась и окутала ее отвратительная туча маккартизма. «Охота на ведьм» напугала иных из тех, кто называл себя нашими друзьями. На место малодушных отступников приходили новые друзья. Но Вильямс никогда, даже мысленно, не изменял своей первой любви, к которой Люсита его не ревнует, ибо сама разделяет ее,— любви к Советской стране. Эта любовь укрепляется в них любовью к американскому народу. Четыре с лишним десятилетия этот славный человек не уставал пропагандировать идею дружбы двух великих народов, идею мирного, доброжела-

тельного сосуществования государств разных социальных систем. Он, кому когда-то Владимир Ильич собственноручно передал письмо о дружбе и взаимопонимании, адресованное американцам, неустанный борец за эту дружбу. Он и сам мог стать как бы символом взаимопонимания, к которому сейчас так стремятся и советские и американские люди.

В 1960-м, когда в международной атмосфере повеяли весенние ветры, когда стали подтаивать ледяные редуты, которыми пропагандисты «холодной войны» постарались разделить наши страны, супруги Вильямсы вновь приехали в Москву. Несколько вечеров расспрашивал я их о том, какие заметили они у нас перемены. Они наперебой перечисляли все, что их поразило,— спутники и моисеевский ансамбль, искусственная планета и жилые массивы Юго-Западного района Москвы, атомоход «Ленин», городок Московского университета, Уланова в роли Джульетты, какие-то наши гимнасты, фамилий которых я даже сам не знал. И то, что люди по утрам, по пути на работу, читают в метро книги, и то, что, приехав в Москву, они не увидели ни одного нищего...

— Чудесно, чудесно! — восклицает Люсита.

А Альберт задумчиво сказал:

— Если бы все это увидел Ленин.— И вдруг снова — уже не в первый раз за наше знакомство — прибавил: — Я простить себе не могу, что не послал тогда Ленину мою работу о нем...

В последний раз перед их отъездом я зашел проститься вместе со своим маленьким сыном Алешей, и первое, с чего Альберт начал разговор, было:

— У меня радость, удивительная радость... Вы знаете, Ленин, оказывается, читал мою книгу.

И я узнал, что за несколько дней до этого Вильямсы были в Горках. Они провели там несколько часов, осмотрели ленинский кабинет, где время застыло в момент смерти владельца и даже календарь не перевертывали с тех пор, как Ленин ушел из жизни. Рядом с письменным столом был шкафчик с книгами, теми самыми, над которыми Ленин работал. Альберт был поражен, увидев среди них такой для него знакомый переплет.

— Может быть, под старость становишься сентиментальным, я до сих пор не могу пережить этого счастья...

Мой сын с удивлением смотрел на огромного старика. Ленин был для мальчика фигурой легендарной. Слушая наш разговор, он, должно быть, просто представить не

мог, что этот иноземный человек видел Ленина, говорил с Лениным.

— Ну, хлопец, дай руку,— сказал вдруг Вильямс, протягивая свою огромную ладонь.— До сих пор американские мальчишки в нашем городке иногда подходят ко мне и жмут эту руку. И не потому, что я им нравлюсь, нет, а потому, что эта рука жала руку Ленина. Понимаешь ты это, молодой гражданин Советской России?

Осторожно приняв рукопожатие, мальчик прошептал: «Понимаю». Вильямсы дружно рассмеялись, и такими они в это мгновение показались молодыми, бодрыми, будто смех был волшебством и, обладая магической силой, мог перенести двух пожилых и столько переживших людей в годы их юности, когда они, движимые желанием все увидеть, все узнать, колесили по просторам нашей страны, наблюдая рождение, становление, рост не виданного еще людьми мира.

И, уходя от них, чувствуя на руке тепло их пожатия, я думал:

«Лафайет русской революции? Нет, сто раз нет. Неправильно именуют так американские друзья Альберта Риса Вильямса. Маркиз де Лафайет в пожилые годы, позабыв, что он был когда-то генералом армии Джорджа Вашингтона, повел войска против революционных парижан и был одним из тех, кто преподнес корону Луи-Филиппу Орлеанскому. Вильямс, красногвардеец Октябрьской революции, проявил стойкость, последовательность и величие души. Он остался таким же, каким был,— чистым, честным, страстным поборником правды и свободы, борцом за великое дело, к которому он приобщился в юности.

Он остался самим собой — славным американцем, добрым другом Советского Союза».

ШАХТА «МАРИЯ»

Мое знакомство с Марией Майеровой состоялось при необычных, можно сказать — чрезвычайных, обстоятельствах.

В этот день советские воины совершили свой последний за войну, казалось бы, просто невозможный подвиг. По приказу Ставки танковые армии двух славных наших полководцев — Рыбалко и Лелюшенко, сделав невероят-

ный марш-маневр по узким, извилистым дорогам чешских Рудных гор, разбив по пути дивизии фельдмаршала Шернера, устремлявшиеся на Прагу, сбросив остатки гитлеровской армии «Центр» с дорог, пришли на помощь восставшему населению чешской столицы и с двух концов вступили в Прагу, оградив ее стальной стеной от не сложивших оружие немецких дивизий.

Что тут было! Танковые колонны шли по улицам, по залитым ликующими толпами празднично одетых людей площадям. Невзирая на то, что тут и там засевшие на чердаках эсэсовцы еще стреляли из пулеметов, ликование было всеобщим. Танки, огромные, мохнатые от дорожной пыли, осторожно, как умные, усталые слоны, шли по просторам Вацлавской площади, буквально пролагая себе путь сквозь толпы. Их забрасывали цветами, на жерла грозных орудий надевали венки из липовых ветвей. Пестро разодетые в национальные костюмы девушки стояли на броне рядом с чумазыми ребятами из танкового десанта. Гул и урчание моторов тонули в криках толпы, и казалось, что громады ползут неслышно.

— Ать жие Руда Армада! Сталину наздар! — неслось со всех сторон.

Мы с корреспондентом «Комсомольской правды» Сергеем Крушинским были тут, в этой ликующей толпе. Он в пыли и мазуте, ибо весь этот путь проделал в одной из боевых машин армии Лелюшенко, а я в чистенькой штабной шинели, ибо, немного опередив наши танки, прилетел на самолете, сделавшем посадку на олимпийском стадионе. Тут, находясь в эпицентре народного ликования, наблюдая победное шествие боевых машин, мы собирали материал для своих последних военных корреспонденций, которые нам еще предстояло написать.

Так вот, на углу Вацлавской площади, возле огромных зеркальных витрин обувного магазина Бати, мы заметили невысокую и немолодую уже женщину с удивительно миловидным круглым лицом. Из толпы ее выделял национальный чешский костюм — крой, как самоуверенно определил Крушинский, слывший среди нас, военных корреспондентов, своим умением удивительно быстро вживаться в любую незнакомую иностранную среду.

В высоком, туго накрахмаленном кружевном чепце, из-под которого на лоб выбивались веселые кудряшки, в богато расшитой кофте, в коротких, густо наплоенных юбках и полосатых чулках, женщина эта выглядела персонажем из оперы «Проданная невеста», сошедшим в ант-

ракте со сцены в публику. На руке у нее висела корзиночка, накрытая салфеткой, а в корзиночке виднелся объемистый сосуд и длинные стаканчики-наперсточки. Поскольку все наши военные в это мгновение катили на танках и лишь мы с моим другом торчали в толпе, она устремилась прямо к нам — этот милый яркий персонаж из популярной чешской оперы.

Подошла, приподняла салфетку и произнесла по-русски с чешским акцентом:

— Паны офицеры, пожалуйста. Я попрошу вас немножко попить мою сливовичку.

Оба мы, хотя и впервые в жизни оказались в Праге, принимали участие в Словацком национальном восстании. Что такое сливовица, мы, разумеется, знали и сохранили об этом своеобразном напитке самые теплые воспоминания. К тому же все, что довелось нам повидать и пережить в этот последний день войны, требовало какого-то логического завершения. Но местных денег у нас, разумеется, не было, и мы, улыбаясь, героически сделали отрицательные жесты.

— Спасибо... Дзинкую барзо... Данке шён,— сказал образованный Крушинский на всех языках, какие нам уже довелось слышать на войне.

Но милый персонаж из чешской оперы проницательно расшифровал наше смущение:

— Нет, нет, вы наши гости. Вы у меня в гостях. Такой день, я вас должна немножечко попоить... За вашу и нашу победу!

Ну что же, выпиваем за нашу и за их победу, выпиваем за Золотую Прагу и, разумеется, за милую и гостеприимную пражанку, столь щедро нас угощающую. Крушинский человек собранный и целеустремленный. Он вспоминает наш корреспондентский долг, лезет в полевую сумку за блокнотом, а потом, так как помнит несколько запавших ему в голову в дни восстания фраз и понимая, что с иностранцами желательно говорить на их языке, спрашивает:

— Пане, как се есть ваше паздвиско?

— Майерова,— отвечает, улыбаясь, хозяйка сливовицы.

— А скажите, вы не родственница Марии Майеровой, автора очень известного у нас романа «Сирена»?

— Я есть сама писателька Мария Майерова... Так паны офицеры знают мой роман?

Оказывается, нас потчует известный у нас классик чешской литературы. Устыдившись выпитого, мы быстро

вытираем губы, героически отказываемся от последующих стопок, рекомендуемся вполне официально:

— Корреспондент «Комсомольской правды» капитан Крушинский.

— Корреспондент «Правды» подполковник Полевой.

— Коллеги? Да?.. Как это может быть! Я знаю и когда-то читала ваши газеты. Я несколько раз до войны бывала в Москве, вела дела с вашими издательствами. И встретиться на Вацлавке в такой день! Боже, какая тесная становится земля! Кстати, паны офицеры, кто из вас сегодня сел на самолете на Страговом стадионе? Как ангел с неба... Об этом сегодня все пражаки говорят.

Признаюсь, что роль ангела в этот день исполнил я.

— Как интересно... Как, вы сказали, ваше имя? Я должна все это записать.— И, поставив свою корзиночку на тротуар, она достает откуда-то из недр своих наплоенных юбок записную книжку.— Взаимное интервью? Да, да, интервью... Так, стало быть, у вас мои книги читают?

Мария Майерова просит зайти к ней отдохнуть, пообедать. Она даже готова для такого обеда проститься со своей единственной курочкой. Курочкой-другом, которая в дни оккупации снабжала ее своими яичками. Честно говоря, ох как хочется отдохнуть и поесть! С самой зари крошки во рту не было, а взятый с собой неприкосновенный запас остался у меня на борту самолета, который стоит на каком-то там стадионе, потому что в последнюю минуту покалечил свой винт о трибуну. Может быть, в самом деле пойти, продолжить и углубить удивительное знакомство? Но Крушинский уже пришел в то предельное лихорадочное состояние, которое на него накатывает всякий раз, когда в руках у него оказывается интересный материал, и которое нипочем не отпустит его, пока этот материал он не превратит в статью и статья эта любыми способами не будет отправлена в его редакцию.

Нет уж, курочка-друг пусть остается жить и кормить писательницу своими яичками...

Мы прощаемся, обмениваемся адресами, обещаем встретиться при более спокойных обстоятельствах и даже самоотверженно отказываемся «попить еще одну скляничку», чтобы не оставить у нашей новой знакомой дурного впечатления...

Так и завязалось мое знакомство с Марией Майеровой, этим признанным классиком чешской литературы, знакомство, которое потом переросло в дружбу, продолжавшуюся до самой кончины писательницы.

На редкость интересный была она человек.

— Это живая история чешского рабочего движения,— сказал мне как-то критик Иван Скала, один из ее биографов. Сказал и уточнил: — Рабочего движения и участия в нем передовой нашей интеллигенции.

И в самом деле, и она сама, и ее творчество, начиная с замечательного романа «Сирена» и кончая очень популярными на родине детскими книгами «Чудесный час», «Робинзонка», связаны с тружениками ее родины. И все в них — и язык, и образный стиль, и прекрасные вкрапления из фольклора чешских шахтеров и сталеваров — говорит о том, что она плоть от плоти, кровь от крови рабочих своей высокоиндустриальной страны.

Падчерица сталевара, выросшая в городе металлургов и горняков, который рабочие и до сих пор, уже не вполне справедливо, именуют «наше черное Кладно», она, став знаменитой писательницей, не порывала тесных связей с этим городом. Когда после войны в Чехословакии был издан перевод моей повести «Вернулся», где рассказывается о маленькой трагедии некогда знаменитого нашего сталевара, который за четыре года войны потерял все свои навыки, отстал от родного производства, ушедшего вперед, и тяжело переживал свое отставание, она, прочтя эту книгу, дала мне в письме весьма квалифицированные критические замечания. И не только литературные, но, что особенно показательно, замечания технического характера. Когда после этого я прилетел в Прагу, она сама повезла меня в свое родное Кладно, на завод, носивший уже имя маршала И. С. Конева, в цехах которого когда-то работал ее отчим — старый кладненский сталевар.

Ее приход в мартеновский цех стал событием. Мартены продолжали гудеть, сталь кипела и вспучивалась в них, белая, как манная каша, требуя постоянного внимания. И все же люди находили возможность, отрывались от печей, сдвигали на потный лоб защитные очки, толклись вокруг писательницы. Те, что постарше, попросту называли ее Марженкой, и она столь же попросту обращалась с ними на «ты». Мы ходили по цеху, и Майерова на месте объясняла мне технические огрехи в моей маленькой повести. А потом появился старик с грубоватым, крупным лицом и седыми, закрученными вверх усами. На нем была черная пиджачная тройка, пахнущая нафталином, костюм, как пошутила Майерова, «времен Франтишека Первого», то есть Франца-Иосифа. Он чинно, с поклоном, поцеловал писательнице руку. Но чинности этой

ему надолго не хватило. Он разошелся, расстегнул накрахмаленную сорочку, сунул галстук в карман и стал вспоминать, как Марженка девчонкой перед обеденным перерывом забегала к ним в цех и приносила мастеру Майеру, своему отчиму, в термосах обед, а в бидончике пиво, и о том, как молодые подручные сталевара заглядывались на нее.

— Ох, Франта, ты ж и сам был тогда страшный сердцеед,— сказала писательница, подмигивая ему.

Старик усмехнулся и, поплевав на пальцы, подкрутил свои седые усы.

Думается мне, что такое вот посещение завода лучше всего раскрывает секрет воздействия ее всегда боевых, всегда вторгающихся в жизнь книг, ее умение разбирать трагедии тружеников в капиталистическом обществе, драмы незаурядных и талантливых натур, борющихся, страдающих, иногда гибнущих в мещанском окружении. Конечно, силу ее произведениям придает и то, что еще в 1908 году она, почти еще девочка, вступила в чешскую социал-демократическую партию, а через десять лет была одной из основоположниц партии Коммунистической. С ней она и прошла весь свой дальнейший и жизненный и творческий путь.

Но, несомненно, ее творческие силы укрепляла неразрывная связь с рабочими, которую мне довелось своими глазами видеть в мартеновском цехе завода имени советского маршала И. С. Конева — освободителя Праги.

Ветеран кладненского сталеварения, явившийся в тот день на встречу с ней, был старше ее. Он работал на печи ее отчима помощником, или, как здесь говорят, «ассистентом». Запустив руку в карман своего пиджака «времен Франтишека Первого», он извлек рыжую, выгоревшую фотографию, на которой все же можно было различить группу молодых ребят при галстуках и в шляпах. Среди них в сюртуке сидел коренастый человек в котелке и с тросточкой, стоявшей между ног.

— Мастер Майер,— пояснил нам старик. Возле мастера сидела прехорошенькая девушка в лихо заломленной студенческой каскетке, из-под которой выбивалась курчавая челка.— Наша Марженка. Узнаешь себя? — спросил ветеран. А потом ткнул пальцем в плечистого молодца с намертво зажатой высоким крахмальным воротничком шеей, с шляпой на затылке: — А это я... На рождество снимались. Помнишь, Марженка? Ты из Вены к отчиму своему, мастеру Майеру, на каникулы приехала.—

И, усмехнувшись, легонько толкнул локтем знаменитую писательницу.— А ведь и я тогда ничего себе был? Отчим твой меня отличал от остальных.— И вдруг сказал окружившим нас сталеварам: — Эх, люди, сходил бы кто-нибудь за пивом... Такая в нашем цехе гостья! До нее теперь и встав на табуретку не достанешь.

Очень ярко запомнился мне тогда разговор у мартеновских печей, в сумерках закопченного цеха, освещенного отблесками кипящего металла.

Еще запомнилась мне последняя встреча с Марией Майеровой, примерно за полгода до ее кончины. Годы и болезнь одолевали ее. Она уже не ходила без палки. Но неугомонности характера своего не умерила, участвовала в движении сторонников мира, выступала на конгрессах, писала. Я был в тот раз со своей женой Юлией, и писательница предложила отвезти нас на любимое свое место, в ресторанчик «Над Лабой» — в уютный домик, терраса которого просто-таки нависала над неширокой в том месте и очень красиво изгибавшейся Эльбой. Еще был приглашен ее друг Иван Скала, как раз в те дни писавший эссе о Марии Майеровой и ее творчестве. Сидели за маленьким столиком, пили легонькое местное вино, дышали чудесным речным воздухом, а вдали в дымке марева неярко вырисовывались невысокие горы, вершины которых были подсвечены заходящим солнцем.

— Хорошо у нас в Чехах, правда? Красота. Из современных художников только, пожалуй, один Ироутка эту красоту глубоко понимает.— И вдруг, без всякого перехода: — Как жаль, что придется со всем этим расставаться. Может быть, в последний раз и вижу я с вами закат над Лабой.

Мы, как водится, принялись взапуски рассеивать эти ее мысли, заверять, что она прекрасно выглядит, ну, и говорить всякие другие банальности, на которые язык богат в таких случаях.

Слушала. Иронически так слушала. Не возражала. Улыбалась. Маленькими глотками потягивала винцо. Иван Скала заговорил о ее последней книге «Девушки, отчеканенные из серебра». Хорошая книга. Несомненная удача. Хорошо удалось отразить духовный рост человека в животворной социалистической среде. И написано энергично, будто молодая рука писала...

Она улыбнулась и вдруг спросила, обращаясь к моей жене:

— А вы, Юленька, заметили у меня на стене в кабинете небольшую картину?

— Да, заметила. Пейзаж, какая-то гора или шахтный террикон.

— Да, да, шахта. Не очень умело написанная картина, но она мне дороже всего. Шахтеры мне эту картину подарили. Это лучшая шахта в городе Соколове... Далеко, а то бы я вас туда обязательно отвезла. Очень хорошие там люди. Горячие. Я и сама-то у них давно не бывала — месяца два или три... А знаете, как они назвали свою шахту?

— Нет, не знаю.

— «Мария». Шахта «Мария».— И с гордостью пояснила: — В честь Марии Майеровой. Есть у нас такая писательница и ваш друг.

Подумала, потом как-то особенно улыбнулась, и в улыбке этой уже не было ни тени грусти.

— Это мне очень дорого: шахта «Мария». Это у меня самое дорогое. Почетные звания, ордена — все уйдет в прошлое. Оставит след разве что в энциклопедиях, да вот, может, Иван об этом напишет. А шахта «Мария» будет жить, давать уголек людям долго-долго, согревать и освещать их.— И деловито пояснила: — Там, в окрестностях Соколова, большие запасы угля разведаны, хватит на сотни лет.

Мария Майерова умерла через три месяца после нашей беседы в ресторанчике над Лабой. На гражданской панихиде по ее завещанию не говорили речей, а читали отрывки из ее книг. А шахта «Мария» продолжает жить, давать уголь и сейчас считается одним из передовых предприятий Чехии.

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

В тридцатых годах в моем родном городе Твери был отличный театр. Не здание, нет. Здание было дореволюционное, маленькое, в дни премьер в него набивалось столько людей, что зрители теснились в нем, как семена в огурце. Слово «отличный» в данном случае адресовано труппе и режиссерам. И еще театральным традициям, которые к тому времени у него уже отчетливо определились. Театр старался идти в ногу с жизнью и наряду с хорошо прочитанной классикой нес зрителю все то новое, что рождала в те дни еще молодая советская драматургия, отбирая в этом новом все живое, боевое, полемическое.

Так вот, в начале тридцатых годов театр вознамерился поставить романтическую пьесу «Первая Конная», написанную в те дни мало кому еще известным драматургом Всеволодом Вишневским. Имя автора в театральной Москве было окружено романтическим ореолом. Говорили, что в дни гражданской войны носился он по степям Украины в пулеметной тачанке и даже будто бы был адъютантом у самого Буденного. Пьеса же и в Москве, и в Ленинграде шла по-разному. И критика воздавала ей в равной степени и хвалу, и хулу.

И вот тверяки взялись за эту сложную пьесу. Провели читку. Распределили роли. Начали репетировать. И вдруг почувствовали: не получается. Не получается — и все. Ибо слишком необычен был материал. Молодой автор просто-таки опрокидывал театральные каноны. Это была эпическая драма, в которой наряду с отдельными героями главным героем была солдатская масса, охваченная революционной бурей.

Мучился-мучился режиссер и решил в конце концов попросить автора приехать прочитать пьесу, дать советы. Пригласили и в ответ получили из Ленинграда телеграмму, в которой были только два слова: «Выезжаю. Вишневский». Ни номера поезда, ни срока прибытия. Поднялся переполох. К какому поезду выходить встречать? К какому часу брать извозчика? Когда организовать полагающийся по такому поводу «товарищеский чай»?

А пока гадали, в театре как-то незаметно появился коренастый молодой человек с круглым румяным лицом, с бровями-гусеницами, с плотно сомкнутыми губами большого, энергичного рта. Протянув директору театра А. И. Лазареву руку, он сказал:

— Вишневский, Всеволод... Просили — приехал.— Посмотрел на большие часы в кожаном браслете.— Времени в обрез. Собирайте людей. Аллюр три креста.— И добавил: — Уезжаю вечером.

Через час в фойе театра сидела уже вся труппа. Сидели и мы, газетчики из «Тверской правды», бывшие в те времена большими театралами. Пока собирались, Вишневский нетерпеливо расхаживал по фойе на коротких ножках, угрюмый, сосредоточенный. Интервью дать отказался: рано. На вопросы отвечал односложно и то и дело поглядывал на свои часы в кожаной оправе: время, время. Не скрывая нетерпения, прослушал приветственное слово режиссера, а потом быстро, я бы сказал — стреми-

тельно, просеменил к пюпитру, выпул из кармана пьесу и без всяких предисловий начал читать.

И что это было за чтение! Хриплый голос его, лишенный всяких театральных модуляций, с первых же сцен захватил аудиторию. Сам чтец перевоплощался то в одного, то в другого, то в третьего персонажа, даже в женщин, когда дело доходило до женских реплик. Но это перевоплощение происходило без всякой игры. Искренне. Просто. Когда по тексту пошли частушки, он озорным голосом стал выкрикивать эти частушки. Когда действие перешло в окоп, он нагнулся к пюпитру, прищурился, двумя пальцами нажимая невидимую гашетку, начал давать по слушателям пулеметные очереди: та-та-та...

Мы все сидели завороженные. Да что мы, газетчики, нам полагается быть эмоциональными. Завороженные слушали и ветераны нашей тверской сцены Брянский, Лобанов, Гончарова, Звапцев, сами создавшие десятки ролей. Когда же по ходу пьесы было совершено злодейство, в голосе чтеца закипели слезы, и он так произнес слово «проклятые», что мурашки пошли по коже. Прочитал, и будто сразу, поворотом выключателя, в нем выключили свет. Преспокойно свернул пьесу в трубочку. Сунул в карман. Посмотрел на часы.

— Мне пора. Поезд... С извозчиками плохо? Ничего, доеду на трамвае.

— Как же так, помилуйте, нам так хочется с вами побеседовать... Вы ж ничего не покушали... У нас столы накрыты, «товарищеский чай» — многозначительно подмигивая, убеждали хозяева.

Но гость был непреклонен. Рубя короткие фразы, ставя жирные точки почти после каждого слова, он быстро одевался.

— Не могу. Некогда. Поезд... Жизнь коротка.

И уехал на трамвае, потребовав, чтоб его никто не провожал.

В фойе за накрытыми столами допила свой «товарищеский чай» ошеломленная труппа, а с нею и мы, газетчики, свидетели только что происшедшего.

— Черт знает что, ничего, казалось бы, не произошло,— удивлялся режиссер Маргаритов,— ни советов, ни рекомендаций. Прочел — и полно. А мне все ясно. Я теперь знаю, как ставить. Отчетливо все себе представляю.

— Да, пронзительный какой-то талант,— сказал Виталий Брянский — комический актер, слывущий в труппе за философа.

И поставили они «Первую Конную». Хорошо поставили. Пьеса имела успех и не один сезон держалась на сцене. А у меня навсегда осталось в памяти несколько странное определение, данное актером автору пьесы: пронзительный талант.

Это определение было как бы ключом к необычному, своеобразному, в какой-то степени неповторимому творчеству Вишневского. Каждая новая пьеса и киносценарий подтверждали его. «Последний решительный», «Оптимистическая трагедия», ставшие, так сказать, классикой советского репертуара. Замечательный кинофильм «Мы из Кронштадта», менее удачные, и менее запомнившиеся его работы — все они носят характер его пронзительности. Эти произведения могут нравиться или не нравиться, приниматься или не приниматься, но при всем том можно поручиться, что, как тогда, в фойе тверского театра в памятный вечер, в зрительном зале не останется равнодушных...

В дни войны мы с Всеволодом Вишневским были военными корреспондентами «Правды». Я — в армии, он — на флоте. Я его не встречал, но все время знал и слышал его по корреспонденциям, шедшим из блокированного Ленинграда. По горячим корреспонденциям этим, о которых в «Правде» шутили, что когда их передают, от напряжения звенят телефонные провода, мы узнавали о беспримерной борьбе балтийских моряков.

Помнится, зимой сорок второго года приехал к нам на фронт Александр Фадеев. Дни у нас были горячие, шло наступление, приходилось все время мотаться между наступающими частями и телеграфом. Ну, кто-то из нас и поплакался за вечерней трапезой на нашу нелегкую военно-корреспондентскую жизнь.

— Как вам не стыдно! — вскрикнул Фадеев.— Да у вас тут по сравнению с Ленинградом курорт. Там холод, голод, суп из столярного клея варят, кошек и ворон съели, и никто не скулит. Вон Всеволод Вишневский, он не только в «Правду», в «Красную звезду», в «Ленинградскую правду», в «Красный Флот» и еще в какие-то газеты пишет. Разъезжает по кораблям, выступает по радио. И пьесу написал. Вот учиться у кого надо. Вулканическая натура.

И вдруг засмеялся какому-то своему воспоминанию.

— Хлопцы, мы с ним выступали у морских пехотинцев. Ну, я выступил и имел, так сказать, некоторый скромный успех. Тепло слушали. Потом слово предоста-

вили Всеволоду. И он такое закрутил, что волосы на головах зашевелились. Великий импровизатор. Да, да, да... Порой из него так и хлещут разные невероятные истории. Сморозит и сам в это верит. А тут еще и меня взял к себе на подхват, все время на меня ссылается: вот, мол, бригадный тоже был свидетель, подтвердит. Да, да, да... А мне просто страшно быть свидетелем его невероятных историй. Но главное — финал: в заключение он вскинул руку, будто в ней шашка, да как крикнет: «Вперед на врага! Сокрушим Гитлера и гитлеризм!» И что тут поднялось: овация, крики, аудитория — хоть сейчас в бой. Потом, когда ехали назад в гостиницу, я ему попенял, зачем, мол, ты меня в свои рассказы впутал? А он поглядел на меня ясными глазами: «Саша, у тебя плохая память, ты забыл. Все ведь так и было. Ты просто запамятовал». Да, да, да, запамятовал — так и сказал.

При этих словах мне сразу же представилось давнее определение: пронзительный талант.

Этот дар увлекаться импровизациями и, увлекаясь, вставлять в них как активно действующее лицо того или другого из присутствующих здесь же людей, обернулось однажды довольно курьезно.

Наши войска прорвались уже на подступы к Берлину, и Первый Белорусский фронт начал бой на Зееловских высотах. Мы с писателем Вадимом Кожевниковым вылетали на Первый Украинский фронт, и, напутствуя нас, наш добрый и умный редактор П. Н. Поспелов вдруг начал нам наказывать, чтобы мы ни в коем случае не ходили в атаки, не бывали в штурмующих цепях и вообще поменьше пребывали на передовых. Оба мы были уже опытными военными корреспондентами и твердо знали, что, находясь в наступающей цепи, ничего не увидишь, во всяком случае, ничего полезного для корреспонденции.

— Зачем же мы пойдем в атакующие цепи?

— А вот некоторые из вас ходят, рискуют головой. Бесцельно рискуют,— сказал редактор и достал из стола телеграмму, которую я и сейчас вот воспроизвожу по памяти, не боясь совершить ошибку. Очень характерная телеграмма. В ней Вишневский сообщал редакции, что он только что побывал в Берлине: «Шел в атакующей цепи тчк Прострелена шинель тчк Самочувствие боевое тчк Смерть немецким оккупантам».

Телеграмма эта вызвала у нас улыбку. С Зееловских высот, где тогда находилась армия Чуйкова, Берлин можно было увидеть разве что в телескоп. Это была очередная

импровизация. И при всем том друзья, видевшие Вишневского в блокированном Ленинграде, на кораблях Балтики, единодушно свидетельствовали, что человек он отменной храбрости, пулям не кланяется. Ордена и медали его, в том числе и два георгиевских креста, которые он получил в юношеском возрасте в царской армии, были, несомненно, заслуженными боевыми наградами.

Мы познакомились с Всеволодом Витальевичем на Нюрнбергском процессе, где шел суд над главными военными преступниками второй мировой войны. Он, в сущности, мало изменился с того дня, когда в тридцатые годы потряс моих земляков мастерским чтением пьесы. Такой же широкий в плечах, крепыш, с черными клочковатыми бровями и энергично сложенным ртом.

— Кавторанг Вишневский,— рекомендовался он.— Приветствую. Поработаем вместе. Материал интересный. Чудовищный. Апокалипсический... Великолепный.

И в первые же дни совместной деятельности он, как когда-то Фадеева, удивил своей работоспособностью. Писал не только в «Правду», но в «Красную звезду», «Красный Флот», в любую другую редакцию, обращавшуюся к нему с просьбой. Кроме того, мы все знали, что он регулярно пишет дневник, каким бы трудным ни выдался прожитый день.

Вечером, передав свои корреспонденции, мы шли в Пресс-кемп — наш лагерь прессы, где хозяева этого «лагеря», американцы, крутили для нас свои, английские или французские кинобоевики, устраивали дружеские вечерушки или, что там греха таить, сидели в баре. Он же отказывался от всех этих развлечений, и в номере его всегда до полуночи горел свет. Он не любил делиться планами. И лишь после его смерти, когда тома его дневников были опубликованы, мы узнали, какую он проделал огромную работу и какую ставил перед собой задачу. В одной из записей имеются такие слова: «Наша задача — сохранить для истории наши наблюдения, нашу сегодняшнюю точку зрения участников. Ведь через год, через десять лет с дистанции времен все будет виднее, возможно, будет иная точка зрения, иная оценка. Оставим же внукам и правнукам свой рассказ. Наши ошибки и наши победы будут уроком для завтрашнего дня».

Его дневники содержали не только художественное обобщение наблюденного, но и были как бы летописью Великой Отечественной войны. И в то же время они пол-

ны раздумий о войне, о народе, о литературе, о ее долге, о искусстве, о его настоящем и будущем.

Читаешь эти дневники из давних записей, то коротких, то лаконичных, то пространных, раздумчивых, и возникает он сам, человек пронзительного таланта, со своим взглядом на жизнь, с неизменной верой в силы своего народа, в его будущее.

В трагическом октябре 1941 года, когда силы гитлеровского «Тайфуна» ломились к Москве, а окруженный Ленинград с нечеловеческой стойкостью нес свою вахту на Северо-Западном фронте, Вишневский, находясь в блокированном Ленинграде, записал: «Россия! В этот страшный октябрь собери свои силы, твой гений, твоя честь, мечты, самобытность, твоя ширь, твое очарование не могут, не должны исчезнуть и раствориться в чужой цивилизации». Он и в этих дневниках, наедине с собой, оставался талантливым и страстным агитатором.

Эта страсть однажды немножко даже подвела нашего доброго друга. Когда Нюрнбергский процесс перевалил за свое полугодие и началось лето, стал я замечать, что во время заседания трибунала на корреспондентских скамьях то тут, то там кто-нибудь из коллег клюет носом, а то и откровенно подремывает.

Лучше всех приспособился к этому трудному периоду изобретательный Всеволод Витальевич. Он приобрел не просто темные очки, какие были у всех у нас, а большие американские консервы, закрывавшие пол-лица. Темные очки особого устройства, на стеклах которых каким-то способом с внутренней стороны были нарисованы широко открытые глаза. Счастливый обладатель этих очков мог сколько ему угодно морщиться, жмуриться, дремать, спать — посторонние видели лишь его внимательный, заинтересованный взгляд.

Утром Вишневский озабоченным шагом проходил в зал, занимал свое место, раскладывал направо французские, налево английские, а к себе на колени русские переводы предварительных показаний, утыкал свое стило в блокнот и... засыпал. Получалось это у него великолепно, ибо, как известно, после ночной работы в жару спится особенно хорошо. Но даже если кто-нибудь глядел ему в лицо в упор, перед ним были глаза человека, внимательно слушающего, наблюдающего. Когда же начинался перерыв и сосед потихоньку будил Вишневского, внутри у того будто срабатывала какая-то машинка, и совершенно бодрым голосом он с чувством произносил:

— Нет, какие сволочи, какие мерзавцы... изуверы.

Это можно было сказать на каждой минуте процесса, и гневная эта реплика, как всегда, попадала в цель.

Но однажды его позабыли разбудить. Заседание закрылось, судьи удалились, увели преступников. Ложа прессы опустела. А он все еще сидел в напряженнейшей позе озабоченного человека, деловито уткнув перо в блокнот. Американского часового, стоявшего в дверях, это встревожило. Почему русский офицер в морской форме со множеством орденских ленточек на груди так задержался? Он осторожно подошел к нему и... услышал храп.

Тогда часовой легонько постукал своей дубинкой по креслу. Вишневский мгновенно раскрыл глаза и с пафосом воскликнул:

— Нет, какие же они все негодяи!

Но, увидев над собой лицо чужого солдата, не знающего по-русски, быстро забрал свои бумаги и засеменил на выход...

— Не могу. Зверски устаю. Дневники меня доканают,— добродушно оправдывался он, когда начинали шутить по поводу этого инцидента.

На рождественские каникулы мы поехали с ним в Берлин. Поехали на машине, ибо Вишневский не любил летать. Наши части у зональной границы были предупреждены, что из Нюрнберга пройдет советская машина. Было сообщено и кто именно проедет. Узнав, что следует знаменитый Всеволод Вишневский, командир бронетанковой части выслал на контрольный пункт делегацию из двух героев части и хорошенькой девушки в лейтенантском звании.

— Нет, мы вас, товарищ кавторанг, не пропустим. Вы должны выступить перед бойцами и офицерами. Вас уже ждут в клубе.

Клуб размещался в большом здании кегельбана. Лотки, кегли и шары были убраны. Зал был уставлен разнокалиберными стульями. Прямо с дороги, отказавшись от угощения, Вишневский прошел к самодельной трибуне. Решительным жестом остановил вспыхнувшие было аплодисменты и произнес голосом Левитана:

— Товарищи! Братья и сестры! Родные советские люди! — И с ходу пленил аудиторию, овладел ею.

Наступила поразительная тишина.

Нюрнбергский процесс давал, конечно, богатейший материал о мерзостях фашизма. Но, творчески реформируя этот богатейший материал, Вишневский рисовал пря-

мо-таки апокрифические картины. И так как в рассказе его он выступал не только свидетелем, но и очевидцем, и активным участником, рассказ этот, так сказать, добела накалил аудиторию. То, что в литературе называется «фактом присутствия», сообщало рассказу особую силу. Я сам был захвачен этой его речью, хотя он делал и меня свидетелем и участником событий, то и дело кивая в мою сторону: вот, дескать, это может подтвердить и сидящий здесь полковник Полевой.

Аудитория сидела покоренной. Вместе с ним восхищалась, гневалась, приходила в ярость, вместе с ним улыбалась, а когда дело дошло до рассказов об ужасах Дахау, об экспериментах над детьми, вместе с оратором и заплакала. И было странно видеть крупные, почти детские слезы на суровых загорелых лицах ветеранов танкистов, прошедших через всю войну.

Я слушал и вспоминал: пронзительный талант, пронзительный талант...

Таким вот и сейчас, более четверти века спустя, встает в памяти Всеволод Витальевич Вишневский, драматург, писатель, мемуарист, оратор,— один из самых своеобразных людей, встретившихся мне на, увы, довольно уже длинном пути газетного репортера.

ПИЛИГРИМ МИРА

Илья Эренбург — писатель во многом необычайный. Заметки о нем тоже хочется начать необычно. И, кажется, у меня есть такая возможность.

...Так вот, в разгар войны, в дни трудных, затяжных боев в калининских лесах, зимой, нескольким военным журналистам, среди которых был и я, довелось застрять в частях, оказавшихся отрезанными на небольшом лесистом, изрытом оврагами «пятачке». Тут был узел дорог, и его нужно было удержать. И держали, хотя участок этот простреливался вдоль и поперек. Словом, было о ком и что писать. И мы писали чуть ли не по корреспонденции в день. Но наземной связи с Большой землей не было, и эти сочинения лишь бременили наши и без того пухлые полевые сумки.

Пресса жила в шалаше, ею самой и сооруженном из еловых веток в откосе оврага. На ночь, в целях экономии тепла, мы укладывались один к одному, «как газеты в

пачке», и, если спать не очень хотелось, устраивали под руководством корреспондента «Комсомольской правды» Сергея Крушинского литературные викторины.

Это имело и практическое значение. Тот, у кого оказывалось меньшее количество очков, отправлялся безропотно в лес, на заготовку сушняка и хвороста для общего костра.

И вот однажды, когда в морозную ночь на мглистом небе тускло светила луна, Крушинский самодовольно заявил:

— Сейчас я прочту вам стихотворение, и вы все пропадете, как мухи. Это стихотворение очень известного автора. Условия небывалые: если кто-нибудь угадает, кто его написал, я один приношу четыре охапки хвороста, если не угадаете, вы все принесете по охапке. Идет? — И, сочтя изумленное молчание за согласие, он распорядился: — Ну-ка, кто-нибудь посветите.

Острый лучик фонарика выхватил из зеленоватой, пахнущей смолой полутьмы хитрую ухмылку нашего друга. Он полез в планшет, достал оттуда газетную вырезку и стал читать. Стихи были простые, ёмкие. Они очень звучали в искромсанном артиллерией леске, где иной раз пули цвикали, как синицы.

Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог...

Наш друг читал, а мы, слушая, нетерпеливо прикидывали в уме наиболее активно писавших в дни войны поэтов. Твардовский? Нет. Тихонов? Нет. Сурков? Нет. Симонов? Не похоже. Прокофьев? Может быть, действительно Александр Прокофьев, стихи которого в те дни прорывались из блокированного Ленинграда? Тоже, пожалуй, нет.

Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Подымались камни и стога,
И с востока двинулась пурга,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты,
Била немцев каждая клюка,
Их топила каждая река,

И закапывал, кряхтя, мороз,
И луна их жгла, как купорос.
Шли с погоста деды и отцы.
Пули подавали мертвецы,
И, косматые как облака,
Врукопашную пошли века...
...Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел худой, зазубренный топор,
Шла винтовка, верная сестра,
Шло глухое, смутное «ура».
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля...

Дочитав, Крушинский свернул вырезку в трубочку.

— Ну как, хенде хох?

Мы молча подняли руки.

— Эренбург, вот кто это написал.

— Эренбург? — разноголосым хором вопросили мы, давая самим тоном понять, что не такие уж мы простофили, чтобы попасться на столь нехитром розыгрыше.

— Да, други мои. Видите подпись? И отправляйтесь немедленно за хворостом, а то на небе, как вы заметили, луна в рукавичке, а это, как вы знаете, первый признак — быть морозу.

Сам этот случай, вероятно, затерялся бы в памяти, если бы недавно из Чехословакии не пришло ко мне новогоднее поздравление Общества чехословацко-советской дружбы, оригинальное поздравление в виде книжечки, где были напечатаны стихотворения советских поэтов, особенно популярные в Чехословакии. И сразу вспомнился и шалаш, сложенный из еловых веток, и как иней с шуршаньем тек с деревьев от звука разрывов, и луна, которая действительно «жгла, как купорос», и кряхтение мороза в чаще заиндевевшего леса.

Помнится, в ту ночь мы много толковали об авторе этих стихов. Он побывал и на нашем фронте. Однажды мы с Крушинским, с трудом добравшись за новостями на опушку леска, расположенного в непосредственной близости от противника, были поражены абсолютным невниманием артиллеристов к представителям двух могущественных газет. Потом часовой разъяснил, что к ним прибыл «сам Илья Эренбург». И действительно, в полуразрушенной подковке одного из артиллерийских двориков, откуда вчера прямой наводкой «шпарили» по вражеским

танкам, группа солдат окружала невысокого человека в непомерно большой шинели третьего срока, без погон, в пилотке, надетой на уши, как чепчик. Артиллеристы что-то рассказывали ему, а он сидел ссутулившись, и большие выпуклые глаза задумчиво смотрели на черные, обгоревшие танки, разбросанные по лугу, похожие издали на стога сена. Тогда мы не были знакомы с писателем и, понимая, что он поглотил все внимание хозяев дома и нам ничего не оставил, потихоньку ушли, не вмешиваясь в беседу.

Эренбурга привыкли видеть замкнутым в себе, хмурым, с иронически оттопыренной нижней губой. И все же я однажды видел его растроганным, даже нежным. Это было на том же фронте, в разгар тяжелого, медленного наступления на Ржев. Он приехал вместе с американским журналистом — длинным, рыжим, весноватым, по фамилии, кажется, Сноу. Фронт у нас считался тяжелым, и иностранцы были на нем диковинкой. Мы немало отмерили по вязким верхневолжским грязям, чтобы посмотреть заокеанского коллегу.

Гостей мы нашли на завалинке пустой избы, чудом уцелевшей в почти выгоревшей и уже заросшей могучим красноватым бурьяном деревне, недавно отбитой у противника. Нам сказали, что американец, кажется, хороший парень, храбр, в войне толк понимает и к тому же угощает всех какой-то забористой водкой из объемистой фляги, висящей у него на ремне.

В момент, когда мы подошли, американец вел беседу с девушкой-снайпером. Он говорил по-французски, и Эренбург переводил, не снимая с лица своей обычной иронической мины. Мы знали эту девушку и ее историю. Отец у нее был генерал, командир дивизии. Но, добровольно вступив в армию, девушка не пошла в его часть. Она прослыла метким снайпером. Летом ее ранили и по ранению хотели демобилизовать, так как нога срослась неправильно. Тогда, чтобы вернуться в армию, она стала автоматчиком при отце-генерале. Девушка была совсем юная, хорошенькая. Американец восторженно расспрашивал ее и яростно записывал ответы.

— Так вы ничего не боитесь? — спросил он, явно ожидая гордое, или торжественное, или величественное «нет», оно ему было, как мы догадались, страшно нужно для корреспонденции, уже набросанной в уме.

Но маленький, игрушечный голубоглазый солдатик в складной шинельке и крохотных сапожках, солдатик, у

которого на счету было немало срезанных снайперской пулей врагов, вдруг густо покраснел, опустил глаза и ответил чуть слышно:

— Боюсь мышей. Их тут ужас как много. Деревни сожжены, и они все перебрались в окопы, в блиндажи и ведут себя нагло, как эсэсовцы. А я ужасная трусиха.

Вот тут-то, когда эта фраза переводилась, мы и увидели, сколько тепла и даже ласки может отражать это хмурое, ироническое и будто всегда чем-то недовольное лицо.

Творчество Ильи Эренбурга столь обширно и сложно, что просто теряешься, когда пытаешься говорить о нем. Эренбург — романист, умеющий откликаться на злободневную тему, если она его глубоко волнует. Такие книги, как «День второй», «Падение Парижа», «Буря», «Девятый вал», написанные по свежим следам событий, быстро завоевали внимание читателей и быстро стали в ряд популярных произведений современной мировой литературы. Эренбург — публицист, страстный, проницательный. Разве забудешь, как в годы войны солдаты, развертывая газету, искали: «Ну, что там настрочил сегодня Илья?» В годы мира советский и зарубежный читатель с тем же вниманием читает каждую новую статью Эренбурга, зная, что это будет глубоким раздумьем над самыми острыми проблемами, волнующими человечество.

Эренбург острый, злой памфлетист, умеющий с исключительной меткостью наносить удары «бичом сатиры», и вместе с тем он поэт, и поэт лирический, хотя эта сторона его литературной деятельности осталась значительно менее известной читающей публике.

Наконец, он эссеист. Многие его исследования в области литературы, живописи, истории культуры, и в частности его последняя книга «Япония, Греция, Индия», привлекли внимание знатоков, послужили и продолжают служить предметом острых искусствоведческих споров. Наконец, мы узнали Эренбурга-мемуариста, жизнь которого так густо насыщена интереснейшими знакомствами, встречами, событиями, что записки его уже в процессе рождения завоевали читательское внимание, вызвали горячие споры, и продолжение их ожидалось с не меньшим нетерпением, чем развитие какого-нибудь романа с туго закрученным сюжетом.

За свою жизнь Эренбург написал и опубликовал более ста книг. Это разные книги. Иные из них были сразу приняты читателем. По поводу других с автором хочется

крепко спорить. Наконец, были произведения, вызывающие, например у меня, активный протест. Но среди этих ста книг не было книг равнодушных, которые откладываешь непрочитанными, провожая длительным, смачным зевком. И это характерно для автора.

Когда вот так стараешься окинуть взором творчество этого своеобразного, сложного и порою очень противоречивого писателя, когда пытаешься представить себе его путь в литературе, отчетливо видишь, что этот путь он прошел не как созерцатель, не как летописец, равнодушно внимающий добру и злу, а как активный человек, умеющий яростно сражаться, и не только пером.

Мой старый друг, прекрасный испанский поэт Рафаэль Альберти, активный антифашист, живущий сейчас в Аргентине, как-то у себя дома показывал мне комплекты республиканских газет времен борьбы с Франко. В одной из них он указал на фотографию. На ней был изображен старый смешной грузовик. Кинопередвижка. Возле него, в кругу живописных, увешанных оружием бойцов республики в широких беретах и шапочках пирожком, стоял маленький, штатского вида, сутулый человек, в мешковатом, будто с чужого плеча костюме, с трубкой в зубах.

— Знаешь, кто это? — спросил Рафаэль.

— Нет.

— Эренбург.

— Эренбург? В Испании, у кинопередвижки?! — воскликнул я точно так же, как когда-то в шалаше на фронте.

— Именно он.

И Рафаэль рассказал, что в дни испанской войны, в которой международные силы мира давали первый бой фашизму, писатель, попав в Испанию в качестве корреспондента советских газет, по собственной инициативе соорудил кинопередвижку и разъезжал с ней по сражающимся частям арагонского фронта, показывая кинофильм «Чапаев». Фильм о советском полководце вдохновлял испанских рабочих и крестьян на их святую борьбу. Пришлось только кое-что из фильма вырезать, ибо зрители, видевшие ежедневно много героических смертей, по экспансивности своего характера никак не хотели мириться с тем, что славный русский богатырь, которого они успевали за два часа демонстрации фильма полюбить, столь трагически гибнет в реке. В фильме, который показывал Эренбург, Чапаев не тонул...

В дни, когда движение сторонников мира, объяв все континенты земли, стало знаменем современности, мы снова видели писателя в самом его эпицентре.

— Пилигрим мира,— сказал о нем когда-то великий француз Фредерик Жолио-Кюри,— неутомимый пилигрим.

Это было произнесено в шутку, за дружеской чашкой кофе, после одного из утомительных заседаний, закончившегося под утро. В сущности, это шуткой не было. Вопрос войны и мира стал проблемой — будет ли вообще человечество жить на земле. Среди писателей, участвующих в движении, мало найдешь таких, кто столько бы разъезжал по свету, вел дискуссии, выступал с докладами в разнообразных аудиториях, кто с такой страстью разоблачал бы поджигателей войны, с таким упорством трудился бы над сплочением сил мира, отрываясь для этого от своей творческой работы.

Люди доброй воли во многих странах знают неутомимого «пилигрима мира», ненавистника фашизма, достойно представляющего миролюбивый советский народ.

Однажды мне довелось вместе с Эренбургом лететь с поручением Советского Комитета Защиты Мира в одну из далеких стран. Еще в Копенгагене к нам подошел смущенный представитель авиакомпании и, рассыпавшись в извинениях, предупредил, что нам придется довольно долго проторчать в Женеве в ожидании самолета, так как машина, отлетающая в нужном нам направлении, уже укомплектована.

— Очень мило, но нас же на Афинском аэродроме будут ждать люди,— пробормотал Эренбург в своей обычной брюзгливой манере.

Но в Женеве на аэродроме нас встретил высокопоставленный представитель этой компании. Он поприветствовал писателя и повел его, а заодно и нас, грешных, в особое зальце, существующее для путешествующих королей, премьер-министров и иных важных особ. Были произведены какие-то таинственные манипуляции в списках пассажиров, во время которых мы едва успели допить поданный нам кофе, и нас пригласили на посадку. Все это великолепие обошлось нам в один-единственный автограф Эренбурга, небрежно оставленный им на расписании авиарейсов компании.

В Греции я был свидетелем выступления писателя в одном из крупнейших кинотеатров Афин. Лекция его называлась, насколько я помню, «Мир и война».

Обстановка, в которой предстояло ее прочесть, мягко говоря, была малоблагоприятной. За час до начала окрестные улицы оцепила полиция. В толпе, стекавшейся к кинотеатру, не очень даже маскируясь, сновали шпики асфалий [1]. Тем не менее зал оказался туго набитым, и много людей продолжало толпиться около подъезда плотной, колеблющейся массой.

И вот лектор вместе с молодым греком-переводчиком подходит к трибуне. Маленький, седой, сутулый человек, похожий на какую-то мудрую птицу, пожевывая губами, вглядывается в полутьму зала, глухо гудящую. Аудитория пестрая. Аплодисменты смешиваются с шиканьем и даже со свистками. В рядах начинается перебранка. Кого-то выталкивают из дверей в шею, и не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. Даже мне, сидящему на галерее, над всем этим кипением, становится как-то не по себе.

А Эренбург стоит, будто бы ничего особенного не происходит, и близоруко щурится, переступая с ноги на ногу. Потом сразу начинает говорить. Это была яркая, остроумная речь о миролюбии советских людей, проистекающем из самих основ нашего социалистического государства, о мирных делах правительства, начавшего свою деятельность изданием закона о мире. Подробности стерлись в памяти. Но хорошо запечатлелись первые фразы этой речи, слова, заставившие превратиться в слух и тех, кто аплодировал, и тех, кто свистал.

— Люди сидят обычно по-разному,— неожиданно начал лектор.— Вот мы с вами привыкли сидеть на стульях с длинными ножками. В Турции сидят на низеньких табуретках. Есть страны, и немало таких стран, где люди считают удобным садиться просто на пол, свернув ноги кренделем. А вот недавно я был в Японии, так представьте себе, там предпочитают сидеть на полу, на собственных ногах. И оказывается, для них это очень удобно, хотя любому из нас в этой непривычной позе трудно бы было долго выдержать...

Даже странно было слышать полную тишину, наступившую в зале. Но, не обращая на нее внимания, как не обращал внимания на аплодисменты и свистки, лектор продолжал в своем обычном ворчливо-добродушном тоне:

— И каждый из этих способов сидеть можно понять и принять, кроме одного — манеры сидеть положив ноги

---

[1] Политическая полиция.

на стол. Да и с этой манерой, пожалуй, можно согласиться, однако при условии, что стол этот будет собственный, а не чужой.

Тут разразились такие аплодисменты, что никакие свистки уже не могли пробиться сквозь них...

Это умение рассказать о думах и чувствах советского народа, об успехах и победах сторонников мира, рассказать своими, особыми словами, рассказать, насыщая речь афоризмами, свежими образами, смело сталкивая эпитеты лбами, сделало Эренбурга одним из любимых ораторов движения. Не раз выступая в предубежденной, а иногда и просто во враждебной аудитории, писатель покорял ее правдой, силой своего слова.

Простые люди знали, ценили неутомимого «пилигрима мира». Не в доказательство этому, ибо это общеизвестно, я приведу два, как мне кажется, интересных примера.

Советские солдаты в дни боев на немецкой земле случайно нашли под развалинами старинного, разбитого авиацией замка старинное охотничье ружье дивной работы. Ружье было сломано, но ствол, казенная часть и ложа, украшенная великолепнейшей гравировкой, инкрустированная перламутром, серебром, золотом, привлекла их внимание. Нашелся в роте знающий человек. Он прочел надпись, выгравированную по-французски, и узнал, что уникальное это ружье — подарок льежских оружейников Наполеону Бонапарту, сделанный ими в дни, когда будущий император был еще революционным полководцем Конвента. Полюбовались на диковинку, кто-то вспомнил при этом, что Илья Эренбург увлекается историей Франции. И вот писатель получил из действующей армии ящик с обломками уникального ружья, посланными ему в подарок, и письмо за подписями всего наличного состава роты с пожеланиями доброго здоровья и творческих успехов.

А в болгарском городе Варна, где сейчас международный дом отдыха журналистов, среди других достопримечательностей этого старинного города показывают иногда иностранцам сапожную мастерскую, известную лишь тем, что над ней висит большая вывеска «Илья Эренбург». Это рабочие мастерской решили по-своему выразить уважение к любимому писателю.

Работая над этой книгой, я вспоминаю все, что знаю об Эренбурге, его романы, повести, статьи, речи, вспоминаю его самого, жизнедеятельного, неутомимого,

иронического, и никак не могу отделаться от странной мысли — полно, так ли, действительно ли ему в последние его годы было столько лет? Впрочем, во Франции, которую он так хорошо знал, есть поговорка: «Женщине столько лет, сколько ей дают окружающие». Думаю, что пословицу эту можно бы было применять и к самому Илье Григорьевичу. Я так и хотел сделать, руководя когда-то вечером, посвященным его семидесятилетию, но воздержался, боясь наскочить на одну из его едких острот, ибо знал, что человек этот превыше всего не терпел пошлости.

ЕДИНСТВЕННЫЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ

К нам, на Калининский, в те дни очень горячий фронт, с командировочным направлением «Правды» приехал Александр Фадеев. Первое, что он спросил, ориентируясь во фронтовых делах и людях, было:

— Ираклий у вас?

— Какой Ираклий?

— Как так какой? Конечно же Андроников. Мне сказали, что он где-то тут, у вас, не то во фронтовой, не то в армейской газете.

— Андроников, Андроников...

— Ты что же, до сих пор не познакомился с Ираклием Андрониковым? Э, серый ты человек! Да-да, серый и плохо ориентированный, что тебя, как старшего военкора «Правды», отнюдь не украшает. Да-да, именно не украшает, Боря...

Пришлось признаться, в дни бурного и очень тяжелого наступления тылы отстали, и редакция фронтовой газеты оказалась далеко позади, километрах в пятидесяти. А это было немало из-за заметенных дорог, острых январских морозов. Из-за этого я только раз, да и то по чрезвычайному обстоятельству — нужно было выпросить у коллег ламповое стекло,— смог побывать во фронтовой редакции и познакомился только с начхозом. Ну, а по газете, по корреспонденциям, знал, конечно, что И. Андроников работает в редакции в должности писателя (была такая в военных газетах должность), что пишет интересно, что побывал уже и у смоленских партизан. И не зря побывал, с пользой для своей газеты. А вот познакомиться так и не удалось.

— Серый, серый ты человек,— укоризненно повторял Александр Александрович. — Раз с Андрониковым не познакомился, серый. Да-да-да.

Признаюсь, я так и оставался серым человеком до самого лета, когда наш фронт остановился, фронтовая газета оказалась недалеко от нас, в деревне с звучным названием Велеможье, где она расположилась в хорошо сохранившейся барской усадьбе со старым парком, с прудом, в котором счастливые коллеги купались, а в свободное от постоянных командировок время ухитрялись даже ловить карасей.

Вот тогда-то я и ликвидировал свою вопиющую серость и познакомился с капитаном Ираклием Андрониковым, которого до той поры знал лишь по газете да по своеобразному журналистскому фольклору, всегда окружавшему его имя. Познакомило меня с ним примечательное происшествие. Весть о нем в свое время облетела штаб нашего временно притихшего для перегруппировки фронта.

Редактировал в те дни эту газету человек в звании полковника, приобщившийся к газетному делу уже давно, но весьма оригинально. В начале тридцатых годов Осоавиахим проводил денежную лотерею. Самым завидным призом было путешествие на корабле, направляющемся в плавание вокруг Европы. Тогда для любого из нас такое путешествие было пределом мечты, и вот скромный советский служащий купил билет этой лотереи, и как раз на этот-то билет и пал столь завидный выигрыш. Несколько газет сразу же предложили ему стать их корреспондентом на время этого путешествия. И он действительно стал писать из разных европейских портов путевые заметки. Их правили, как говорят журналисты, «дотягивали до печати». Домой он вернулся уже довольно известным в корреспондентском мире человеком и обладателем усов, которые он обещал друзьям не брить до конца путешествия, да так потом и оставил как память о замечательном круизе.

К дням Отечественной войны усы эти выросли, их, по образному выражению его сотрудника Андроникова, «можно было видеть даже сзади, с затылка». Обладатель этих действительно уникальных усов, человек с хриплым голосом и жесткой редакторской рукой, и возглавлял в те дни фронтовую газету, в ней, между прочим, и сам печатал под псевдонимом бесконечную повесть из партизанской жизни.

Был в этой редакции и секретарь, карьерист и бабник, которого весь коллектив дружно не любил. Так вот, однажды ранним утром, после выпуска очередного номера, этот секретарь с девушками-корректоршами и отправился искупаться на пруд. Шел и весьма непочтительно веселил их разными байками о своем редакторе. Рассказывает и вдруг за спиной слышит столь характерный редакторский голос:

— Какая это сволочь говорит обо мне такие мерзости?

Секретарь так испугался, что со страха шарахнулся в кусты, нависавшие над омутом. И бухнулся в воду, а так как плавать он не умел, его извлекли из воды капитан Андроников и его спутницы. Редактор же в это время мирно спал.

Весть о происшествии на пруду сельца Велеможье мгновенно облетела весь корреспондентский корпус, и благодаря этому я и познакомился с одним из удивительнейших людей нашего времени, познакомился, подружился и даже, в отличие от многих его знакомых, научился точно выговаривать его чрезвычайно сложное на русский слух отчество: Ираклий Луарсабович.

Я горжусь этим знакомством и этой дружбой, начавшейся в военное время, когда не было телевидения, которое сделало этого человека столь популярным в любом конце нашей страны. Еще в том давнем разговоре, когда наш общий друг Александр Фадеев упрекал меня в серости, он рассказывал нам, корреспондентам, что это не просто человек, что он — явление, выдающееся явление! Он ученейший литературовед. Он неутомимый и наиболее преуспевший исследователь творчества Лермонтова, знающий, по словам Фадеева, о знаменитом поэте даже больше, чем тот знал сам о себе. Он журналист и писатель. И, наконец, он непревзойденный рассказчик, умеющий держать в руках любую, самую разнообразную аудиторию, в том числе и очень квалифицированных литераторов.

— Словом, человек-оркестр,— подал тогда один из нас ироническую реплику.

Александр Фадеев, вообще-то умевший увлекаться людьми, сердито оттолкнул это шутливое сравнение.

— Да, если хотите, да. Человек-оркестр, но при том условии, если допустить, что человек этот одинаково хорошо играет на скрипке, свищет на флейте, артистически орудует ударными инструментами. Все мы заслушиваем-

ся его рассказами. Его любил, и очень любил, Алексей Максимович Горький. Любил и поражался. Да-да, именно поражался его необыкновенным талантом.

И все мы, военные корреспонденты Калининского фронта, поближе познакомившись с Андрониковым, согласились с мнением таких авторитетов после того, как однажды вечером выслушали устный рассказ Андроникова, как генерал Чанчибадзе обучает солдат пополнения.

Чанчибадзе все мы знали. Это был боевой командир одной из самых боевых дивизий, действующих в составе нашего фронта. Немолодой, очень представительной внешности генерал-грузин, воевавший еще в гражданскую войну и имевший за нее ордена. В современной войне он как бы естественно продолжал чапаевские традиции, но применял их умело, сообразуясь с современной техникой и тактикой боя, притом свято сохраняя суворовский завет: каждый солдат должен знать свой маневр.

Мне доводилось писать о дивизии Чанчибадзе, беседовать с этим колоритным генералом, наблюдать его на командном пункте. Вероятно, особенно поэтому меня и поразил его портрет, скупо и очень ярко воспроизведенный своеобразным талантом Ираклия Андроникова.

Потом я не раз слышал и другие устные рассказы этого мастера: и «В гостях у дяди», и «Первый раз на эстраде», и «Земляк Лермонтова», и «Ошибка Сальвини». Отличные, мастерски исполненные новеллы. Но рассказ о Чанчибадзе, услышанный еще на фронте, где Чанчибадзе в ту пору воевал, особенно врезался в память.

И есть у Ираклия новеллы об Александре Фадееве, которые он исполняет только в писательской среде. Они любили друг друга, Фадеев и Андроников, и в эти новеллы Ираклий не скупясь вкладывает всю свою нежность, все свое уважение к замечательному писателю. Новеллы с незамысловатым, казалось бы, сюжетом, показывающие Фадеева, каким знали его мы, близкие к нему люди. В сущности, в этих новеллах сюжета-то вовсе и нет — так, две сценки из общественной деятельности Фадеева: подготовка к какому-то очередному литературному вечеру и сценка на Секретариате Союза писателей, на котором рассматривается чье-то заявление о приеме. Но в этих согретых теплым юмором, сверкающих задорной иронией сценках такой памятный и такой дорогой нам образ воскрешается удивительно пластично — закроешь глаза, и перед тобой Фадеев, стоит, улыбается уголками губ, двумя руками приглаживает на голове платиновые

свои волосы. И хотя текст шутливый и даже иронический, из сценок вырисовывается большой, мудрый, остроумный человек.

Вообще дар схватывать в человеке главное, характерное и в то же время типичное у Андроникова поразительно развит. Слушаешь его новеллы — и перед тобой встает как живой, скажем, Максим Горький, которого я всего несколько раз видел, или Алексей Толстой, которого не видел вовсе, или артист Остужев, которого наблюдал лишь из зрительного зала. И встают не хрестоматийно, а со своими особенностями, достоинствами и милыми странностями.

Кино и телевидение сделали Андроникова таким же известным, как памятник Пушкину, стоящий на Пушкинской площади в Москве. Кто его не знает? С ним сложно ходить по улице, а тем более садиться в автобус: так и шуршит за спиной: «Андроников, Андроников, Ираклий Андроников»... И это не только в нашей стране.

Однажды мне, Ираклию и Алексею Суркову, совершавшим с женами путешествие по Британским островам, пришлось выступать в лондонском «Пушкин-клаб», в клубе имени Пушкина, организованном русскими эмигрантами «первой волны». «Первой волны» — это особенно подчеркивается, ибо представители старой белой эмиграции с презрением относятся к эмигрантам «второй волны», то есть так называемым перемещенным лицам, которых они считают предателями России, не говоря уже о «третьей волне»,— их к Пушкинскому клубу, учреждению весьма респектабельному, старомодному, и близко не подпускают.

Так вот, мы приняли это приглашение. Довольно большой зал оказался битком набитым. Дамы и господа, точно бы сбежавшие неразгримированными со съемочной площадки какого-нибудь исторического фильма, дамы с лорнетками, господа в высоких оскар-уайльдовских воротничках чинно занимали все ряды. А в проходах стояли их дети и внуки. Пахло нафталином, французскими духами и фиксатуарами, слишком уж усердно употребленными.

Выступление Алексея Суркова и мое аудитория торопливо проглотила, как проголодавшиеся люди хлопают стопку водки в ожидании обильного и вкусного обеда. А вот Ираклий Андроников был встречен бурными аплодисментами. Говорил он долго, почти час, говорил в общем-то известные вещи о советской литературе, о непо-

вторимых особенностях нашей советской культуры, о том, какой стала наша страна с тех пор, как все эти сидящие в зале почтенные леди и джентльмены гордо покинули ее, не согласившись с Октябрьской революцией. Но как его слушали! Смаковали каждую фразу, аплодировали на каждую паузу.

— Божественная русская речь! Какое удовольствие слушать вас! — говорила потом ему директриса клуба, какая-то княгиня или графиня.

— Я знал вашего батюшку, Луарсаба Николаевича. Мы вместе выступали с ним на очень шумных процессах в Санкт-Петербурге. То был настоящий Иоанн Златоуст. И вы весь в батюшку. Вы русский Савонарола...— говорил ему худой старик, у которого от волнения с длинного носа то и дело сваливалось пенсне и, свалившись, повисало на черном шнурочке.

А после в подвале этого странного клуба был ужин, устроенный в нашу честь, как пояснили нам, «в складчину», где на столе были «русские яства» — кислая капуста, микроскопическая баночка черной икры, предназначенная лишь для гостей, и нарезанный на прозрачные ломтики черный хлеб, добытый на каком-то советском корабле. Советскую литературу в этом клубе знали. Она оказалась в библиотеке широко представленной и, как это было видно, весьма и весьма зачитанной.

О литературоведческих книгах Андроникова, таких, как «Загадка Н. Ф. И.», «Портрет», «Тагильская находка», об этих увлекательных детективах без преступников и преступлений, можно было бы не говорить. Автор их отлично написал и не раз великолепно рассказывал телезрителям и радиослушателям. Это увлекательнейшие книги, в них автор остроумно идет по литературному следу, как бы совмещая в себе серьезного ученого, хитроумного детектива и чуткого поискового пса, который, взяв след, уже не потеряет его. Но уж если в книге «Силуэты» я добрался до моего старого друга Андроникова, хочется рассказать об одном таком его поиске, свидетелем и немножко участником которого мне привелось однажды стать.

Есть в Федеративной Республике Германии старый город Майнц-на-Рейне. Существует в городе университет — один из старейших в Европе. В университете этом давно уже профессорствует мой почтенный коллега по Европейскому Обществу Культуры, вице-президентом которого я являюсь, доктор филологии фон Ринтелен,

известный специалист по творчеству Гейне. Впрочем, люди старшего поколения помнят эту фамилию вне связи со славным немецким поэтом. Во время первой мировой войны родовитейший аристократ фон Ринтелен был одним из блестящих офицеров кайзеровской армии и прославился как храбрый и хитрый разведчик. К Гитлеру он был в оппозиции. Ефрейтор в роли вождя великой нации его не устраивал. В войне он не участвовал. Стал скромным университетским профессором. Свой родовой замок и парк он отдал городу, сам переехал в домик, где жил когда-то его управляющий. Вот в этот-то домик я и был приглашен вместе с одним моим советским другом на святочный вечер.

Профессор жил скромно. В углу гостиной, на столике, стояла маленькая елка, вся украшенная... старыми кайзеровскими, австрийскими, турецкими и всякими иными орденами и медалями. Тут, за столом, освещенным свечами, мы внезапно узнали, что для нас, русских, приготовлен своеобразный сюрприз. На этот святочный вечер в Майнц из города Висбадена, что лежит на противоположном берегу Рейна, прибудет его сын — врач по профессии, с женой, тоже врачом, и внуком Александром. Нам сказали, что нас, наверное, может удивить, что невестка почтенного профессора русская по происхождению и является потомком, с одной стороны, поэта Пушкина, а с другой — русского императора Александра II. Ее мать — женщина, с которой император состоял в морганатическом браке.

В генеалогическом древе невестки знаток Гейне как следует сам не разобрался и, кем она приходится поэту и кем императору, объяснить не смог. Однако сказал, что молодая пара привезет с собой пушкинский медальон, а возможно, и несколько пушкинских писем, написанных на французском языке.

Мы сидели остолбенев. Письма Пушкина! Неизвестные пушкинские документы! Медальон! Неизвестный потомок поэта! Вот это действительно был рождественский подарок.

Наконец прибыла молодая пара. Младенца, которого звали Александром, принесли в корзиночке-колыбельке. Женщина — потомок Пушкина — слова по-русски не знала. Красивой ее назвать было, пожалуй, нельзя, но всей своей статью, крупной и ладной фигурой, круглым лицом с большими серыми глазами она напоминала портреты резца старого скульптора Шубина. Да и маленький ее

сынок в своей корзиночке, поставленной возле награжденной орденами и медалями елки, был типично русский, курносый и довольно-таки шумный младенец.

Мы вертели в руках золотой медальон, на котором было выгравировано имя «Александр», выгравировано по-русски. Но так как я языков не знал, а спутник мой говорил только по-французски, удалось выяснить, что молодая висбаденская врачиха о степени своего родства с обоими Александрами знает мало, что генеалогией своей совершенно не интересуется. Сына же своего назвала Александром в честь поэта, ибо она по убеждениям своим не монархистка и до русских царей ей дела нет. Но нам сказали, что за Рейном, в Висбадене, доживают свой век две российские старушки, очень милые старушки, и что если мы найдем время перебраться на ту сторону Рейна, нас познакомят с ними и они все-все обстоятельно расскажут.

Времени переезжать Рейн у нас не было. На следующий день утром мы должны были улетать. Но адрес молодой медицинской четы, фамилии и телефоны русских старушек мы записали и распрощались, унося с собой для Андроникова еще один нераспутанный детективный сюжет. Вернувшись в Москву, я немедленно поведал ему новую загадку. На этот раз загадку двух «А». Он внимательно слушал, потом сказал весело:

— Опять розыгрыш?.. Не остроумно... Начинаешь повторяться. На такую наживку никакая рыба не клюнет...

Дело в том, что когда-то я действительно участвовал в одном таком розыгрыше, продолжавшемся несколько недель. И потребовалось показать рисунок медальона, сделанный мной в записной книжке, привести в свидетели моего спутника, видного юриста, дать визитную карточку фон Ринтелена, прежде чем в нем проснулся Мегре и выразительные глаза неутомимого литературного детектива загорелись настоящим исследовательским огнем.

И уж так тесен мир, такова судьба. Отправляясь в составе делегации, возглавляемой академиком Блохиным, в Соединенные Штаты Америки, мы попали в один лайнер с Ираклием Андрониковым, который летел именно в Майнц и именно в Висбаден, по следам неведомых пушкинских писем и таинственного золотого медальона с выгравированным на нем именем «Александр» и, возможно, и других пушкинских реликвий, хранящихся у молодой врачихи. Он летел во всеоружии, глубоко изучив

литературный материал. Ему уже не казалось несуразной возможность быть одновременно потомком поэта и императора. Как говорят излюбленные герои телевизионных фильмов, он уже «взял след» и шел по нему. Он был в состоянии творческого нетерпения.

Но это не мешало ему быть обаятельнейшим собеседником. Всю дорогу он рассказывал нам что-то интересное, остроумное, веселое. Благодаря его изумительному искусству то один, то другой, то третий писатель из живых или ушедших являлись к нам. Мы слышали их голоса, мы как бы видели их перед собой. Вся наша делегация сгрудилась вокруг рассказчика, и второй пилот, вышедший из кабины, чтобы призвать пас рассредоточиться, не нарушать центра полета, остался и слушал вместе с нами.

Путь до Амстердама, где наши дороги с Андрониковым расходились, на этот раз показался нам необыкновенно коротким. Лишь когда самолет пошел на посадку, все мы вспомнили о своих делах. Ираклий — о том, что он идет по следу интереснейших пушкинских реликвий, мы — о предстоящих нам в Америке сложных дискуссиях с интеллигентами США самого высокого уровня.

Когда-то Корней Иванович Чуковский, очень любивший Андроникова, написал о нем: «В справочнике Союза писателей сказано, что Андроников Ираклий Луарсабович прозаик, литературовед,— и только. Если бы я составлял этот справочник, я раньше всего написал бы без всяких покушений на эксцентрику: Андроников Ираклий Луарсабович колдун, чародей, чудотворец, кудесник. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который бы был хоть отдаленно похож на него».

Ну, а академик Николай Николаевич Блохин, подводя итоги нашей беседы в воздухе,— сказал еще лаконичнее:

— Единственный, неповторимый.

МЕНЕСТРЕЛЬ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

— Николас Гильен — не просто кубинский делегат и не просто поэт по профессии. Гильен — это явление,— так сказал Илья Эренбург.

Разговор происходил давно. На бурном конгрессе сторонников мира в Варшаве формировались руководящие органы движения, в те дни лишь набиравшего свои силы.

Обсуждались кандидатуры бюро Всемирного Совета Мира. Организаторы конгресса давали характеристики выдвигаемым ими кандидатам.

Признаюсь, я тогда не понял эту парадоксально звучащую фразу: «Человек — явление». Это действительно трудно было понять, но потом, познакомившись с Гильеном, понаблюдав его в шумной, кипучей, экспансивной массе латиноамериканских делегатов, узнав поближе этого невысокого смуглого мулата и как поэта, и как человека, мы убедились, сколь точна была эта странно звучащая характеристика.

Николас Гильен воплотил в себе характерные черты своего талантливого и своеобразного народа. Его природную даровитость, его живость, шумную, яркую энергию, его импульсивность. Народа, умеющего страстно бороться за свою честь и свободу и с империализмом, и с внутренней реакцией, умеющего верно дружить, страстно ненавидеть, народа поэтического по натуре.

Многие из делегатов Латинской Америки до той варшавской встречи никогда не видели Гильена и даже не слышали его имя. Но все знали его стихи, его очаровательные соны — эти ритмические песни-танцы, и часто в часы перерыва утомительных заседаний, затягивавшихся далеко за полночь, Гильен начинал выстукивать по столу танцевальные ритмы, и все принимались петь. Петь Гильена.

Его друзья познакомили нас с биографией, интересной биографией, начавшейся с трагического происшествия в его семье. Он был внуком крестьянина и сыном известного кубинского публициста, обладавшего свободолюбивой душой и острым пером. Отца убили контрреволюционеры, когда Гильен был зеленым юношей. И в этот роковой час семьи юный Гильен ступил на революционный путь.

Нам говорили, что его творчество как бы вобрало в себя все радости и печали кубинского народа, гордость его свободолюбия, ненависть к любым врагам и угнетателям. Гильен обладает редким поэтическим даром и всю силу этого щедрого дара отдает своему народу, служить которому он поклялся у гроба отца. Главный и единственный герой его поэзии — трудовой народ Кубы. Пишет ли Гильен соны или элегии, обращается ли к сложному жанру сонета или поэмы — все это о народе и для народа.

— Он мог бы быть модным, богатым, преуспевающим, но для этого должен был перестать быть самим собой,—

рассказывал нам о нем на том же конгрессе другой кубинский делегат, Хуан Маринельо. Вместе с Гильеном участвовали они когда-то в борьбе испанских республиканцев. По очереди писали жгучие корреспонденции, рассказывая латиноамериканским собратьям, живущим на другом конце земного шара, о героических страницах трагической битвы свободолюбивых людей с объединенными силами фашизма, происходившей в те дни на испанской земле.

В краях, где странствовал когда-то Рыцарь Печального Образа Дон Кихот Ламанчский, в те дни когда в смертельной борьбе схватились мир вчерашний и мир завтрашний, Гильен написал одно из лучших своих произведений. Оно называлось «Испания». Подзаголовок раскрывал его смысл: «Поэма о четырех печалях и одной надежде».

Да, действительно, Гильен перестал бы быть Гильеном, если бы отвернулся от боли, печали, надежд и радостей своего народа. И не случайно большинство стихотворений, выходящих из-под его пера, сразу же, как-то само собой, превращаются в песни, и песни эти первоначально звучат на сахарных плантациях, в портах, на рыбачьих шхунах, в барах и трактирчиках, а потом с зеленого острова переносятся на континент и там, расставшись со своим автором, гуляют по всей Латинской Америке.

Земной шар сейчас, в век космоса, стал удивительно тесен. Люди доброй воли часто встречаются между собой на форумах мира на всех пяти континентах земли. В годы, которые были для Гильена годами вынужденной эмиграции, я встречал Николаса неизменно веселого, деятельного, полного энергии, неутомимо работающего, любящего за стаканом вина с полнейшей откровенностью рассказать другу о своих мечтах и замыслах.

Это был самый энергичный и жизнерадостный изгнанник из всех, каких я знал. Не забуду случайной встречи в Париже, на аэродроме Орли. Мы с женой и сопровождавшей нас переводчицей, женщиной строгой и чинной, уже прошли барьер полицейского контроля и направлялись в зал посадки, как вдруг сзади послышался крик:

— Борис, Джулия!

Оглядываемся — за барьером Гильен, веселый, улыбающийся, в яркой рубашке и каком-то невероятного размера сомбреро. Машет рукой и что-то кричит. Наша переводчица бледнеет и, подхватив нас под руки, начинает тащить в глубь зала.

— Да это же Гильеп.

— Вижу, конечно, но знаете, что он вам кричит? Он говорит, что он здесь по чужому паспорту,— поясняет переводчица побледневшими губами.— Под чужим именем.— И тащит нас дальше в толпу ожидающих посадки на московский самолет. В самом деле, сообщение о нелегальном положении не самое лучшее, о чем можно поговорить через голову французских полицейских. Мы знаем, что «Сюрте женераль» организация в общем-то серьезная.

Однако через несколько минут среди отлетающих появляется Гильен. Он по-прежнему оживлен, весел, размахивает своим сомбреро и что-то говорит, говорит. Переводчица шепотом поясняет нам, что он выражает сожаление, что не может лететь с нами в Москву, что он пришел сюда проводить своего друга, который тоже здесь на нелегальном положении, что по Москве он очень соскучился и что мы обязательно с ним вскоре там встретимся. А затем следует целая куча приветов Фадееву, Тихонову, Твардовскому, Корнейчуку.

Передав приветы, он снова по-рыцарски взмахивает сомбреро.

— Чао, амигос! До встречи в Гаване!

«До встречи в Гаване» — в те дни это было у него как бы обязательной формулой прощания. Где бы мы с ним ни расставались — в Москве, Кантоне или Бухаресте,— мы слышали от него это: «До встречи в Гаване, друг».

В те дни его Куба была бесконечно далека и от него, и от нас. Нам же она казалась просто призрачным островом. Я представлял ее лишь по смутным воспоминаниям из школьных учебников географии да по четверостишью Маяковского:

Если Гавану
окинуть мигом —
Рай страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоит фламинго,
Цветет коларио
по всей Ведадо.

И поэма Маяковского «Блек энд уайт», и газетная хроника о свирепствах диктатуры на Кубе заставляли нас в ответ на щедрые приглашения Гильена напоминать ему о действительности:

— А Батиста?

Переиначивая известное выражение Виктора Гюго, Гильен, сверкая своими черными глазами, неизменно отвечал:

— Батисты рождаются и умирают, а народ живет, народ вечен.— И от себя добавлял: — А диктаторам иногда дают коленкой под зад.

И он оказался прав, Николас Гильен, которого его чилийский друг Пабло Неруда назвал в своей статье менестрелем Латинской Америки. В конце концов мы смогли принять его приглашение...

Встретились с ним в Гаване в первые месяцы победы кубинской революции. Диктатору Батисте действительно дали коленкой под зад. Народное правительство Фиделя Кастро деятельно начинало строительство новой жизни.

Гильен оказался таким же неугомонным, жизнерадостным, каким мы его привыкли видеть. Он с головой, больше чем когда-либо, был погружен в поэзию и в то же время сверх всякой меры обременен общественно-организационными делами.

— Нужно произвести целое исследование, чтобы перечислить все его должности,— шутил Хуан Маринельо, его соавтор по корреспонденциям из сражающейся Испании, а в те дни уже ректор Гаванского университета.

В шутке была правда. Гильен писал стихи и прозу, в большой газете «Ежедневные новости» он из номера в номер помещал короткие публицистические статьи и в статьях этих как бы вел многодневную задушевную беседу с читателями. Он был председателем Союза писателей и художников. Руководил движением сторонников мира на острове. Был членом Всемирного Совета Мира. Он...

Нет, Маринельо был прав: просто невозможно перечислить все посты, которые он занимает. Подозреваю, что и ему самому сделать это не под силу.

— Как живешь, Николас?

— Хорошо живу. Всюду и всегда опаздываю,— жизнерадостно заявил он, действительно изрядно опоздав на писательскую встречу, которую он сам же организовал и на которой он должен был председательствовать.

Вечером, точнее — ночью, он пригласил нас в «самый роскошный ресторан Гаваны». В этом городе, действительно изобилующем роскошными отелями, экзотическими ресторанами, этот «самый роскошный» оказался просто... большой подворотней в одном из старых каменных домов

на шумной улице. В подворотне были тесно расставлены столики, а кирпичные обшарпанные стены были сплошь оклеены фотографиями знаменитых людей Кубы и иных стран с дружескими надписями, адресованными этой весьма странной точке общественного питания.

Все столики были заняты. Но для Гильена откуда-то из кухни приволокли еще один колченогий, который тут же, однако, покрыли белоснежной накрахмаленной скатертью.

При появлении Гильена по всему этому своеобразному «залу» будто ветер по лесу прошелестел. Я не знаю языка, но без труда угадал: «Кто?.. Который?.. Где?..» И тотчас же у колченогого стола выстроилась очередь любителей автографов. Потом будто из-под земли возникли два пожилых африканца с гитарами и какими-то очень звучными погремушками и под аккомпанемент этих инструментов хриплоголосый дуэт запел соны Гильена. За столиками поддержали. Поддержали дружно. Мотив и тексты были, по-видимому, всем известны, и получился очень стройный, своеобразный хор.

Так ночь и потекла. Гильен добродушно рассыпал автографы на карточках меню, на каких-то клочках бумаги, на полях газет. Я потихоньку потягивал новый для меня напиток с шикарным названием «Куба либре», то есть «Свободная Куба».

Где-то уже глубокой ночью в зал вошла очень красивая женщина в белом свитере и длинной, широкой темной юбке, подчеркивающей стройность ее форм. Я сразу узнал здешнюю эстрадную певицу, называвшую себя русским именем Любка. У нее, разумеется, было какое-то свое, кубинское имя, но после того, как она прочитала «Молодую гвардию» Фадеева, она взяла себе артистический псевдоним Любка в честь героини романа Любы Шевцовой.

За день до этого произошел такой случай. С Хуаном Маринельо мы пошли в ночное кабаре, где выступление этой артистки было, как говорили, гвоздем программы. Выступала она в костюме праматери Евы, дополненном лишь очень скромными, но совершенно уже необходимыми деталями. Она исполняла вихревой негритянский танец, исполняла так здорово, что, несмотря на ее оригинальный костюм, точнее — на отсутствие костюма, ее встречали как-то по-дружески тепло. Публика шумела, стучала по столам, долго не отпускала ее со сцены, и она плясала снова и снова, плясала, щедро улыбаясь, сама

увлеченная своим танцем не меньше, чем зрители. А на следующий день я пошел в народный банк обменять чек на валюту, и в дверях мне решительно преградил путь стройный мальчик с автоматом и большим пистолетом в деревянной кобуре. Он был в форме милисианос[1]. Красивое лицо этого мальчика показалось почему-то очень знакомым, и вдруг я узнал в нем... вчерашнюю танцовщицу, именующую себя Любкой.

— Да, это так. Она милисианос. У нас много гусанос[2], трудящиеся Кубы охраняют свое добро. Вечером вы опять сможете увидеть ее на эстраде,— пояснили мне в банке.

Так вот, этот очаровательный милисианос пришел прямо к столику Гильена и, наклонившись, оставил на его лбу жирное карминное пятно.

— Я хочу танцевать для вас, маэстро.

Раздвинули столики, старые африканцы завели какую-то лихую мелодию, и начался тот же бешеный танец, причем развевающаяся юбка то и дело хлестала нас по носам.

Потом танцовщица присела за столик Гильена и отказалась выпить даже «Куба либре»: некогда, ей нужно еще переодеться в форму, взять оружие, она должна выходить на пост. Гильен был растроган, по-отечески похлопал ее по спине.

— Спасибо, ты доставила мне и моему советскому другу большое удовольствие.

— Не благодарите, для меня большая честь танцевать для Николаса Гильена.

Из ресторана Гильен выходил в сопровождении толпы друзей, под аккомпанемент следовавшего за нами «оркестра». Он был растроган и горд. Распростившись с провожатыми, он, явно гордясь любовью своего народа, сказал:

— Это, брат, не какая-то там Нобелевская премия.

После того вечера мы не раз встречались с Гильеном и в Гаване, и в Москве, и в других городах мира, вели дружеские разговоры, жестоко спорили, но всегда расставались по-хорошему. Кубинский народ отметил его семидесятилетие. Солидная дата, что там ни говори. Но в памяти моей он навсегда останется таким, каким он выходил тогда из ресторана-подворотни: веселый, задор-

[1] Милисианос — добровольный милиционер.

[2] Гусанос — буквально гусеницы. Так на Кубе зовут контрреволюционеров.

ный, искренне гордящийся столь ярко выраженной народной любовью, своей всенародной славой. И молодым. Да, и молодым.

В день его юбилея я дал в Гавану телеграмму: «Привет, Николас, мы не верим в твое семидесятилетие».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Отмечалось семидесятилетие Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. Отмечалось на дружеском вечере в его квартире, за общим столом, без президиума и официальных ораторов. Такого созвездия полководческих имен, собранных вместе в неофициальной обстановке, мне не приходилось видеть ни до, ни после этого. Товарищи по гражданской войне. Соседи по фронтам. Полководцы славных армий, сражавшиеся под командованием юбиляра. Носители громких, теперь почти легендарных имен. Запросто, с женами, сошлись на этот простой ужин, чтобы поздравить своего боевого товарища. И тосты были обычны. Говорилось о славных страницах боевой жизни юбиляра, о совместно одержанных победах в войнах гражданской и Отечественной. Оживали и как бы перелистывались страницы славной военной истории Советской страны.

Честное слово, на этом вечере я чувствовал себя вроде той босоногой деревенской девчонки с картины Кившенко, которая, забравшись на печь, пялила свои наивные глаза на собрание важных генералов, созванных Кутузовым на военный совет в Филях. Было на что посмотреть. Было кого послушать.

Когда ужин шел уже к закату и, поустав, гости переходили к кофе, вдруг зазвучал голос Юрия Левитана.

— От Советского Информбюро. Ликвидация немецко-фашистских войск, окруженных в районе Корсунь-Шевченковской...— читал диктор заглавие. И, сделав паузу, продолжал: — Войска Второго Украинского и Первого Украинского фронтов в результате наступления из района севернее Кировограда в западном направлении и из района юго-восточнее Белая Церковь в восточном направлении прорвали в начале февраля сильно укрепленную оборону немцев и смелым искусным маневром окружили крупную группировку немецко-фашистских войск севернее линии Звенигородка — Шпола,— продолжал звучать

глубокий и такой всем знакомый баритон.— В результате этой операции наши войска зажали в кольцо одиннадцатый немецкий армейский корпус генерал-лейтенанта Штеммермана и сорок второй армейский корпус генерала пехоты Маттенклота.

Дальше шло весьма прозаическое перечисление дивизий, корпусов, бригад, окруженных и зажатых в непробиваемом кольце. Перечислялись фамилии их командиров. Но гости слушали весь этот прозаический давний текст как некую поэму в мастерском исполнении автора. Слушали, и на их лицах, знакомых по портретам, по фотографиям, по кинохронике, на лицах, которые сохраняли спокойствие и в мгновения самых тяжелых боев, было написано нескрываемое волнение.

— ...Личный состав окруженных войск противника достигал 70—80 тысяч солдат и офицеров,— продолжал знакомый голос в самой торжественной своей интонации.— ...Операцией по ликвидации окруженных немецких войск руководил генерал армии товарищ Конев.

Голос смолк. В комнате, недавно еще такой шумной, воцарилась тишина, взволнованная, торжественная тишина.

Немало приходилось мне наблюдать суровое, мужественное лицо юбиляра. Даже при бомбежках и обстрелах оно всегда оставалось каменно спокойным, а голубые глаза в любой, самой сложной, боевой ситуации сохраняли обычный свой холодок. А тут, когда звучал столь всем знакомый баритон, мускулы на этом лице дрогнули, расслабились, скулы обозначились резче, на глазах появились слезы, которые юбиляр, нарочито закашлявшись, пытался стереть салфеткой.

Из соседней комнаты доносилось шуршание и потрескивание крутящихся уже вхолостую бобин магнитофона. Но эта как бы ожившая страница войны, вдруг ворвавшаяся в сегодняшний мирный день, произвела на полководцев, на все застолье непреходящее впечатление. Сурово сдвинулись брови на волевом лице маршала Г. К. Жукова. К. К. Рокоссовский поднял глаза к потолку и, откинувшись на спинку стула, как бы вспоминал что-то давнее, свое,— может быть, такое же вот сообщение, ему адресованное и прочтенное знаменитым диктором. Славнейший танковый командарм, маршал П. А. Ротмистров, покусывая ус, с преувеличенным старанием протирал свои очки.

Да, таково уж обаяние этого глубокого, мужественного баритона, что все люди военного поколения, солдаты и

маршалы, мужчины и женщины, до сих пор не могут слышать без волнения, когда этот баритон воспроизводится в каком-нибудь хроникальном фильме или историческом репортаже.

— ...От Советского Информбюро...

С каким волнением ждали мы все по утрам, что же сообщит Советское Информбюро, все четыре года войны. Для меня же эти сводки и Указы Верховного Главнокомандующего, которые почти неизменно читал Юрий Левитан, обычно связываются в воспоминаниях с пребыванием в госпитале в маленьком городке Ленинске, куда поступали раненые из сражающегося Сталинграда. Я лежал там с противной, но в общем-то безобидной контузией, а рядом, в огромной палате, размещенной в физкультурном зале школы, лежали люди с тяжелыми ранениями. И, помню, очень хорошо помню, как все, в том числе и те, у кого смерть уже стояла в ногах, просыпались чуть свет, когда на стене оживала черная тарелка старого, дребезжащего репродуктора.

— От Советского Информбюро,— отчетливо произнося каждую букву в этих словах, читал Левитан, и как-то невольно, подсознательно его звучный голос ассоциировался с голосом Советского правительства,— словом, «звучал как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных».

Именно в госпитале, наблюдая своих сопалатников, я постигал силу дикторских голосов. Не только, конечно, Левитана, а и других его коллег, читавших последние известия. В Ольгу Высоцкую, например, два моих молодых сопалатника — матрос из Волжской флотилии с изуродованным лицом и белявенький лейтенантик, которому отняли до плеча правую руку, были просто влюблены, и когда место у микрофона переходило к ней, у обоих, обезображенных войной в самые юные годы, загорались глаза, будто неведомая им женщина приходила к ним на свидание. Они даже ревновали ее друг к другу. И каждый по-своему рисовал себе эту глашатайницу новостей.

Но к Юрию Левитану отношение было особое. Когда он в дни войны в ранний час отчеканивал: «От Советского Информбюро», невольно по самому тону этой фразы мы старались угадать: о чем нам сейчас сообщит правительство, будет ли это «после долгих и тяжелых боев наши войска оставили...» или «развивая наступление и преследуя противника по пятам...». И хотя по положению

своему этот главный диктор Отечественной войны не имел права передавать голосом свои настроения и переживания, должен быть непоколебим и хладнокровен, все же человек оставался человеком, и какие-то незаметные нотки личных чувств как бы предопределяли, хорошие будут вести или плохие, победа или поражение.

А между собой попросту говорили:

— Ну, что-то сегодня нам Левитан скажет?

Помнится, тогда, в госпитале, два несчастных, искалеченных парня, заочно влюбившиеся в Ольгу Высоцкую, представляли ее себе непременно красавицей, но каждый по-своему, в соответствии со своими понятиями о красоте. И они в общем-то не ошибались. Ольга Сергеевна, с которой после войны я познакомился у микрофона последних известий, действительно оказалась крупной красивой блондинкой, хотя и не такой, какой представляли ее себе заочные обожатели.

А вот Юрий Левитан оказался именно таким, каким я его себе рисовал. И когда в день Парада Победы я оказался среди журналистов и писателей, которым предстояла честь вести репортаж с Красной площади, я сразу узнал его в пестрой компании профессиональных и добровольных дикторов: невысокий, тогда худощавый и очень подтянутый, с интеллигентным собранным лицом, с темными выразительными глазами. Он очень отличался от всех нас своей серьезностью, своим, я бы сказал, уважительным отношением к микрофону, от нас, «громкоговорителей»-дилетантов. Скупо реагировал на остроты, неодобрительно косился на наш трёп и даже совершенно не интересовался шутками и эпиграммами, которыми в ожидании своей очереди у микрофона обычно обменивались такие постоянные участники праздничных передач, как поэты Сурков, Долматовский, Симонов.

И это было отнюдь не от сухости его натуры. Нет, потом, когда, заключая парад, гремя и сотрясая площадь своими звуками, проходил сводный оркестр и микрофон выключался, он и сам был не прочь посмеяться, пошутить. Но вблизи микрофона он вел себя как жрец в алтаре и любое проявление несерьезности считал кощунственным и непристойным.

— Нас слышат сотни миллионов,— сколько раз говорил он нам, сурово пресекая любое проявление несерьезности. И фраза эта, которая в устах любого другого звучала бы как чиновничья банальность, в его речи была уместной и производила впечатление.

Тут, рассказывая о Левитане, я не могу не вспомнить одного конфуза, происшедшего у микрофона и чуть было не опозорившего всю нашу компанию добровольных «громкоговорителей». По причинам, которые читатель легко поймет, не сообщу ни дату, ни имени главного виновника.

Это было за минуту до начала праздничного парада. В ту самую минуту, когда на огромной площади наступает какая-то особая торжественная тишина и войска, выстроившиеся для парада, и люди на трибунах замирают в ожидании того, что вот-вот должно сейчас произойти.

Об этой минуте, о начале парада, по плану передачи, должен был рассказывать поэт, слывший великим мастером импровизации. И он с искренним пафосом начал:

— ...Куранты на старой кремлевской башне уронили девять звучных ударов. Открываются ворота. В воротах на белом коне показался маршал... вы слышите стук его копыт...

Поэт оглушенно смолк, сразу же поняв, какую чушь он отмочил. Мы все окаменели. Кто-то отскочил подальше от микрофона, не в силах сдержать смех. Мгновение это могло дорого стоить всей нашей растерявшейся компании... если бы не Юрий Левитан. Молниеносным движением он схватил микрофон и, будто продолжая неоконченную фразу, голосом поэта продолжил:

— Удары копыт маршальского коня эхом разносятся по просторам площади.

И дальше продолжал рассказывать о том, что видел, и рассказывал, пока мы не пришли в себя, не собрались. А когда передача вновь вошла в привычную колею, он снял свои очки с черными дужками и глянул на нас так, как посмотрел бы жрец на безумцев, совершивших святотатственное оскорбление его божества.

Так в одно мгновение была спасена праздничная передача...

Вот уже десятилетия прошли с тех пор, как отгремели последние выстрелы второй мировой войны, но до сих пор я, да и, наверное, большинство людей моего поколения, слыша этот знакомый, неповторимый, глубокого тембра баритон, всегда невольно волнуются, даже если этим неповторимым баритоном диктор читает самые безобидные повседневные сообщения. И в памяти сразу же возникает знакомая фраза:

— От Советского Информбюро...

В СТРОЮ НАВЕЧНО

Бывают писатели, о которых трудно говорить в прошедшем времени. Он был. Он писал. Он говорил. Он боролся. Это как-то не для них, сколько бы лет ни прошло со дня их кончины. Они, такие писатели, жили столь кипуче и интенсивно, столько сделали для людей, для культуры, так ярко горели идеей, что навеки утвердились в памяти людей как активные члены общества, живые среди живых.

Таков украинский писатель Ярослав Галан. Он не так много написал, но его острые книги, согретые любовью к людям, просто-таки пылающие ненавистью к врагам советского народа и социализма, эти его книги-бойцы звучат сегодня так же свежо, страстно, злободневно, как звучали при его жизни, четверть века назад. И сам он, неутомимый, неистовый разоблачитель буржуазного национализма и клерикального мракобесия, принявший смерть за письменным столом, за работой над очередным острым памфлетом, и сегодня борец среди борцов.

Мы познакомились с ним в немецком городе Нюрнберге в дни исторического процесса над главными военными преступниками второй мировой войны. Я был там корреспондентом «Правды», он представлял газеты Львова. Поначалу этот невысокий, коренастый, немногословный человек с большой, львиной головой мог показаться нелюдимым, флегматичным. Но стоило ему разговориться, обманчивый облик сразу менялся. Светлые глаза загорались, рука резким движением отбрасывала назад пряди русых волос, всегда свисавших ему на высокий, крутой лоб, голос, не теряя своей мягкой украинской интонации, обретал очень энергичное звучание, и собеседник сразу же поражался глубиной суждений, его эрудицией, резкой бескомпромиссностью и в то же время почти застенчивой деликатностью.

Разумеется, мы уже все знали его биографию, несколько необычную для советского журналиста биографию. Западноукраинский коммунист, он, как говорится, с «младых ногтей» с головой окунулся в революцию. Жизнь под особым надзором дефензивы, как именовалась в Польше политическая полиция. Аресты. Тюрьмы. Нелегальное существование. И напряженная революционная работа.

И как бы между делом, в редкие тихие дни бурной его жизни, выходили из-под его пера памфлеты, рассказы, пьесы, исполненные любовью к своему народу и об-

жигающей ненавистью к буржуазному украинскому национализму и служителям Ватикана. Украинские националисты ненавидели и боялись его не меньше, чем чиновники дефензивы. Боялись его острого слова. И было чего бояться. Памфлеты молодого Галана били точно в цель и находили отзвук в сердцах трудящихся.

Зато рассказы и очерки, которые он писал после воссоединения Западной Украины с Советской Родиной, были согреты радостью, в них зазвучал пафос утверждения. И вот война. Галан снова борец. Он боевой военный журналист. Из-под его пера летят воззвания, листовки. Он диктор на тех героических подвижных радиостанциях, которые с передовой, под огнем врага, адресуют правдивое слово уму и сердцу немецких солдат. Он обращается к разуму тех предателей, которые снюхались с оккупантами, пошли в эсэсовские специальные батальоны, в охранные войска, всем этим бандеровцам, мельниковцам, ставшим послушным орудием Гитлера...

И вот мы познакомились с Галаном в ложе прессы на Нюрнбергском процессе. Здесь он тоже не созерцатель. Не летописец. Он борец. А как журналист он добрый товарищ.

У него перед нами огромное преимущество. За малым исключением все мы не знаем иностранных языков. Он, учившийся в Венском и Краковском университетах, прекрасно говорит по-украински, по-русски, по-польски, по-немецки. Он знает французский и понимает английский. В работе ему не приходится с помощью переводчика преодолевать языковый барьер, поэтому он видит зорче и острее нас. Но этим своим преимуществом он не пользуется эгоистически, а щедро делится с нами своими знаниями, своими мыслями, преподнося эти знания и мысли в самой деликатнейшей форме:

— Вы заметили, конечно, как Розенберг сказал то-то и то-то. У этой фразы двойное дно. Ее можно понять так и этак. Но, как мне кажется, ее следует понимать так.

Мы, конечно, этого двойного дна не заметили и восприняли фразу, о которой шла речь, в буквальном переводе. Но разъяснение преподнесено Галаном в такой форме, что мы принимаем его с благодарностью.

— Редчайший экземпляр деликатнейшего человека,— говорит о нем другой украинский писатель — Юрий Яновский, автор знаменитых «Всадников», тоже наш сосед по скамье в ложе прессы, где он представляет газеты Киева.

Все мы очень загружены. Пишем и передаем свои

сочинения почти каждый день. А вот интересы Галана не ограничиваются стенами Юстиц-палаца, где происходит международное судилище.

— Здесь нацизм лежит перед нами поверженный и распластанный, здесь его спокойно анатомируют,— говорил Галан мне однажды.— Но когда вырезают раковую опухоль, в организме остаются метастазы, и это очень опасно. Вы, Борис, разумеется, не хуже меня понимаете, что из этих метастазов может вырасти новая опухоль.

Вот это-то все время и занимает его беспокойный ум, ум революционера. И не только метастазы нацизма, но буржуазного национализма всех мастей. Он с тревогой следит, как здесь, в Баварии, и в частности под крылышком первой американской дивизии, оккупирующей Нюрнберг и его окрестности, сплачиваются, сбиваются в группы, активизируются все эти бандеровцы, мельниковцы, жовтоблакитники, буржуазно-националистические охвостья из Белоруссии и прибалтийских республик. Большинство из них служило Гитлеру в войсках СС. После войны их интернировали, а сейчас по лагерям интернированных разъезжают всяческие заокеанские пропагандисты и вербовщики. Сулят деньги. Суют иностранные паспорта, агитируют «предпочесть свободу» в западном мире и не возвращаться на родину с повинной, грозя за это карой и на земле, и на небе.

Знаем мы это. Но много дел на процессе, и мы как-то не находим времени всерьез проанализировать это явление: не наше это, в сущности, дело. А вот дальновидный Галан серьезно обеспокоен. Давний его враг — буржуазный национализм — организуется, набирает силы, на этот раз под крылом американского военного орла.

Галан не просто обеспокоен. Он начинает борьбу с этим врагом. Европейски образованный, безукоризненно знающий языки, он смело проникает на сборища националистов, посещает мессы в костелах и кирках, где звучат антисоветские, антикоммунистические проповеди и призывы, и отсюда, из Нюрнберга, посылает в свои газеты гневные, разоблачающие статьи. Мы начинаем серьезно беспокоиться за его жизнь, в особенности после того, как в районе карандашной фабрики Иоганна Фабера, во дворце которого размещен лагерь прессы, в вонючей речке нашли два трупа — немецкого коммуниста, профорганизатора с фабрики, и украинской девушки из числа перемещенных лиц.

— Удержите его,— просит меня Юрий Яновский, обе-

спокоенный за судьбу своего товарища.— Говорил я с ним, не раз говорил. Отвечает: «Это не мое, это наше общее дело». Ну, хоть бы псевдонимом подписывал эти свои статьи, а то прямо «Ярослав Галан». И даже датирует: Нюрнберг. Будьте ласковы, поговорите.

И вот я затеял этот нелегкий разговор, напомнил Галану, какой страшной смертью погиб недавно закарпатский епископ Феофан, с которым я в дни войны познакомился в мукачевском монастыре. Это был любопытный, мыслящий человек. Сразу же после присоединения Закарпатья к Советскому Союзу он совершил поездку по нашей стране и начал печатать в газетах серию очерков «Путешествие в страну чудес», своеобразных, любопытных очерков, в которых он радовался тому, что наконец-то весь украинский народ живет под единой крышей общего дома.

— Если бы Иисус Христос жил в наши дни, он обязательно был бы коммунистом,— говорил нам между прочим этот странный пастырь, пользовавшийся в закарпатских селах большим уважением.

— Вы знаете, Ярослав, как он погиб?..

— Знаю, Борис, конечно, знаю.

А погиб Феофан так. Однажды в своей почте он обнаружил открытку, на которой был изображен трезубец. Разумеется, епископ не мог не знать, что в такой форме бандеровские бандиты делают предупреждение тем, кто активно укрепляет советскую власть. Знал, но не обратил внимания. Продолжал публиковать свои очерки. И вот однажды ночью в его покои проникла бандеровская банда. Его умертвили мучительным образом: наложили на голову обруч из провода и медленно скручивали, пока череп не лопнул.

— Судьба Феофана вас не пугает, Ярослав?

— Нет, не пугает,— тихо, без всякого пафоса, ответил Галан.— Если бы революционеры были пугливы, кто бы стал делать революцию? У меня с этим националистским отребьем личные счеты.

— Давно?

— С детства.— На широком лице Галана появилась такая редкая на нем улыбка.— С детства,— повторил он.— Однажды священник на уроке закона божьего спросил меня, почему папу зовут Пием. «Наверное, потому, что он любит выпить, пан отец»,— ответил я совершенно искренне. Поп приказал мне положить руки на парту и стал бить по пальцам линейкой. Тогда, вероятно, и возникли у меня первые антиклерикальные настроения, а

что касается фашистского отребья, всех этих националистов, они меня не раз выдавали дефензиве, можно сказать, они и были украинским филиалом дефензивы.

— И все-таки будьте осторожны.

— Не обещаю. Считаю долгом срывать романтические одежды со всего этого гитлеровского отребья. Я буду заниматься этим всю жизнь, пока рука может держать перо,— тихо, и опять же без пафоса, но очень твердо закончил разговор Галан.

И он выполнил это свое слово. Действительно, он боролся с националистскими бандитами и ватиканским мракобесием до момента, пока рука держала перо. В прямом, в буквальном смысле этого слова.

Одна за другой выходили из-под его пера книги, памфлеты, рассказы, пьесы, в которых он точно метал копья своего гнева и в националистов и в клерикалов. В памфлетах «Их люди», «Ватикан без маски», «С крестом и ножом», в книге «Любовь на рассвете», в трагедии «Под золотым орлом», в очерках «На службе у сатаны», «Отец тьмы» Галан разоблачал буржуазных украинских националистов, вскрывал их тайные и явные мерзости, бил по клерикалам, ханжам, двурушникам — по всем, кто пытался в западных областях Украины помешать наступлению социализма.

Ему не посылали трезубец. Предупреждение ему было послано в виде официального ватиканского проклятья. 13 июля 1949 года папа Пий XII отлучил его от церкви. Галан пренебрег и этой угрозой.

Он продолжал борьбу. Вскоре после этого отлучения убийца проник в кабинет писателя. В этот момент Галан как раз сочинял статью. Никто, конечно, не видел, как это произошло, но по следственным материалам можно восстановить картину. Увлеченный Галан не слышал, как раскрылась дверь кабинета. Убийца зашел сзади и ударом валашки — топорика-посоха, с каким ходят закарпатские горные пастухи,— рассек ему череп.

Его большая, великолепная, львиная голова поникла на рукопись. Сквозь пятна крови можно было разобрать последние, написанные им слова: «...Исход битвы в западных украинских областях решен, но битва еще продолжается...»

Да, битва продолжается, и в этой битве с буржуазными националистами, в битве за души людей и сейчас активное участие принимают книги Ярослава Галана.

Он навечно остается в строю борцов.

ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ

Бывает так, что человек, с которым ты давно знаком, которого, казалось бы, ты хорошо знаешь, вдруг по-настоящему раскрывается в течение какого-нибудь часа. Так случилось у меня с Константином Александровичем Фединым.

Я познакомился с ним как с писателем в юности. Читал его роман «Города и годы» — произведение своеобразное, сильное, увлекательное, отобразившее и революционный Питер, и милитаристскую кайзеровскую Германию тех дней, и пафос революционной Советской России, и картины обывательского болота умирающего старого мира.

Помню, как этот роман, своеобразный, сложный, острый, захватил меня при первом же чтении, и с тех пор я усердно читал все, что выходило из-под пера Федина: и «Трансвааль», и «Братья», и конечно же «Похищение Европы» — книгу, раскрывшую для нас, увлеченных созидательным пафосом первой пятилетки, зарождение и рост фашизма в Западной Европе, задыхавшейся в тисках кризиса. И во время войны среди нас, военных корреспондентов, ходила его книга «Свидание с Ленинградом», представляющая образец насыщенного боевого репортажа. Я очень люблю этот род искусства, считаю его особенно действенным, позволяющим мгновенно откликаться на все самое интересное из того, что происходит. Это были великолепные репортажи, не потускневшие во времени и по сегодняшний день.

Но по-настоящему раскрылся для меня Константин Федин и как художник, и как человек в немецком городе Нюрнберге, где Международный военный трибунал судил главных преступников второй мировой войны, судил нацизм во всех его чудовищных проявлениях.

Мы сидели на этом процессе с Константином Александровичем рядом на корреспондентских местах, и перед нашим взором проходили ежедневно такие картины фашистского ада, по сравнению с которым ад, нарисованный Данте Алигьери, мог показаться просто домом отдыха.

Мастерские для промышленной утилизации отходов фабрик смерти — первичным сырьем для них служили тела умерщвленных в газовых камерах... Абажуры, зонтики, изящные дамские сумочки и прочие товары широкого потребления, сделанные из человеческой кожи...

Мыло личное, хозяйственное, детское, техническое, сваренное из человеческого жира. Было отчего лишиться сна и аппетита.

В день, когда представитель советского обвинения Л. Н. Смирнов показал сушеные человеческие головы на изящных каменных подставках, которые начальники лагерей дарили в виде оригинальных сувениров высокопоставленным посетителям из нацистской верхушки, Константин Федин сидел, закусив губу, молчаливый, потрясенный. Нервы были так взвинчены, что нужна была какая-то разрядка. И он вдруг предложил:

— Давайте я устрою вам экскурсию по городу.

И вот после заседания мы отправились с ним погулять. Впрочем, слово «погулять» здесь было малоподходящим. Улиц в центре города, в сущности, не было. Были лишь тропинки и дорожки, расчищенные меж груд битого кирпича и обломков старинных зданий.

Федин возглавлял процессию. Он шагал быстро, уверенно, к нашему удивлению, легко находил путь, хотя лишь изредка можно было увидеть сохранившийся кусок стены с синей табличкой с названием улицы.

И вдруг он остановился у чудом сохранившихся ворот. Они, эти ворота, никуда не вели и ничего не охраняли. За ними не было ни дома, ни двора, только груды кирпича. И вот, задумчиво смотря на эту груду своими светлыми выпуклыми глазами, Федин сказал:

— Вот здесь был когда-то дом, в котором я жил. Сюда пришло ко мне известие об Октябрьской революции в России. Из этих ворот я вышел в последний раз, возвращаясь на родину... Да, из этих самых ворот. И это я однажды описал.

Я знал, конечно, федицскую биографию. Знал, что он, русский студент со Средней Волги, уехал в Германию завершать образование. Был тут застигнут первой мировой войной и задержан на целые четыре года. Он это описал? Где же?

И вдруг ясно вспомнилась давно уже читанная книга «Города и годы». Вспомнилась во всех подробностях. Возник перед глазами ее главный герой, революционер Курт Ван, прекраснодушный, колеблющийся интеллигент Андрей Старцов, и конечно же с особой четкостью вспомнился лейтенант фон цур Мюлен-Шенау. Вспомнилась его ладная сухощавая фигура, мундир с железным крестом, породистая голова, будто бы шрамом, рассеченная ровным пробором. Вспомнилось высокомерное выражение

его тонких, жестких губ, вспомнились его рассуждения о приоритете северной расы над всеми расами мира, его надменные речи, его бредовые мечты.

Здесь, в Нюрнберге, который когда-то был колыбелью нацизма, а в те дни готовился, как нам казалось, стать его могилой, среди развалин древнего города, который в фединской книге был описан самодовольным, благополучным, процветающим, именно здесь, на месте описанных событий, эта оригинальная фигура литературного героя вспомнилась с особой четкостью.

И тут, у старых ворот, которые никуда уже не вели, я как-то новыми глазами увидел и Федина, и его книги. Ведь в этих книгах ему удалось пророчески предсказать все то небывалое, тогда еще неведомое и страшное, что потом начало бурно прорастать, укореняться в локалях и бирхаузах Нюрнберга, что через несколько лет, войдя в силу, обретя неограниченную, чудовищную власть, залило кровью лик всей Европы.

Так мастер литературы, предвидя будущее, предостерегал человечество от того, к чему могут привести, казалось бы, вздорные, бредовые мечтания о расовой исключительности немцев и ненависть к Стране Советов.

А разве сегодня эти предостережения художника потеряли свое значение? Разве теперь на Ближнем Востоке, в маленьком государстве, не слышатся бредовые разглагольствования о приоритете народа-избранника, о превосходстве, будто дарованном ему богом или историей, со всеми вытекающими из таких мечтаний последствиями?

Тогда, в Нюрнберге, в дни процесса над главными преступниками второй мировой войны, мне захотелось, очень захотелось перечитать «Города и годы». Но где их достанешь? В библиотеке, захваченной из Москвы советскими сотрудниками Трибунала, только юридическая литература. Послал в Москву, жене, телеграмму. Она взяла эту книгу в библиотеке «Правды» и переслала ближайшим самолетом. Перечитал. Еще раз поразился точности творческого предвидения. Потом книга эта, которую большинство из нас, конечно, знало и раньше, пошла по рукам. Ее перечитывали, взвешивая, так сказать, в свете Нюрнбергского процесса. Теперь она выглядела как некое фантастическое путешествие в будущее. Из журналистских рук книга перекочевала к юристам и где-то там исчезла, затерялась. Ее, вульгарно говоря, зачитали. За это пришлось мне потом отвечать перед строгими библиотекаршами «Правды», решившими, что я ее присвоил.

В корреспондентском баре вокруг книги завязывались оживленные литературные дискуссии на тему «Может ли писатель предсказать будущее?». Спорили и, опираясь на живой фединский пример, который все еще жил перед глазами, приходили к заключению: может. Это качество литературы Всеволод Вишневский, тоже бывший в те дни среди нас и обожавший военную терминологию, определил одним словом: дальнобойность. Дальнобойная книга. Такой приговор был вынесен тогда нами в дни Нюрнбергского процесса.

В послевоенные годы Константин Федин создал трилогию «Первые радости», «Необыкновенное лето» и «Костер» — целую эпопею, своеобразную художественную историю революции и революционных преобразований в большом приволжском городе в центре России. Читал я их с перерывами, по времени выхода томов, и неизменно применял к ним мерку Вишневского: да, дальнобойность.

Со свойственным Федину глубоким мастерством писатель нарисовал широкую панораму жизни большого волжского города на разных этапах революционной борьбы, становления и укрепления советской власти, революционные преобразования первых лет.

Целая галерея героев встает со страниц этой эпопеи. Читаешь и словно в жизни знакомишься и с Кириллом Извековым, и с его друзьями, правда которых торжествует, укрепляется, воплощается в действительность в процессе революционной борьбы.

Но не менее ярко, может быть только более резкими красками, очертил автор и портреты врагов революции — купчины Мешкова, предателя Зубинского, авантюриста и болтуна Шубникова. Все они так четко выписаны, что после того, как перевертывалась последняя страница, начинало казаться, что когда-то ты с ними встречался, спорил, и горячо спорил, отстаивая свою правду.

И хочется поблагодарить большого писателя за то, что он обогатил отечественную литературу сильно написанными образами коммунистов, которые уже встали рядом, в одной шеренге, с гладковским Чумаловым, фадеевским Левинсоном, шолоховским Давыдовым. Их характер, их духовное богатство раскрыты в борьбе, в постоянной эволюции, и потому они жизненны и живучи.

Сейчас, когда я пытаюсь набросать хотя бы силуэт Федина, человека, которого я люблю, обязательно вспоминается и еще один разговор о нем на веранде загородного ресторана, вознесенного над гладью Дуная, где, по-

сле длительного и утомительного заседания, за кружкой доброго венгерского вина отдыхали Федин, Мартин Андерсен-Нексе и я.

— Я был первым на Западе писателем, кто описал красный флаг, поднявшийся над вашим броненосцем «Потемкин»,— рокотал Нексе своим глухим, будто бы со дна бочки исходящим голосом.— Сынки, это моя гордость. С тех пор я следил за борьбой ваших рабочих, за вашей революцией. У каждой революции свой неповторимый почерк, и ты,— старый мэтр, классик европейских литератур, со всеми, кто был помоложе его, обращался на «ты»,— твой старый роман помог мне, датчанину, раскрыть особый почерк вашей революции. Ты вывернул наизнанку души всех этих прусских аристократишек, этих самозваных сверхчеловечков, которых ведь я в жизни тоже встречал и видел.

Федин, человек деликатнейший, слушал со вниманием, и по выражению его лица можно было понять, как дорога ему эта похвала литературного корифея.

А в год, когда Константину Александровичу исполнилось восемьдесят лет, мы отдыхали с ним в подмосковном санатории. В определенное время на весенних дорожках огромного парка появлялась его высокая, не постариковски прямая фигура. Опираясь на палку, он неторопливо гулял, задумчиво наблюдая за распускающейся листвой, за тем, как дикие утки плавают на озере, устроив там для себя транзитный пункт.

Гулял он обычно недолго. Потом исчезал. Мы знали: он пишет.

— Ну как, разгорается ваш «Костер»?

Он шутливо отвечал:

— Тьфу-тьфу, не сглазьте. Разгорается... понемножку, очень понемножку.— И как-то застенчиво улыбался.

— Может быть, что-нибудь можно прочесть? Или расскажите хоть развертывание сюжета.

— Нет, нет, не обижайтесь. По-моему, только очень плохая курица начинает кудахтать до того, как снесла яйцо.

Но мы знали: работает. Неутомимо работает. Мы знали, что там, в просторной комнате, большое окно которой выходило на искусственное озеро, под веселый щебет птиц продолжает свое дело этот мастер «дальнобойных» книг.

СЕКРЕТ СУРКОВА

Огромное здание редакции «Правды» наконец совершенно утихло. «Загорелась», то есть подписана редактором и ушла в машину, последняя полоса. Дежурившие по номеру сотрудники разъехались, разошлись. Настал час покоя. Мы с майором Петром Лидовым, только что вместе прилетевшие из Сталинграда, где завершилась величайшая из битв второй мировой войны, сидим в большом, облицованном темным деревом кабинете редактора и наперебой рассказываем о только что отгремевшем сражении. Осенью мы вместе вылетали на нижнюю Волгу, на сопряженные фронты, которым потом суждено было завершить окружение сталинградской группировки. Шли каждый со своим фронтом и встретились, когда наконец передовые части обоих фронтов сомкнулись, образовав непробиваемое кольцо.

Мы оба стали свидетелями пленения фельдмаршала Паулюса, разгрома его армии. Нам было что порассказать своему редактору, отдыхающему после подписания трудного номера. Перед нами стаканы крепкого чая, в которых аппетитно желтеют лимонные дольки, и ваза с вкуснейшими московскими сушками. Пьем чай. Рассказываем, перебивая друг друга. Петр Николаевич Поспелов, задумчиво хрустя сушками, слушает очень внимательно, я бы сказал — жадно, ибо события, о которых идет речь, явно волнуют его. Он ученый, историк по профессии. Исторические примеры и аналогии у него всегда в запасе.

— Сталинград, конечно, будет началом перелома во всей войне. Он сыграет роль Бородинской битвы. Только после Бородинской битвы Кутузов, остановив и сильно потрепав Наполеона, все-таки отступил и отдал Москву, а мы, сломив Гитлеру хребет, будем наступать. Наступать, непременно наступать. Вот, товарищи майоры, увидите.— И, оторвавшись от темы, он по своему обыкновению обобщает: — Как же важно, чтобы ни одно из обстоятельств, ни один из ярких эпизодов этого великого сражения не затерялись, не пропали безвозвратно. Ведь вы, военные корреспонденты, набрасываете черновик будущей истории.

Как всегда в минуту волнения, редактор снял и стал старательно протирать очки, потом, водрузив их на место, открыл стол и, пошуршав бумагами, достал какое-то

письмо и приколотую к нему вырезочку из «Правды». Показал нам.

— Вот, пожалуйста, получил на днях. Читайте, читайте. Читайте вслух.

Это было письмо какого-то ротного политрука. Он сообщал в «Правду», что это вырезанное из газеты стихотворение, бурое от засохшей крови, было найдено в кармане убитого бойца. Политрук писал, пересылая вырезку в «Правду», о том, как солдаты любят и ценят автора стихотворения, поэта Суркова, и вообще всех военных писателей и поэтов, освещающих в газетах войну.

— Вот, храню и всем военным корреспондентам показываю. Видите, как люди ценят литературу, умеющую трогать человека за сердце? А Алексей Александрович умеет. Его «Землянку», говорят, на всех фронтах распевают. Так ведь?

Когда теперь вот я задумываюсь о моем давнем друге Алексее Суркове, всегда вспоминаю это ночное редакторское поучение, ибо случай, наивно и искренне описанный политруком, как мне кажется, лучше, чем самая глубокая литературоведческая статья, раскрывает суть и силу поэтического творчества этого популярного писателя.

Ровесник нашего беспокойного, богатого войнами и революциями века, Сурков как поэт и как человек прошел через все эти бурные десятилетия не как свидетель и созерцатель, а как активнейший участник великих потрясений и политических катаклизмов. И поэзия его — все, что вышло и выходит из-под его пера,— род его активного вмешательства в дела и события века. Земляк Николая Алексеевича Некрасова, он в своем творчестве как бы принял от великого поэта-гражданина ключ к народному сердцу. И некоторые его стихи, как и у Некрасова, сразу же после их опубликования становятся широко известными народными песнями. Ну кто из людей моей поры не знал «Песню смелых», припев которой «Смелого пуля боится, смелого штык не берет» стал уже чем-то вроде народной пословицы. Кто из нас не пел «Красноармейскую походную»? Я уже не говорю о «Землянке», ставшей наилюбимейшей песней Отечественной войны.

Но о «Землянке» скажу особо. Пока о самом Алексее Суркове. Мы старые знакомые. Как поэт и как активнейший деятель приснопамятной РАПП, он частенько наведывался к нам в Тверь, где отделение этой органи-

зации соответственно и очень смешно называлось — ТАПП. Помню его с тех времен — молодой, красивый, с белокурым, на самый нос нависающим чубом, с ясными голубыми глазами, этот ярославец приезжал к нам из Москвы и с первых же встреч покорил наши верхневолжские сердца. Он не изображал из себя столичного мэтра, как иные именитые литераторы, заезжавшие в Тверь на короткие гастроли. Он дружил с вождем «Таппов» — рыжим, лупоглазым и очень добрым поэтом и партийным деятелем Александром Ярцевым, а через него и со всеми нами, литераторами-сосунками.

Оба они ярославцы, премило окали на литературных вечерах, охотно откликались на приглашения любой библиотеки, и я любил слушать, как они после совместных выступлений, сидя за кружкой пива, говорили о всякой литературной бывальщине, оба при этом обнаруживали любовь и настоящие познания в отечественной литературе — старой и самой новой. Для нас, провинциалов, очень многозначно звучало в их разговорах: «Сережка Есенин», «Сашка Безыменский», «Мишка Шолохов», «Федька Панферов», но никогда — «Володька Маяковский» или «Лешка Толстой».

Уже в те годы, смотря на этого белокурого, ясноглазого, окающего ярославца, я проникся к нему и его простым, напевным стихам чувством непреходящей симпатии, которую, признаюсь, сохраняю и до сих пор.

Старый коммунист, и коммунист не только по партбилету, человек, популярный в литературных кругах, Сурков не раз занимал важные посты в руководстве писательским Союзом. Был даже его первым секретарем. Но, наблюдая его в ту пору, я всегда видел, что руководящие роли, на которые его охотно избирали товарищи, никогда не доставляли ему большого удовольствия. Отличный оратор, в общем-то любящий поговорить человек, умеющий тут же, сидя, скажем, в президиуме какого-нибудь литературного собрания, мгновенно сымпровизировать интересную речь, в которой будут и воспроизведенные по памяти высказывания литературных предшественников, и целые отрывки из произведений того или иного поэта, нужные ему для подкрепления своих мыслей, всегда старающийся сдобрить речь хорошей долей юмора, он просто увядал, когда ему предстояло читать по бумаге что-то не им самим написанное. Читал неплохо, но без всякого подъема, и то, что, рождаясь в непосредственном соприкосновении со слушателями, вдохновляло

и разжигало его, в чтении чужого текста гасло и вовсе уходило. Впрочем, в этом, как мне кажется, его жизненное кредо.

— Оставь иного литературного оратора на трибуне без заранее заготовленной бумажки, он со страха поседеет и лишится дара речи,— шутливо говорил он и, свирепо двигая челюстями, будто откусывая одно слово от другого, утверждает: — Пора, пора братьям писателям вернуться к ленинскому искусству говорить, глядя в глаза читателю, а не в написанный заранее текст. По-ра-а!

Сидя позади трибуны на одном из больших литературных собраний, я вблизи наблюдал, как он читал длинный доклад, над составлением которого трудились все мы, его соратники по Секретариату. Читал четко, но невыразительно, явно скучая. И только в финале, договаривая конец, он вдруг оживился, хрипловатый голос его зазвенел в полную силу. И закончил под бурные аплодисменты. Но я-то видел, что эти последние страницы он уже не читал, а произносил по памяти, глядя в зал.

Успехом и популярностью у читателя, как я уже сказал, Сурков пользуется неизменно. Но сам своей известностью не пользуется никогда. Не хочет или не умеет. Вернее всего, не хочет.

Когда речь идет об общественном каком-нибудь деле, о чьей-нибудь писательской судьбе или о добром начинании, он деятелен, решителен, напорист. Но все эти хорошие качества вянут или вовсе испаряются, когда речь идет о нем самом, о какой-нибудь собственной его нужде.

Во время войны, бывало, добирается он до нас, военных корреспондентов, именно добирается на попутных, ибо своей машины он никогда не имел, входит, снимает солдатский «сидор», ставит его где-нибудь у двери и, окинув всех веселым взглядом, шутливо произносит:

— Как живете, караси?

И, оглядев наше очередное бивуачное жилище, сам же и отвечает:

— Ничего себе, мерси... Привет, братцы, я вот к вам...

И сразу высыпает пригоршнями московские новости, новые журналистские байки, новые стихотворные рифмы-ловушки, множество которых он помнит, да и сам здорово сочиняет. Всем сразу становится весело.

Встает вопрос, как отметить его прибытие. Недельная водочная норма конечно же давно кончилась. Кого направить к начальнику военторга за разрешением на покупку? У майора интендантской службы ледяное

сердце — это всем известно. Чтобы его растопить, отбираем самых напористых и речистых. Виновник торжества тоже пойдет, но боже сохрани втянуть его в сами переговоры: нет-нет, если трудно, не надо. Обойдемся. Я вас понимаю...

И делали так. Оставляли Суркова на дворе, устраивали на видном месте, а тот из нас, кто побойчей и поречистей, шел к майору интендантской службы. Докладывал:

— Из Москвы, в командировку от «Правды», прибыл подполковник, поэт Алексей Сурков,— помогите, товарищ майор, встретить его как следует.

Собеседник оживлялся. Но с сурового лица недоверие, настороженность сразу не исчезают.

— Сурков? Тот самый, который «Землянка»?.. «То не тучи грозовые, облака...»?

— Да, да, тот самый.

— Где же он?

— Вон сидит ждет. Поскорей бы нам, товарищ майор, записку на склад. Неудобно перед ним...

Наш собеседник встает, выглядывает в окно, где поэт, сидя на крылечке, пожевывает травинку. Ледяное сердце тает...

— Я думал, вы меня охмуряете... Ну, раз Сурков — конечно... Такого гостя нельзя встретить всухую... А можно к вам заехать вечерком, познакомиться с ним?..

В заключение хочется рассказать эпизод, который я наблюдал в госпитале, куда попал с небольшой контузией. Госпиталь был прифронтовой, сортировочный, он помещался в школе, и от грома недалеко бушевавшей Сталинградской битвы в окнах звенели надтреснутые стекла.

Сцена показалась мне такой характерной, что я потом ее почти целиком вставил в одну из своих повестей.

Однажды госпиталь облетела весть: к нам в гости приезжает артистка Лидия Русланова, прибывшая на наш фронт в дни его наступления. Суета поднялась необыкновенная. Имя непревзойденной исполнительницы русских волжских песен всем знакомо и дорого. В нашей палате, размещавшейся в гимнастическом зале, койки были раздвинуты, из досок сооружена эстрада. Внесли все табуретки и стулья, какие только нашлись. Даже тяжелым врачи не отказали в удовольствии послушать столь известную певицу, и койки их приблизили к импровизированной эстраде.

Русланова прибыла со своим аккомпаниатором-баянистом, высоким, плечистым парнем с круглым, румяным добродушным лицом и целой копной пшеничных волос.

Оба они приехали прямо с фронта, где артистка пела для солдат с грузовой автомашины. Она выглядела явно усталой. С некоторым трудом поднялась на самодельные подмостки и без всякого конферанса запела. Пела старые русские волжские песни. Может быть, потому, что сама была волжанка, она исполняла их как-то особенно сердечно и проникновенно. И встречали ее радостно, бурно. После каждой песни возникала овация, шум аплодисментов сливался со стуком костылей.

Пела она довольно долго. Пот капельками стекал с немолодого, круглого, такого русского лица, и она вытирала его рукавом своей богатой вышитой кофты. Наконец сказала:

— Ну, хватит. Больше не хлопайте и не стучите. Выдохлась. Еле на ногах стою. Пусть вот он вам сыграет. Он у меня великий мастер,— и указала на своего аккомпаниатора.

И баянист развел мехи инструмента и заиграл свое, им сочиненное, как он объяснил, попурри из песен. Попурри было ловко скроено, но играл он его в каком-то джазовом, приплясывающем темпе, и любимые песни тех дней проходили перед нами какой-то словно дрыгающей, кривляющейся походкой. Когда он дошел до сурковской «Землянки», которая в те дни, мгновенно облетев все фронты, стала одной из любимых песен войны, послышался истерический крик:

— Стой, не смей!

Какой-то солдат в белье, с лицом, перекошенным злой гримасой, стуча костылем, рвался через плотные ряды зрителей к сцене.

— Ты чего распсиховался? Уймись,— урезонивали его.

В зале началось замешательство. Никто ничего не понимал. Баянист растерянно сидел на стуле, и румянец сходил с его лица, а человек все рвался к сцене, размахивал костылем.

— Сядь, угомонись, утихомирься.

— А что он, как он смеет? Такую морду в тылу нажил, свиста пули не слышал — и над нашими песнями надсмехается... Да мы эту самую «Землянку» в окопах как молитву поем, а он, а он... Как он смеет над этой нашей песней издеваться?..

Наконец расписховавшегося усадили, успокоили. Баянист больше уже не играл, а Лидия Русланова, чтобы замять инцидент, без всякого аккомпанемента, в непривычной для себя лирической манере спела «Землянку», и этим закончился госпитальный концерт, навсегда мне запомнившийся. И он, этот концерт, тоже приходит мне на ум, когда я думаю о творчестве Суркова. В чем секрет его простой, бесхитростной поэзии? Наверное, в том, в чем был секрет обаяния творчества его великого земляка. В том, что строки свои, всегда простые и ясные, он адресует не только уму, но и сердцу читателя.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У МОГИЛЬНОГО КАМНЯ

Грустно, очень грустно стало бывать на Новодевичьем кладбище. С памятников отовсюду смотрят лица людей, с кем когда-то встречался, работал, дружил. Но какие бы очередные печальные обстоятельства ни приводили меня туда, как бы ни болела свежая рана очередной утраты, я всегда пробираюсь через частоту могил в тот уголок кладбища, где, как маленькая скала, возвышается гранитная глыба. На ней вытесан контур человека с гордой, непокорной головой. Он весь устремлен вперед, этот человек. Он как бы идет, проламывая грудью, всем туловищем встречный шквальный ветер, он весь в порыве, в движении, в борьбе.

Скромная надпись: Назым Хикмет. Дата рождения и смерти.

Я подолгу стою у этой неотесанной глыбы, и в эти минуты рядом со мной словно встает этот человек, мой трудный друг, вся жизнь которого была сплошным устремлением навстречу буре, навстречу ветру и в поэзии, и в драматургии, и в общественных делах, и в любви. Да, и в любви.

И особенно ярко вспоминается мне первая встреча с этим человеком, встреча немного курьезная и потому, наверное, запомнившаяся так отчетливо.

Кто из нас, литераторов моего поколения, не знал о Назыме Хикмете? Знали, что живет в Турции такой удивительный человек, поэт, драматург, давний друг нашей страны. Знали, что жизнь его — неустанная борьба, непрерывный, непреходящий подвиг. Знали, что за политическую деятельность свою он постоянно подвергается же-

стоким репрессиям, но борьбы не прекращает и потому большую часть своей жизни проводит в тюремных камерах.

Поэзию его в те дни знали меньше. Но было известно, что и в тюрьме он неустанно пишет. Стихи его просачивались сквозь каменные стены в открытый мир. Друзья и поклонники поэта собирали их в сборники. Поэзия узника бурно жила на свободе, звучала на разных языках, кроме родного, турецкого.

Знали мы и о том, что человек этот, находясь в дни войны в отделении с особо строгим режимом, каким-то образом ухитрялся следить за борьбой советского народа. Подвиги советских людей на фронте и в тылу врага находили отзвук в его большом, горячем сердце. Так, через французские переводы, узнали мы о его поэме, посвященной подвигу московской школьницы, и стихи о бессмертной борьбе двадцати восьми гвардейцев у подмосковного разъезда Дубосеково. Как имя Зои Космодемьянской, имена панфиловцев достигли его ушей через стены тюрьмы особого режима? Как посвященные им стихи вырвались на волю и пошли гулять по свету — это оставалось тайной. И оттого сам поэт-узник невольно казался нам волшебником, умеющим совершать удивительные вещи.

Ну, а когда началось движение сторонников мира, это самое могучее движение современности, объявшее все пять континентов, мы заочно включили имя славного турка в руководство движения. В разных странах поднялась активная борьба за его освобождение. Звучали гневные речи, писались протесты, петиции, и вот радостная весть: Назым Хикмет вырван из тюрьмы. Он летит к нам. Он будет в Москве.

Не помню уж, по какой причине, я в этот день несколько задержался. Времени для прихода его самолета оставалось в обрез. В последние минуты торопливо купил на Центральном рынке пучок роз и бросился в машину, умоляя шофера гнать вовсю. И как это часто случается, когда торопишься, где-то на выезде из Москвы попали в маленькую аварию. Пришлось машину бросить. Вышел на шоссе, стал голосовать. Легковые машины презрительно проносились мимо. Только один самосвал с жидким бетоном в кузове смилостивился надо мной, отчаянно махавшим своим цветочным веником. Шофер втащил меня в высокую беседку кабины. Но где-то невдалеке от аэродрома ему надо было сворачивать к стройке. Ни уговор,

ни посулы не подействовали: бригада ждет бетон, нельзя. Пришлось снова выскакивать на шоссе.

А секундная стрелка, казалось, бежала быстрее, чем всегда, и какой-то самолет уже клал в небе пологие круги. Человек-легенда мог быть в этом самолете. И тут я заметил быстро несущийся, сверкающий лаком «ЗИМ». А черт, была не была... Я выскочил наперерез машине, угрожающе поднимая свой букет. Свирепо пискнув тормозами, тяжелая машина остановилась в нескольких шагах. За стеклом я разглядел знакомое лицо известного нашего полководца. Выражение этого лица, скажем прямо не сулило ничего хорошего.

— Вы с ума сошли... Прочь с дороги!

— Назым Хикмет, Назым Хикмет,— бормотал я как пароль. И это имя разгладило свирепые морщины на круглом лице маршала.

Он даже сам открыл дверцу.

— Имею в запасе полчаса. За полчаса встретим? Поехали, а то опоздаем.

Мы опоздали. Когда тяжелый наш лимузин въехал на площадь аэровокзала, толпа встречавших уже рассаживалась по машинам. Издали различил знакомые лица: Тихонов... Симонов... Михаил Котов... А самого Назыма Хикмета увидел в целом ворохе цветов, который он обеими руками прижимал к себе. Но поприветствовать его, познакомиться не было уже времени, ибо в следующее мгновение кортеж машин проследовал мимо.

Но помню, отлично помню, как поразил он меня при этой первой мимолетной встрече. Вместо хилого, зеленолицего дистрофика, каким полагалось, по моему мнению, быть человеку, приговоренному к двадцати восьми годам заключения, только что вышедшему на волю, передо мной мелькнул крепкий, загорелый мужчина в светлом костюме, в рубашке с расстегнутым воротом, с задорными рыжеватыми усиками и пышной шапкой палевых волос.

На следующий день мы познакомились, потом подружились. Впрочем, слово «подружились» в данном случае не носит индивидуального характера. Обладающий огромным, бесценным даром дружелюбия, этот турок стал другом всех своих советских коллег, всех, с кем он встречался по своим литературным, театральным, общественным делам, и, вспоминая его сейчас, я отчетливо слышу его задорный голос, где в обращении часто путаются «ты» и «вы», где то и дело мелькает слово «брат», а буква «и»

звучит твердо, почти как «ы». Это последнее дало повод Николаю Тихонову потом, когда Хикмет обжился и даже обзавелся автомашиной, написать шутливое четверостишье:

Хыкмет Назым
Имеет «ЗЫМ»
И потому
Неотразым.

Он любил людей, любил хорошую компанию. Любил угостить знакомых, причем сам приготовлял мудреные и острые турецкие блюда, перед чем торжественно облачался в женский фартук, который у него был в чемодане даже во время поездок. Вообще он был на редкость хозяйственный человек, наш Назым. В поездках у него всегда можно было одолжить иголку с ниткой подходящего цвета, сапожную щетку. А однажды, во время конгресса в Хельсинки, мы видели такую сцену. У нашего делегата — архиепископа Николая Крутицкого и Коломенского — случилась беда: его парадное одеяние было облито во время ужина жирным соусом. Завтра с утра ему нужно было выступать. Священнослужитель приуныл.

— Пойдем, брат,— бодро сказал ему Назым и, взяв за руку, увел его в свой номер. Здесь, засучив рукава и ловко действуя большими, поросшими рыжим волосом руками, он не без блеска вывел роковое пятно с помощью какой-то патентованной немецкой пасты, оказавшейся у него в запасе.

И мы всегда поражались: откуда у него, внука турецкого паши, потомка многих поколений весьма родовитых турецких аристократов, эта уютная мужицкая хозяйственность, эта любовь к простой народной пище, это стремление оказаться полезным даже едва знакомому человеку?

А каким чувством юмора он обладал, как заразительно умел смеяться! Помню, в дни одного из конгрессов сторонников мира в Стокгольме японские друзья показали нам страшный фильм. Документальный фильм о трагедии Хиросимы, которая, как оказалось, была снята кинооператорами, вскоре умершими от лучевой болезни. Там было все: и американский самолет, летящий над городом, и черный гриб, взметнувшийся в небо, и тысячи обуглившихся трупов, и, наконец, на граните моста тень человека, который сидел, ловя рыбу, и совершенно испарился при взрыве. Все мы были подавлены. Решили раз-

веяться, побродить по ночному Стокгольму. Шли неторопливо, останавливаясь у магазинных витрин, вероятно инстинктивно оттягивая момент, когда предстояло остаться в пустом гостиничном номере, один на один со страшными видениями, только что прошедшими перед нами на экране. Задержались у лавки древностей. Посреди витрины стояла деревянная скульптура Георгия Победоносца, поражавшего копьем поверженного змия. Скульптура была явно старая, привезенная, вероятно, из какой-нибудь сельской церкви, и было в ней что-то наивное и привлекательное.

И тут Дмитрий Шостакович вдруг улыбнулся.

— Вы чему, Дмитрий Дмитриевич?

— Вспомнил древнерусский стих об этом вот воинственном господине.— И продекламировал:

...Держит в руце копие,
Тычет змия в жопие...

И тут вдруг на всю улицу раздался смех, веселый, сочный смех Назыма Хикмета. Он несколько раз заставил композитора повторить эти чрезвычайно понравившиеся ему слова древнерусского языка.

— Чудесно, брат, чудесно!.. Совсем как сама эта древняя статуэтка.

Он любил слушать свои стихи в переводе на любой из языков. Любил смотреть свои пьесы. Мы с женой сидели с ним рядом на премьере «Чудака». С детской непосредственностью он переживал все происходящее на сцене, морщился, когда тот или иной актер фальшиво подавал реплику. А в последнем, трагическом действии лицо автора было омыто слезами, которые он и не прятал.

— Это же я,— пояснил он. А потом с очень милой и совсем ненавязчивой непосредственностью стал выспрашивать: — Ну что? Ну как? Неплохо? Правда, неплохо?

Смотрели пьесу «Всеми покинутый». Он тоже волновался, комкал носовой платок, вздыхал и опять в финальных сценах не скрыл слез.

— Это тоже я, брат.

Помнится, тогда жене моей пришла в голову мысль спросить, не он ли является героем одного из его самых сильных лирических стихотворений.

— А гигант с голубыми глазами — это тоже вы?

Он вдруг по-девичьи покраснел, опустил свои действительно очень голубые глаза, сказал:

— Ну зачем вот так прямо спрашивать?

Я люблю его стихи, которые, однако, как мне кажется, лучше не читать, а слушать. Слушать даже в плохом исполнении. В них сплелись два начала: классической турецкой и народной поэзии. Чудесный сплав этих двух компонентов и дал третье,— оригинальное, неповторимое, только хикметовское.

В нашей советской поэзии он больше всех любил Маяковского, с которым был знаком и знакомством этим гордился.

— Маяковский, брат, это Маяковский. Стихи его я в первый раз не прочел, а увидел, именно увидел в русской газете, как только вступил с судна на советский берег. Сошел, оглядываюсь и вижу: какая-то большая газета прилеплена почему-то к стене. В ней на первой странице вроде бы стихи. И напечатаны они как-то странно, вроде лесенки. Спросил одного азербайджанца: что, брат, это такое? Он сказал: Владимир Маяковский. Попросил его прочесть по-русски. Он русский знал плохо и плохо читал, но я все-таки понял, что это какие-то большие, необычные стихи. Ну, а потом я с Маяковским познакомился. Он несколько раз приезжал к нам в КУТВ [1] и читал. Ах, брат, как он читал! Даже те, кто плохо знал русский, отхлопывали ладони. Впрочем, брат, могло ли тогда прийти в голову, что я увижу его в бронзе и что буду почти ежедневно сходить на станции метро «Маяковская».

«Советский Союз — моя вторая родина»,— говорил Хикмет в одном из своих стихотворений. Для него это было не лозунгом, не фразой. Он терпеть не мог лозунговых фраз. Всей своей творческой жизнью он был связан с нашей страной. В воспоминаниях о встречах с Москвой он черпал бодрость, сидя в старой турецкой тюрьме. Обрывки сообщений Советского Информбюро с фронтов войны, которые доносило до него иногда радио, тотчас же вызывали у него самый активный поэтический отклик.

В узком пенале одиночной камеры, видя все одни и те же четыре голых тюремных стены, парашу в углу, замкнутую на железный засов дверь, в маленьком волчке которой изредка появлялся глаз тюремщика, он живо рисовал в своем воображении великий фронт, на котором

---

[1] КУТВ — Коммунистический университет народов Востока, где учился Хикмет.

шла смертельная битва добра и зла. Он рисовал картины битвы, он видел Москву тех трагических дней.

...Строит баррикады,
роет рвы
Москва
на окраине Москвы...
И Пушкин стоит бронзовый,
слагая стихи для всех,
и на закате розовый
на пелерине снег... [1]

Снова оказавшись у нас, он чувствовал себя дома, и этот период его жизни стал временем бурного, интенсивного творчества и в поэзии, и в драматургии, и в кино. Он был активнейшим деятелем Всемирного Совета Мира. Много и с энтузиазмом работал по «мирошным», как он шутил, делам, но и во время этих поездок ухитрялся писать и стихи, и пьесы.

Во время конгресса в Варшаве нам трем — артисту Николаю Черкасову, Хикмету и мне — было поручено составить к утру проект какого-то документа. В назначенное место Хикмет не пришел. Мы направились к нему в номер. Он сидел на диване, поджав ноги, в ночной рубашке и что-то быстро-быстро писал. Вскинул на нас свои голубые глаза и удивленно, сердито отмахнулся:

— Потом, потом!

Признаюсь, я был несколько даже обижен такой встречей, тем более что дело, которое нас к нему привело, не терпело отлагательств. А вот Николай Константинович, натура глубоко артистическая, все воспринял поиному.

— Поэт, настоящий поэт. Помните, как бранили критики Петра Петровича Кончаловского за его Пушкина без штанов?.. Вот так, именно так и пишутся великолепные стихи.

Хикмет ездил на конгрессы мира, даже когда врачи категорически это ему запрещали. Но выступать не любил. Если уж выступал, то речь его скорее напоминала белые стихи. Опытнейшие переводчики, сидевшие в кабинах, всегда затруднялись его переводить и извиняющимися голосами лишь пересказывали его выступление. Но в нужную минуту, когда от нападок отстаивались какие-то важные принципы, он легко вскакивал на трибуну, и его словесный удар бил всегда точно в цель.

Так было, например, однажды в Стокгольме, на кон-

---

[1] Из поэмы «28 гвардейцев». Перевод Б. Слуцкого.

грессе, где китайская делегация попыталась расколоть движение. Вылазка готовилась заранее. Мы ее, в сущности, и предвидели. Китайцы, как всегда, приветливо здоровались, улыбались, вели дружелюбные разговоры, но мы видели, что машины их судорожно курсируют между зданием конгресса и китайским посольством. Потом на делегатских скамьях появились китайские дипломаты, а маленькие куколки-переводчицы, покинув кабины, смешались с делегатами. Мы поняли: провокация вот-вот произойдет.

Так и вышло. Когда обсуждался документ конгресса и советский делегат заговорил о ленинской политике мирного сосуществования государств с различным социальным строем, китайские делегаты вдруг забушевали, закричали, затопали, застучали наушниками по столам. Девушки-куколки тоненькими голосами переводили на русский их реплики, звучавшие с мест.

— Левизинисты, левизинисты,— пищали они.

Конгресс замер: что происходит? Что вдруг сделалось с китайской делегацией, обычно такой дисциплинированной, сдержанной, улыбчивой?

— Социал-империалисты, левизинисты.

Председатель, огромный негр из Сенегала, расколол стакан о графин, безуспешно пытаясь восстановить тишину. Наконец он предложил представителю китайской делегации подняться на трибуну, высказаться, обосновать свои претензии.

— Как они смеют говорить о мирном сосуществовании! — зажурчало в наушниках.— Разве могут мирно сосуществовать волки и овцы!

И тут высокая, стройная фигура в сером костюме метнулась через зал. На трибуне оказался Хикмет, возбужденный, решительный, яростный.

— Кто овцы? Мы овцы? — крикнул он в огромный зал.— Мы львы!

На мгновение, когда в наушниках журчал перевод его слов, многоязычная аудитория замерла, а потом грянули такие аплодисменты, каких, вероятно, еще и не слышал этот довольно-таки экспансивный конгресс. Возвращаясь на свое место, Назым просто продирался сквозь аплодирующую толпу, ему жали руки, женщины целовали его, оставляя на щеках карминные следы.

Так шестью словами была сорвана тщательно задуманная провокация, и конгресс не только не раскололся, а продолжал работу еще более сплоченным.

Назым Хикмет не боялся споров, в делах он был мужествен, храбр, его глаза спокойно смотрели в лицо любой опасности. Но однажды я все-таки видел слезы, настоящие слезы в этих его выразительных глазах. И, признаюсь, сам был в этом виноват.

В 1962 году отмечалось его шестидесятилетие. В этот день он получил гражданство Советского Союза и назвал этот час самым счастливым часом своей жизни. Выступая на посвященном ему вечере в клубе литераторов, я закончил свое слово так:

— Да здравствует наш согражданин Назым Хикметович Хикметов!

Когда после этого мы с ним расцеловались, щеки его были мокры от слез...

Таким вот и стоит он передо мною, когда я оказываюсь возле гранитной глыбы, на которой высечен контур высокого, устремленного вперед человека, идущего навстречу шквальному ветру. Таким мы видели и знали его. Таким он и был до последней минуты — деятельным, кипучим, с сердцем, открытым для дружбы и добра. Он и умер, как жил. Утром его нашли в прихожей со свежей газетой в руках. Газета была открыта на странице, где рассказывалось о новой зверской бомбардировке Ханоя и Хайфона.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА

Передо мной альбом репродукций. Обычный, казалось бы, художественный альбом. И в то же время он необычен, может быть даже единственен в своем роде. И прежде всего потому, что рисунки и картины, воспроизведенные в нем, вышли не из-под пера или кисти, а из-под трех перьев и трех кистей.

Вот уже более сорока лет три руки создают в этом своем коллективном движении острейшие карикатуры, остроумнейшие шаржи, проникновенные иллюстрации, помогающие постичь глубину образов Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького, и, наконец, монументальные станковые полотна, запечатлевающие героические страницы нашей советской истории.

Когда-то, на одном из дружеских вечеров в Центральном Доме работников искусств, был проведен шутливый конкурс на самую заковыристую фамилию. Призом был

объявлен огромный, уникальный арбуз. От соревнователей, среди которых были видные наши актеры, поступили конверты с множеством фамилий, одна другой причудливее. Была, помнится, среди них, так сказать, духовная фамилия — Поморюякопосухуходященский. Арбуз-гигант получил знаменитый актер МХАТа, назвавший фамилию Кукрыниксы. Она оказалась самой причудливой, самой необычной и в то же время самой ёмкой, многозначительной, ибо под этой фамилией уже более сорока лет дружно живут, не ссорясь между собой, и не просто живут, а бурно, талантливо, необыкновенно продуктивно работают три художника:

М. В. Куприянов
П. Н. Крылов
Н. А. Соколов.

Когда-то, еще в студенческие годы, в знаменитом ВХУТЕМАСе, они коллективно нарисовали в стенной газете удачную карикатуру. Работали вместе. Карикатура нравилась всем троим, и встал вопрос: как ее подписать? И вот каждый пожертвовал для этой подписи начальный слог своей фамилии. Так родилось творческое содружество Кукрыниксов, известное теперь всему культурному миру. Сейчас оно вошло, вросло в наш быт, новый лексикон. Ну кто же из нас не слыхал: «Это достойно карандаша Кукрыниксов», или «Кукрыниксов на тебя нет», или, что совсем часто: «Это, знаете ли, совсем кукрыниксовский персонаж».

Творческий диапазон этой удивительной троицы необыкновенно широк. Их творчество столь многообразно, что трудно даже установить, в чем Кукрыниксы больше преуспели: в острейших ли карикатурах, которые они, как стрелы, посылают через «Правду» во всех врагов нашей страны и нашей идеологии, в сатирических ли картинах, в исторических полотнах или в шаржах, дружеских и недружеских. А может быть, в иллюстрациях к книгам классиков, образы которых они всегда умеют осмыслить как-то по-новому, по-своему, по-кукрыниксовски, или в красочных плакатах, всегда лаконичных, немногословных, броских.

Но что роднит их искусство во всех жанрах — это злободневность, целеустремленность и партийность в лучшем смысле этого слова.

И при всем том, при многолетней совместной работе, не знающей себе, вероятно, примеров в истории

искусства,— каждый участник этого дружного триумвирата продолжает оставаться самим собой, не теряет свою творческую манеру, и в своих индивидуальных работах, которые они демонстрируют очень редко, каждый из них — своеобразный мастер, совсем не похожий на двух других.

Так как же сложилась эта великолепная тройка? Как можно работать втроем? Как совместить на бумаге, на картоне или на полотне столь различные индивидуальности? Тем, кто их не знает, может показаться странным, как это трое художников одновременно работают над одной и той же вещью.

Для меня этот их секрет раскрылся в дни Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками. Я, разумеется, знал работы Кукрыниксов. В дни войны их графические сатиры разили врага столь же сокрушительно, как, скажем, статьи и памфлеты Ильи Эренбурга. Да и кто их не знал?! Но увидел я Кукрыниксов впервые именно в Нюрнберге, в зале заседаний Международного военного трибунала. Увидел издали.

За несколько секунд до того, как стукнул по столу судейский молоток, возвещая начало заседания, в зал вошли трое. Впереди, чуть семеня, маленький лысоватый человек, за ним — человек повыше, голубоглазый, с есенинской кудрявой головой, а сзади неторопливо шагал на длинных ногах высокий мужчина, шагал очень прямо, как-то по-верблюжьи неся свою голову. У всех трех под мышкой были одинаковые папки. Но у того, что семенил впереди, папка казалась огромной, а у того, что вышагивал сзади,— маленькой. Вошли, сели в первом ряду и, обменявшись улыбками с соседями, одновременно раскрыли свои папки.

— Кто это? — спросил я.

— Как, вы не знаете? — поразился мой сосед по креслу.— Это же Кукрыниксы!

Честно говоря, это были, пожалуй, самые серьезные, самые работящие персонажи в том шумном и пестром конгломерате, что заполнял ложу прессы. Неустанно работали карандаши, резинки, бритвенные лезвия. Иногда кто-либо из художников наклонялся к папкам соседа, они о чем-то советовались, о чем-то спорили и вновь углублялись в дело. А потом, когда был объявлен перерыв, так же гуськом пошли к выходу. Только теперь двигались в обратном порядке: впереди высокий М. В. Куприянов, потом — белокурый, с есенинским чубом Н. А. Соколов,

а в завершение шествия семенил П. Н. Крылов, папка которого казалась огромной.

И хотя картины этого бесконечного суда, с точки зрения художников, оставались почти неизменными, хотя, что там греха таить, многие из нас предпочитали уже проводить время в кулуарах или баре, Кукрыниксы не расставались со своими карандашами. Даже во время заседания, на котором советское обвинение демонстрировало хроникальный фильм нацистских зверств и которое, естественно, проходило в темноте, Кукрыниксы не закрывали папок. Работали, зарисовывали лица преступников, высвеченные в темноте нижним светом.

Тогда мы этого не понимали: зачем? Теперь, четверть века спустя, увидев их большое и очень сильное полотно «Свидетели обвинения», я все понял. Именно в те минуты сумели они схватить и запечатлеть эту сцену с такой поразительной силой. Именно так выглядели подсвеченные снизу лица преступников, когда на экране появлялись тени давно умерщвленных ими людей.

Наблюдая Кукрыниксов, их дружную, сосредоточенную работу, я невольно думал о том, что в карикатурах, помещаемых в «Правде», им своим острым артистическим карандашом удалось удивительно верно отображать сущность всех этих герингов, гессов, кейтелей задолго до того, как они их увидели. Теперь эти выродки сидели на скамье подсудимых — немолодые люди весьма пристойного облика. Но мы смотрели на них уже глазами Кукрыниксов, которым задолго до этой очной ставки с будущими военными преступниками удалось показать звериную суть нацистских вожаков, низменность их характеров, их истинную натуру, прятавшуюся под благопристойной, иногда даже под респектабельной наружностью.

Так вот, в тесном содружестве, в упорной, но всегда вдохновенной работе, во взаимных спорах, в дружеских спорах, и было создано и создается все кукрыниксовское, и без него наше советское искусство теперь уже просто немыслимо.

Сейчас, когда я вознамерился воскресить в памяти силуэты наиболее интересных людей, с которыми сводила меня репортерская судьба, я понял, что круг их был бы неполон, если бы в нем не встали, как живая диаграмма, три эти замечательных мастера — Порфирий Крылов, Николай Соколов и Михаил Куприянов.

Как-то однажды у них в мастерской, листая памятный альбом, натолкнулся на фотографию. Танк. Велико-

лепный тяжелый танк «КВ». И на фоне его в окружении танкистов — Кукрыниксы, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Николай Тихонов. Кукрыниксы, как всегда, рядом, как всегда, диаграммой. Узнал, что в дни войны они, вместе с поэтами, сложив свои сбережения, купили коллективно этот танк, изобразили на его борту славянской вязью название «Беспощадный», нарисовали карикатурного Гитлера, удирающего от этого танка, и подарили машину Красной Армии. С экипажем «Беспощадного» они всю войну поддерживали дружбу. Когда танк в бою был подбит, его «владельцы» оплатили ремонт. «Беспощадный» дошел почти до Берлина и был подожжен уже в одном из последних сражений войны.

— Жаль, что сгорел... Как было бы хорошо сейчас, в мирное время, подкатить на нем, скажем, к издательству «Искусство», задерживающему выпуск нашего альбома, подкатить и навести пушку на кабинет директора,— шутит Порфирий Крылов.— Эффектно!

— Или в погожий день отправиться на собственном танке, скажем, по грибы,— добавляет Николай Соколов.

— Или атаковать кассу Театра на Таганке: давайте билеты — не то вдарим осколочными,— заканчивает высокий и неулыбчивый Михаил Куприянов.

Ну вот, захотел я написать об искусстве Кукрыниксов и вместо этого объяснился в любви славному триумвирату советских художников, так ничего и не сказав о нем по существу. Но думается мне, что это даже закономерно.

Произведения их в любом жанре так всегда новы, своеобразны, артистичны, что описывать их работы просто нельзя. Бесполезное дело. Живописную книгу о своем творчестве, о своем необыкновенном содружестве написала и продолжает писать сама эта великолепная тройка, и каждый новый их рисунок, карикатура, шарж, каждая картина — страница этой книги.

Везде и всегда они трое. Четвертый им может только помешать. Их живопись и графика столь выразительны, что не нуждаются ни в комментаторе, ни в популяризаторе.

СМИРНОВ-БРЕСТСКИЙ

Смирнов у нас, у русских, фамилия весьма распространенная. В советской литературе существуют и успешно работают несколько Смирновых. Есть среди них

и Сергеи. Так вот, в отличие от всех их, того Смирнова, о котором я поведу речь, коллеги, друзья и просто знакомые звали между собою Смирнов-Брестский. Сергей Сергеевич Смирнов-Брестский.

Звучало это несколько старомодно. Так в старину, по российской традиции, нарекали полководцев, присоединяя к их родовому имени название места, где полководец этот особенно прославился в каком-нибудь сражении: Потемкин-Таврический, Суворов-Рымникский. И если окинуть взором труд Сергея Сергеевича до конца внезапно оборвавшейся его жизни, увидишь, что писательская молва нарекла писателя так с полным основанием, ибо он совершил небывалый литературный подвиг, посвятив не один год, а десяток лет розыскам, восстановлению доброго имени тысяч советских воинов и партизан и боевой репутации Брестской крепости, ныне именуемой крепостьгерой.

Помню, как, возвращаясь с войны из Берлина в Москву, мы с Сергеем Крушинским и Сергеем Борзенко — военные корреспонденты, так сказать, оставшиеся уже без работы,— миновав границу, заехали в старую Брестскую крепость. Руины ее были в полном запустении. В каких-то сохранившихся и наспех залатанных зданиях помещался тыловой госпиталь. На веревках порхало больничное белье. Развалины крепостных казематов заросли, и уже не травой, а кустарником. Кое-где меж кирпичей пробивались молодые деревца. Тут и там виднелись покрытые травою холмики солдатских могил. Над травой едва видны фанерные обелиски с облупившейся краской. И ничто не напоминало о воинской славе этих громадных руин на Буге. Мы походили по старым казематам, слыша эхо своих шагов далеко впереди себя. Летучие мыши, гроздьями висевшие на потолках, срывались и бесшумными тенями скользили над нашими головами.

Это было короткое и грустное посещение. Мы продолжали свой путь на машинах в Москву, где нас ждали наши редакции и наши семьи, где нам предстояло снимать шинели и перестраиваться на мирную жизнь, которая еще неведомо было, как сложится. Об этом мы и думали, три вдоволь навоевавшихся журналиста. Пограничная крепость на Буге — груды битого, закопченного кирпича,— надо честно признаться, не возбудила особых мыслей, не взволновала. Сколько руин видели мы на боевом пути нашей армии от Волги до Шпрее...

А вот наш коллега Сергей Сергеевич Смирнов, боевой военный журналист, в те дни еще только начинавший, так сказать, перерастать в писателя и деятельно занимавшийся сбором материалов о героях Отечественной войны, уже тогда увидел те же руины иначе. Он не был ни военным историком, ни ученым-исследователем. Он был литератором с открытой душой, умевшим разглядеть в людях лучшее, что в них есть. У него было особое чутье на все героическое. И было у него умение честными, добрыми глазами смотреть на все перипетии войны, на наши победы и наши поражения. Да, и на поражения,— не изучив поражений, не почувствуешь в полную меру и вкус настоящих побед.

Когда в своих исследованиях биографий советских воинов и советских партизан, в изучении их подвигов и их судеб Смирнов дошел до брестской эпопеи, о ней мало еще знали. Брестская крепость казалась лишь одним из пунктов границы, где в тяжелых и трагических боях пограничные гарнизоны стояли насмерть, сковывая на первых километрах советской земли лучшие, отборные дивизии противника, брошенные для нанесения сокрушительных ударов по нашей армии. Это потом дойдут до нас записки начальника Генерального штаба немецкой армии генерала Гальдера, который уже в первые дни нападения на Советский Союз понял, что план блицкрига проваливается, записки, в которых уже тогда, в конце июля, зазвучали удивленные и даже истерические нотки, записки, в которых он, участвовавший в разработке плана молниеносной войны, признал, что русские продолжают сражаться за каждый промежуточный рубеж и что дивизии прорыва несут тяжелые потери. Это уже потом будет подсчитано, что Гитлер потерял в пограничных сражениях сотни тысяч своих лучших солдат.

А когда Сергей Сергеевич в своих поисках безвестных, затерявшихся в кипени войны героев, в изучении их подвигов дошел до того славного куска героической белорусской земли, где в упорных пограничных боях было пролито столько крови, все это еще было мало известно и совсем не уточнено. В изучении брестской оптимистической трагедии писатель шел не от штабных документов, а от человеческих судеб десятков, сотен участников героических сражений, живых и мертвых. Иные из них числились пропавшими без вести, иные оставались вовсе неизвестными.

Не считаясь со временем, старательно распутывал Смирнов военные судьбы защитников Бреста, разговаривал и переписывался с десятками, нет, с сотнями людей. В общениях те, чьи судьбы он исследовал, становились его активными помощниками. Происходила как бы цепная реакция. Каждое вновь открытое имя, каждый вновь исследованный подвиг открывали путь к новым героям и новым подвигам. В благородной работе этой писатель уподоблялся энтузиасту реставратору, который по кусочкам, по сохранившимся штрихам восстанавливает великолепную и, казалось бы, утерянную для будущего фреску. По небогатым архивным данным, по отдельным утерянным и вновь отысканным документам, по отрывочным воспоминаниям, по отрывкам старых солдатских писем, хранящимся у их вдов, он постепенно, одну за другой, восстанавливал детали картин беспримерной обороны брестских редутов, яростных боев, которые вел гарнизон и люди которого продолжали сопротивление уже в глубоком тылу неприятельских дивизий.

В результате этих объединенных усилий писателя и тех, чьи судьбы он изучал и исследовал, и возникла книга «Брестская крепость» — одна из самых волнующих книг в советской литературе, посвященных Великой Отечественной войне. Познакомившись с этой книгой, любой читатель — и убеленный сединами воин, и его внук, а может, уже и правнук — скажет: вот это были люди! И еще скажут: да, действительно, никто не забыт и ничто не забыто.

С какой тщательностью Сергей Сергеевич вел исследование судеб героев своих будущих книг, телефильмов, пьес, мне раскрыл такой случай. В Чехословакии праздновалось тридцатилетие знаменитого Словацкого национального восстания. Меня как участника этого восстания пригласили на празднество в город Банска-Бистрицу, считавшуюся повстанческой столицей. Нас с женой поселили в доме в горах, на берегу шумного горного ручья, по стечению обстоятельств находящемся километрах в двух от места, где когда-то я неудачно приземлился, участвуя в парашютном десанте.

В горном домике этом мы оказались соседями с делегациями двух городов-побратимов Банска-Бистрицы — болгарского города Михайловграда и нашей Тулы. Тульскую делегацию возглавлял секретарь горкома Виктор Александрович Пастухов — деятельный, веселый, очень общительный человек. Мы с ним подружились, а в по-

следний день перед расставанием он подошел ко мне и вдруг сказал:

— А ведь мы с вами старые знакомые. Вам ничего не напоминает моя фамилия Пастухов?.. А ведь вы и Сергей Сергеевич Смирнов когда-то писали обо мне, каждый в свою газету. Ну-ка, вспомните: Корсунь-Шевченковская операция, Сталинград на Днепре. Бои на кольце окружения, эшелон машин со снарядами, застрявший на переправе в грязи...

И я вспомнил: Пастухов. Лейтенант Виктор Пастухов. Вспомнил всю довольно известную на Втором Украинском фронте историю. Действительно, это был тот самый энергичный лейтенант, который в острый час, когда окруженная группировка пыталась вырваться из кольца, вел группу автомашин со снарядами на самое узкое место окружения. Его машины завязли в разлившемся ручье. Лейтенант остановил быстро идущий танк и категорически потребовал, чтобы танкисты стальным тросом перетянули машины через грязь. Человек в танкистском комбинезоне, стоявший в башне, приказал лейтенанту немедленно очистить путь — некогда, дорога минута. И скомандовал танкисту двигаться. Танк попытался обойти застрявшую колонну. Лейтенант и его шоферы легли в грязь, преграждая путь танку: давите нас, не пропустим. Ребята, слышите, на кольце последние снаряды дострeливают...

И тогда человек, которого лейтенант принимал за танкиста, вылез из башни и приказал танкистам протянуть трос. А потом лейтенант узнал, что танкист этот — командующий фронтом, генерал Конев. Узнал, испугался, подбежал к командующему и попытался объясниться:

— Товарищ командующий фронтом, лейтенант Пастухов...

Но тут его прервали:

— Правильно поступили, товарищ старший лейтенант Пастухов. Действия ваши одобряю.

Так вот на погоне юного офицера появилась еще одна звездочка.

Вот что я вспомнил, беседуя с секретарем Тульского горкома партии в лесном домике в словацких горах. И еще вспомнил, как однажды ко мне в Москве позвонил человек, рекомендовавшийся писателем Смирновым. Сказал, что пишет о Корсунь-Шевченковском сражении и что хочет кое-что у меня уточнить. А через час ко мне

вошел высокий, плечистый человек с крупным, таким русским лицом, с умными, добрыми глазами.

— Сергей Смирнов. Нас, Смирновых, в Союзе писателей много, так, если удобно, Сергей Сергеевич.

Так мы с ним и познакомились. В Корсунь-Шевченковской операции он участвовал с начала до конца, и вот сейчас, когда он писал о ней, пришел для того, чтобы уточнить эпизод с Пастуховым на берегу разлившегося ручья. Пастухова я сам видел, говорил с ним, а вот он, Смирнов, не видел и не говорил, и где сейчас Пастухов, не знает, хочет узнать, каков он, какой возраст, какой цвет волос.

— И это точно, что командующий, суровый, волевой, вспыльчивый Конев, приказал своим танкистам перетаскивать через грязь машины с боеприпасами и что тут же повысил Пастухова в звании?

...Удивительно... Замечательно. И как этот эпизод рисует и Конева, и саму атмосферу Корсунь-Шевченковского сражения... Как солнце, отраженное в капле росы, извините за банальное сравнение.

Словом, в тот час Сергей Сергеевич со свойственной ему энергией шел по пятам своего очередного героя и был захвачен восстановлением картины давно минувшего события.

Очень, ну очень он мне тогда понравился, неожиданный мой гость. Предложил ему по-старому, по-фронтовому выпить для знакомства. Не отказался, но предупредил:

— Только ворошиловскую дозу — сто граммов — не больше. Ведь я ненадолго удрал с работы.

В те дни он работал в журнале «Новый мир». С тех пор, с того самого случая, я с интересом наблюдал за всем, что выходило из-под пера Сергея Сергеевича. За его книгами, кинофильмами, пьесами, ибо по маленькому примеру исследования судьбы лейтенанта Пастухова знал, что все, что он пишет, правда, критически осмысленная, тщательно выверенная, добротная. Крепко запомнился мне его вопрос: а каков он был, этот Пастухов, возраст, цвет волос?

Когда теперь вот думаешь о жизни, о деятельности, о творчестве Сергея Сергеевича, жизни, целиком посвященной неутомимым поискам и изучению героических биографий советских людей — живых и умерших, вспоминаешь о его телевизионных передачах, никогда не казенных и сухих, всегда взволнованных, рождающихся тут

же, на глазах зрителей, в беседах интервьюера с интервьюируемым, вспоминаешь о его выступлениях на литературных собраниях, никогда не читаемых по заранее написанному тексту, но всегда продуманных и значительных, вспоминаешь, как этот высокий, массивный человек, свободно стоя на любой трибуне, перед любыми слушателями, никогда не докладывал, а всегда беседовал, рассказывал, делился мыслями, радостями, сомнениями, огорчениями,— вспоминая все это, всегда чувствуешь: это был человек для людей. Чужому успеху он умел радоваться как своему, а порой казалось — даже больше, чем своему.

Помню, остановил меня на улице. Только что прилетел из Италии, где встречался с нашими общими знакомыми. Это был день его торжества. Его немалые труды увенчались успехом. Ему удалось восстановить истинное имя и подлинный адрес советского воина и итальянского партизана Федора Полетаева, героически погибшего в сражении в Альпах.

...— Здорово, очень здорово получилось. Еще одного настоящего человека нашел. Чувствую, что не зря живу на белом свете, не зря.

Он весь сиял. Он радовался, как ребенок, этот большой, массивный, уже не молодой человек, которого друзья и товарищи называли между собой Смирнов-Брестский. Не понапрасну называли. Он в своих бесхитростных книгах одержал одну из самых необычных и славных побед в нашей военной литературе.

ГОЛОС АМЕРИКИ

Однажды, в самый разгар «холодной войны», в столичном пресс-клубе Соединенных Штатов нам, советским журналистам, в откровенной, неофициальной обстановке, за стаканом коктейля со звонким названием «Кровавая Мэри», довелось спорить с группой американских коллег о разном понимании слов «свобода» и «демократия» у нас и на Западе.

Джозефа Маккарти уже не было в живых, но дух «свирепого Джо» еще бродил по стране, кладя на всю ее жизнь весьма ощутимые тени. И хотя, кроме спорящих, в помещении бара никого не было, чувствовалось: собеседники разговаривают с оглядкой.

За несколько дней до этого я посетил своего друга Поля Робсона у него в гарлемской квартире. Летом он был болен, и его сбережения ушли в карманы врачей. Все, что он имел, было вывезено за долги. Из обстановки в квартире оставались лишь старый холодильник, маленький письменный стол, кресло, из сиденья которого торчала мочала, да тахта, на которой Поль и лежал, так как еще не оправился после операции. В те дни блокада его, начатая маккартистами, достигла своей кульминации. Знаменитый певец, когда-то получавший за концерт по несколько тысяч долларов, не мог петь даже бесплатно в негритянских церквах. Семья жила на заработок его жены Эсланды, писавшей корреспонденции в маленькие негритянские газеты... И вот в споре я привел этот пример:

— Это демократия? Свобода человеческой личности? Свобода слова?

Собеседники были недурными полемистами и за словом в карман не лазили. Но тут наступило тягостное молчание.

— Все это, конечно, страшное свинство,— произнес наконец один из них.

— Да, Робсон... Это совсем особый случай... За это нам приходится краснеть перед целым светом,— угрюмо сказал другой.

— Будем надеяться, что все переменится... И чем скорей, тем лучше,— добавил третий.

Повторяю, дух «свирепого Джо» еще бродил по Америке. Говорить такие слова, да еще в присутствии «красных», для репутации сотрудника буржуазной газеты было небезопасно. И все-таки среди тех, кто был в баре, не нашлось человека, который взялся бы защищать или оправдывать меры, принятые против великого певца, или сказал бы о нем худое слово...

И в самом деле, вряд ли найдется в современных Соединенных Штатах человек такой удивительной биографии и такой полной превратностей судьбы, как Поль Робсон.

Правнук одного из героев борьбы за независимость Соединенных Штатов, знаменитого, пекаря Сайруса Бастилла, Поль — сын бывшего раба. Отец его — Уильям Дрю Робсон — в юности был рабом на плантациях Юга и бежал оттуда на Север, мечтая стать свободным человеком и получить образование. И он действительно его получил и стал священником в маленькой негритянской

церкви. Скромный священник всегда внушал прихожанам, и прежде всего своим сыновьям, что негр во всех отношениях равен белому человеку. Братья Робсоны в ранней юности поклялись друг другу всей жизнью своей доказать, что это так, и добиваться этого.

Но история самой семьи Робсонов с трагической неопровержимостью показывает, что эта элементарнейшая истина гуманизма в Соединенных Штатах, увы, является крамольной. Отец певца, преподобный Уильям Робсон, возглашавший эту истину с амвона, в конце концов был лишен прихода и долгое время добывал себе пропитание тем, что работал ломовым извозчиком и был сборщиком золы. Старшего брата, Билла, в семье считали светлой головой. Он отлично учился в школе, но ректор Принстонского университета Вудро Вильсон, который, став потом президентом США, рекламировался как «адвокат демократии во всем мире», отказал Биллу в приеме в университет из-за цвета его кожи. Потом, работая проводником на железной дороге, Билл занимался самообразованием. Второй брат, Рив, уже и не пытался добраться до университета. Он стал возчиком. Это был гигант, отстаивавший свое человеческое достоинство не столько философскими доводами и юридическими аргументами, сколько огромными кулаками, которых побаивались расиствующие молодчики. Третий брат, Бенджамин, пошел по пути отца. В дни нашего с Полем свидания он был священником в негритянской церкви Пресвятой богоматери в Гарлеме.

Младший среди братьев, Поль, с детских лет поражал окружающих своими исключительными и многообразными способностями. Он был одним из трех первых студентов-негров, которым удалось добиться в Америке государственной стипендии. Он отлично учился по всем предметам, был превосходным оратором. Студенты избрали его председателем своего дискуссионного клуба. Но преуспевал он не только в науках. Он стал одним из лучших бейсболистов Соединенных Штатов. И особенно отличался на ринге как боксер. Спортивные предприниматели сулили ему богатство, если он согласится стать профессиональным боксером. Но еще больше, чем спортом, блестящий студент Колумбийского университета увлекался сценой. Продолжая учиться, он стал одним из ведущих актеров экспериментальной театральной труппы, начал исполнять народные негритянские песни и исполнял их с таким мастерством, с такой глубиной и с такой силой,

что впоследствии концерты его превращались в сенсационное событие не только на родине, в Соединенных Штатах, но и в Англии, куда он переехал на временное жительство в тридцатые годы.

Все творчество Робсона корнями уходит в народные толщи, питается соками жизни и как бы выкристаллизовывает в себе то бесценное, что веками создавал, копил талантливый, веселый, певучий, жизнерадостный и несчастный негритянский народ. Могучий голос необыкновенно широкого диапазона, удивительного звучания сочетается у него с незаурядным даром трагического актера. Робсон покоряет слушателей одновременно и силою голоса, и редкостным мастерством игры.

Слава Робсона-вокалиста, Робсона — драматического актера, Робсона — исполнителя негритянских песен увеличивалась, как ком снега, сорвавшийся в весенний день с нагретого солнцем горного склона и вырастающий в буйную, могучую лавину.

Но это не вскружило голову молодому тогда артисту. Потомок славного Сайруса Бастилла, сын раба, непримиримый враг колониализма, этого отвратительнейшего пережитка минувших веков, он через африканских студентов, обучавшихся в Англии, укрепляет духовную связь с родиной своих предков, с порабощенными народами Африки. Он встречается и заводит дружбу с индийскими борцами за освобождение. В годы борьбы испанского народа с фашизмом он устремляется в Испанию. И чем больше втягивается Робсон в борьбу за действительное равноправие негров в Соединенных Штатах, тем бо́льшую ярость вызывает в нем колониальное угнетение вообще, тем чаще, тем пристальнее взор его обращается к Советской стране, где коммунисты создали небывалое еще в мире братское содружество больших и малых народов.

В 1934 году Робсон приезжает к нам и, вернувшись из гастрольной поездки в западный мир, заявляет, что в Советском Союзе он «...впервые ходил по земле с подлинным чувством человеческого достоинства».

Поль Робсон знает нашу страну не понаслышке. Во время поездок по ней он не только пел — он встречался со множеством советских людей разных профессий. Он разговаривал с рабочими в цехах, сердечно беседовал с артистами, писателями, общественными деятелями, изучал наши порядки. И именно то, что он увидел у нас своими умными, проницательными глазами, само наше

социалистическое бытие сделало его другом Советского Союза, другом советских людей.

Из Европы он возвращался на родину в конце тридцатых годов как триумфатор. С успехом выступает с самых больших эстрад. Тысячи и тысячи рабочих проделывают порой сотни километров для того, чтобы послушать его пение, побеседовать с Большим Полем, как они называют его. Напетые им пластинки раскупаются нарасхват. Владельцы радиокомпаний считают весьма выгодным включать его выступления в программы концертов. Большой Поль — любимый гость в индустриальных городах, на рабочих окраинах. Но... всегда это «но», которое так мешает жить простым людям в капиталистическом мире.

Был когда-то в Соединенных Штатах некий конгрессмен по имени Джим Кроу. После опубликования проекта закона об освобождении негров он тут же яростно выступил с требованием изолировать их в принудительном порядке. Это был такой свирепый мракобес, что все отвратительные проявления расизма в Соединенных Штатах и поныне зовут системой Джима Кроу, а в просторечии, для краткости, и просто Джим Кроу. Так вот, во время войны, когда тысячи и тысячи негров храбро сражались в рядах армии Соединенных Штатов, Джим Кроу притих. Но кончилась война, негры-солдаты сняли форму, и он снова поднял голову. Мог ли он стерпеть, чтобы в Соединенных Штатах жил негр, пользующийся в стране такой огромной популярностью и авторитетом? Мог ли он допустить, что могучий голос американского негра звучит по всему миру, разоблачая колониализм, отвратительный расизм, существующий на Юге США, зовя народы к взаимопониманию, к миру во всем мире?

Поля Робсона пробуют купить. Ему сулят «золотые контракты», «золотые диски», но лишь людишки вроде Говарда Фаста, годами скрывавшие свою душу иуды, способны за тридцать сребреников в твердой валюте продать свой талант, свои былые убеждения, предать свои книги и людей, которых они называли друзьями. Поль Робсон гордо отверг все посулы. Он пренебрег богатством, чтобы остаться борцом среди борцов.

Ему советуют в самом сочувственном тоне: дескать, желая вам добра, хотим предупредить, что вы можете дорого заплатить за свое упрямство.

Потомок славного борца за независимость Америки на эти угрозы гордо отвечает:

— Не пугайте. Нет.

Тогда Джим Кроу, облеченный на этот раз полномочиями чиновника госдепартамента, запретил ему выезд за границу. Впрочем, нет, не запретил. В Северной Америке не выносят слово «запрещать». Ему отказали выдать заграничный паспорт. Одна из крупнейших западных киностудий приглашает Поля Робсона сниматься в фильме — отказ; всемирно известное гастрольное бюро предлагает совершить турне по Европе — отказ; избирают на Всемирный конгресс сторонников мира, одним из учредителей движения которых он является,— отказ.

Артист до мозга костей, видящий смысл жизни в том, чтобы щедро отдавать людям свой редкий дар, свое искусство, он из писем и телефонных звонков знает, как ждут его во всех странах. Он вновь идет в госдепартамент. Ссылается на конституцию, на американские традиции. Джим Кроу вежливо улыбается: конституция, традиции — все это, конечно, так. Пусть мистер Робсон изменит убеждения, отмежуется от друзей, откажется от своих выступлений в защиту мира, против колониализма, против расовой дискриминации, тогда двери во все страны откроются перед ним.

Снова звучит могучее: нет!

Ах, так, упорствуете? И эстрады на родине одна за другой закрываются перед ним. И опять не произносится слово «запрещено». Просто Джим Кроу делает так, что предоставлять концертные помещения для Поля Робсона становится небезопасным для их владельцев. После знаменитого концерта в Пикскилле, где куклуксклановцы пытались линчевать певца, даже профсоюзы боятся приглашать его. И вот один из величайших артистов, которому гастрольные бюро предлагают выгоднейшие контракты, вынужден постепенно расстаться с тем, что было нажито в лучшие времена. Робсоны продают домик, отказываются от машины. Джим Кроу посмеивается:

— Уж мы тебя доконаем!

Лишенный возможности петь, артист задыхается. Чтобы не дать своим мучителям похоронить голос, он выступает по воскресеньям в маленькой негритянской церкви в Гарлеме. Ее прихожане — грузчики, лифтеры, ночные уборщики, чистильщики сапог — бедные люди. Они не могут оплатить концерт. Но зато какие это благодарные, музыкальные, отзывчивые слушатели. С откровенным простодушием они благоговейно плачут, слушая, как Большой Поль поет им псалмы, знаменитые спири-

чуэлс — негритянские народные песни на библейские темы, песни мира.

Но Джим Кроу проникает и сюда. На этот раз в виде агента страховой компании.

— У вас, кажется, поет Робсон? — спрашивает он руководителей религиозной общины.— Да, да, конечно, церковь — дом божий, нельзя вмешиваться в церковные дела. Но я, к сожалению, должен предупредить вас, господа, что если этот парень будет продолжать у вас петь, страховая компания будет вынуждена погасить ваш полис. Ведь церковь в любую минуту могут поджечь, а компания не хочет рисковать своими денежками.

Так душат великого певца за его убеждения люди, которые, вероятно, очень любят поболтать о свободе творчества, о демократии, об отсутствии цензуры.

В Римской империи неугодных прибивали гвоздями к крестам. В древней Японии их клали на землю и давали росткам бамбука прорастать сквозь их тело. Египетские фараоны приказывали опрокидывать на грудь инакомыслящих людей горшок, под который сажали живую крысу, и та, ищя себе выход, прогрызала их тело. Джим Кроу придумал для великого певца пытку куда изощреннее,— пытку молчанием.

— Меняй убеждения или хорони голос и умирай для искусства.

Но и это не сломило Робсона. Он не отказался ни от своих убеждений, ни от своих симпатий, ни от своих друзей, ни от своей борьбы. Мы первый раз были в гостях в его гарлемской квартире на исходе 1955 года, когда великий певец с трудом находил возможность выступать уже и в церквах. Он был похож на прикованного Прометея, Поль Робсон. Злые вóроны терзали его грудь, но дух его оставался воинствен и крепок...

Я познакомился с ним в Москве задолго до этой встречи, мы писали друг другу. Теперь я жадно наблюдал его. Нет, вóроны не сломили его волю. По-прежнему поражало в нем это сочетание физической силы с мягкостью движений, громадный, рокочущий даже в обычном разговоре бас, рокочущий, я бы сказал, с застенчивой деликатностью. В карих глазах, которые светлее кожи лица, как и всегда, жил мягкий юмор, светились доброта, благожелательность.

— Да, они надругались над американской конституцией, над законами Томаса Джефферсона, но они ничего не добились и не добьются. Во всем мире и в особенности

у вас, в Советском Союзе, у меня столько друзей, что я никогда не чувствую себя одиноким,— рассказывал он.— Вот и теперь я только что вернулся из госпиталя и, как видите, еще слаб. И вдруг утром телефонный звонок. Тоненький голосок по-русски: «Дядя Павел, мы слышали, что вы были больны, и очень беспокоимся. Как ваше здоровье?»

«Кто это говорит?..» Оказывается, по поручению своих школьных подруг звонит девочка. Откуда бы вы думали? Из Алма-Аты. Я посмотрел на глобус — это было на противоположной стороне земного шара... И еще вот,— он показал на груду писем, громоздящуюся у него на столе, писем, которые он еще не успел распечатать...

В этот день мне предстояло выполнить одну необыкновенную миссию. Мы привезли ему подарок — перстень, в который вместо драгоценного камня вмонтирован осколочек от снаряда, подобранный в Сталинграде, на Мамаевом кургане.

У перстня этого была своя история. Когда участники Сталинградской обороны собрались по случаю десятилетия великой победы на Волге, некоторым из них были подарены кольца, изготовленные в одной из воинских частей. Это были своеобразные кольца: вместо камня в них были вделаны маленькие осколки. На обратной стороне кольца была выгравирована фамилия того, кому оно дарилось. После торжественного заседания вечером все собрались в номере у генерала Александра Родимцева, одного из славнейших героев Сталинграда. «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Распевали любимую когда-то в обороне песню «Дует теплый ветер, замело дороги...» и на стареньком патефоне, выпрошенном у портье, крутили пластинки. Среди них были две напетые Полем Робсоном. Это были, как сейчас помню, «Миссисипи» и «Песня мира».

От песен этих разговор перекинулся к самому певцу, к его самоотверженной борьбе за мир. Кто-кто, а солдаты Сталинграда знали, что такое героизм. И тут один из них, этот самый генерал Родимцев, о котором написаны и книги, и песни, вдруг предложил сделать такое же солдатское кольцо для Поля Робсона. Мысль понравилась.

Кольцо было сделано, но долго не знали, как отправить его далекому адресату.

Прошли годы, и вот наконец оно вручено по принадлежности.

— «П. В. Робсону,— сталинградцу США»,— читает певец по-русски надпись.— Пе Ве... Поль Вильямыч? Да?

— Нет, Павел Васильевич — так по-русски.

Странно видеть широкое лицо этого богатыря таким взволнованным, даже растерянным.

— Сталинградцу! — повторяет он, и огромный его голосище даже звенит.

Он бережно берет это кольцо, которое свободно болтается у меня на большом пальце, и с трудом надевает на мизинец, отставив руку, на которой теперь белеет заветный перстень, долго смотрит на него. Потом, отвернувшись, долго роется в кармане, достает белоснежный носовой платок и старательно сморкается, издавая трубный звук...

А потом мы узнали от него, насколько велика любовь людей всех стран к певцу и как изобретательны слушатели, желающие во что бы то ни стало встретиться с артистом.

Профсоюзы канадских горняков и металлургов пригласили Робсона дать для их членов большой открытый концерт. Как известно, американцы ездят в Канаду вообще без паспортов и виз. Но Робсона не пустили.

— Хорошо — сказали горняки и металлурги,— раз певцу не дают попасть к своим слушателям, слушатели сами придут к нему.

И вот в воскресный день тридцать тысяч канадских рабочих с женами, с детьми, со стариками съезжаются к границе. Немало и американских рабочих из близлежащих штатов приезжает на этот необычный концерт. И вот, не переступая границы, Робсон поет для тысяч канадских и американских тружеников, оставляя с носом рассвирепевшего Джима Кроу...

Шахтеры горняцкого района Великобритании Уэльса, валийцы, как известно, слывут большими любителями пения. По их инициативе был организован концерт Поля Робсона, концерт... по телефону.

И писателю-фантасту Герберту Уэллсу, любившему заглядывать в далекое и близкое будущее, не пришел бы в голову такой удивительный способ выражения пролетарской солидарности, какой придумали горняки-валийцы.

В один из майских дней 1957 года по шахтерским поселкам Уэльса были расклеены афиши, извещавшие, что Поль Робсон даст концерт в одном из крупнейших залов Лондона. Билеты были мгновенно раскуплены. В назна-

ченный день любители пения двинулись в столицу Великобритании в автобусах, грузовиках, поездах.

В зале на занавесе висел портрет Поля Робсона. Когда публика собралась, устроители пояснили, что певец не получил визы на выезд, но концерт тем не менее состоится. На определенные часы за огромные деньги откуплен провод атлантического телефона. Он будет работать в оба конца. Зрители услышат певца, который будет петь для них не выходя из своего дома. Певец услышит аплодисменты, раздающиеся в Лондоне и ему адресованные. И этот единственный в своем роде концерт состоялся и прошел с успехом. Робсон по обыкновению своему перемежал вокал беседами со слушателями. Из Лондона за океан неслись такие аплодисменты, какие, может быть, Поль и не слыхал до этого.

А потом, в заключение, рабочий хор шахтеров исполнил специально для Робсона сочиненную и разученную к этому дню песню, в которой были слова:

Сердечность и радушие встретишь ты в долине,
Когда вновь приедешь в наш Уэльс.

Концерт был записан. По записи изготовили долгоиграющую пластинку. Она так и называется «Атлантический концерт». Ее продавали по очень высокой цене, но она быстро была раскуплена. С этой пластинки звучат не только голоса американского певца и английского конферансье, но и техников, обеспечивших телефонную передачу...

Джиму Кроу не удалось заткнуть рот Полю Робсону. По всему миру, и в особенности через радиостанции Советского Союза, Чехословакии и других социалистических стран, продолжал звучать его голос. Во многих странах развертывалось движение под лозунгом: «Дайте Полю Робсону петь!» В нем участвовали шахтеры и парламентарии, сенаторы и чистильщики сапог.

— Не позорьте Америку, дайте Робсону заграничный паспорт,— требовали они.

Это движение нашло отклик и в самой Америке, в Америке Линкольна и Джефферсона, которую не убили ни антирабочие законы, ни комиссии по расследованию, которую не лишила разума история «холодной войны». Американская интеллигенция осуждала «пытку молчанием», придуманную маккартистами для великого певца.

С помощью друзей во всем мире, при поддержке своих прогрессивных сограждан Поль Робсон выиграл

этот решающий раунд своего поединка с Джимом Кроу. Эстрады и концертные залы вновь открылись перед ним. Газеты, иногда даже на первых страницах, под огромными заголовками описывали его концерты:

«Поль Робсон снова поет, веселый, вдохновенный, могучий».

«Самый сенсационный концерт последнего десятилетия».

«Поль Робсон: я доволен, разум победил».

«Билеты — предмет бешеной спекуляции».

В дни этих триумфальных гастролей я снова находился в Америке, на этот раз с группой друзей — ветеранов второй мировой войны. Мы были гостями американских ветеранов, которым когда-то жали руки на реке Эльбе. Это были славные, сердечные парни. Они знали наше отношение к Робсону, и мы каждый день находили возле своих дверей газеты, на которых чья-то дружеская рука подчеркивала такие заголовки.

После одного особенно шумного концерта, данного, кажется, в Филадельфии, мы послали Полю поздравление с успехом. И вдруг телеграмма: «Приветствую вас у себя на родине. Обнимаю. Обязательно увидимся. Поль».

И действительно, он нашел возможным прервать свою гастрольную поездку и из Чикаго, после дневного концерта, вылетел в Нью-Йорк. В гости к нему мы выехали, когда небоскребы самого большого города мира уже ослепли, улицы были пусты, тишина на них нарушалась лишь ревом сирен полицейских и пожарных машин, а из вправленных в асфальт решеток валил пар — это шахты метро очищали свои легкие. В Гарлеме спать ложатся позднее. Здесь возле баров и кабачков еще толпились люди, звучали возбужденные голоса, слышалась музыка.

Но на окраине Гарлема, в доме, к которому мы подъехали уже в час ночи, была освещена лишь одна квартира. Двери ее, на английский манер, выходили прямо на улицу. Массивная дверь открылась прежде, чем мы успели дернуть ручку старинного звонка. Мы увидели атлетическую фигуру Поля Робсона-младшего, которого дома зовут Павликом. Широко улыбаясь, он частил по-московски:

— Привет, привет!

У него за спиной вырисовывалась массивная фигура Поля-старшего. Протягивая огромную свою руку, он рокотал:

— Добро пожаловать!

Если когда-то прежняя квартира Робсона поразила нас пустотой, то новая, несмотря на высоту потолков и размеры комнат, казалась тесной — столько в ней было нагромождено книг, афиш, газет, всяческих артистических сувениров. Оба Поля сложили на пол книги и газеты и освободили таким образом для нас диван и кресла.

— Добро пожаловать, дорогие москвичи,— снова пророкотал хозяин дома, и пока его сын откупоривал виски и бутылочки с газированной водой, пока разливал все это по стаканам и бросал в них скользкие кубики льда, Поль засыпал нас вопросами о Москве, о «наших», как он говорил, «советских новостях», о театральных и оперных премьерах...

Огромный, грузный, в широких, свободных брюках и белоснежной рубашке с расстегнутым воротом, с закатанными рукавами, он действительно напоминал боксера, который ненадолго сошел с ринга, чтобы пожать руку друзьям, прежде чем ринуться в новую схватку. Он был в ударе, шутил, смеялся, пел и негритянские, и ковбойские, и наши, советские песни, проделывал некий акустический опыт — брал какую-то очень низкую ноту и заставлял откликаться на нее отчетливо слышным дребезжанием надтреснутое зеркало и, очень довольный этим, смеялся, смеялся, как ребенок, раскачиваясь, хлопая себя по колену, вытирая слезы.

Когда мы прощались, он подарил нам по экземпляру своей книги. На моем экземпляре была надпись: «...С любовью от живущего надеждой на скорую встречу в Москве П. Робсона».

Уже потом я прочел эту книгу в русском переводе. Это книга-исповедь, книга-кредо. И когда, год спустя, я читал ее, воображение легко воссоздавало такую картину.

Ночь. Знакомая нам квартира в Гарлеме, из окон которой видны освещенные луной нью-йоркские небоскребы. Робсон на миг отодвинул работу. «...Я отрываю взгляд от стола,— пишет он,— смотрю через высокие окна своей комнаты на небо над Гарлемом и задумываюсь еще над одним чудесным знамением нашего времени. Там, высоко в небе, где мерцают звезды, с удивлением рассматриваю двух новорожденных младенцев матери Земли — две маленькие луны, сделанные руками человека и весело летающие вокруг Земли. И я снова улыбаюсь от сознания того, что где-то высоко над головой проносятся спутники, утверждающие великую истину: нет таких высот, которых бы не достигло человечество!

И я думаю о своих друзьях, о людях Советского Союза, руки и мозг которых сотворили это чудо, открывающее человеку безграничные просторы космоса».

И, смотря на спутники, этот большой черный человек восклицает:

«Привет тебе, маленький спутник! Миллион благодарностей за то послание, которое получил от тебя мой народ! Я уверен, что ты принесешь нам много добра.

Мир! Да, это самое главное. Если будет обеспечен мир, расцветут все народы и ра́сы».

КРЕЩЕННЫЙ АРКТИКОЙ

В дни моей молодости у советских людей было повальное увлечение Арктикой. Во многих квартирах людей самых прозаических профессий на стене висели карты полярных бассейнов, на которых флажками отмечалось продвижение наших знаменитых ледоколов. Слова «торосы», «ропаки», «разводья» звучали даже чаще, чем сейчас хоккейные термины в разгар сезона. Мальчишки играли в моряков и полярников, и в каждом дворе были свои Отто Шмидт и Василий Молоков. Девочку, родившуюся во льдах Карского моря, назвали Кариной. Родители даже в самых южных широтах нашей страны стали называть своих малышек этим же именем.

Телевидения тогда не было, но печать и радио ежедневно сообщали об оптимистической трагедии «Челюскина», развертывающейся в краю вечных льдов, и сообщения эти находили горячий отклик в сердцах нашего героического народа. В экспедиции оказались и свои фотографы, и свой кинооператор, так что в иллюстративных материалах недостатка не было. И все же по-настоящему я смог представить, даже почувствовать обстановку, героев и рядовых людей этой арктической эпопеи, когда малое время спустя в газетах и журналах стали публиковаться рисунки тогда еще никому не известного художника Федора Решетникова. Своеобразные, беглые, торопливые рисунки, носящие следы композиционной незавершенности, которые, однако, всем строем и духом своим, точкой зрения художника красноречивее рассказывали об обстановке ледовой эпопеи, даже ярче, чем хроникальные фильмы, которые в те дни демонстрировались перед сеансами.

И был во всех этих рисунках, в общем-то разных, с разных позиций показывающих людей и события, общий для них всех милый, умный, добрый юмор. И через все эти рисунки, вместе взятые, на зрителя как бы смотрело лицо автора, человека сильной воли, большой внутренней дисциплины, умеющего с доброй усмешкой переносить опасности и трудности, с улыбкой рассказывать о тяжелейшем быте ледового поселка, о героических делах товарищей, участником которых он, художник, был.

Так шагнул, и уверенно шагнул, в большое искусство молодой художник Федор Решетников, имя которого сразу стало известно широким зрителям.

В провинциальных журналистских кругах, в которых я тогда вращался, по поводу автора этих рисунков строились всяческие догадки. Кто же такой он, этот самый Решетников? Откуда он взялся на «Челюскине»? Как сумел попасть в состав полярных экспедиций? Ведь ввиду огромного числа желающих в них участвовать этот состав процеживался через самое тонкое сито. Долго, очень долго жила версия о том, что какой-то сверхталантливый беспризорник зарылся в угольный бункер и обнаружился только тогда, когда судно уже шло по холодному морю и высадить его оказалось невозможным. Такая версия просочилась в свое время даже в печать и частично живет и в наши дни, когда Федор Павлович Решетников широко известен и у нас, и за рубежом, обременен почетнейшими званиями и наградами, стал признанным мастером.

Впрочем, в романтической версии этой имеется крупица истины. Решетников никогда не был беспризорником. Сын иконописца, он с детства проявлял интерес к искусству отца, к кистям, к краскам и к тому, как под рукой скромного сельского богомаза в облачениях апостолов и великомучеников появлялись его соседи и односельчане. С детства Федор узнал, что такое труд, и до того, как попал в Москву, на рабфак искусства, успел побывать в малярах, столярах, чернорабочих, поработать на шахте, пописать декорации для клубных сцен. Но он не забывал о живописи, к которой инстинктивно тянулся с детства, и в фанерном чемоданчике, заключавшем все его имущество, всегда были кисти и краски, готовые к употреблению.

На вступительный экзамен он захватил с собой свою скульптуру «Шахтер», и «Шахтер» этот, слепленный с натуры, сыграл решающую роль в судьбе молодого чело-

века, устремившегося с шахты в большое искусство. На рабфак он был принят, успешно его окончил, а потом перешел в столь славно известный теперь ВХУТЕМАС, который в те дни заканчивали многие современные корифеи. Жизнь в этом учебном заведении била ключом. Вхутемасовцы жили весело, с шутками, со смехом, и стенная газета, выходившая там, играла весьма почетную воспитательную роль. Студенты соревновались в ней в веселом, озорном остроумии. Среди активистов этой газеты был и Решетников, где ему приходилось конкурировать в искусстве карикатуры и шаржа со старшекурсниками — Кукрыниксами и Каневским.

И как впоследствии помогло художнику это увлечение веселой стенгазетой!

Я уже написал, что в те дни страна жила арктическими делами. Захватило это увлечение и Решетникова. Предприимчивый студент третьего курса, имеющий за спиной уже немалый трудовой стаж в весьма нелегких профессиях, решил во что бы то ни стало попасть в одну из таких экспедиций. Но как? Друзьям его это казалось таким же трудным, как, скажем, мечта погладить лысину луне.

В те дни в Мурманске готовился к отплытию в свой знаменитый впоследствии рейс ледокол «Сибиряков». Желающим попасть в этот рейс не было числа. Сотни заявлений от опытнейших моряков и полярников. Из них, так сказать, «полярный морской волк» капитан Воронин и будущий начальник экспедиции Отто Шмидт самолично отбирали команду и формировали состав экспедиции. Решетникову, который явился к ним и весьма энергично защищал свое право поехать, разумеется, отказали. Тогда студент решил с помощью приятеля, зачисленного в состав экспедиции, проникнуть зайцем на корабль, скрыться среди грузов и объявиться лишь где-нибудь в Баренцевом море. Ну, а пока что он терся среди участников экспедиции, команды, знакомился с людьми, наблюдал их, делал зарисовки. Короче говоря, к моменту отплытия он стал уже на корабле своим человеком, полюбившимся людям своими карикатурами, шаржами, шутками.

Из всего этого материала он и соорудил огромную стенную газету. Новые друзья вывесили ее в кают-компании, и получилась она настолько остроумной, что всегда около нее стояла веселая толпа. Единственный ее автор и иллюстратор скромно скрывался где-то за спинами чи-

тающих, со страхом ожидая появления начальника экспедиции. Он знал, Отто Юльевич, как и все умные и большие люди, любит и ценит юмор, и на эту черту и делал свою последнюю ставку.

И вот в каюте появился Шмидт. Подошел к толпе читающих, которая почтительно расступилась, открывая ему проход.

— Что у вас тут такое?

Остановился, стал читать, рассматривать рисунки. Автор стенгазеты стоял ни жив ни мертв: в эти секунды решалась его судьба. И вдруг, покрывая смех и веселые реплики читателей, раздался густой, басовитый хохот. Смеялся легендарный полярник.

— Кто это сделал? — спросил он, стараясь спрятать улыбку в своей исторической бороде.

— Вот он,— сказал кто-то и показал рукой на скромно топтавшегося позади всех Решетникова.

Шмидт сразу нахмурился.

— А, этот... Я же вернул вам ваше заявление. Как вы очутились на корабле, молодой человек?.. Немедленно покиньте судно...

И, сердито закусив ус, Шмидт ушел, непреклонный и строгий. Но стенгазета, карикатуры, шутки уже сделали свое дело. Тут же была сформирована делегация, которая, захватив с собой и стенгазету, и шаржи, не вошедшие в нее, отправилась в каюту грозного начальства. Решетников на этот раз уже не решился переступать порог каюты. Какой там происходил разговор, он не знает, но когда делегаты по одному покидали каюту, они весело подмигивали ему, и на сердце у него полегчало.

Из-за двери кабинета донеслось:

— Решетников, что вы там топчетесь? Прошу вас войти.

Шмидт, мягко ступая в собачьих унтах, шагал по каюте и поглаживал свою знаменитую бороду, что, как всем известно, было хорошим признаком.

— Ну ладно. Так и быть, я оставляю вас на корабле. Библиотекарем. Придумал для вас штатную должность. Только предупреждаю: для чистого искусства на корабле места нет. Все будете делать, во всех авралах участвовать, лед скалывать, уголь грузить. Все. Не пугает?

Потом уже, перейдя со строго командирского тона на дружеский, задумчиво сказал:

— Других ваших человеческих качеств я пока что не знаю, но у вас есть ценнейшая черта —юмор. Юмор —

он в трудном полярном путешествии не менее ценен и важен, чем жизнетворные витамины. Понимаете? Поэтому, только поэтому и зачислил вас в команду...

Так художник Федор Павлович Решетников стал членом двух героических полярных экспедиций и звания свои вполне оправдал. И хотя романтическая версия о начале путешествия в угольном трюме, к сожалению, неверна и ее приходится зачеркнуть, во всем остальном полулегендарные рассказы об этом художнике, умевшем быть на корабле и плотником, и маляром, и грузчиком, умевшем нести в полярной ночи вахты и помогать всем нуждающимся в помощи, а главное — откликаться шуткой, острой карикатурой, шаржем на все события трагических полярных ночей, эти рассказы оказались действительными.

Вот почему беглые зарисовки, сделанные художником иногда на клочках плотной оберточной бумаги, в сумерках полярных ночей, между двух трудных вахт, говорят о полярных эпопеях даже больше, чем довольно многочисленные фотографии. И сила этих рисунков в том светлом, веселом взгляде на жизнь, который потом осветил и согрел все лучшее в весьма уже обширном творчестве этого известного теперь художника.

Вот характеристики этой человеческой черты Федора Решетникова, открытой когда-то О. Ю. Шмидтом, характеристики, которые я беру из записок его друзей по путешествию:

«...Вдруг вся бригада разразилась дружным хохотом: что такое? Да это, улыбаясь, идет наш Решетников, ну конечно же с очередной шуткой»,— вспоминает машинист Ширяев.

«...Он не терял голову ни при каких обстоятельствах. Все хохочут над его карикатурами, и сейчас вот, в трагические минуты, смеются... Федя просто крупица золота среди нас»,— написал участник экспедиции, писатель Семенов.

«...Наш общий любимец Федя Решетников следил за моими руками, когда я входил в связь с Большой Землей»,— записал Эрнст Кренкель.

Да, именно чувство юмора, которое, по меткому замечанию О. Ю. Шмидта, нужно людям, как жизнетворный витамин, излучает все лучшее из того, что создал Федор Решетников. В этом привлекательность его картонов, полотен и скульптур. Да, и скульптур, ибо он, хотя и не часто, прибегает к этому роду искусства и тоже является

в нем мастером. Его скульптурные шаржи и карикатуры — настоящее и большое искусство.

Ну кто в стране не знает таких полотен этого художника, как «Прибыл на каникулы!», «Достали «языка», «Опять двойка!», «За мир». Даже то печальное обстоятельство, что иные из этих картин были перенесены на конфетные коробки, не лишило их обаяния. Обычно такие коммерческие, торговые трюки убивают произведение искусства. Кто не знает судьбы одного из хороших лирических стихотворений, начальная строка которого была использована для рекламы духов, или бедных шишкинских мишек, перенесенных на конфетные обертки, после чего мимо великолепного подлинника в Третьяковской галерее проходишь, даже на него не оглядываясь. Но полотна Решетникова преодолели и этот барьер. Они продолжают пользоваться успехом и среди ветеранов и школьников, заставляя одних с улыбкой вспоминать минувшие дни, других — подумать над днем сегодняшним и завтрашним.

С наибольшей и как бы сконцентрированной силой умная улыбка Решетникова отразилась в его дружеских шаржах на своих коллег и деятелей искусства. Эти шаржи были не раз предметом экспозиций на различных выставках и всегда были среди самых популярных экспонатов. Они, эти очень острые шаржи, может быть, даже сильнее, чем живописные портреты, передают характер, сущность, нутро модели, показывают то, что люди обычно не замечают.

Но Решетников бывает и непримирим, и беспощаден, когда создает такие произведения, как триптих «Тайны абстракционизма» или острое публицистическое полотно «Нет войне!».

Сейчас художник в расцвете творческих сил. Я наблюдал, как он работает над большим полотном, тогда еще не имеющим названия. Это трагическая картина последних минут легендарного корабля «Челюскин». Корабль, судьба которого так волновала людей моего поколения, уходит под лед, и на льду — все те, с кем автор картины пережил когда-то эту трагедию. Все тут — и тема, и колорит, и хмурая арктическая ночь, и краски — необычно для жизнерадостного художника. Какой-то новый Решетников смотрит с этого полотна. Решетников без улыбки, Решетников драматической кисти. Но ведь однозначным художником он никогда и не был. И, наблюдая его работу, мне хотелось от души пожелать этому новому, еще не

известному мне Решетникову увенчать этим полотном все те документальные, полные обаяния рисунки, в которых он рассказал когда-то о ледовой эпопее, об одной из славнейших страниц советской истории.

ВСЕМУ ВОПРЕКИ

Вот уже больше десяти лет прошло с тех пор, как ко мне на стол в редакции «Юность» легла эта странная рукопись. Сотни рассказов, повестей, романов ежегодно проходят через руки редакторов журналов, но такой рукописи, как эта, еще никто не присылал. Она была написана, как казалось, от руки, не очень разборчиво, большие буквы были старательно выведены, а строчки в конце как бы начинали падать вниз. К тому же рукопись эта была явно не молода: бумага пожелтела, обтерхалась по краям, а на заглавной странице рябило несколько редакционных и издательских штампов, говоривших о том, что она, эта рукопись, уже изрядно постранствовала по редакциям и, по всей вероятности, была ими отвергнута.

Признаюсь, все это невольно настраивало против этой неопрятной рукописи, а заодно и ее автора, не потрудившегося привести свое сочинение хотя бы в элементарный порядок. Я отодвинул рукопись в сторону и занялся другими делами, каких в редакциях всегда хватает. Но в конце дня пришел ко мне редактор, ведающий отделом, который мы в шутку называем отделом по борьбе с графоманами. Умный, чуткий человек.

— Ну как, вам не удалось заглянуть в эту тетрадку? Не начали читать?

— И не собираюсь. Кто же в таком виде...— начал было я в агрессивном тоне.

Но мой коллега проявил терпение и упорство.

— А вы попробуйте. Грязно, конечно, но вы прочтите хотя бы несколько страниц, хотя бы первую главу. Не понравится — отложите.

— Но, судя по штемпелям, ее уже смотрели, и не раз смотрели, и, видимо, всюду откладывали.

— Да, и это так. А все-таки попытайтесь. Пожалуйста.

Настойчивость собеседника заинтересовала. Взяв рукопись домой, вечером стал читать и окончил уже под

утро — так с первых же страниц безобразная эта рукопись захватила меня. Да, этот странный, какой-то палкообразный почерк, да, эти пожелтевшие и обтерханные по краям страницы — все это настраивало против автора, мешало чтению. Но сквозь все эти препятствия просвечивало такое яркое и самобытное, такими соками жизни было насыщено это странное произведение, что, перевернув последнюю страницу, я уже был уверен, что столкнулся с оригинальным и необычным дарованием.

Это была повесть. Говорилось в ней о том, как молодой, полный сил шахтер, комсомолец, горный мастер, которому жизнь широко улыбалась, человек, весьма преуспевающий в своей профессии, имеющий на шахте немало друзей, любящий со взаимностью хорошую девушку, мечтающий о свадьбе и о семье, однажды, спустившись в лаву в ночную смену, становится свидетелем подземной аварии, грозившей перерасти в катастрофу. Загораются провода высокого напряжения. Опытный шахтер знает: это грозит взрывом шахты, гибелью многих дорогих ему людей, и, хорошо понимая, чем это грозит ему самому, он бросается на горящий кабель, чтобы разорвать замыкание.

Катастрофа предотвращена, но самого горного мастера товарищи замертво, бездыханного, выносят из лавы и поднимают на-гора́. И вот начинается борьба за жизнь. Борются все — врачи, медицинские сестры, его комсомольские друзья, установившие возле его койки постоянное дежурство, руководители шахты. В этой совместной борьбе его спасают. Крепкий организм шахтера превозмогает последствия страшных ожогов. Жизнь спасена, но обожженные до костей руки приходится отнять чуть ли не по самое плечо.

Автор очень взволнованно передает переживания молодого, сильного человека, на заре большой жизни лишающегося рук. И тут как бы начинается новый раунд борьбы за человека. Очень проникновенно написаны колебания первых дней: жить или не жить? Как жить без рук? Жить в стороне от любой активной деятельности. Жить иждивенцем, не могущим даже держать ложку и вилку за столом. Комсомольские друзья и тут около него, помогают чем могут. Девушка тоже не отвернулась от инвалида. Но имеет ли он право соединять с ней свою судьбу — молодую, красивую, на которую поглядывают чуть ли не все парни поселка, обрекать на роль вечной

сиделки при инвалиде муже? Но она настаивает. Они женятся. Им дают квартиру, помогают обставить ее.

И снова тяжелые раздумья: а дальше? Чем жить? На что жить? И опять, теперь уже вдвоем, дружной, любящей парой, молодые люди и не бросающие их друзья начинают поиски путей возвращения в активную жизнь. В особо трудные минуты, в тяжелых раздумьях, мысленно он обращается к книге Николая Островского «Как закалялась сталь», тем более что автор этого знаменитого романа земляк герою новой повести и жил недалеко от места действия.

Прикованный к койке, полупарализованный, почти ослепший Николай Островский начал писать. Ну что же, жизнь — вот она, рядом. Накопление жизненных впечатлений уже сделано, и сюжеты в голове вертятся, и образы витают. Образы друзей, соседей по лаве приходят к шахтеру по ночам, стучатся в его сердце. Черт возьми, если начать писать, как Островский? Тот, лежа на койке, вслепую писал по своеобразному транспаранту, изобретенному им самим. Но как писать без рук? И вот приходит, казалось бы, совсем невероятная мысль: писать, держа карандаш зубами. Зубы крепкие, глаза хорошие. И, как это ни фантастично, герой повести учится писать таким невероятным способом. Пишет. Мучительно, по нескольку строк в час. Пишет и возвращается в активную жизнь.

Счастливый конец повести, да и сам этот способ писания может показаться совсем невероятным. Но неизвестный автор так здорово, так реально все это изобразил, что каждому слову невольно веришь, а ведь это самое важное для литератора — найти способ заставить читателя поверить в самые невероятные ситуации, им описанные. У жизни ведь богатейшая фантазия.

Когда необыкновенная эта рукопись, перепечатанная и размноженная в машинописных экземплярах, была прочтена сотрудниками редакции, возникли бурные споры: публиковать или нет? Смущал счастливый конец. Он казался невероятным. Этакий кинематографический, ничем не обусловленный хеппи-энд. Среди активных противников публикации был славный наш репортер, отличный в общем-то парень, любивший на летучках гладить и авторов, и редакцию против шерсти остроумными и насмешливыми репликами.

— Ну, кто, кто в это поверит? Ну, интересно написано. Ну, парень, безусловно, способный. Но писать, держа ка-

рандаш зубами? Над нашим же журналом будут смеяться. Хохотать.

— Не будут смеяться. Сколько уже раз в литературе было доказано, что нет границ человеческим возможностям,— отвечали ему.

— Ну, попробуйте кто-нибудь, возьмите в зубы карандаш и хотя бы распишитесь,— отвечал наш славный репортер.— Я пробовал — даже заглавной буквы не написалось.

Я знал, что в редакции действительно производились такие попытки, да и сам, признаюсь, попробовал и расплатился даже за это зубной пломбой.

И все-таки талантливость автора победила. Рукопись даже без особой редакционной правки была заслана в набор. Единственно, в чем пришлось помочь автору, так это заменить заголовок, на него мы вынесли строку симоновского стиха: «Всем смертям назло». Главный противник публикации, веселый и ядовитый наш репортер, добавил:

— А может, все-таки написать уж так: «Книга, написанная зубами»? Сенсация так сенсация. Удивлять читателя так удивлять.

А повесть между тем вышла и была необычайно тепло встречена читателями. В адрес автора, имя которого в те дни было никому не известно, посыпались письма. Необыкновенный урожай читательских откликов собрал автор.

И вот однажды открывается дверь кабинета, и секретарь как-то особенно возбужденно докладывает:

— К вам автор повести «Всем смертям назло».

И вот передо мной сразу трое молодых людей — мужчина, женщина и девочка лет трех-четырех, держащаяся за руку матери. Все трое коренастые, круглощекие, румяные. Эдакое семейство грибов-боровиков. Поздоровались. Протягиваю автору руку, а он не отвечает. Мгновенное замешательство. И тут его жена спокойно, даже я бы сказал — с юмором, говорит:

— Так у него же нет рук.

— ?..

— Так, значит, вы все это о себе написали?

— Ну, не совсем, конечно... В деталях есть и вымысел, но в основном...

Вместо одного автора стояли передо мной целых три героя его повести.

В дружной нашей редакции в этот день был просто праздник. Входили и выходили люди, приветствовали

милое семейство, пившее за моим столом чай с традиционными баранками, жали руки Рите, таскали по кабинетам девочку Танечку, оказавшуюся весьма общительной и разговорчивой особой. Потупив очи, вошел тот самый репортер-скептик. Он тут же невольно поверил в силу и возможность даже невероятного счастливого конца. Он все же попросил гостя показать, как все-таки он пишет. Наши редакционные дамы сочли это верхом бестактности и зашипели, как рассерженные гусыни. Гость же наш, нимало не смутившись, попросил карандаш и ластик. Жена продела карандаш сквозь ластик и подала ему. Он сжал резинку крепкими губами, присел к столу и написал на листе бумаги заглавие своей повести: «Всем смертям назло». И, расписавшись, завершил свой автограф эдаким веселым хвостиком-завитушкой.

Немало в довольно-таки бурной истории беспокойного журнала «Юность» было и радостных, и грустных страниц, но это свидание с необычным автором и это посрамление редакционного скептика было, пожалуй, одной из самых веселых.

Несколько лет прошло с тех пор. Горный мастер из-под Ворошиловграда стал профессиональным писателем. «Юность», да и другие журналы уже опубликовали несколько его повестей и рассказов, тепло встреченных читателями. Издательство «Молодая гвардия» выпустило его двухтомник. Произведения Владислава Титова издаются за границей. По повести его сделана телевизионная передача. Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что молодой этот писатель имеет уже своего читателя, который ждет новых его произведений или мечтает получить его автограф.

Но самым значительным в еще не длинной писательской биографии Титова кажется мне то, что сам писатель стал для своих читателей человеческим авторитетом. Недавно «Молодая гвардия» решила даже издать томик переписки Титова с читателями, а меня попросили написать к этому томику предисловие. Ворох писем пришлось перечитать — и наших, советских, и иностранных.

Удивительные письма попадались в этом ворохе. Группа демобилизованных солдат советуется, стоит ли им всем взводом ехать на шахты под Ворошиловград или лучше перед этим поучиться в горном техникуме... Девушка, которую бросил любимый и которая без него просто жить не может, спрашивает у Владислава и Риты, как ей все-таки быть... Но вместе с такими наивными

просьбами есть и серьезные. Шахтер из Ворошиловградчины, земляк Титова, просит у него совета. Он тоже жертва аварии. Тоже выбыл из строя. Инвалид до конца жизни. Но он не жалуется, ему положили хорошую пенсию, есть домик, садик при нем, ранние овощи и ягоды обеспечивают неплохой доход. Жить можно, но «тоскую по шахте, иной раз места себе не нахожу. Помаленьку вот пить начал, но разве водкой тоску зальешь?.. Скажи мне, Владислав, как мне быть? У тебя тоже шахтерская душа. Вот хочу на шахту хоть в сторожа попроситься. Жинка ни в какую — живи как живешь, что тебе дома не сидится? А я не могу до конца жизни клубничничать да помидорничать. И писать, как ты, я не горазд. Посоветуй по-шахтерски, как быть».

Учительница из Коми АССР сообщает, что так как удалось достать книгу только одну, повесть читали вслух в классе, по очереди. «Ребята-семиклассники задумали пойти на шахту, а шахт в республике нет. Как быть? Не сообщите ли вы, уважаемый автор, не смогут ли они — группа минимум в двенадцать мальчиков — приехать в ваш шахтерский край? Примут ли их, помогут ли им?»

Авторы, авторы... Разные письма. Разные нити тянутся с разных концов страны к писателю, сумевшему взволновать, тронуть за сердце, заслужить доверие своих читателей. Немало времени отдает Владислав ответам на эти письма. Теперь уже не пишет карандашом. Все те же друзья комсомольцы подарили ему пишущую машинку; шахтные умельцы пристроили к ней какие-то приспособления. Каретка на ней переводится нажимом ноги на соответствующую педаль. Валик при этом автоматически поворачивается. Пишет Владислав уже довольно быстро, хотя по-прежнему бьет по клавишам палочкой, которую он держит в зубах.

Вот передо мной сейчас такое письмо, которое пришло в больницу, где пишутся эти строки. Машинописный текст его безупречен, в пору настоящей машинистке. В письме этом много приятных новостей. Словацкий журнал «Свет социализма» печатает повесть «Всем смертям назло» с продолжением в шести номерах. Чешский переводчик известил, что закончил перевод другой книги — «Жизнь прожить». Дочь Танечка заканчивает восьмой класс, хочет поступить в музыкальное училище. Удастся ли? Словом, «тревог и волнений, дорогой Борис Николаевич, прибавляется с каждым днем».

А дальше предоставляю слово самому Владиславу:

«Недавно вернулись с Ритой из ГДР. Были на севере страны, исколесили немецкую землю от Берлина до Ростока. Встречались с рабочими, школьниками и конечно же с нашими воинами. Встреч и выступлений было много, даже чересчур, но усталость приятная — столько повидали, столько впечатлений.

Работаю над романом о современном шахтере, о тех, кто, окончив ПТУ, спускается в шахту. Работа идет медленно, трудно. Материала много. Как укротить и сложить его — до сих пор не знаю. А может быть, и не умею. Несколько отрывков из этой работы опробовал по радио и в газетах. Впечатление вроде неплохое».

И после пожелания здоровья и бодрости, какие полагается делать больным, «обнимаем. Ваши Титовы Рита, Татьяна и Владислав». Дата: «27 апреля 1977 года» подпись: «В. Титов», сделанная таким знакомым почерком, с премилой завитушкой на конце. Только в этот раз буквы в этой подписи не опускаются по нисходящей, как это было в первой рукописи, а бойко и весело лезут вверх.

ТОВАРИЩ ЧЕ

Он был одним из самых интересных людей, с какими только мне доводилось встречаться, беседовать и спорить за всю мою довольно уже длинную журналистскую жизнь.

Познакомился я с Эрнесто Че Геварой на Кубе, куда прилетел, чтобы участвовать во вручении Ленинской премии за мир между народами другому интереснейшему человеку Латинской Америки — Фиделю Кастро. И познакомили нас на правительственном приеме, в обстановке, мало подходящей для откровенных бесед и дружеских разговоров.

Прием происходил на открытом воздухе, в уголке тропического сада. В ночной полутьме отчаянно благоухали какие-то цветущие кусты. Сочные кубинские звезды просвечивали сквозь узорчатые листья великолепных пальм. В кустах, несмотря на многолюдье и темноту, стрекотали и щебетали цикады. Но прием был, как почти все приемы, в общем-то скучноват, и хотя вечерние туалеты дам и смокинги дипломатов очень мило контрастировали с военными комбинезонами, бутсами и беретами, в которые

были одеты новые руководители Кубы, что сообщало приему оригинальную, необычную краску, я украдкой посматривал на часы. Ведь на этом «зеленом крокодиле», как кубинцы шутливо называют свой остров, происходило столько интересного!

И тут на выручку мне пришел поэт Николас Гильен, мой старый друг со времен его эмиграции, ставший одним из руководителей бурно растущей и расцветающей кубинской культуры.

— Хочешь, я сведу тебя с одним из интереснейших людей Кубы?

— С Фиделем?

— Нет, это сейчас не удастся, видишь, как его осаждают со всех сторон.

— С Раулем Кастро?

— Тоже нет. Его взяли в плен военные. Я познакомлю тебя с нашим Че. Он, правда, не кубинец, а аргентинец, но это один из ближайших соратников Фиделя и один из ярчайших деятелей нашей революции. Умница. Отличный, мыслящий человек.

Он подвел меня к невысокому, коренастому мужчине, стоящему несколько в стороне от кипения приема и откровенно скучавшему. Тот дружески обнял Николаса, а мне довольно официально протянул руку и несколько чопорно отрекомендовался:

— Эрнесто Гевара де ла Серна.

— И наш Че,— улыбаясь, добавил Николас.

— Ну что же, так действительно короче.

Мне повезло. Незадолго до этого на Кубе вышли переводы двух моих книг — «Повесть о настоящем человеке» и «Мы — советские люди». Их выпустили очень большими, даже на наш счет, тиражами. Гевара их прочитал, и, вероятно, поэтому новый знакомый, кажущийся несколько замкнутым, сосредоточенным в себе, понемногу разговорился. Официанты, обслуживающие прием, сохранили свои фраки и жестко накрахмаленные пластроны еще от старой, батистовской Кубы, но разносили они лишь очень скромный напиток, именуемый «Куба либре»: производимая на острове кока-кола, микроскопическое количество рома «Бакарди», ломтик лимона и несколько кусочков льда. Взяв бокалы, мы отошли в сторону, под сень какого-то пышного растения. Я принялся расспрашивать Че о нем самом.

— По профессии я врач,— сказал он,— а сейчас вот, в порядке революционного долга, министр экономики.

Странно? А впрочем, думаю, вас это не должно удивлять: ведь Владимир Ленин по профессии был адвокат, а среди его министров были и врачи, и юристы, и знаменитые инженеры... Ведь так?.. Революция есть революция, и революционная необходимость по-своему расставляет людей.— Он улыбнулся.— Если бы мне, когда я был в отряде Фиделя, давней дружбой с которым я горжусь, когда мы садились на яхту «Гранма», кто-нибудь сказал бы, что мне предстоит стать одним из организаторов экономики, я бы только рассмеялся. Ведь на «Гранму» я сел как врач экспедиции...

Я беззастенчиво рассматривал нового знакомого. У него было характерное лицо — с крупными чертами, очень красивое. Мягкая, клочковатая, курчавая бородка, обрамлявшая его, темные усы и, как у нас на Руси говорили, соболиные брови лишь подчеркивали белизну этого бледного лица, которое, видимо, не брал загар. На первый взгляд это лицо казалось суровым, даже фанатичным, но когда он улыбался, как-то сразу проглядывал истинный возраст этого министра, и он выглядел совсем юношей. Военный комбинезон цвета хаки, свободные штаны, заправленные в шнурованные бутсы, и черный берет со звездочкой дополняли его облик.

Договорились, что на следующий день под вечер, после работы, я приду к нему в учреждение. Разумеется, перед этим визитом по репортерской привычке я выспросил у моего друга Александра Алексеева, хорошо знакомого с Кубой, все, что тот знал об этом человеке. Очень интересная и характерная для революционеров Латинской Америки была у Гевары биография. Уроженец старинной аргентинской семьи, врач, занимавшийся борьбой с эпидемиями, человек, много покочевавший по своему континенту и участвовавший в революционных движениях, он в Мексике подружился с Фиделем Кастро. В качестве медика примкнул к его легендарной теперь экспедиции. Участвовал в первом революционном десанте с «Гранмы» и в дни борьбы против диктатуры Батисты вдруг проявил незаурядные полководческие способности. Руководил ответственнейшими боевыми операциями в горах Сьерра-Маэстры, возглавил бой по освобождению города Санта-Клара, командовал колонной, вошедшей в Гавану. Ну, а потом, когда на Кубе утвердилась новая, народная власть, партизанский «команданте» Че стал одним из организаторов кубинской экономики, товарищем Эрнесто Гевара.

На следующий день, вернее — в следующий вечер, мы встретились у него в кабинете в большом, красивом, только что построенном здании — первом правительственном здании на острове, которым кубинцы очень, и не без основания, гордились. Среди многочисленных служащих уже редко кто был в форме военного времени. Но «команданте» был все в том же защитного цвета френче с огромными карманами, с широким ремнем, в походных бутсах с подошвой толщиной в палец: аскет, партизанский вожак, как бы еще живущий днями, проведенными в горах Сьерра-Маэстры. Но в беседе его уже чувствовался государственный деятель, державший в руках рычаги управления очень в ту пору сложной и запутанной экономики Кубы.

Говорил о том, что, лишенные своих богатств и привилегий, кубинские промышленники и латифундисты запутали все дела. Говорил о прямом вредительстве «гусанос» — «гусениц», как именовались ставленники и агенты американского империализма. И в то же время спокойно, деловито рассказывал об экономических достижениях новой Кубы: «...Никогда не строилось столько жилищ... Никогда в море, кишащем рыбой, не велся такой механизированный научно организованный лов». И не просто говорил, а как настоящий экономист, достав из необъятного нагрудного кармана толстую записную книжку, подтверждал слова цифрами. Об этих государственных успехах он говорил как о чем-то своем, домашнем. Он радовался этим успехам новой Кубы. Он жил ими. Он верил, что кубинский эксперимент — организующий и вдохновляющий пример для всей Латинской Америки.

— Пока что мы остров Свободы,— говорил он.— Но эта свобода раньше или позже овладеет континентом. Во всяком случае, мы уже не робинзоны. Костры революции горят тут и там. Мы их видим. Их надо раздуть... И мы все время чувствуем, что с нами такой далекий и такой близкий Советский Союз, с нами уже весь социалистический мир, и мы — левый фланг этого мира...

Несмотря на работу установок кондиционирования воздуха, в кабинете было жарко. Собеседник предложил пройтись по Гаване и закончить разговор на ходу. Пошли. Но разговора не получилось. Он был слишком известен в своем городе. Люди из толпы бросались к нему, жали ему руки; какая-то девушка расцеловала его. Мальчишки следовали за нами, то и дело слышалось: «Че... Че... Че...»

Потом мы встретились с ним в Москве осенью 1964 года. Он был все такой же, в том же боевом комбинезоне, с той же клочковатой бородкой, которая как бы навсегда приросла к его лицу. Кубинская делегация была уже одета в штатские костюмы, а он не хотел переодеваться, а может, и не мог. Советские люди тепло, сердечно приветствовали до этого Фиделя и Рауля Кастро. На Гевару обрушились не меньшие аплодисменты.

Выступая в Москве на праздновании 47-й годовщины Великого Октября, он сказал:

— Это такая великая дата, отмечавшаяся к тому же сорок семь лет, поэтому о ней сказано уже почти все. Единственное, что я хочу пожелать, друзья,— чтобы наступил тот день, когда трибуны Мавзолея не смогут вместить руководителей социалистических стран, которые будут присутствовать на этом будущем параде.

На следующий день я посетил его в гостинице. И задал ему недипломатичный, журналистский вопрос:

— Ваше выступление — это экспромт?

— Нет, это моя мечта. Мечта, чтобы на трибунах ленинского Мавзолея как можно скорее встало как можно больше руководителей новых социалистических стран Латинской Америки. Я говорю это серьезно. Я вижу в этом смысл моего существования.

Мы сидели в зимнем саду гостиницы. Зеленели экзотические растения. Шелестели струи фонтана. Воздух был влажный. Это напоминало Кубу, и, возможно поэтому, мой собеседник по-домашнему развалился в кресле и даже распустил шнуровку своих военных бутс. Он отдыхал от московских впечатлений, бесед, встреч...

И тут я спросил его, может быть, и невпопад спросил, кого он считает самым большим человеком XX века.

— Ленин, конечно... Но Ленин не в счет. Такие родятся раз в тысячелетие,— задумчиво произнес он. И вдруг сказал: — Альберта Швейцера.

— Швейцера?

— Ну да, того, африканского... Он с юных лет был для меня примером. Когда студентом я был на Огненной Земле на эпидемии, я всюду возил с собой его портрет...

А прощаясь, сказал:

— Жаль, что мало времени и пора уезжать... Интересная у вас страна...— И вдруг спросил: — А в Сибири очень холодно?.. В следующий приезд обязательно побываю в Сибири.

Это была последняя встреча и последний разговор. Я не могу скрыть своего восхищения перед этим удивительным человеком, так героически погибшем. Восхищение — мое и многих других — останется навсегда. Восхищение и память о революционере-коммунисте товарище Че.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

Константин Симонов, безусловно, одна из самых ярких фигур в нашей современной литературе. Но когда вспоминаешь или, как вот сейчас, собираешься написать о нем, невольно задумываешься: кто же он?

Поэт? Да, безусловно, отличный поэт, с собственной темой, с собственным замыслом, с собственным поэтическим голосом, который не спутаешь ни с чьим другим. Прозаик? Да, и прозаик, один из лучших наших прозаиков, книги которого никогда не стоят на библиотечных полках, сохраняя глянцевитость обложек и чопорную неприкосновенность. Но, может быть, он все-таки больше драматург? Да, и драматург. Безусловно, драматург, иные пьесы которого десятилетиями не сходят со сцены, стали для некоторых хороших театров репертуарными, снова и снова приходят к зрителям в кинематографических или телевизионных вариантах. А может быть, он все-таки публицист? Сколько интересных статей и очерков напечатано в «Правде», других газетах и журналах, было опубликовано за подписью «Конст. Симонов», статей и очерков, запомнившихся читателю. Да, необыкновенно разнообразен симоновский талант, и нелегко его проанализировать, тем более в таком вот штриховом наброске портрета, который я пытаюсь сейчас написать для книги «Силуэты». Даже силуэт его не враз схватишь.

Он вошел, точнее — ворвался, в настоящую литературу в тридцатые предгрозовые годы, молодым человеком, студентом Литературного института, и для меня лично открылся как поэт и как гражданин своей, теперь уже давней, поэмой «Ледовое побоище». Мы, советские люди, по горло были заняты тогда своими мирными делами: пятилетками, стахановским движением, кипением творческой инициативы миллионов. Но хотя гром еще не грянул, воздух был предгрозовой, и, работая изо всех сил,

мы уже чувствовали, что на Западе сгущаются тучи, и, работая, тревожно поглядывали в ту сторону.

В поэме никому тогда еще не известного студента Литературного института «Ледовое побоище» не было ни о Гитлере, ни о нацизме. Казалось бы, «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Тринадцатый век. Ливонский орден. Всадники в рогатых шлемах. И Александр Невский — молодой русский полководец. И его небольшая дружина. И русские ратники ополчения, встающие грудью на защиту своей земли, вооруженные копьями, косами, народ, встречающий супостатов, закованных в броню и отлично по тому времени вооруженных.

Это сейчас Александр Невский великий военачальник и стратег, чей профиль вычеканен на высшем полководческом ордене, а тогда он для большинства еще ходил в святых и лик его смотрел лишь с икон.

И вот в те дни мы, тверские журналисты, читали вслух друг другу куски из поэмы неизвестного студента Литературного института, который зорким глазом за спиной ливонских разбойников в развевающихся плащах и рогатых касках почувствовал другие черные рати, уже начинавшие собираться по звуку трубы магистра нацизма, а за плечами воинов и ополченцев Невского увидел русский народ, которому предстояло выдержать натиск закованных в сталь ратей, почувствовал русский народ, готовый схватиться с захватчиками в смертельной и победоносной схватке.

Недавно, на вынужденном больничном досуге, решив написать эту статью, я перечитал поэму «Ледовое побоище». Перечитал и просто-таки поразился, как далеко умел смотреть этот студент, тогда еще только ворвавшийся в литературу.

И по смыслу своему эта поэма показалась мне ключом ко всему последующему симоновскому творчеству. В ней была уже отчетливо обозначена симоновская черта: говоря на любую тему, даже, вот как в этой поэме, устремясь в седую древность, видеть сегодняшний день, сегодняшние заботы, радующие или тревожащие сердце народа. Этой метой отмечено все симоновское творчество — и в поэзии, и в прозе, и в публицистике, и в драматургии, и в его необыкновенных кинематографических предприятиях последних лет. В войну солдатские шинели носили почти все советские литераторы, самые известные и самые талантливые, без всяческого приказа, даже без призыва устремлялись на фронт, и не только в качестве

писателей, хотя должность «писатель» существовала в те дни в штатной номенклатуре в военных газетах, нет, в качестве боевых военных корреспондентов, в качестве офицеров разведки и отделов по работе среди войск противника, в качестве командиров и рядовых — в качестве активных бойцов, а не сторонних наблюдателей.

И Симонов, военный корреспондент «Красной звезды», был среди первых. Он отличался необыкновенной мобильностью, подвижностью, летал с самых северных на самые южные фронты. За этим легко теперь проследить, читая его военные дневники. Иногда фронтовые наши пути скрещивались, но получилось так, что за всю войну мы встретились только раз — в день освобождения Молдавии, да и то у журналистов армейской газеты, на вечеринке, в честь его устроенной. Встретились. Познакомились. Обменялись военными новостями, выпили молдавского вина и разошлись до конца войны. До того дня, когда в торжественном Испанском зале пражского кремля президент Эдуард Бенеш вручал советским офицерам, в том числе и нам с ним, чехословацкие боевые кресты.

Да, мы не встречались, но журналистский путь Константина Симонова на войне был так ярок, что я имел возможность, и, признаюсь, не без зависти, все время наблюдать за ним. И если стихи Алексея Суркова в вырезках из газет, иногда переписанные от руки, находили порой в карманах убитых солдат, симоновские читались наизусть по вечерам, когда утихал бой и можно было часдругой передохнуть в офицерском блиндаже, читались в палатах госпиталей, в эшелонах, движущихся к фронту. И некоторые из них, такие, как «Майор привез мальчишку на лафете...», «Жди меня», или поэтическую переписку этих двух славных поэтов знал почти каждый:

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...

Меня всегда удивляло умение Симонова сочетать немалую, а подчас и напряженную работу военного корреспондента со столь же плодотворной работой в литературе, поэзии, прозе, в драматургии. Так сочетать, пожалуй, никто из нас не умел. Его военная пьеса «Русские люди» была опубликована «подвалами» в «Правде», корреспондентом которой я являлся.

В дни обороны Сталинграда мы с Симоновым были на этой трагической полоске земли, где в гигантской битве в какой-то степени решался исход второй мировой войны. Симонов послал оттуда два или три очерка в «Красную

звезду», очерки с продолжениями, называвшиеся «Дни и ночи». Сталинградская битва едва успела отгреметь, а уже эти репортажи переросли в повесть того же названия, в небольшую, очень плотно написанную повесть, не носящую никаких следов спешки, повесть, которую я, помнящий оборону Сталинграда и героев этой обороны, до сих пор считаю одним из лучших произведений писателя.

В этом я могу опереться на компетентное мнение моего давнего друга, генерала Александра Родимцева. В дни битвы я часто заглядывал к нему, на его, теперь уже знаменитый, командный пункт, прославленный в литературе, воспетый в поэзии, воспроизведенный в кино, на командный пункт, помещавшийся в гранитном водостоке под железнодорожной насыпью. Там мы познакомились, а после войны подружились. Он, этот профессиональный военный, начавший службу кремлевским курсантом, был не чужд литературе и даже сам написал после войны повесть «Маша из мышеловки», помещенную в «Юности».

В один из вечеров в дружеском кругу, когда мы разговаривали о военной литературе, он сказал:

— Немало, немало написано о Сталинградской битве. Вышли хорошие, даже отличные книги, а вот мне до сих пор милы «Дни и ночи». Не знаю, может быть, это оттого, что прочел я эту книжку, когда Сталинград еще жил в памяти, но книга эта мне ближе других.

Быть милым сердцу такого ветерана — это ли не оценка!

После войны Симонов оставался верен военной теме. Его трилогия, начатая романом «Товарищи по оружию»,— это, пожалуй, самое широкое из литературных полотен, посвященных войне, заслуженно и высоко оценена советской общественностью.

Но самым важным из того, что в послевоенные годы сделал и продолжает делать неутомимый этот человек,— это его стремление навсегда зафиксировать для потомков, именно для потомков, портреты живых героев войны.

Представьте себе, как было бы интересно современному человеку увидеть героев первой Отечественной войны русского народа. Увидеть Кутузова, Барклая, Багратиона, Раевских, Дениса Давыдова, солдат и партизан, сокрушивших наполеоновское нашествие. И не только увидеть, но услышать их голоса, их живые рассказы. Ведь придворные живописцы, писавшие портреты этих людей, в лучшем случае запечатлевали лишь их внешний облик.

А Константин Симонов поставил перед собой благороднейшую цель: записать на кинопленку самых выдающихся героев Великой Отечественной войны. Он организовал и записал живые беседы с величайшими советскими полководцами Г. К. Жуковым, И. С. Коневым, К. К. Рокоссовским, которые в записях этих «вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». И теперь, когда славные полководцы ушли из жизни, какую огромную ценность имеют эти казалось бы, репортерские записи, адресованные «уважаемым потомкам».

Ну, а теперь вот, в дни, когда пишутся эти строки, Симонов ведет такие же записи солдат — героев Великой Отечественной войны, кавалеров орденов Славы трех степеней. Огромная, сложная, кропотливая, самоотверженная и очень важная работа.

Советская литература в целом уже увековечила картины великого подвига нашего народа, спасшего мир от нацистского рабства. Эта яркая, впечатляющая картина составлена из разных книг, как мозаичное панно составляют из кусочков разноцветной смальты. Но произведения, подобного «Войне и миру», еще не написано, потому что нет еще среди нас советского Льва Толстого. Может быть, этот будущий Лев Толстой сейчас уже бегает в школу или качается в люльке, а может быть, еще и вовсе не родился, а когда он появится, наберет силу и замыслит писать настоящую эпопею о войне, которая была во много раз грандиознее и значительнее, чем все наполеоновские войны, вместе взятые, о героизме советского народа, превзошедшего всех героев древней, средней и новой истории, какой же неоценимый материал дадут ему эти встречи на экране с давно уже ушедшими из жизни героями, сохраненными в черновых, магнитофонных и кинематографических записях. Поэт Симонов, прозаик Симонов, драматург Симонов, сознавая все общественное значение этих задуманных и осуществляемых дел, вот уже несколько лет прилежно занимается такой, казалось бы, черновой, казалось бы, далекой от литературы работой, за которую лишь будущее скажет ему полноценное спасибо.

Так кто же он все-таки? Поэт? Прозаик? Драматург? Сценарист? Публицист? Или, может быть, черт возьми, историк?

Он — Костя Симонов. Костя Симонов — и все. Человек, беззаветно отдающий служению общему нашему

делу весь свой незаурядный и многообразный талант, человек, которого на производстве назвали бы отличным многостаночником.

ПЛАМЕНЕЮЩАЯ ДУША

Среди замечательных портретов русского живописца М. В. Нестерова есть один, особенно останавливающий на себе внимание зрителя. На небольшом полотне изображена коренастая немолодая женщина в темном сатиновом рабочем халате. В раскрытой ладони левой руки она держит ком светлой глины. Пальцы правой изящным и точным движением, в котором художнику удалось запечатлеть осторожную стремительность, кладут щепоть глины на какое-то еще не завершенное изваяние. Оно не закончено. Работа, по-видимому, в разгаре. Все же можно различить, что это изображение старика, как бы в панике уносящегося от какой-то грозной, необоримой силы. Черты его еще не обозначены, но выброшенные вперед руки, изгиб ноги и в особенности развевающиеся концы хитона передают стремительность движения.

Но самое главное, что приковывает внимание, это лицо женщины — широкое, большелобое. И даже не само лицо, а глаза, взор которых сосредоточен на той точке скульптуры, куда словно бы летящие пальцы кладут глину. Рот с плотно сомкнутыми, волевыми, мужского склада губами. Невольно забываешь, что это картина, и как бы видишь живого, сильного человека, погруженного в работу, художника, отдавшегося творческому порыву, поглощенного пластическим воплощением своей мечты.

Это полотно могло бы стать просто картиной. Картиной, названной, скажем, «Творчество». И это было бы одно из тех счастливых произведений, которые захватывают с первого взгляда, одна из тех художнических удач, в которой запечатлены не только внешние формы, но и глубинная, внутренняя, я бы сказал, даже философская суть изображенного.

Но это не картина. Это портрет. И изображена на нем Вера Игнатьевна Мухина — скульптор.

Да, такой вот, собранной, целеустремленной, всегда погруженной в свое дело, вечно ищущей, неутомимо стремящейся к совершенствованию она и была в жизни, эта удивительная женщина. Такой предстает она в своих про-

изведениях, когда, переходя из зала в зал ее выставок, наблюдаешь, как рос этот мастер — от юношеских, еще угловатых и неуклюжих, но далеко не робких попыток до последних, монументальных, величественных работ, в которых в полную силу развернулось ее дарование.

Немало часов провел я у работ Мухиной. Интересны среди них не только общепризнанные, но и те, что в свое время не обратили общественное внимание,— их и сам художник не числил среди любимых своих творений. Но во всех своих работах — скульптурах, эскизах, рисунках — мастер встает как беспокойный, самобытный искатель, порой ошибающийся, порой делающий не то, но умеющий на своих ошибках учиться, все время, до последнего своего дня, старавшийся постоянно совершенствовать свое искусство, а главное — чуждый самодовольной «маститости», увы, погубившей и губящей столько талантов.

Работы Мухиной, если их рассматривать не разрозненно,— это повесть о том, как вырос всенародно любимый художник. И рисует эта повесть мастера не на парадном юбилейном портрете, а в заляпанном глиной рабочем халате, в час вдохновенного творчества. Он встает таким, каким его запечатлел другой большой художник — М. В. Нестеров.

— Мы живем в стране, где стоять на месте — значит пятиться назад. Художник не имеет права переминаться с ноги на ногу ни дня, ни часа. Он должен все время расти вместе со своим народом, но в росте этом он должен оставаться самим собой и пуще глаза хранить творческую индивидуальность,— говорила мне Вера Игнатьевна, с которой мы однажды осматривали художественную выставку. И это было не только словами, не только ее мечтой, но и рабочим принципом.

Еще в 1912 году она сделала небольшую скульптуру обнаженного юноши. В руке чувствуется неуверенность, но уже обращает внимание точность, жизненность анатомических пропорций и какая-то свежая необычность. В ту же пору был создан, может быть, с излишней четкостью, но хорошо передающий внутренний облик человека, портрет молодого скульптора Вертепова. Это начало пути. Но уже в этих работах чувствуется особый почерк. Тот самый, который придает такую прелесть одной из последних больших ее работ — памятнику А. М. Горькому, стоящему ныне на площади на родине писателя, «молодому Горькому», как говорила она. В этой скульптуре

дан романтический образ Горького-Буревестника, полный динамики. С поразительным мастерством передан внутренний мир молодого писателя-борца, напряженно сдерживающего гневный порыв и в то же время устремленного вперед с верой в светлое будущее. В этой чудесной скульптуре, как и в портрете кораблестроителя Крылова, мастерски выполненном из ноздреватого древесного нароста, мне кажется, с особой силой проявилось это столь характерное для мастера умение слить лаконичную выразительность форм с глубиной психологического анализа, начатки которого чувствуются уже в первых ее работах.

Между первыми из названных мною работ и последующими десятилетия труда, целая жизнь в искусстве. Учеба у знаменитого французского скульптора Бурделя. Неутомимые поиски. Взлеты, приземления. Увлечение так называемыми «левыми» течениями. Принесение дани кубизму, конструктивизму. И, наконец, новый прелестный творческий рывок уже с ясно осознанных позиций социалистического реализма, окрыленного революционной романтикой.

Но, сопоставляя ранние и зрелые работы, можно видеть, как художник упорно и неустанно совершенствовал мастерство, как креп, рос его талант. И с той же убедительностью можно видеть, что во всех этих поисках Мухина никогда не подстраивалась под чей-то шаг, никогда не говорила никому комплиментов, не фальшивила, оставалась сама собой. Каждая из ее работ — большая и малая — отмечена своеобразием самобытного таланта.

Уже в монументальной скульптуре «Крестьянка», созданной в 1927 году, раскрыт ее талант. Карандашные эскизы, оставленные В. Мухиной, позволяют видеть, как художник, в совершенстве владевший чувством пропорций, упорно искал пути создания образа труженицы земли, который мог бы символизировать мощь плодородия, показать человека, точно бы налитого до краев могучими соками родной природы.

И хотя в работе этой скульптор еще не освободился окончательно от своих «левых» увлечений, хотя, стремясь передать мощь, силу, он умышленно нарушал гармоничность пропорций, излишне утолстил, например, ноги, он все же создал обобщенный образ крестьянки. Эта работа вызвала горячий отклик и у нас, и за границей, стала заметной вехой в развитии советского ваяния.

А через десять лет В. И. Мухина делает новый шаг вперед и создает свой теперь всемирно знаменитый шедевр «Рабочий и колхозница», который украсил Советский павильон на Парижской выставке. Вряд ли найдешь сейчас страну, где была бы неизвестна эта скульптура. Она стала как бы пластически выраженным гимном советскому человеку. Молодой рабочий и юная колхозница, рука об руку стремительно шагающие вперед, подняв вверх серп и молот. Кто не знает этой группы! Но вглядитесь в нее: с каким лаконизмом и в то же время как динамично воплощен в ней образ советского народа-труженика, вдохновленного идеями коммунизма, как просто и мудро рассказано о нерушимом союзе рабочих и крестьян, являющемся основой основ нашего государства, как сильно передан в этой летящей вперед и ввысь группе пафос трудового созидателя.

— Если бы Мухина сделала только одну эту скульптуру, и то ей навечно была бы отведена страница в истории искусства,— сказал мне когда-то известный миланский скульптор и искусствовед, сам большой художник.

И он прав. Но Мухина, заслужив этой своей работой подлинно всемирную известность, не остановилась на ней, а продолжала идти к вершинам искусства. Каждая из ее значительных последующих работ запечатлела искания художника, совершенствование творчества. Были созданы скульптурные эскизы четырех великолепно задуманных декоративных групп для украшения Москворецкого моста — «Плодородие», «Хлеб», «Земля» и «Море». Одна из них, увеличенная до задуманных мастером масштабов, изображает двух девушек, стоящих на коленях и поддерживающих золотой сноп.

Продолжая работать над монументальной скульптурой, Мухина создает проекты памятников А. М. Горькому, П. И. Чайковскому, проектирует монумент основателю Москвы Юрию Долгорукому и, наконец, скульптуру «Мир», которая увенчала сейчас купол планетария в Сталинграде.

В соавторстве со своими учениками З. Ивановой, Н. Зеленской, С. Казановой и А. Сергеевым она создает свою последнюю монументальную работу «Требуем мира», и в этой ее лебединой песне голос скульптора снова звучит во всю мощь. Работа рождалась в дни, когда корейский народ защищал свою родину, свою честь и независимость. Как рассказывала мне Вера Игнатьевна, работа эта родилась из небольшой скульптуры «Возвращение»,

созданной Мухиной в первый год войны, в дни, когда гитлеровцы рвались к Москве.

Это небольшая по размерам работа. Но какой большой смысл заложен в ней, с каким гневным пафосом обличает художник-гуманист организаторов и поджигателей войны! Солдат вернулся с фронта. Могучий мужчина в расцвете сил, он потерял ноги. И вот, вернувшись, он обнимает жену сильными мужскими руками. Но он стал вдвое ниже ее и может обнять только колени. И какая затаенная, подавленная боль чувствуется в позе потрясенной женщины, в ее закрытых глазах, в ее откинутой голове. На выставках около этой небольшой группы всегда можно видеть людей. Думается, что работа эта агитирует за мир, разоблачает всю мерзкую сущность захватнических войн с не меньшей силой, чем самое пламенное воззвание.

И вот девять лет спустя художник снова возвращается к этой теме в такой же страстной, благородной скульптуре, созданной в содружестве со своими учениками.

— Я хочу создать скульптурный агитплакат,— рассказывала Вера Игнатьевна, когда работа эта была только замыслена. Мы сидели у нее в кабинете, в молчаливом окружении моделей ее любимых работ — законченных и незавершенных.— Понимаете, хочу сделать скульптуру, которую без труда можно разбирать на составные элементы, возить с места на место, устанавливать в залах конференций и конгрессов, созванных в защиту мира. Мне уже трудно участвовать в работе сторонников мира, трудно ездить, я не люблю выступать. Пусть вместо меня на них представительствует моя скульптура, пусть она говорит то, что хотелось бы сказать мне.

Увлеченная этой мыслью, Вера Игнатьевна быстро расставляет на столе крохотные фигурки. Глаза ее разгораются.

— Видите... Вот, скажем, после заседания из зала выходят люди. И им навстречу вот это: берегите мир! Спасайте детей от атомных бомб! Пусть ни одна мать больше не заплачет над телом ребенка, погибшего при бомбежке...

Сказала и задумалась. По-мужски потерла лоб рукой.

— Не знаю, долго ли мне осталось жить... Но после меня пусть останется это... Пусть скажет людям то, что я всегда думала...

Когда все это говорилось, скульптуру она видела лишь мысленно. Но вот шесть бронзовых фигур, идущих в одном направлении, обрели задуманный ею облик: слепой в

поношенной солдатской форме, мать-кореянка, поднимающая убитого младенца, а сзади трое мужчин — русский, китаец и негр,— как бы воплотившие в себе добрую волю человечества. Все они шагают за молодой женщиной с голубем на вытянутой руке. Они не молят о мире, они не просят. Они требуют мира, требуют от имени всего человечества, требуют во имя расцвета мировой культуры и прогресса на всем земном шаре.

В этой скульптуре отражены гуманизм Мухиной, неукротимая страстность ее художественной натуры и советские черты ее характера, не позволявшие ей, мастеру с мировой славой, зазнаться, обронзоветь, творчески постареть, заставлявшие ее всю жизнь активно вторгаться в действительность, чутко откликаться на все, что волновало ее народ.

Глубокая народность в самом высоком смысле этого слова — вот что покоряет в работах В. И. Мухиной. Она всегда была с народом, всегда жила его жизнью, радовалась его радостью.

Как-то однажды, во время совместной заграничной поездки, у нас зашел разговор об одном даровитом ростовском скульпторе, который в дни оккупации его города очутился у гитлеровцев, а потом по наследству от них перешел к американцам. Поводом к разговору послужил журнал «Лайф», где сей самодовольный тип был снят на фоне скульптурного фриза, которым он опоясал какое-то новое здание в США. Люди на этом фризе были изображены утрированно вытянутыми, тощими. Все это вместе походило не на человеческие группы, а на комок земляных червей.

— Гадость,— отрезала Вера Игнатьевна, передернув плечами, и брезгливо бросила журнал на пол, как нечто физически отвратительное.— А ведь не бездарный был человек. Даже талантливый.

И по привычке своей все тут же обобщать она, помолчав, добавила:

— Художник должен всегда творить на родной земле и жить со своим народом. Общение с народом питает всех нас. Если художника оторвать от народа, с ним неминуемо произойдет то, что с полевым цветком, если его взять пересадить в банку, да и поставить на подоконник. Как его щедро ни поливай, какими удобрениями ни подкармливай, он высохнет, захиреет... Тут расписывают, сколько этот тип получил долларов за это безобразие. А ведь, в сущности, на фотографии показано, как он пляшет и

кривляется на своей собственной могиле... Мерзко... Мерзко!..

Думается, что в этих словах прозвучало эстетическое кредо Мухиной.

Во всем, что касается творчества, она была необыкновенно строга и к себе, и к другим. Приспособленчества не терпела. Бойких коллег, которые, пользуясь своим именем, хватали везде заказы, выполняли их холодной рукой, бригадно-скоростным способом, с помощью скульпторов, имена которых потом в каталогах не значились,— этих она просто ненавидела. У нее для них и словцо такое специальное было — халтуртрегеры. Воевала она с халтуртрегерами беспощадно, громила их где только могла, не считаясь ни с именитостью и былыми заслугами, ни с их званиями и должностями.

И с той же страстностью, не щадя, как говорит Гоголь, «чинов и званий», разделывала она в творческих спорах и тех коллег, которые, отодвинув на второй план человеческий образ, идею, с портновским старанием ваяли из мрамора и бронзы всяческие воинские знаки различия и отличия, по-военторговски разглаживали героям своих произведений штаны, даже ухитрялись выводить на них генеральские лампасы, а скромные солдатские плащпалатки, разуму вопреки, превращали в нечто среднее между тогой римского сенатора времен упадка империи и «гарольдовым плащом».

Вскоре после войны мне довелось путешествовать с Верой Игнатьевной по Румынии. В те дни это было еще королевство.

В Румынском национальном музее и в частном тогда хранилище местного коллекционера Замбакчану Вера Игнатьевна подолгу стояла, растроганная, у полотен Теодора Амана, Иона Андриеску, Николае Григореску и современного мастера Корнелиу Баба. Эти живописцы, такие разные по творческим манерам, по тематике, каждый посвоему прославляли молодое румынское искусство, воспевали народ, его историю, его труд, его борьбу.

В особенности любовалась Мухина полотнами Григореску. Вольная, но точная кисть этого мастера, его глубокая, я бы даже сказал — проникновенная, наблюдательность, страстность восприятия, сочетающаяся с гармоничностью колорита, согретая любовью к простым труженикам, покоряли взыскательного художника. Зимой, во вьюгу, Мухина не поленилась проделать на военной машине много километров, чтобы в Плоешти посмотреть еще

несколько полотен в мастерской, где до последних дней работал Григореску.

Но, бродя с Верой Игнатьевной по выставкам, посещая мастерские, мы часто, слишком часто слышали с пафосом произносимые фразы: «Бухарест — это, знаете ли, маленький Париж...» «Мастер Икс — он же пишет у нас как настоящий француз...», «Мастер Игрек — у него отличная французская школа, он похож на парижского маэстро такого-то».

Слушая это, Мухина хмурилась, резко уводила разговор в сторону, даже бесцеремонно обрывала собеседника. Мы, ее товарищи по путешествию, зная ее «золотой» характер, чувствовали — надвигается гроза. Это становилось особенно опасным, потому что были уже отпечатаны приглашения на доклад, который она намеревалась сделать для художественной интеллигенции.

К этому предстоящему выступлению она отнеслась добросовестно.

— Румыны исключительно талантливый народ, к ним с банальными истинами и отштампованными мыслями соваться нельзя,— говорила она и на несколько вечеров заперлась в номере.

Доклад она написала, склеила почему-то в виде свитка странички и предварительно представила его на обсуждение товарищам по делегации. Это было добротное, остроумное эссе. В нем не было ничего, что могло бы задеть самолюбие интеллигенции. Мы обрадовались и успокоились.

Но вот Мухина на трибуне. Оседлав очками короткий горбатый нос, она скороговоркой читает доклад, едва давая возможность переводить его на румынский. И вдруг, рассуждая о тенденциях современного искусства, о настроении художников и скульпторов, она резко сдернула очки, отложила свой свиток и, соскочив с академических рельсов, пошла, как говорится, по шпалам.

— ...У вас тут я часто слышу: «Бухарест — это маленький Париж». Я сама училась в Париже, я жила там и люблю его, но, честное слово, я ни от одного француза никогда не слышала, что Париж — это большой Бухарест...

Мы, сидевшие в публике, онемели: началось...

— У каждого народа свои традиции, свои сокровища... Вам, слава богу, досталось великолепное наследство. Развивайте его. Разве не лучше отлично говорить на родном румынском языке, чем посредственно на французском?..

Про одного мастера мне тут тоном похвалы говорили: «Это же наш маленький француз». Я бы на его месте смертельно обиделась. Лучше быть большим румыном, чем маленьким французом...

Ой, что мы тут пережили! Но, сверх ожидания, все кончилось благополучно. Ей долго, сердечно аплодировали. Нам даже не очень попало в посольстве за это не слишком дипломатическое выступление на иностранной земле...

Художник-монументалист, В. И. Мухина была и великолепным портретистом. И не просто портретистом, а психологом, человекознатцем, умеющим проникнуть в душу натуры и показать не только то, что легко схватывает объектив фотоаппарата, а и то, что доступно лишь зоркому человеческому глазу, глазу психолога, вооруженного передовым мировоззрением.

Целая галерея советских людей запечатлена Верой Игнатьевной. Скульптуры изваяны из разных материалов, в разных манерах, менявшихся и совершенствовавшихся с годами. Но даже и наименее удачные из этих скульптур носят на себе печать раздумий,— зрелого анализа и подлинной любви к Человеку с большой буквы. У Мухиной был глубоко советский, я бы даже сказал — коммунистический, подход к людям, который помогал ей раскрывать глубину изображаемого образа.

Рядом скульптуры — доктор Замков и архитектор Замков. Оба изваяны из мрамора. Но как несхожа манера изображения этих двух людей. Если в портрете доктора художник с предельной лаконичностью, свойственной древнеримским мастерам, передал сильный, спокойный ум, то на портрете архитектора, несмотря на его, казалось бы, глубоко интеллигентную профессию, запечатлены солдатское мужество, суровая воля, благородный порыв.

Разных людей изображала Мухина: и всемирных знаменитостей, и никому не известных тружеников, полководцев и солдат. Но во всех этих портретах художник умел, в каждом по-своему найти характерные черты этих людей, их духовные качества, богатство их натуры, порой глубоко скрытые под самой ординарной и даже непривлекательной внешностью. И Мухина при этом не шла по легкому пути, не говорила комплиментов своим героям, не подбавляла, по выражению Гоголя, «вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за которое художнику простят и самое несходство», как это,

увы, и сейчас еще делают иные скульпторы, любящие легкий успех. Мастер-реалист, Мухина была всегда безжалостной к своей натуре, но она умела видеть и показать не только внешность, а *саму суть человека*, и потому портреты ее всегда запоминаются и производят впечатление.

И еще об одной стороне творчества этого большого художника хочется мне сказать. О творчестве своеобразном, которое хорошо показывает Мухину и как человека, и как гражданина.

Я говорю о работах, сделанных ею для промышленности. Человек, влюбленный в свой народ, мечтающий не только о том, чтобы украшать своими работами площади городов, мосты и здания, не только о том, чтобы обогащать национальные галереи, но и о том, чтобы содействовать украшению быта человека, она стремилась наполнить квартиры рабочих и колхозников красивыми вещами. Об этом она всегда много и с увлечением разговаривала. Но это были не только разговоры. При всей своей занятости она связывалась с заводами, фабриками, изучала до инженерных тонкостей процессы изготовления фарфоровой, фаянсовой, стеклянной посуды. Она делала чертежи новых изящных ваз и бокалов, модели статуэток. И все это отмечено высоким мастерством.

У нас долгое время граненые стаканы штамповались на стекольных заводах в формах, какие существовали до революции, во времена, когда ямщики в трактирах, обливаясь потом, пили из них чай. Мухина решила сломать и эту скверную традицию. Вместе с технологами она создала новые формы тех же дешевых, штампованных стаканов, сделав их легкими и красивыми. И это ничуть не удорожило изготовления, не повысило стоимости. Ею создана не одна, а несколько форм. Такие же она создала для чайных сервизов из стекла и фаянса, для хрустальных гарнитуров, для декоративных бокалов и ваз. И то, что человек, создавший скульптурный гимн советским труженикам, в годы своей художественной работы не забывал о красоте простого чайного стакана, лишний раз характеризует ее как патриота, для которого благо народа было высшей наградой за неутомимые искания.

В художественных кругах много говорят об увековечении памяти этого удивительного советского скульптора. Мне думается, что лучшим таким увековечением будет осуществление его еще не реализованных замыслов — от чудесных декоративных скульптур, сделанных ею для

Москворецкого моста, до запуска в производство новых моделей простого чайного стакана. Это и будет лучшим выражением памяти великому советскому скульптору, отдавшему без остатка всю свою жизнь, весь свой талант своему народу.

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

В те далекие уже теперь дни мы, комсомольцы старого текстильного города Твери, увлекались немецким рабочим движением. Ходили в форме юнгштурма, приветствовали друг друга спартаковским салютом, поднимая кулак к правому плечу. По цехам моей родной фабрики «Пролетарка» как почетный переходящий приз за лучшую работу ходил красный вымпел ганноверских ткачей. А когда делегация молодых ганноверцев прибыла к нам на «Пролетарку», хор молодежного клуба, разучив предварительно по пластинке Эрнста Буша, грянул «Марш красного Вединга» на немецком языке.

Как раз в ту пору я и прочел немецкий роман «Восстание рыбаков». И очень он меня поразил, этот роман, своей суровой, как бы мы сказали теперь — партийной, правдой. На обложке книги стояла никому в те дни не известная фамилия автора: Анна Зегерс. С обложки романа смотрело лицо красивой девушки со стрижеными волосами, в кепке, сбитой по тогдашней комсомольской моде на затылок. Открытое, смелое, очень привлекательное лицо. Таким было мое первое знакомство с Анной Зегерс, знакомство, длившееся несколько десятилетий, пронесенное через огромную войну, через жестокую оккупацию, обезобразившую мой родной, красивый и уютный город, превратившую в руины фабрику «Пролетарка», во дворе которой я вырос, в цехах которой начал свою трудовую жизнь.

С тех пор Анна Зегерс стала для меня одним из самых интересных авторов. Я следил за всем ее творчеством, и ее суровые книги, такие, как, скажем, «Седьмой крест», помогали мне понять тайные пружины нацизма не менее, чем Нюрнбергский процесс, на котором я просидел девять месяцев.

После войны я познакомился с Анной Зегерс, вернувшейся из эмиграции в Мексику, где она продолжала свою литературную и антифашистскую деятельность и писала новые романы, повести, памфлеты, разоблачавшие Гит-

лера и гитлеризм. Но до того, как я впервые ее увидел и пожал ей руку, мы встретились заочно, представьте себе... на страницах газеты «Нойес Дойчланд» при странных и, можно сказать, необычайных обстоятельствах. Тут уж для продолжения рассказа об этой встрече невольно придется отклониться в сторону и вернуться на нижнюю Волгу, в Сталинград, к дням, когда невдалеке от этой легендарной твердыни только что начиналось сооружение Волго-Донского канала.

В тот день, в прессе сообщено было, что первый четырехкубовый экскаватор вошел в устье будущего, тогда еще существовавшего только на карте проектантов канала и началось осуществление давней мечты русских людей о соединении двух своих великих рек. Туда, где работал экскаватор, прибежали, запыхавшись, два очень взволнованных человека и потребовали у машиниста немедленно приостановить работы. Это были инженер и рабочий с тракторного завода, оба бывшие воины и участники обороны Сталинграда.

— Здесь копать нельзя! — взволнованно кричал инженер, у которого пустой рукав старенького военного кителя был заправлен за пояс.

— Что вы городите! Почему нельзя?

— Там в земле торпеда. Торпеда огромной взрывной силы.

— Откуда вам известно?

— Она упала при нас. Наш полк здесь, в лощинке, сосредоточивался, ее с самолета на нас сбросили. А она не взорвалась, ушла в землю. Мы это видели.

Работу приостановили. Хотя город в те дни уже поднимался из руин, в нем наладилась нормальная жизнь, вовсю дымили знаменитые его заводы, а вдоль Волги уже тянулись новые улицы, в земле, на которой когда-то гремела величайшая из битв второй мировой войны, таилось еще немало страшных сюрпризов — мин, невзорвавшихся снарядов, целые склады боеприпасов, заваленные при бомбежке. В иных местах, в частности на Мамаевом кургане, в землю было вбито столько металла, что компасы на приборах геодезистов вдруг начинали врать.

В силу этого при строительстве Волго-Донского канала существовало даже специальное саперное подразделение, в задачу которого входило обезвреживание будущей трассы от всяческих военных сюрпризов, таившихся в земле.

Заявление о снаряде необычайной взрывной силы было тотчас же принято. Место огородили. С подразделением саперов прибыл сам их командир, полковник по званию, опытнейший в своем деле человек. Приборы подтвердили наличие в земле большой металлической массы на месте, указанном ветеранами. Приняв все меры предосторожности, саперы начали работу и сравнительно неглубоко как раз в овраге, где должно было лечь устье будущего канала, обнаружили огромную морскую мину, которая, видимо, была брошена в Волгу, но упала на сушу и, упав, не взорвалась.

— А может, прямо в нас целили. Мы здесь как раз сосредоточивались для атаки, густо стояли. Если бы взорвалась, сотни две уложила бы,— говорил инженер, размахивая единственной рукой.— А вот почему-то не взорвалась, ушла в землю, как крот, оставив за собой ровную нору почти в метр шириной.

Торпеду раскапывали с необычайной осторожностью. Когда четко обозначился ее рыжий от ржавчины корпус, работали уже не лопатами, а руками, как это делают археологи. И вот освобожденная от земли, покрытая слоями ржавчины лежала эта громадина на дне раскопа.

Полковник стоял, раздумывая, как быть. Легче всего было бы осторожно поднять ее на цепях краном, на весу отнести в безопасное место и взорвать. Так обычно и поступали. И имели в этом деле уже немалый опыт. Но полковник думал о другом — о том, почему страшный этот снаряд не взорвался. На пояске торпеды он рассмотрел клеймо очень известного немецкого адмиралтейского завода. Стало быть, случайный брак исключался. А взрыватель не сработал, и снаряд, точно нацеленный с воздуха в место сосредоточения войск, похоронил себя в земле, не убив ни одного человека. Почему? Как это могло случиться? Вот эту-то задачу и решал для себя опытнейший сапер, возглавлявший разминирование на трассе Волго-Дон.

И чем больше он думал, тем больше интересовала его эта загадка, и он, вопреки существующей практике, решил на свой риск и страх вскрыть механизм снаряда, разгадать его тайну. О том, чтобы его разобрать, не могло быть и речи. Он знал — такие снаряды обычно на всякий случай снабжаются страховочными взрывателями, весьма чуткими. К тому же сам снаряд, пролежав в земле столько лет, покрылся шубой ржавчины, которую не отмоешь никаким керосином. И полковник принял решение распи-

лить снаряд по периметру и таким образом как бы обойти страховочные его секреты. Приняв это решение, он приказал солдатам отойти на безопасное расстояние, а сам вместе со своим боевым другом, старшиной саперов, тоже заинтересовавшимся таинственным снарядом и добровольно вызвавшимся помогать полковнику, опустился на дно раскопа. Туда ему подали инструменты.

Место эксперимента было оцеплено по всем правилам. Только два человека остались возле стального чудовища, и эти два человека, дружившие еще с фронтовых времен, принялись пилить стальную тушу. Почти целый день осторожно делали они надрез по кругу. Когда цилиндр распался на две части и стал виден взрыватель, они поняли, почему этот механизм не сработал. В нем был умело засунут кусочек жесткого картона, вероятно оторванного от какой-то производственной карточки. На этом картоне острым готическим шрифтом была торопливо сделана карандашом надпись: «Nicht alle deutsche sind nazi». Не все немцы фашисты.

Этот кусок картона заклинил механизм взрывателя, и таким образом точно сброшенная с пикирующего самолета громадина, попав в гущу сосредоточения полка, никого не убив и даже не ранив, похоронила сама себя в сталинградской земле.

— Нам со старшиной Гаврилычем эта операция не дешевого обошлась. За несколько часов работы мы потеряли килограмма по два, по три весу,— рассказывал потом мне полковник.— А у старшины так на висках седина пробрызнула... Но стоило, стоило рисковать.— Он достал из кармана кусочек картона с торопливой надписью на немецком языке, самую по его словам, дорогую для него реликвию войны.

Я знал, что в нашей армии в Сталинграде не один истинный немецкий патриот воевал против Гитлера. Встречал там немецкого романиста Вилли Бределя, знаменитого драматурга Фридриха Вольфа, поэта Иоганнеса Бехера. Они писали листовки. Обращались к разуму соотечественников через громкоговорящие установки.

Немало саперы, разминировавшие территорию, находили потом в земле невзорвавшихся снарядов и мин, набитых песком, которые в Сталинграде даже получили прозвище «улыбка друга». Этот кусочек картона, спасший жизнь советским солдатам, рассказал, что и в глубине Германии, даже на знаменитых оружейных заводах, к которым, несомненно, относится и завод адмиралтейства,

были немцы, которые, рискуя жизнью, помогали нам одерживать победу над общим врагом — гитлеризмом. Кто они были, эти люди? Кто, рискуя, обезвредил этот могучий и очень дорогой снаряд, так сказать, при его рождении? Кто написал записку, которую старый сапер хранил как самую дорогую реликвию войны? На все я не смог ответить, когда писал в «Правду» корреспонденцию со строительства Волго-Дона, озаглавленную «Торпеда».

На все эти вопросы ответила... Анна Зегерс. Ответила в своем рассказе «Саботажники», написанном вдали от родной земли, за океаном, в Мексике, ответила довольно точно, создав в коротком произведении яркие образы рабочих и инженеров, с риском для жизни помогавших нам, обезвреживая свою смертоносную продукцию.

Ответ был настолько точен и целенаправлен, что немецкая газета опубликовала рассказ Зегерс и мой очерк рядом в одном из своих воскресных номеров. Они как бы дополняли друг друга. То, что не удалось выяснить мне на месте происшествия, ей, большому художнику, в самые мрачные дни гитлеризма продолжавшему верить в свой народ, в победу добра над злом, в созидающую силу нашей идеологии, удалось блестяще. Сила эта, подружившая когда-то текстильщиков моего родного города с прядильщиками, отделочниками текстильного города Ганновера, действовала и в дни войны. И что самое интересное, а может быть, и важное,— вымпел ганноверских текстильщиков, преподнесенный когда-то тверякам, о котором я уже упоминал, не был ни уничтожен, ни выброшен в дни оккупации «Пролетарки», а сохранен, как была сохранена металлистами немецкого города Эйслебен скульптура В. И. Ленина, похищенная оккупантами и привезенная к ним на металлургический завод на переплавку.

Теперь эта столько пережившая скульптура стоит на одной из площадей немецкого города, как бы символизируя собой нерушимость братских связей немецких и советских людей. Там, у подножия эйслебенского Ленина, мне с особой силой вспоминался импровизированный литературный дуэт, который мне посчастливилось сыграть со знаменитой немецкой писательницей на страницах немецкой газеты.

В прошлом году мы с женой летали в Берлин, где культурная общественность отмечала семидесятилетие Зегерс. Юбилей справлялся в необычайной для нас форме. Не было ни торжественного президиума, ни юбилейных речей, ни адресов в толстых ледериновых папках,

В небольшом зале Культурбунда стояло десятка два скромно сервированных столиков. За ними сидели друзья и почитатели почтенной юбилярши. Каждый из них получал возможность рассказать что-нибудь интересное, личное об Анне Зегерс — какой-нибудь особенно запомнившийся эпизод, необычную встречу, знаменательный разговор, запавший в память.

Каждый, кому было говорить, подымал руку. И говорил. И из разговорной этой мозаики вырисовывался портрет одного из лучших мастеров мировой литературы, пишущих на немецком языке. Мне намекнули, что надо что-то сказать и мне. Признаюсь, засмущался, что со мной в общем-то редко бывает. Юбилейные банальности в такой обстановке говорить не хотелось. И я рискнул рассказать о первом знакомстве с Анной Зегерс на страницах роман-газеты, происшедшем в пору моей юности, когда мы, русские комсомольцы, щеголяли в гимнастерках юнгштурма, приветствовали друг друга выразительным спартаковским жестом и, ни слова не зная по-немецки, заучили по пластинке боевой пролетарский «Марш красного Вединга». Рассказал о том, сколь привлекательна нам была юбилярша в своей лихо заломленной на затылок кепке, с челкой, спадающей на лоб.

Вроде бы выступление получилось и было неплохо принято...

А на следующий день мне был сделан очень дорогой для меня подарок — мы с женой были приглашены в небольшую квартирку Зегерс, в старый берлинский дом, на чашку кофе. Кофе был отлично сварен, к нему прилагались какие-то особые кухены, испеченные собственноручно классиком литературы по старому семейному рецепту, ну, а потом Анна подарила нам ту самую свою фотографию. На пожелтевшей фотографии этой все было как на обложке роман-газеты. Смело и озорно смотрела с нее на нас умная, волевая немецкая девушка, которая когда-то смутила сердца тверских комсомольцев своей первой книгой «Восстание рыбаков».

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ ЖИЗНЬ

Многие книги имеют интересную биографию. Но ни одна из них не зарождалась, вероятно, так и в таких условиях, в каких возник цикл романов чешского писателя Антонина Запотоцкого.

В 1938 году один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Чехословакии Запотоцкий был схвачен и заключен в гитлеровский концентрационный лагерь Заксенхаузен. Это был лагерь особого режима. Система заключения в нем сводилась к тому, чтобы убить в узниках все человеческое, превратить их в бездумный, нерассуждающий рабочий скот.

Старый вожак рабочего движения, коммунист не сломился и даже не согнулся. Опытный борец-конспиратор, он и в условиях концентрационного лагеря сумел сколотить подпольную организацию. Вконец измученные, доведенные до отчаяния люди тянулись к этому спокойному человеку, не терявшему веры в будущее, в разгром фашизма, в освобождение. Среди заключенных было много пылких, но неопытных и незакаленных молодых людей. Запотоцкий решил, что лучшим способом подбодрить их, заставить в условиях Заксенхаузена поверить в себя, в свои силы, будет ознакомление их с традициями рабочего класса их страны, с борьбой их отцов и дедов.

И стал он по вечерам рассказывать всем этим измученным, голодным, доведенным до крайности, иногда уже еле стоявшим на ногах молодым заключенным о своем отце — одном из зачинателей рабочего движения, о своей молодости, о первых революционных выступлениях чешской молодежи, о забастовках, схватках с полицией, баррикадных боях, конспиративных квартирах, о больших и малых победах рабочего класса и о поражениях, после которых наиболее стойкие и закаленные сразу же начинали собирать силы для новых боев. Он рассказывал молодым заключенным о Советской стране, где он побывал на заре ее истории, о Владимире Ленине — этом великом коммунисте, никогда не терявшем веры в дело, которому посвятил жизнь.

Антонин Запотоцкий рассказывал о том, что знал, что видел, пережил, в чем принимал участие. Он рассказывал спокойно, бесхитростно, как говорят люди, обладающие жизненным опытом, наблюдательным умом, памятью, добрым сердцем. И по тому, как в усталых глазах его слушателей загорались искры воли к жизни, он видел: рассказы попадают в цель, вызывают именно ту реакцию, на какую он рассчитывал.

Старый коммунист радовался: тут, в лагере особого режима, за высокими стенами, за проволокой, тут, куда не проникала ни одна хорошая весть из внешнего мира,

он остается борцом среди борцов, посильно участвует в общей схватке народов с фашизмом.

Эти ночные рассказы Антонина Запотоцкого стали в лагере своеобразной традицией. Они собирали все больше людей. Потом, разойдясь по баракам, слушатели принимались пересказывать то, что сегодня сами услышали от «дяди Тонди». А жизнь рассказчика, на редкость яркая, с детской поры связанная с рабочим движением Чехии, давала материал для размышлений...

Потом, когда чудодейственно сбылось то, что «дядя Тонди» с такой убежденностью предсказывал, и в одно прекрасное утро советские танки, проломив стены и разбив смертоносную электросеть, освободили узников Заксенхаузена, когда окончилась война и народы Чехословакии прочно встали на социалистический путь, Антонин Запотоцкий стал президентом народной республики.

И тогда один за другим вышли его романы — «Рассвет», «Встанут новые бойцы», «Бурный 1905 год» и, наконец, «Красное зарево над Кладно». Вместе они как бы составили эпопею борьбы рабочего класса Чехословакии.

Это удивительные книги. Вот вы их прочтете, закроете, а в мыслях оторваться от них не сможете. Описанные события будут продолжать жить в вашем воображении. Герои, с которыми познакомил вас автор, будут мниться вам живыми людьми, и вам будет казаться, что вы когда-то встречали их или были с ними знакомы. И вы невольно задумаетесь над необычной формой этих книг.

Что это, цикл романов, которому автор умышленно придал вид историко-революционной хроники? Да, конечно. В книгах есть все, что положено роману,— интересный сюжет, развитие его идет сразу по нескольким линиям, галерея героев. Хорошо и ярко обрисованные портреты молодых и старых рабочих, мелких буржуа, капиталистов. Книги написаны хорошим литературным языком, с большим знанием среды и проницательным проникновением в психологию.

Ну, разумеется, это цикл романов. Но почему же, читая их, вы все время ощущаете автора не как писателя, воплощающего свои наблюдения в художественные образы? Почему все время кажется, что все, о чем в этих книгах повествуется, не выдумано, не создано творческой фантазией, а как бы вырвано прямо из жизни, с плотью, с кровью, и талантливо перенесено на страницы книг?

Почему сам автор то и дело нетерпеливо врывается в художественное повествование публицистическими отступлениями? Почему так сильно звучат авторские монологи?

Может, это мемуары, облеченные в форму художественного повествования?

Почему, наконец, автор, человек, несомненно обладающий профессиональным мастерством, не боится, а, наоборот, любит вводить в свои творения исторические документы, доказательно полемизировать с буржуазными социологами, с вожаками воинствующего оппортунизма?

Может быть, это своеобразная форма исторического повестования, какую умел так блестяще использовать классик чешской литературы Алоиз Ирасек?

Все эти вопросы обязательно возникнут у внимательного читателя по мере углубления в романы Запотоцкого. Ответ на них, как я уже сказал, в его биографии. Сам он, этот удивительный писатель, с которым я имел счастье быть знакомым, рассказал однажды историю этой своей эпопеи, из которой тогда были опубликованы лишь две книги и которая в те дни находилась еще в процессе рождения.

Антонин Запотоцкий, в ту пору уже президент народной Чехословакии, принял меня в Пражском кремле — Граде, в огромном служебном кабинете, две стены которого сплошь закрыты книжными полками. Было лето, ветер заносил в окна сладковатый запах цветущих лип, на столе, на подоконниках стояли вазы со множеством пестрых и, как это сразу бросалось в глаза, луговых цветов.

Запотоцкий вышел из-за стола, крепко тряхнул руку и, улыбаясь, сказал:

— Мы оба писатели, а литературную беседу лучше вести не в официальной, а в домашней обстановке, не так ли?

И повел меня из официальной резиденции в свою квартиру во дворце, где семья его занимала всего четыре небольших комнаты. Тут я воочию имел возможность убедиться в том, о чем мне уже рассказывали наши общие друзья — писатели. Став президентом, он во всем, что касалось личной жизни, остался таким же скромным, нетребовательным, каким его знали в бытность партийным работником в Кладно или в дни, когда он руководил красными профсоюзами.

В небольшой светлой комнате, где книги уже не умещались на полках, а лежали на стульях и просто стопка-

ми на полу, у окна стоял письменный стол — старый, небольшой по размерам. Он весь был загроможден пожелтевшими газетами, документами, какими-то записями и выписками. В окружении вороха бумаг лежал свежий лист, наполовину исписанный иглистым, но очень четким почерком. Это был лист рукописи романа, над которым еще шла работа. Об этом свидетельствовали лежавшие на ней оглобельками вверх стариковские очки.

Хозяин усадил меня у стола и поведал историю возникновения своей эпопеи. О ней мне уже доводилось слышать от чехословацких друзей.

— Да, они вам правильно говорили, книги вырастают из моих рассказов там, в концлагере. День за днем толковал я всем этим молодым парням о славной истории рабочего класса Чехословакии. Сначала думал провести обычные общие беседы, потом, чтобы было интереснее, стал называть имена, давать характеристики, описывать обстановку. Тут я увидел, что такая форма более доходчива, легче воспринимается, увлекает. А ведь каждый агитатор должен прежде всего увлечь слушателей. Ничего не стоит тот агитатор, у которого слушатели зевают или считают мух на потолке. Слова агитатора, как бы правильны они ни были, ничего не стоят, если они никого не увлекут, не заставят задуматься. Вот это-то и привело меня к мысли рассказывать о своей жизни, о своих родных, о друзьях юности, о товарищах по борьбе. И когда я увидел интерес в глазах слушателей, я сказал себе. Тонда, вот теперь ты агитатор, как положено коммунисту. Говори так...

На миг высокий, костистый человек с большими оттопыренными ушами, сидящий против меня, задумывается, барабаня по столу крепкими ногтями худых пальцев. Чувствуется, что он переносится в те жуткие дни в концлагере, когда он в полутьме вонючего барака воскрешал в памяти дни своей юности, молодости, дни, до краев полные борьбы, когда к нему и молодым его слушателям за высокий бетонный забор, за колючую проволоку, за провода, заряженные смертоносным током, приходили из прошлого его друзья и соратники и образы их, воскрешенные его рассказами, овладевали умами слушателей, вливали в них веру.

— Я рассказывал по вечерам много дней,— звучит глухой, задумчивый голос.— Рассказывая, я сам переживал былое, будто наяву... Славная история рабочего класса Чехословакии... Ведь по-настоящему ее никто еще

и не написал. И мне все чаще стала приходить мысль, что вот для них, для молодежи, которой предстоит строить новую жизнь, надо бы все записать. И еще тогда, в концентрационном лагере, я решил, что обязательно напишу, как только будет возможность. В самые тяжелые дни я верил, что Красная Армия рано или поздно освободит нас...

Сбылась эта мечта старого коммуниста. Однажды в яркий день ранней весны советские танки загремели на подступах к Заксенхаузену. Их пушки разнесли бетонную стену. Истощенные, едва стоящие на ногах люди в полосатой одежде обнимали перепачканных автолом и, как казалось, промасленных до самых костей танкистов. Мужчины плакали, как дети. Тогда из толпы освобожденных узников вышел высокий, прямой, очень худой человек с крупными чертами продолговатого лица и, подойдя к командиру части, отрекомендовался как руководитель подпольного комитета заключенных Антонин Запотоцкий.

Сразу же после освобождения, даже как следует и не отдохнув после пятилетнего заключения, по его словам «отдыхая за работой», революционер окунулся в партийные дела. Он стал председателем революционных профсоюзов Чехословакии.

В дни контрреволюционного путча в 1948 году, когда лидеры реакционных партий попробовали взорвать изнутри народную демократию, Запотоцкий был поставлен во главе рабочих комитетов и, действуя сурово и мудро, сочетая в себе человечность с непримиримостью к врагам республики, был одним из тех, кто, возглавляя тружеников, помог превратить контрреволюционный путч в новую победу народного строя.

С июня 1948 года Антонин Запотоцкий стал председателем кабинета министров чехословацкого правительства, а с марта 1953 года был избран президентом республики.

И, уже находясь на этих высоких постах, ведя огромную партийную и государственную работу, он, человек неиссякаемого трудолюбия и высокой организованности, продолжал трудиться над созданием цикла романов, в которые он переплавлял свои устные рассказы, некогда увлекавшие молодых узников Заксенхаузена.

— Когда же вы находите время?

Крупный, волевой рот собеседника трогает едва заметная улыбка.

— Еще когда был рабочим, научился рано вставать, а в мои годы это искусство легко дается. Встаю в четыре утра — и за письменный стол. Отличное время для работы: Прага спит, тишина, голова свежая. К началу моего официального рабочего дня вот тут,— он постучал рукой о тумбочку, где стоял внутренний телефон,— вот тут уже стопка исписанных листов... А пишется легко. В годы заключения я все обдумал. Сцены из прошлого встают перед глазами. Я уже знаю заранее не только что сделает или что скажет тот или другой персонаж, но и как сделает, как скажет... А как же, ведь это все мои друзья, все, что написано, прошло перед глазами.

— Ладислав Будечский — это...

— Да, это мой отец, Ладислав Запотоцкий. В романах «Рассвет» и «Встанут новые бойцы» я постарался нарисовать зарождение и развитие рабочего движения... Встанут новые бойцы... Вы знаете, это откуда? Это из старой чешской рабочей песни. Все мы в юности любили ее петь.

— А Тонда, Тоник?

Собеседник усмехается. В глазах его, смотрящих из-под крутых надбровий, появляется юношеский задор.

— Ну, а это я. Конечно, не совсем «я», тот, прежний. С тех пор много пережито, прочтено, жизнь меня кое-чему научила. «Я» теперешний, разумеется, не мог в процессе писания романа не вмешиваться в жизнь «я» прежнего. Но реальная канва сохранена, хотя и приходилось вышивать по ней новый рисунок.

Нельзя было не удивляться яркости памяти этого немолодого уже человека. О героях своих романов он говорил как о живых или живших и охотно рассказывал, что с ними произошло после того, как он закончил о них повествование и они как бы вышли за пределы его книг. В маленьком его кабинетике тут и там стояли небольшие, характерные, сделанные не без юмора скульптурки, вылепленные из какого-то необыкновенного материала. Оказалось, эти скульптурки Антонин Запотоцкий сделал сам... из хлеба. Впервые он применил этот необыкновенный скульптурный материал в концентрационном лагере Заксенхаузен и убедился в его достаточной выразительности. Так вот, рассказывая о судьбе одного из героев книги «Бурный 1905 год», о Франтишеке Габане, он показал на одну из своих фигурок и сказал:

— Это он.— И добавил: — Жаль, в жизни он все-таки плохо кончил.

Рассказывая о прототипах героев, собеседник, как и в книгах, ярко проявлял свой типично чешский характер, умея сочетать сочный юмор с мягкостью, с прямотой, а иногда и прямо с беспощадностью суждений.

Любопытный эпизод. В те дни в одном из московских толстых журналов была помещена рецензия по поводу только что переведенной на русский язык и вышедшей у нас книги «Красное зарево над Кладно». Есть в этой книге эпизод, в котором рассказывается, как жена руководителя забастовки, посаженного вместе с товарищами в тюрьму, после долгих очень человечно и тепло описанных автором переживаний решается продать торговцу старой мебелью свой диван, чтобы иметь возможность носить передачи мужу и его товарищам. Критику, рецензировавшему книгу, эта сцена не понравилась, показалась фальшивой. Ну как же, столько переживаний, колебаний, раздумий из-за какого-то дивана... В журнале, который протянул мне Запотоцкий, эти критические замечания были отчеркнуты синим карандашом.

— Я очень прошу вас, передайте товарищу критику, что, как мне кажется, он напрасно назвал эту сцену фальшивой. Товарищ просто не представлял себе, что означал диван в комнате тогдашнего чешского рабочего. Если рабочий имел диван, соседки называли его жену пани — вот что,— говорит собеседник, с улыбкой посматривая на жену, немолодую, круглоликую, полную женщину.

Мы сидим за столом. Хозяйка радушно разливает чай.

— Ведь правду я говорю, Маня? Скажи товарищу Борису, каких тебе мук стоило расстаться с этим диваном.

Хозяйка улыбается, отчего простецкое лицо молодеет так, что даже на щеках ее обозначаются ямки. Смущенно опустив глаза, она утвердительно кивает головой.

Да, вот так, из воспоминаний о прошлом, воскрешенном в многодневных рассказах в лагере, и родился необыкновенный цикл из четырех книг. Это тот счастливый случай, когда подлинность описанного не снижает художественных достоинств произведения. Реалистическая основа не лишает их образы яркости и типических черт. Наоборот, как мне кажется, придает рассказываемому бóльшую ценность.

И еще одна характерная черта, которая делает романы Запотоцкого дорогими для нас, советских людей. В послесловии к роману «Бурный 1905 год» автор написал:

«Той искрой, которая сразу пробудила стотысячные массы трудящихся и поставила их в боевые шеренги революционного социал-демократического движения, была русская революция 1905 года. В 1905 году впервые сказалось огромное влияние революционного движения России на пролетариат нашей страны. Сегодня мы по праву утверждаем, что без Великой Октябрьской революции 1917 года не было бы 28 октября 1918 года». Свой интерес, свое уважение, свою любовь к революционному рабочему классу России, возникшие в нем еще в дни, когда юный каменотес Тоник Запотоцкий шагал с красным флагом по улицам Праги, автор эпопеи пронес через всю свою жизнь.

Став президентом, он учил молодежь Чехословакии: «Любите Советский Союз! Он освободил нас от фашистского рабства и помогает нам. Без опыта и практической помощи Советского Союза мы бы не смогли так быстро двигаться вперед, как мы это делаем сейчас...»

Антонин Запотоцкий умер в 1957 году. Но он продолжает и будет жить в своих книгах, которые он посвятил рабочему классу, Коммунистической партии своей страны. Он живет и сегодня в образах героев своей необыкновенной эпопеи, зовущих новых борцов к строительству новой жизни. И эти новые борцы, вставшие взамен ушедших, будут всегда ощущать в своих рядах строителей новой Чехословакии самого Антонина Запотоцкого, созидателя среди созидателей, борца среди борцов.

Выступая на одном литературном юбилее, он поставил однажды в своей речи вопрос: в чем сила и величие истинного поэта? И сам же ответил на него: в том, что его творчество родилось в народе и росло с народом, в том, что он умеет отражать живую жизнь, и в том, что его читают самые широкие массы сограждан.

Думается мне, что в этом сила творчества самого Антонина Запотоцкого: оно в народе и народ в нем.

ВОЛШЕБСТВО ШТРИХА

Очень запомнился мне день, когда в разгар редакционной спешки художник Юрий Цишевский вошел ко мне в кабинет и молча, весьма многозначительно, положил передо мной папку, завязанную тесемками. У него при

этом был вид иллюзиониста, готового извлечь из этой папки кролика.

Цишевского надо знать. Талантливый художник, который через всю войну вместе с личным офицерским оружием проносил планшет с аккуратно нарезанными листками ватманской бумаги. Воевал как офицер, а в редкую свободную фронтовую минуту доставал бумагу, карандаши, рисовал боевые сценки, развороченные снарядами пейзажи и, что совсем удивительно, один из его альбомов этих рисунков был выпущен попечениями дивизии, в которой он служил, еще в дни войны.

Как большинство истинно даровитых людей, он не завистлив, умеет радоваться чужому успеху. Открывать молодые дарования, покровительствовать им, вытаскивать их на страницы журнала — это его увлечение. И когда, подобно петуху из крыловской басни, ему удается, навозну кучу разрывая, найти жемчужное зерно, счастливее его нет человека.

В тот день, положив на стол крупногабаритную папку и лишь касаясь пальцами шнурков, ее завязывающих, он торжественно вопросил:

— Знаете, что здесь такое?

— Догадываюсь: очередной еще не состоявшийся гений.

— Нет, серьезно, ручаюсь, что на этот раз вы будете поражены.

— Хорошо. Поделитесь валидолом и оставьте папку.

— Не шутите, я вполне серьезно. И смотреть это надо сейчас же.

Он развязал тесемки и совсем уже стал похож на иллюзиониста, достающего из-под шляпы живого кролика. Кролика, разумеется, там не было, но были рисунки, множество рисунков, сделанных тушью, точным штрихом, уверенной... нет, не уверенной, а какой-то особенно легкой, как бы порхающей рукой. Наклонился над папкой и стал эти рисунки перебирать. Папка, принесенная добрейшим Цишевским, превратилась в магнит, который притягивал к себе все сильнее и сильнее новых людей. Звонил телефон. Секретарь напоминала о том-то и о том-то. По ходу действия приходилось подписывать какие-то бумаги и письма. Но папка, словно волшебная, снова и снова отрывала от текущих дел и притягивала к себе.

В затылок мне дышали сотрудники «Юности», заходившие в кабинет по делам и застревавшие над папкой, привлеченные все той же силой этого необычного, немно-

го странного и, парадоксально говоря, безыскусственного искусства.

Рисунки эти, сделанные то тушью, то чернилами, то темным карандашом, лишь в отдельных случаях заретушированные и как бы усиленные карандашами цветными, были рассмотрены. Цишевский, насладившись произведенным эффектом, спросил совсем уже тоном мага:

— А вы знаете, сколько лет автору? Четырнадцать.— Он сделал паузу, как бы поставив после этого три жирных восклицательных знака.— Четырнадцать! Она школьница седьмого класса. Пионерка. Звать ее Надя Рушева. Вот выдвигаю ее кандидатом на выставку «На стендах «Юности».

Предложение это было, разумеется, всеми с энтузиазмом принято, и эта выставка, которая, по замыслу ее организаторов, каждый месяц должна была выдвигать новые художественные дарования, превратилась в бедствие нашей маленькой, в те дни очень тесной редакции. Но об этом потом. Надо сначала рассказать об авторе этих рисунков.

Когда выставка эта комплектовалась и оформлялась под мудрым руководством все того же Цишевского, он познакомил меня с автором. Невысокая, худенькая, голенастая девочка, брюнеточка с косичкой, со смуглым, восточного склада, лицом, скромно, даже робко вошла в кабинет, протянула маленькую, худенькую ручку, застенчиво отрекомендовалась: «Надя», сделала было при этом движение присесть, но, мгновенно раздумав, остановилась и густо покраснела. Лицо у нее было умненькое, неподвижное, и узенькие черные глаза, быстрые и цепкие, казалось, жили на этом лице отдельной, своей самостоятельной жизнью. Она пришла с отцом, скромным работником телевидения, принимавшим посильное участие в сооружении этой первой дочерней выставки.

Они с Цишевским покинули нас, а я, признаюсь, остался в необычной для меня растерянности. Как обращаться с художницей — на «ты» или на «вы»? Она была уже в том возрасте, когда конфетами не угощают, но светским разговором было занимать ее неудобно. Девочка, осмотревшись в кабинете, сама нашла чем себя занять.

— Это Пикассо? — живо спросила она, рассмотрев на стене рисунок великого художника.

— Пикассо.

— Неужели подлинный Пабло Пикассо?

— Подлинный. Он подарил мне этот рисунок в тысяча девятьсот шестьдесят втором году.

— И вы были с ним знакомы? Серьезно?

— Серьезно.

— И видели, как он рисует?

— Видел. Даже бывал у него в мастерской.

— Ну, расскажите, расскажите, это же страшно интересно... А каким он был? Почему после своего голубого периода он вдруг стал видеть все будто через неровное стекло? Это у него манера или он действительно так видел?

Столкнувшись с произведениями настоящего искусства, гостья заинтересовалась, и куда девалась стеснительность. Она даже влезла на кресло, чтобы пощупать рукой лист ватмана.

— А вы знаете, он, наверно, быстро все это нарисовал. Чувствуется стремительность. Эти линии, они будто летят из рук. Говорят, его рисунки очень дорогие, за них платят чуть ли не сотни тысяч. Вы не боитесь, что у вас здесь его сопрут?

Это прозвучало совсем по-детски. Я невольно улыбнулся.

— Нет, вы не смейтесь. Я знаю, какая этому цена. Я много читала о Пикассо. Бегала в Ленинку смотреть его альбомы.

И еще висел у меня в кабинете обломок античного мраморного барельефа, подаренного мне когда-то греческим археологом, ведущим работы по раскопке столицы Александра Македонского. Когда-то мы с Ильей Григорьевичем Эренбургом были на месте его работ, и он подарил нам на память по гипсовой копии одной из примечательных своих находок. На барельефе этом изображен немолодой человек, задумчиво и грустно склонившийся над чем-то. Над чем именно, было не видно, ибо с этой стороны барельеф был сколот.

— А как хорошо умели передавать настроение древние греки. Можно я сделаю с этого зарисовочку?

— Делай... те, конечно.

Признаюсь, я обрадовался этому предложению, ибо редакция продолжала жить своей напряженной жизнью и это требовало внимания.

Я ушел, отсутствовал минут пятнадцать, не больше, а когда вернулся, Надя показала мне два рисунка, сделанных все теми же летящими штрихами. На обоих был замечательно воспроизведен барельеф. Но она додумала

то, что на нем не сохранило время. В одном случае древний грек склонился над осколками разбитой прекрасной вазы, печалясь об утраченном предмете искусства, в другом это был несчастный отец, склоняющийся над телом мертвого сына. И поражало даже не то, вернее, не столько то, как эта художница в пионерском галстуке изящно и точно воспроизвела в рисунке произведение древнего мастера, а то, как благородно осмыслила, додумала изображение барельефа.

Да, это был талант. Самобытный. Сильный. Еще тогда нераскрывшийся, но столько обещающий.

Ну, а первая выставка ее работ превратилась в подлинное бедствие для редакции. В коридорах и залах толпились люди самые разнообразные, начиная от школьников, приходивших целыми классами и пионерскими отрядами, и кончая завзятыми искусствоведческими старухами — обязательными посетительницами всех вернисажей, которые, многозначительно сложив бледные губы со скептическим видом рассматривают произведения, прикладывая к глазам дореволюционное пенсне, висящее на шее на черном шнурочке.

Все это шумело, шуршало, спорило, хлопало дверями. Коэффициент полезного действия сотрудников редакции катастрофически снизился, и ответственный секретарь Леопольд Железнов, когда-то сам редактировавший иллюстрированную газету и, следовательно, не чуждый искусству, хватался за голову и кричал:

— Когда же, черт побери, эту выставку закроют?

Ну, а после того, как по заведенному у нас обычаю были опубликованы результаты обсуждения этой художественной выставки и образцы работ необычной пионерки, Надя Рушева, московская школьница, приобрела всесоюзную известность.

И что характерно, что я считаю для ее характера особенно важным и типичным: девочка не зазналась, не оторвалась от обычной жизни, не воспылала в лучах своей неожиданно нагрянувшей известности, или, говоря языком современной молодой интеллигенции, не забурела. Продолжала старательно учиться, получала неплохие отметки, хотя и не стремилась в пятерочницы, водила дружбу со многими сверстниками и, несомненно сознавая всю необычность своего дарования, никогда этого не подчеркивала и приходила к нам в редакцию такая же скромная и застенчивая.

И рисовала, неустанно рисовала, используя для этого каждое свободное мгновение. Рисование, как мне кажется, никогда не было для нее работой. Просто душа ее чутко откликалась на все, что видел глаз, слышало ее ухо, что ложилось ей на душу.

Ее художественное воображение охватывало все века, все страны и континенты. Сходила несколько раз на балет — и на ее ватманах зажили воздушные балерины. Прочла книгу Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — и вот, пожалуйста, налицо все образы этой необычной книги, включая и нечистую силу, при изображении которой, как известно, тушевались, и великие мастера Возрождения. Попала в руки древняя история — и целая серия персонажей исторических мифов зажила на ее ватманах, отраженная так, как, смею сказать, не отражал их ни один художник за долгие века. Кентавр? Пожалуйста. Но и кокетливая кентавриха, и милые, шаловливые кентаврята. Целый рой симпатичных кентаврят. Побывала летом в Артеке — и вот серия интернационального детства, так широко представленная, хоть целую выставку организуй.

Увлекалась стихами Пушкина. С детства увлекалась. И создала целую Пушкиниану. Влюбленными детскими глазами увидела поэта во всех возрастах его жизни, от младенчества до последней трагической пули.

Продолжая оставаться школьницей, она с годами становилась все более художником. Показателем тому — великолепная серия иллюстраций к «Войне и миру». Героев этой книги воспроизводили многие славные мастера, знаменитые, всемирно признанные. Ни к одному из них она не попала в плен. Ее иллюстрации совершенно оригинальны, никого не повторяют. А ведь трудно, очень трудно искать новое, иллюстрируя «Войну и мир». Кроме книги существуют пьесы, выпущено у нас и за границей несколько фильмов. Есть даже опера. Словом, много больших и разных художников касались толстовской темы. Но Надя Рушева на грани детства и юности прикоснулась к Толстому и по-своему увидела героев и героинь романа.

Целая сюита отдельных и своеобразных рисунков осталась начатой и недоконченной, прерванная внезапной смертью девушки, вырванной из жизни болезнью в самую счастливую человеческую пору.

Десять тысяч рисунков оставила Надя. Десять тысяч! Вряд ли найдется мастер, который может похвалиться

таким количеством листов, хотя многие из признанных мэтров доживали почти до векового возраста. И в этом своем искусстве Надя продолжает жить и в сегодняшнем дне, привлекая к себе зрителей и дома и за границей. Сто тридцать ее выставок прошли у нас и за рубежом. Выставок ярких, интересных, но главное — таких, в которых зал никогда не оставался пустым, а зрители равнодушными и неактивными. Маленький и поразительный пример. Тематическая выставка «Балет Нади Рушевой» была устроена в Коломенском музее. В маленьком зальце, который вмещает всего 35—40 человек. Выставке не было предпослано ни объявлений, ни рекламы, только рукописное извещение, пришпиленное к двери. И все же в день ее посещали тысячи две человек. Таково волшебство Надиного штриха.

Нечего уже и говорить об альбомах ее рисунков, к сожалению, издаваемых маленькими тиражами, которые мгновенно становятся библиографической редкостью, исчезают из магазинов.

Прошло уже немало лет, но не зарастают, а все более становятся видимыми следы, оставленные Надей Рушевой в нашем советском искусстве. Мне кажется, что профессиональными искусствоведами творчество Нади и самое ее дарование еще недостаточно изучено и осмыслено.

Сам я часто задумываюсь над волшебством ее штриха, над ее листами и картонами, которые много лет после кончины человека, их создавшего, продолжают, как драгоценный радий, излучать энергию и свет. Задумываясь над этой короткой, по существу еще только начатой, но так много оставившей после себя жизнью, я перечитал письма и дневники Нади, сохраняемые ее матерью, тувинской балериной Натальей Дойдаловной Ажикмаа, и частично опубликованные журналом «Юность». Интереснейшие человеческие документы, в которых запечатлены и детская непосредственность, и девичий энтузиазм в сочетании со зрелостью суждений и убежденностью человека, пристально всматривающегося в жизнь и в жизненные явления.

И невольно задумываешься, кем бы могла стать Надя во взрослой жизни, если бы ее необыкновенный природный дар был огранен и отшлифован художественной школой. Но к чему гадать? К чему? Ее уже не вернешь, и она навсегда останется Надей, удивительной девочкой, десять тысяч листов которой продолжают и будут долго продолжать жизнь, ярко рассказывая о ней.

СЕКРЕТ ВЕЧНОСТИ

Я познакомился с Павлом Петровичем Бажовым в разгар Великой Отечественной войны. И произошло это далеко от его родного края, на фронте, в Польше, где поэт Урала никогда не бывал.

Случилось так, что перед войной не привелось мне прочесть «Малахитовую шкатулку». Конечно, знал о ней, слышал много хорошего, но просто книга как-то не попала в руки. И вот когда Советская Армия, наступая, образовала на Висле маленькое предместное укрепление, выросшее впоследствии в знаменитый Сандомирский плацдарм, мы с корреспондентом «Комсомольской правды» Сергеем Крушинским переправились ночью к нашим солдатам, державшим этот крохотный кусочек земли. Он был так мал, что простреливался вдоль и поперек не только из минометов, но даже и из автоматов. Огонь, который обрушивал на него неприятель, был такой густой, что пули выкосили перед брустверами окопов траву.

Этот клочок земли за рекой в ту пору держал один-единственный батальон, прикрытый огнем артиллерии с того берега. Но горстка обстрелянных, опытных солдат так крепко вцепилась в землю, так глубоко пустила в ней корни, что противник, хотя и сознавал, чем ему это угрожает, так и не смог отбросить батальон обратно.

Мы переправились через реку под покровом густого тумана на понтоне, доставившем пополнение и боеприпасы. Капитан, руководивший обороной «пятачка»,— маленький, загорелый, осипший человек с худым, нервным, но чисто выбритым лицом,— непрерывно курил, всякий раз зажигая новую папиросу от той, что была докурена. По тягучему выговору с упором на «о» мы угадали: коренной уралец. И не ошиблись.

— Из-пОд самОй из-пОд МагнитнОй гОры,— подтвердил он.

В эти часы Висла как бы дремала, затянутая слоистым туманом. Было необыкновенно, до жути, тихо, и лишь лягушки надрывались в плавнях на той стороне да изредка в небе гудели самолеты: наши шли на Берлин. Зато звездная синева непрерывно мерцала, как бы сотрясаемая огнем осветительных ракет — желтоватых, наших, и белых, немецких.

Разведя подкрепления по стрелковым ячейкам, эвакуировав на обратных понтонах раненых, отправив на тот берег боевое донесение, капитан вернулся в блиндаж —

тесную земляную нору, вырытую в откосе берега. Мы уже улеглись на свежей, душистой яровой соломе, но сон не шел. Сквозь дрему увидел я, как этот маленький военный, который вот уже около пяти суток нес непосильную тяжесть, руководя горсткой солдат, человек, которому по логике полагалось бы в редкие минуты отдыха свалиться и спать каменным сном, тихо прополз мимо нас в глубь блиндажа, засветил карбидную лампочку, вытащил из подсумка какую-то книжку с оторванным переплетом и стал читать. Да, именно читать страницу за страницей, спокойно, сосредоточенно, будто сидел он за освещенным столиком в тихом библиотечном зале, а не лежал на соломе в земляной норе, где его в любое мгновение мог похоронить снаряд и недалеко от входа в которую, как нам говорили, в тихую ночь можно было слышать немецкую речь.

Это было так странно, что, отогнав дрему, мы из своего угла молча наблюдали за ним. И мы увидели, как по мере чтения напряженное лицо отходило, преждевременные морщины разглаживались и само оно точно бы молодело. Капитан читал с час, потом оторвал глаза от страниц, задумался о чем-то своем и, вероятно, очень далеком от беспокойных его фронтовых дел. Вздохнул. Убрал книгу в полевую сумку и прилег на соломе. Но заснуть ему так и не удалось. Противник внезапно обрушил на плацдарм огневой удар, такой тяжелый, что земля заходила, бревна накатника зашевелились над головами и привыкшие ко всему окопные мыши прямо по нас бросились к выходу, будто листья, подхваченные ветром. Наши пушки ответили из-за реки. Завязалась огневая дуэль. Разрывы оборвали телефонные провода. Лишившись связи с ротами, командир бросился в траншеи организовывать контратаку...

Плацдарм удержали. Но самого капитана утром принесли на шинели. Он был убит наповал. Осколок оставил едва заметную ранку на его лбу.

Густой туман все еще висел над рекой, но заря уже подмешивала в его седину розовые тона, когда мы возвращались обратно. На том же понтоне отправляли тело капитана, завернутое в плащ-палатку. Другой капитан, принявший командование батальоном, вручил мне для передачи в полк его ордена, партбилет и полевую сумку. Сумка так и осталась незастегнутой. Из нее торчал уголок книги, и мне захотелось узнать, что же так

внимательно читал этот воин ночью, в последние часы своей жизни.

Томик был затрепанный, закапанный стеарином. Переплета и титульного листа не было, не хватало многих страниц. Начал читать с той, что уцелела. Рассказывалось о парне, который пошел в горы искать покос, встретил странную девушку, опознал в ней чародейку — Малахитницу, приобщившую его потом к горным тайнам. Необычная это была книжка, все удивляло в ней с первых же строк: и язык, сочный, густой, и необычность действующих лиц, и какое-то своеобразное и в то же время ненарочитое переплетение двух миров — реального и сказочного, и, наконец, своя, особая, ни на кого не похожая, простая и пленительная именно этой своей простотой манера письма.

К концу сказа я уже, разумеется, разгадал, что это знаменитая «Малахитовая шкатулка» Бажова, понял, почему с таким увлечением, уносясь мыслями на свой далекий Урал, читал ночью офицер, и еще понял, что передо мной какое-то необычное по форме произведение искусства, свежее, новое, сильное, необыкновенно самобытное.

Все уцелевшие в книге сказы были прочтены залпом, один за другим. Потом истрепанный томик пошел по рукам моих товарищей — военных корреспондентов. Многие из них были знакомы с книгой и перечитывали ее вновь. Томик без переплета, унаследованный от погибшего офицера, служил по вечерам предметом литературных споров, далеких от военных дел. Эти споры уводили нас из мира войны в мир труда, о котором совершенно по-новому, по-своему, рассказывал писатель-чародей, от прикосновения пера которого самые обычные трудовые дела превращались в поэтические сказки.

В самом деле, в нашей стране, где тогда уже было введено обязательное семилетнее образование, где даже старики ликвидировали свою неграмотность и через газеты, книги, радио приобщались к сокровищам современной культуры, народное литературное творчество, бывшее обычно изустным, естественно, должно приобретать какие-то новые формы. Среди современных бабушек есть такие, что когда-то носили пионерские галстуки. Было бы смешно, если бы они, развлекая внуков, начинали бы свои с ними беседы традиционной присказкой: в некотором царстве, в некотором государстве жил-был и т. д.

Да и само понятие народности творчества коренным образом изменилось. Почему, скажем, частушки, сочиненные в каком-нибудь районе дояркой, избачом или учителем и потом записанные уже из третьих рук собирателем фольклора, идут под рубрикой «народное творчество», а, скажем, прекрасные песни М. В. Исаковского, вроде «Катюши», которые распевает весь народ, под эту рубрику не подходят?

Словом, споров на эту тему было много, и все дружно сходились на том, что Бажов совершил своего рода открытие, показав, как преобразуется народное творчество в нашем, советском мире, как, не теряя своих природных форм, бесконечно разнообразных и ярких, оно наполняется новым содержанием и может приобретать законченность и отточенность мастерского художественного произведения. Писатель смело переступил круг традиционных сказочных тем, которые народное творчество уже переросло, и ввел в большую семью персонажей русской сказки уральских умельцев, простых тружеников, не колдовскими чарами, а своей смекалкой разрушающих все преграды, творящих не божеские и не бесовские, а человеческие чудеса.

Писатель не удовольствовался сделанным им открытием. Он сам был великолепным умельцем. Он сам, показывая «живинку в деле», переплавлял богатейшие руды народных преданий, поговорок, столетиями бытовавших по Уралу, в свои сказы. Оставаясь народным сказителем, он был и передовым литератором-коммунистом, и поэтому сказы его, такие пленительные, непосредственные по форме, в то же время так глубоки и богаты современным содержанием в лучшем смысле этих слов. И, наверное, поэтому с одинаковым интересом читают их и школьник, делающий в жизни первые самостоятельные шаги, и пенсионер, подводящий итоги жизни. Каждый находит в них свое, близкое, нужное, дорогое ему, соответствующее духовным запросам возраста...

После того, как впервые, еще там, на Висле, был прочтен сборник бажовских сказов, я не раз перечитывал их. И чем больше раздумывал я о сказах, тем прочнее сливался образ сказителя с образами его героев. Вопреки всему, что было известно об авторе, он представлялся мне даже в виде деда Слышко, этого живого носителя трудовой поэзии уральских заводов. Он рисовался этаким уральским богатырем, в характере и облике которого запечатлены черты наиболее полюбившихся персонажей

его произведений. Сказы воспринимались как нечто целое, и автор их, подобно лирическому герою, сам вплетался в это свое многообразное повествование...

И вот серенький, прохладный, неприветливый вечер поздней уральской весны. Мы с женой и наши друзья идем по свердловской окраине, где молодые, высокие, плечистые здания причудливо соседствуют с бодрыми, прочными деревянными домиками. Из-за глухих заборов доносится горький запах цветущей черемухи. Там, впереди, в уже сереющей полумгле,— домик, где живет этот мудрый уралец, вобравший в себя весь сказочный мир своего удивительного края, где столетиями в невероятных условиях, все побеждая, опрокидывая все преграды, расцветали таланты русского мастерового человека. И я, в силу профессии повидавший на своем веку немало интересных людей, признаюсь спутникам, что сейчас вот, на пороге бажовского домика, волнуюсь, как волновался когда-то в юности перед экзаменом по любимому предмету.

Вместо могучего, плечистого бородача в полутьме прихожей встречает нас сутуловатый старичок с реденькой бородкой, в поношенной, уютной домашней куртке, с трубкой, привычно зажатой сложенными в горсть прокуренными пальцами. Из мягкой рамки шелковистых седин смотрит круглое, такое русское лицо. Писатель глядит на гостей чуть исподлобья, из-под приспущенных бровей, но взгляд доброжелательный, ласковый. Когда он улыбается незаметной под усами улыбкой, к глазам сбегаются живые, веселые морщинки, и от них лицо как-то вдруг свежеет.

Писатель ведет нас в кабинет, который почему-то хочется назвать лабораторией, а точнее — мастерской. В самом деле, комната, наполовину занятая книжными шкафами, воспринимается именно как лаборатория. Все в ней связано с неугомонной деятельностью старого уральского литературного мастера: и сборники его сказов, изданные на всех европейских и многих восточных языках, и книги по истории края, и коллекции минералов, образцы руд, в разное время преподнесенные Бажову рабочими, инженерами — почитателями его таланта, и чернильница, искусно сделанная специально для него камнерезами из черного камня-змеевика, и даже стулья, на которых мы сидим. Да, и стулья. Как свидетельствуют любовно награвированные планочки, прикрепленные к спинкам, это подарок писателю ко дню его семидесятилетия от рабочих местного деревообделочного завода.

Самое любопытное в комнате — письменный стол... Он весь точно бы топорщится ворохами рукописей, писем, образцами малахита, друзами каких-то кристаллов, весь засыпан табаком и трубочным пеплом. Среди всего этого беспорядка, в котором все-таки угадывается свой, особенный порядок, пишущая машинка, и в ней белеет лист с недописанной строкой. Перед машинкой кожаная залосненная подушечка. Все это вырисовывается в узком круге света, отбрасываемого козырьком конторской лампы, сделанной на манер старинного картуза.

— ...Последнее время у Павла Петровича со зрением плохо. Больше на машинке стучит, чем пишет. И сидеть ему трудно, стоя стучит. Обопрется локтями о подушку и стучит,— поясняет супруга писателя, темноволосая женщина, удивительно моложавая и жизнедеятельная для своих лет.

— Эк ты, Валюня, точно экскурсию водишь,— усмехается Павел Петрович, посасывая свою трубочку, которая курится у него потихоньку, с этаким уютным хрипеньем, распространяя запах простого, незлого табака, которым, как кажется, пропитан и он сам, и рукописи на столе, и вся эта комната, где он живет и работает, и даже цветы на окнах.

Усаживаемся, и после обычных, так сказать, пристрелочных фраз завязывается неторопливая беседа, спокойная, вместительная. Заметив, очевидно, некоторую связанность гостей, Павел Петрович сам ведет ее. Покуривая, он задает вопросы, и сразу становится ясно, как широк круг общественных интересов этого человека, как кипуча, полна деятельности его жизнь и с какой снайперской точностью он умеет в массе окружающих его явлений брать на прицел главное, животрепещущее.

Он старается вызнать самое интересное в моих зарубежных поездках. Но из всех сторон зарубежной жизни его особенно занимает, как там, «в заграницах», воспринимают трудящиеся опыт нашей революции, как люди ведут борьбу за мир и особенно как наши успехи помогают людям стран народной демократии.

— ...Им легче. Мы дорожку протоптали,— говорил Павел Петрович, тая под усами ласковую негаснущую улыбку.— Я вот тут как-то с одним избирателем на приеме серьезный разговор имел. Рабочий, матерый уралец, а вот на именинах у зятя перебрал лишнего, прогулял смену, ну и выставили его, голубчика, с завода. Он ко мне: «Павел Петрович, потолкуй с директором, пусть хоть в

сторожа, да в родной цех». А я ему: «Как я буду за тебя толковать, когда тебя правильно уволили. Стыдно тебе, ты учитель, а вон до чего наливаешься». Он мне: «Какой я, Павел Петров учитель, токарь я и в грамоте не силен». А я ему говорю: «Нет, говорю, брат, ты учитель, ты, говорю, всем рабочим из народных демократий учитель...» Разве нет? Разве не у нашего рабочего класса люди жизнь-то новую строить учатся? И ведь понял он, этот самый почтенный прогульщик, дошло до него, заплакал даже. «Стыдно, говорит, мне, Павел Петров, вот как стыдно. Пронял ты меня этим учителем аж до печенок...» Тут вот, где вы, на стуле сидел. Большой, могутный — и плачет...

— Ну, а дальше как?

— Дальше-то? — Павел Петрович посасывает трубочку, хитро посматривает из-под серых своих бровок, и кажется в эту минуту, что перед нами не писатель, а тот самый дед Слышко со старого Сысертского завода.— Дальше-то что же. Дал он мне слово, что больше такого греха с ним не случится. Ну, я в партком позвонил. Вернули... Он ко мне потом на прием приходил, этакий благостный, в новой тройке, бритый, будто прямо из бани. «Очень, говорит, ты меня, Павел Петров, тогда за душу тронул учителем-то. Вовсе и пить-то бросил: ну ее, водку,— все одно всю не выпьешь...»

Павел Петрович задумчиво перебирает на столе пачку свежих, частично даже еще и не вскрытых конвертов.

— Сегодняшний урожай. Видите — восемь писем, в каждом чья-нибудь забота или печаль. Много пишут. Кабы вон не Валюня,— он кивнул на жену,— да не дочка, захлебнулся бы я в этих письмах... Помогают разбирать и ответы писать. Всей семьей так вот и депутатствую.

Заговорили об Урале, о поездке, которую мы с женой предполагали тогда совершить по заводам, рудникам, новостройкам, золотым приискам. Как только об этом пошла речь, хозяин сразу точно бы изнутри осветился, трубочка засипела отрывистей, веселые морщины, собравшиеся в уголках глаз, так уж больше и не разбегались.

Об Урале он мог рассказывать сколько угодно и, как говорили люди, близко его знавшие, никогда не повторялся. Бесконечные истории, любопытные случаи, происшествия, старые и новые, жили в его голове. Иногда это были уже готовые, сложившиеся новеллы, так и просившиеся на бумагу, но будто еще дозревавшие в нем.

Особенно почему-то запомнился его рассказ об Уралмашзаводе, где в те дни опробовали механизмы шагания впоследствии всемирно знаменитого, а тогда еще только рождавшегося экскаватора-гиганта.

— ...По сравнению с этой машиной я почувствовал себя букашкой, муравьишком. А вот не гнело это, не унижало. Наоборот, гордость, знаете: вот, мол, мы, маленькие, слабенькие люди, выдумали эту машинищу, отлили, обточили ее огромные члены, сложили их и сейчас вдохнем в них жизнь... Царь-машина!.. Ведь это просто представить себе трудно, как она работать будет, какой для нее фронт нужен. И когда она вдруг задвигала этими своими лапами, знаете, что было кругом,— плакали люди: пошел, пошел... Так вот мы дома смотрели, как Никитка, наш внучек, ходить начинал... Люди подходили к машине и гладили ее, будто лошадь какую... Царь-машина!

Голос задрожал, в нем почувствовалась влага. Бажов отвернулся и с помощью какой-то необыкновенной, тоже подаренной ему кем-то из бесчисленных почитателей, зажигалки слишком долго и слишком тщательно раскуривал свою и без того горевшую трубочку под озабоченными взглядами встревожившейся жены.

На комоде стояла уже подвыгоревшая фотография в старинной проволочной рамке. Молодой белокурый мужчина с шелковистыми усиками и пушистой бородкой снят со стройной черноокой девушкой с волевым, умным лицом.

— Это мы с Валюней после свадьбы. Видите, какая она у меня была. Все у нас пополам, и горе, и радость. И как я ей только не надоел, удивляюсь,— говорит он, краем глаза лукаво косясь на жену...

На этот раз мы много поездили по Уралу, но, конечно, не увидели и малой доли того, что хотелось и стоило посмотреть. И все же вернулись в Свердловск полные впечатлений, смущенные, даже как-то подавленные величием виденного. Как договорились, расставаясь с Бажовым, снова, теперь уже днем, пришли на знакомую улицу Чапаева. С утра своенравная уральская весна вдруг светло заулыбалась, солнце сияло в хрустальной голубизне небес, а из-за глухих заборов тянуло уже не горечью черемух, а еще робким ароматом зацветавшей сирени.

Бажовы, уже привыкшие к нашествиям малознакомых, а то и вовсе незнакомых людей, постоянно навещавших их дом, встретили нас как старых друзей. В маленьком садике, на скамейке, в пронзенной солнцем

трепещущей тени раскидистой березы, собственноручно посаженной когда-то в давние годы Павлом Петровичем, он потребовал от нас полный отчет об уральских впечатлениях. Внимательно слушал, защитив глаза от солнца козырьком надвинутой на нос кепки, прятал в усах довольную улыбку, выспрашивал подробности, причем все время выяснялось, что все, о чем мы рассказывали, ему уже знакомо: и события, и люди, и их дела, и их мечты, которые нам казались порой поражающе новыми.

Говорили о Краснотурьинске — этом социалистическом городе, возникающем прямо в тайге, как-то сразу, без пригородов, без окраин. Город действительно необыкновенный. Шоссе вьется меж лесистых сопок; поворот, еще поворот — и вдруг на берегу большого, как потом оказалось — искусственного, озера возникают, как в сказке, вполне современные проспекты с многоэтажными домами, с широкими тротуарами и газонами, с многолетними березами, выстроившимися вдоль них, набережная, сбегающая к озеру балюстрадами террас, просторные, на столичный лад, магазины, школы, клуб. Я сказал, что хочу написать в «Правду» об этом самом молодом городе, которому тогда еще едва насчитывалось пять лет.

— Напишите, напишите, только не забудьте при этом, что изобретатель радио Попов-то Александр Степанович там родился, на Старотурьинском руднике, в самом этом «новом» городе, «насчитывающем всего пять лет»... И рудничный музей там еще до революции был знаменитый, один умный человек там его собрал... Город-то — он по бумагам молодой, это справедливо, но слава у него старая... Нам иванами, не помнящими родства, быть не положено.

Дослушав наши рассказы, он сказал моей жене, учительнице по профессии:

— Так довольны? То-то, будете ребятам в классах о нашем Урале рассказывать. Больше, больше о нас говорите. Урал — всей страны гордость. Он ведь всегда такой был, только до поры до времени дремал, скованный, как богатырь в цепях. Революция его расковала, вон на какой простор его вывела. И ваше это, учительское дело во всех концах земли интерес в ребятах к Уралу будить. Чтобы загорались мечтой сюда ехать, богатства неисчерпаемые для народа добывать. Нет такого второго места на земле, как наш Урал.

Потом обратился ко мне и, слегка покачивая в такт речи трубкой, зажатой в прокуренный кулачок маленькой руки, спросил:

— Вот вы, всесветный бродяга, много по белу свету мыкаетесь, как наш Урал по сравнению со всякими там заграницами выглядит?

Я сказал. Бажов серьезно кивнул головой:

— Ну вот, видите! Когда вы в Европы-то ездите, это экскурсия в наш вчерашний, а то и в позавчерашний день, в прошлое, которое у нас уж и старикам по ночам не снится... А вот поездка сюда — это в завтрашний день. Да, да. А как еще досадно мало написано об Урале, о его людях. Мало и серо... Не раскрыт еще он по-настоящему литературой.

Сам он считал это главным делом своей жизни, и думается, что никто до него не писал об уральских тружениках так тепло, так задушевно, так мудро, как он.

А потом, незадолго до того, как болезнь положила его в постель, он с женой посетил нас в Москве. Он подарил нам однотомник своих сказов, прекрасно изданный на Урале. Как мастер, довольный своим изделием, он прикинул на руке увесистую книгу.

— Не велика, а? Не грузновата?

В нем самом было что-то от этих славных уральских умельцев, мастерство которых он так воспел...

— А сколько еще ненаписанного... Вот сон стал плохой. Лежу по ночам, и они приходят ко мне, все эти не описанные мной люди... Вижу их, слышу их, знаю их судьбы... Эх, мне бы еще годков...— Он не договорил, вышел на балкон, стал возиться со своей трубочкой...

После смерти Павла Петровича я снова перечитал подаренный им том. Еще выше, еще прекрасней поднялся из его сказов обобщенный образ уральского труженика, великого умельца, поэта своей профессии, мастерство которого покоряет все и вся. И мне вдруг вспомнилось, как читал эти сказы смертельно усталый офицер при свете коптилки, в блиндаже, вырубленном саперами в прибрежном откосе польской реки, читал после долгого боя, в последнюю ночь своей жизни.

И подумалось: человек, создавший этот новый сказочный цикл, выведший в свет большую семью новых сказочных героев, сам будет вечен, как вечно истинное мастерство.

В ДАЛЬНЕЙ ДАЛИ

Не помню почему, но весть о том, что в Сибири назрело интереснейшее событие — перекрытие великой реки Ангары у села Братска, в редакцию опоздала, и мы с художником Орестом Верейским, направленные туда в качестве специальных корреспондентов «Правды», пропустили все рейсовые самолеты. Но нам сказали: возможно, ночью будет спецрейс. Возможно! И с вечера мы уже маялись у касс аэродрома, моля всех богов, чтобы это «возможно» стало фактом. Тут встретили мы еще одного товарища по несчастью — пражского корреспондента Иржи Плахетку. Истинный репортер, который, как говорится, всегда знал о пожаре еще до его возникновения, тоже прозевал самолет. Зато он многозначительно сообщил, что с нами в Братск вылетает Твард.

— Твард?

— Ну да, Александр Твардовский. Не слышали?.. Летит, летит. Он сам мне об этом говорил.

Признаюсь, мы очень обрадовались. Орест Верейский всю войну провел вместе с Твардовским в редакции фронтовой газеты и очень любил этого человека. Мы с Твардовским входили когда-то в Секретариат Союза писателей, довольно часто встречались и, пешком возвращаясь домой, любили потолковать по душам. Ну, а на войне я, разумеется, был яростным поклонником его «Василия Теркина». Но когда спецрейс объявили, в очереди пассажиров, отлетающих на Иркутск, Твардовского не оказалось. Девушка, выписывающая билеты, просмотрев список пассажиров, сказала:

— Александра Твардовского нет. Не значится. Зато с вами летит... американский миллионер Аверел Гарриман. Устраивает?

Замена была неравноценной. Твардовского мы все трое любили и очень жалели, что он отстал. В те дни уже печатались главы его новой поэмы «За далью — даль». В поэме он как раз добрался до тех заповедных сибирских мест, где сейчас должна была зародиться крупнейшая по тем временам электростанция мира. Было жаль, что автор этого поэтического и, я бы сказал, философского путешествия не станет свидетелем этого зарождения.

И так уж случилось, что первую часть рейса мы проговорили о нем, о Твардовском, о народности и поистине всепокоряющей силе его поэзии, о том, как в творчестве

его сейчас начинают сливаться традиции Некрасова и Пушкина. Верейский первым, еще во фронтовые времена, проиллюстрировавший «Теркина», с юмором рассказывал, как долго мучался он, ища графическое воплощение знаменитого русского солдата, как израсходовал массу листов на эскизы, прежде чем нашел живую модель в лице одного знакомого политработника. Чех утверждал, что «Теркин» столь же бессмертен для русских, как «Бравый солдат Швейк» для чехов. Ну, а я вспоминал, как главы этой удивительной поэмы в дни ее постепенного рождения, точно бы по волшебству, мгновенно распространялись из «Боевой красноармейской» по всем фронтам, как писалось в те дни, от «Белого до Черного моря», и как верный мой шофер и друг Петрович, сам в жизни как бы представлявший собой сплав Швейка и Теркина, со значительным преобладанием Швейка, по любому фронтовому случаю декламировал из этой поэмы то шутку, то присказку, то остроумный солдатский анекдот. И как он однажды, когда машина наша провалилась под лед на реке Одер и сам он еле при этом спасся, извлеченный из воды пехотинцами, горько продекламировал:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода...

Несмотря на то что в Иркутске не нас, разумеется, а Аверела Гарримана со свитой ждал специальный самолет, на перекрытие Ангары мы все-таки опоздали и прибыли в древнее село Братск, основанное еще сподвижниками Ермака Тимофеевича, с опозданием, когда пойма Ангары под утесом Пурсей была уже залита пестрой толпой и шло народное гулянье. На подъездах к мосту, по которому только что двигались вереницы самосвалов, обрушивавших в реку бетонные монолиты, груды песка и щебня,— пестрая человеческая кипень: загорелые девушки в цветастых платьях, парни в клетчатых рубахах, солидные строители, пришедшие сюда с женами и детьми полюбоваться рекой, порадоваться своей победе.

Наш чешский друг с упорством трудолюбивой пчелы порхал в этой толпе со своим киноаппаратом, когда у меня за спиной раздалось веселое и насмешливое:

— Что, опоздали? Реку-то вот без вас пришлось перекрывать. Как же это вы, братцы, а? Тоже мне — газетчики.

Перед нами стоял улыбающийся Твардовский. Загорелый, посвежевший, с выгоревшим чубом, в клетчатой рубахе с закатанными рукавами, он был похож на строителя и совершенно сливался с веселой толпой. Оказывается, предупрежденный кем-то из своих бесчисленных почитателей, он прибыл сюда заблаговременно и теперь вот смотрел на нас со снисходительной насмешкой.

— Древние римляне говорили: опоздавшим кости. Здешние сибиряки скажут вам еще лучше: кто зевает, тот воду хлебает. Эх вы, короли-репортеры!

Еще в Иркутске, когда мы пересаживались на местный самолет, дежурный по аэродрому протянул мне догнавшую меня телеграмму: «Вечером передайте полосу репортажа с рисунками Верейского, со стихами Твардовского». Признаюсь, мне как-то даже неудобно было подступать к поэту с такой просьбой. Знал ведь, что пишет он раздумчиво, и это «срочно» может его, чего доброго, и обидеть. Но Твардовский даже не удивился. Согласно кивнул своей большой, лобастой головой, и, когда на тайгу, золотя верхушки лиственниц, ложились косые лучи заходящего солнца, иркутский корреспондент «Правды» Николай Печерский уже кричал в телефонную трубку, а я для верности дублировал на телеграфном бланке только что вышедшие из-под пера поэта строки. И сейчас вот, столько лет спустя, легко воспроизвожу по памяти строфу из этого стихотворения.

...Недвижны тяжкие ворота,
За нами плес плененных вод.
Умолкла битва, но работа
Вступает в новый свой черед.

И действительно, выглянув в запыленное окошко домика почтового отделения, фанерные стены которого содрогались, распираемые стаей нетерпеливых корреспондентов, можно было видеть, что праздничная толпа будто растаяла и на помост эстакады, сотрясая тьму огнем фар, идет бесконечная очередь самосвалов.

Работа вступила в свой новый черед.

Твардовский и его поэзия неразделимы. Всякий, кто читал и любит его стихи, чувствует его не только как поэта, но и как Человека с большой буквы, человека искреннего, твердого в своих убеждениях, глубоко принципиального, умеющего бороться за свои убеждения и не умеющего гнуть спину ни под каким ветром. В жизни он был таким же, как и в стихах. И все-таки дни, проведенные с

ним на Ангаре в то памятное лето, раскрыли мне в нем много нового.

Человек в общем-то замкнутый, немногословный, известный среди братьев писателей своим нелегким характером, он мог показаться и мрачноватым. Но тут, на Ангаре, мы часто видели его среди строителей, в особенности среди пожилых, бывалых, и он часами вел с ними неторопливые беседы. От предложения устроить в клубе вечер его стихов он наотрез отказался. Даже обидел этим энтузиастов-организаторов. На наши попытки его убедить отвечал коротко, сердито: не надо, не люблю, не хочу. А через день на палубе катера, несшего нас по Ангаре к островному колхозу, которому предстояло оказаться на дне будущего Братского моря, он без особых просьб и приглашений читал матросам главы из «Теркина» и «За далью — даль». Читал и застенчиво спрашивал у них после каждого отрывка:

— Ну как, ребята, ничего? Получается? — И предлагал: — А вот еще послушайте.

Когда же наш чешский друг вознамерился заснять это чтение, рассердился, повернулся спиной, ушел:

— Я не Мерилин Монро. Не люблю сниматься.

Потом опять вернулся к матросам. Снова зазвучали стихи. Чтение едва не окончилось для нас несчастьем, ибо увлеченный стихами рулевой зазевался и чуть не посадил катер на мель.

А однажды, уже поздней ночью, мы поднялись на знаменитый, высоко вознесенный над Ангарой утес Пурсей, увенчанный старыми корявыми соснами. Пришли полюбоваться ночными видами гигантских работ, развертывающихся внизу, на реке. И тут мы увидели Твардовского. Сидит один на скамейке в глубокой задумчивости. Вяло отреагировал на наше шумное появление. В разговоре участия не принял, продолжал отчужденно смотреть вниз, на посеребренные луной крутые берега реки, на шубу таежных чащ, темной массой подступавших к самой воде, на жиденькие огоньки села, еле различимые в соседстве с нервным полыханьем огней стройки. И вдруг сказал:

— И дружинники Ермака это видели. И протопоп Аввакум, когда его везли в Братский острожек, видел. А скоро вот ничего этого не будет. И утеса этого не будет, и скамейки этой не будет. Вода, сплошная вода... А знаете, грустно как-то все-таки. И удивительно, и грустно.

На острове, которому предстояло оказаться на дне бу-

дущего моря, мы долго ходили по длинной колхозной улице. Колхоз переселялся на новые, удобные и просторные места. Большинство дворов были уже пустыми. Это были удивительные дворы. Избы, рубленные из бревен в два обхвата. Усадьбы, огороженные высокими заборами. Крепкие чуланы, амбары, навесы для сушки рыбы — целый жилой комплекс, включающий и курную баньку. Все добротное, будто литое, века простоявшее.

Молодые ребята из плотничьей бригады разбирали эти дворы. Грузили бревна на машины, перевозили на новое место, где росла новая усадьба, усадьба городского типа, возводимая по чертежам, добытым председателем артели на Сельскохозяйственной выставке.

— Не жалко? — спросил Твардовский русоволосого парня, по-видимому бригадира, который легко, будто играя огромной вагой, поднимал очередной венец.

— Чего? — не понял тот.

— Ну вот, разбираете дом, может быть, родились тут... Переедете, не будете скучать?

— А по чем скучать-то? По комарам да мошке? По лягушкам? На новом месте раздолье — и поля, и выпасы, не придется коров на лодках на пастбище переправлять.

— И все так думают?

— Ну, за всех не скажу, может, кто и жалеет. Бабы вон жаловались, женщины-колхозницы то есть. Могилки тут родные, деды-прадеды похоронены... А так чего жалеть?

Твардовский вздохнул, а мне вдруг вспомнился его герой из «Страны Муравии» Никита Моргунок, странствующий по охваченной пламенем первых пятилеток стране в поисках тихого мужицкого рая, с мечтой зажить когда-нибудь по-настоящему, «своим двором». Эти колхозные ребята из плотничьей бригады могли быть даже не детьми, а внуками Никиты Моргунка, и мне показалось, что создателю этой поэмы о победах колхозного строя все-таки горько, что они так вот бездумно расстаются со своим обжитым их предками островом.

На следующий день осматривали новую, перевезенную на материк часть деревни, где с помощью строителей Братска поднялись вдоль улицы дома, сельский клуб, школа, детские ясли и детский сад. Улица была почти готова. Даже молоденькие рябинки покачивались вдоль тротуаров на тоненьких стволах. Мы были приглашены в дом к председателю правления. Нас посадили ужинать. Ужин был веселый, с гармошкой, с плясом. В разгар ужи-

на Твардовский незаметно исчез с отцом председателя, который в послереволюционные годы, как нам уже рассказывали, был вожаком известного в этих краях партизанского отряда. Они отсутствовали весь вечер. Пропустили и патриаршую уху, и великолепные пельмени «из трех мяс» — бараньего, говяжьего и медвежьего. Появились, только когда мы усаживались уже на вездеходы.

— Посмотри-ка как следует на этого старика,— сказал Александр Трифонович.

Я посмотрел. Старик стоял прямой, худощавый, крепкий. Ватник, туго перехваченный ремнем, оттенял прямо-таки мальчишескую талию.

— Красный партизан. Сибирь у Колчака отбивал... Часы от Иркутского губисполкома имеет «За отличную храбрость и верное служение пролетарской революции». Больше двадцати убитых медведей у него на совести, а сейчас вот с колхозной пасеки центнерами мед берет.

Ехали молча, как бы переваривая свои впечатления, а когда вдали показались россыпи огней стройки, Твардовский вдруг добавил:

— А сейчас знаете, чем тот старик занимается в свободное от пасеки время?.. В омшанике гроб себе сооружает. Да, да. Из лиственничных досок. Крышку уж сколотил.

Мы задержались в Братске, а Твардовский уехал в Иркутск пароходом.

— Ничего путного вы на самолете не увидите,— сказал он нам и насмешливо добавил: — Туристы. На пароходе, правда, хорошенькие стюардессы леденчиками не кормят, зато с настоящими людьми познакомлюсь. Сибирь погляжу. Ее с неба-то не увидишь, Сибирь.

В Иркутске на аэродроме встретил нас незнакомый человек и сказал, что в гостинице нам устраиваться не надо, что ждет нас к себе прямо к столу известный сибирский писатель Франц Николаевич Таурин, как раз тот самый Таурин, роман которого «Ангара» мы все перед отъездом в Братск основательно перечитали. Таурин жил в городке строителей уже законченной к тому времени Иркутской ГЭС. Она вступила в строй, опередив Братскую. Мы припоздали, и ужин был в самом разгаре. Твардовский, уже преображенный, при галстуке и манжетах, был в ударе.

— Опять опоздали!.. Не солидно, товарищи, не солид-

но. Ох, неторопливый, медлительный пошел нынче газетчик.

За столом сидел еще один человек, которого нам представили как начальника строительства Иркутской ГЭС инженера Бочкина. Видать, с Твардовским они уже познакомились и понравились друг другу. Поэт был весел, разговорчив и с не свойственным ему обычно энтузиазмом рассказывал строителю обо всем том, что мы видели в Братске.

— Это ж даже и представить себе трудно. Пройдет несколько лет, и все, что там видишь,— и остров, и утес,— все уйдет на дно моря, и над всем этим поплывут корабли... Вот вы, Андрей Ефимович, представляете себе теперь, что было на месте, где вы сотворили сейчас Иркутское море? Представляете? — спрашивал он у Бочкина.

— Плохо. Пригляделся ко всему новому, а старое както плохо и помню. Конечно, если вас интересует, у меня есть фотографическая панорама, могу подарить... Но наше море маленькое по сравнению с тем, что затеяли братчане.

— Маленькое! По-вашему, уже и маленькое. Ох, и ненасытный же вы народ, гидростроители. Вам все мало,— говорил поэт.

Я его просто не узнавал. Это был совсем не тот Твардовский, что разговаривал с молодым плотником, разбирающим сруб, или грустил на утесе Пурсей на одинокой скамье.

Во время ужина произошел такой очень памятный для меня инцидент. Знаменитый гидростроитель пересел ко мне и, переходя на «ты», вдруг спросил:

— А ты что же, друг мой, меня уже и не узнаешь?

Я начал что-то мямлить: дескать, кажется, встречал на конференции сторонников мира или на сессии Верховного Совета. Он с досадой сказал: «Эх, ты». Поднял русую прядь, закрывавшую лоб. И опять повторил: «Эх, ты». На высоком загорелом лбу его был отчетливо виден старый полукруглый шрам. И по шраму этому я вдруг признал в знаменитом инженере друга моих комсомольских лет, с которым в Твери мы состояли в одной ячейке и даже, признаюсь, ухаживали за одной девушкой, причем старались по мере сил не ревновать друг к другу, ибо ревность по тем временам считали чувством мелкобуржуазным и комсомольца недостойным.

— Андрей!

— Борька!

Мы обнялись, и больше всех радовался этой встрече Твардовский: вот это да, какой сюжет, не сразу и поверишь. А когда Бочкин предложил нам поехать на Байкал, на ночную рыбалку, Твардовский с тем же шумноватым энтузиазмом поддержал эту мысль.

Повторяю, он был совершенно необычен в этот день: смеялся, шутил, охотно читал стихи, и свои, и чужие. А когда по пути на великое озеро, до которого было рукой подать, мы не очень стройно, диковатыми голосами затянули «Славное море, священный Байкал», он шутливо сказал:

— Ревете вы, как медведи весной,—и принялся дирижировать нестройным нашим хором.

Все мы оказались рыбаками ничтожными. Зря около часа промахали удочками. А вот гидростроителю повезло, и уха, приготовленная по какому-то особому, сибирскому, известному Таурину рецепту, оказалась необыкновенно наваристой. Прямо с костра в закоптелом ведре на обгорелой палке внесли мы ее в дощатый домик, где ютились гидрологи ГЭС, и стали хлебать деревянными ложками из большого деревянного блюда.

Тихо открылась дверь, и бесшумно вошла худенькая девушка-гидролог. Она пришла прямо из тайги. За плечом у нее висел карабин, а в руках был букет; нет, не букет, а охапка тех луговых цветов, что носят в Сибири поэтическое название жаркú. Болотные сапоги ее хранили следы ночной росы. Мы подвинулись и пригласили ее к столу. Наотрез отказалась. Сунула свои жарки в большую банку из-под консервов, поставила на окно, а сама села в дальнем углу и притихла, уставившись на Твардовского большими голубыми глазами.

Уговаривали ее, звали — не подошла. Так в уголке и просидела над какой-то тетрадкой до конца шумной нашей трапезы. Твардовский с ее появлением как-то сразу изменился. Примолк. Замкнулся, уйдя в себя. А когда стали прощаться, он бережно и почтительно поцеловал руку этого маленького гидролога.

— ...Заметили, как пахнут ее цветы? Какой-то странный, не луговой, какой-то задумчивый запах,— сказал он.

Промолчал всю дорогу. А когда машина бежала через Ангару по гребню плотины, точно продолжая разговор, сказал:

— А нелегко ей, наверно, такой маленькой, хрупкой, одной среди мужичья... Карабин за спиной носит, чудачка... От кого и от чего защитит ее этот карабин?..

Под утро мы были уже на аэродроме, и с зарей самолет понес нас в Москву, где, преодолев тысячи километров, мы должны были приземлиться тоже утром. Утром того же дня. А в полдень Франц Таурин посадил Твардовского на хабаровский экспресс. Из сибирской дали поэт отправлялся в даль тихоокеанскую, на самый восточный край советской земли. И ехал он туда, как я потом узнал, не в мягком вагоне.

СЛОВО О ВЕЛИКОМ ЧИЛИЙЦЕ

В трагические для Чили дни, когда фашиствующая военная хунта чинила свой кровавый переворот, телеграф донес оттуда тяжелую весть, умер Нефтали Рикардо Рейес Басуальто, которого весь культурный мир знал как Пабло Неруду.

Человечество потеряло в его лице одного из славнейших своих поэтов. Компартия Чили — одного из самых боевых своих членов. Люди всех пяти континентов земли, знавшие Неруду, знакомые с его стихами, с его неутомимой деятельностью, потеряли доброго друга, человека большой души, пламенного и неустанного борца за мир, за взаимопонимание народов, борца за все лучшее на земле.

Высокообразованный чилийский дипломат Нефтали Басуальто, известный своей честностью, любовью к родине, непримиримый в служении ей, и поэт Пабло Неруда, имевший широкую известность не только в своей стране, но и за ее пределами, немалое время жили как бы разными, параллельными жизнями. Мало кто, читая глубокие, философские стихи Неруды, увлекаясь ими, знал, что пишет их молодой дипломат, человек, защищающий интересы своей страны на международной арене.

Лишь в дни итало-германской интервенции в Испании, где мировой фашизм развязал войну против республики, чилийский консул в Мадриде и автор страстных, свободолюбивых стихов Неруда слились в одном человеке.

Генеральный консул в столице Испании, забыв о дип-

ломатическом статусе, принял самое активное участие в антифашистском движении и собственным пером в поэме «Испания в сердце» восславил борьбу испанских патриотов за честь и независимость своей родины, героическую борьбу с международным фашизмом, который в те дни еще только пробовал зубы на испанской земле.

Один из участников этой борьбы, советский офицер, сражавшийся как доброволец в рядах испанских республиканцев, рассказывал нам, советским писателям, как Неруда приезжал в окопы Университетского городка и под огнем фашистских минометов читал свои стихи, пропитанные ненавистью к фашизму, и о том, как чутко, благодарно бойцы Республиканской Испании отвечали на эти строфы страсти и гнева.

Нефтали Рикардо Рейес Басуальто был чилийским дипломатом. Но Пабло Неруда был поэтом всей Латинской Америки, певцом ее бед, радостей, певцом ее горя и мечтаний, певцом ее борьбы и надежд. В своей поэзии каждой строкой он крепко связан с далеким от нас континентом. Но при всем том со времени сражений в Испании и до конца своей жизни он был верным другом Советского Союза — первой в мире страны социализма.

— В Испании мне впервые по-настоящему стало ясно, где, в чьих рядах, мое место,— рассказывал нам Неруда на дружеском ужине после вручения ему Международной премии «За укрепление мира между народами».— Там я научился хорошо различать, где красное, где черное, где мир и где война, где добро и где зло. С тех пор я с вами, советские друзья. Я в ваших рядах. И не как волонтер из иностранного легиона, а как ваш солдат, каковым и прошу меня считать до конца жизни.

Да, он был солдатом. Храбрым, стойким солдатом, не боявшимся опасности, умеющим защищать свои убеждения. Он сумел в своих стихах выразить чувства братской солидарности народов Латинской Америки с советскими людьми, которые в начале второй мировой войны один на один сражались с объединенными силами мирового фашизма, сплотившимися под гитлеровскими знаменами.

Его поэмы «Песнь любви к Сталинграду», «Песнь в честь Красной Армии, подошедшей к воротам Пруссии» — эти два произведения о мужестве советского народа, о необоримой силе его идей — прекрасные страницы творчества Неруды.

После второй мировой войны Пабло Неруда был избран сенатором Чили. Но его страстные выступления с сенатской трибуны против провокационной политики правящих кругов страны, его разоблачения тайной и роковой роли североамериканского ЦРУ в делах и жизни Чили привели сенатора на нелегальное положение. Сенатор Рикардо Басуальто стал изгнанником. Но поэт Пабло Неруда продолжал свою бурную антиимпериалистическую деятельность, разя врагов мира и врагов своей страны поэтическим оружием.

В те годы из-под его пера выходит сборник поэм «Виноградники Европы и ветры Азии», в котором, пожалуй, самой значительной главой является поэма «Сибирский экспресс», посвященная нашему послевоенному восстановлению и созиданию.

Он — участник почти всех конгрессов сторонников мира, активный участник, вокруг которого всегда кипят самые боевые силы международных форумов.

Яркая деятельность Неруды получила широкое и поистине всемирное признание. Кроме Международной премии «За укрепление мира между народами», о которой я уже упоминал, он получает за свою поэму «Да пробудится лесоруб» Международную премию мира, а затем и Нобелевскую премию...

Когда я узнал, что Неруды нет уже в живых, ярко вспомнилось последнее свидание с этим необыкновенным человеком, дружбой которого я всегда гордился.

В последние годы жизни Неруда вернулся к дипломатической деятельности. Да к какой! Полномочный посол Республики Чили в столице Франции.

Я легко представлял его, большого, медлительного, иронического, наносящего с трибуны какого-нибудь конгресса удары по врагам мира. Или в читательской аудитории, неторопливо, монотонно, как бы цедящего сквозь зубы свои стихи. Или за дружеским столом в каком-нибудь крохотном замысловатом кабачке, где он, негромкий и немногословный, всегда оказывался в центре застолицы. Но в качестве полномочного министра, посла своей страны в Париже никак не мог его себе вообразить.

И вот представился случай. Возвращаясь из дальних странствий, я и мой друг из-за несовпадения расписания рейсовых самолетов вынуждены были задержаться в Париже. Первый день пасхи. Гудят колокола знаменитых соборов. Город просто сияет молодой листвой своих буль-

варов и парков, пестро, шумно отмечает этот весенний праздник. Позвонили по одному, по другому, по третьему телефонам. Никого из французских друзей дома не оказалось. И пришла мысль: а ну-ка позвоним послу республики Чили.

Без особого труда соединились с Нерудой и услышали его такую знакомую, неторопливую, хрипловатую речь: да, да, он дома. Он рад, что мы ему позвонили. Он приглашает, он просто требует, чтобы мы заехали к нему. Правда, Матильды нет. Она дома, за океаном. И он должен на час отлучиться на какую-то нудную, но обязательную дипломатическую церемонию, черт бы ее побрал. Но ничего. Приезжайте немедленно. Первым же такси. И не завтракайте, а то вам будет скучно меня ждать.

Загадочный смысл этой фразы стал ясен сразу же, как только дежуривший в посольстве чиновник, молодой человек с остренькими косыми бачками, провел нас прямо в личные апартаменты посла, к богато накрытому столу, посреди которого возвышалась затейливая сулея индейской работы, наполненная густым рубиновым вином. Проводивший нас молодой дипломат перед тем, как откланяться, многозначительно показал лежащую на столе записку. Каллиграфическим почерком были выведены на ней по-русски три слова: «Здравствуйте. Ешьте. Пейте!» Последнее слово этого приглашения было энергично подчеркнуто и сопровождено жирнейшим восклицательным знаком.

Не заставляя себя долго упрашивать, мы последовали приглашению. А через малое время на улице, под окном, зашумел мотор. У подъезда остановилась длинная машина с вымпелом посла на радиаторе. Шофер в униформе обошел ее, учтиво открыл дверцу. Из машины выбрался, именно выбрался, нет, не поэт Пабло Неруда, каким мы его привыкли видеть, а именно посол Нефтали Рикардо Рейес Басуальто, в светлом смокинге с гвоздикой в петлице.

Он неторопливо прошествовал в подъезд, скрылся в нем, и довольно долго мы ждали его, посматривая на дверь. А когда она открылась, в ней появился совсем другой человек, наш давний добрый знакомый Пабло, в домашней фланелевой куртке, в клетчатых тапках. Только белая гвоздика в петлице осталась от сановитого дипломата, которого мы только что видели в окно.

Неруда обнял нас. Расцеловались. Он был в ударе,

Засыпал вопросами о новостях в движении сторонников мира, об общих друзьях, о последней конференции, в которой он по официальному своему положению уже не мог участвовать, о решениях этой конференции. Потом, прихлебывая вино, познакомил нас с последними стихами. Читал их хрипловатым голосом, при котором слова летели как бы со дна бочки. На прощанье проводил до прихожей и шел задумчиво, что-то напевая под праздничный колокольный звон.

Это была последняя встреча. С тех пор не довелось мне встречаться с Пабло Нерудой. Известие о его гибели застало меня в Москве.

Он был фигурой настолько яркой, что стоит в любую минуту закрыть глаза — и он сразу возникает перед нами: большой, грузный, медлительный, с черными, как бы в удивлении приподнятыми бровями, с живой искоркой в темных с поволокой глазах. А в ушах звучит его неторопливая речь.

И все же несколько месяцев спустя после его гибели мне довелось слышать его. Да, да, слышать наяву, и произошло это вот как. Мы с женой гостили в Болгарии. После участия в митинге, посвященном Сталинградской битве, были приглашены провести вечер Ладой Галиной, милейшей женщиной, драматургом, писательницей, а главное — неистовым, неутомимым репортером. Она была в Чили. Во время этой поездки посмотрела страну, побывала среди рабочих, гостила у крестьян, у рыбаков, познакомилась с Сальвадором Альенде и подружилась с Нерудой.

Поэт был тяжело и безнадежно болен. Он знал об этом. Но в стране шла все обостряющаяся борьба, и он, несмотря на все свои недуги, принимал в ней активнейшее участие. Лада записала на пленку его последнее выступление на грандиозном митинге, на том самом футбольном стадионе, которому суждено было через несколько дней превратиться в голгофу для десятков тысяч не покорившихся хунте чилийцев...

Мы сидели в небольшом кабинетике писательницы. Хозяйка включила маленький магнитофон, потекла лента, вдруг в уют комнаты ворвался грохочущий шум огромной толпы, шум оваций, в котором аплодисменты то и дело пронзали свистки. Он грохотал долго, этот шум, то затихая, то нарастая, и под этот грохот сотни голосов скандировали:

«Пабло, Пабло, Пабло...»

— Неруда появился тогда на трибуне. Друзья и поклонники долго не давали ему говорить,— комментировала хозяйка.— Он машет рукой, показывает на часы: дескать, экономьте время,— но шум нарастал.

Потом на фоне этого шума возник глухой, утробный, такой знакомый голос. И сразу же шум стих, и настает какая-то оглушающая тишина. Неруда начинает читать стихи. Я даже приблизительно не знаю испанского языка. Но, вероятно, это очень боевые стихи, потому что каждая их строфа сопровождается криками:

«Си, си, си! — Да, да, да!»

«Вив, Пабло!»

— Он был мертвенно-бледен, даже зеленоват в эту минуту,— комментирует хозяйка дома.— Пот покрывал лицо, стекал со лба. Я стояла недалеко от трибуны, все видела. Вот он вытер лоб беретом, придвинулся ближе к микрофону.

Теперь действительно голос окреп, в нем зазвучал металл. Текли стихи, звучавшие как лозунги, или лозунги, звучавшие как стихи. Повторяю, я не знаю испанского. Не понимаю слов, бросаемых глуховатым напевным голосом в огромную толпу, заполняющую громадную раковину стадиона. Но мне кажется, что стихи эти, может быть, напоминают те, какими открыта его последняя книга, вышедшая в 1973 году. На память помню слова перевода: «...У меня нет выбора, к врагам моего народа мой напев беспощаден. Он тверд, как арауканский камень. А теперь приготовьтесь, я стреляю».

Это или что-то похожее на это читает Неруда, и стадион грохочет:

«Си, си, си!»

Потом поэт смолк, но наэлектризованный стадион долго и возбужденно шумит. Шумит до того момента, пока в магнитофоне не кончается пленка.

Наступила тишина. Мы снова вернулись в маленький, уютный дамский кабинетик. В открытое окно с темной улицы доносятся шаги прохожих. Прошуршали автомобильные шины. А мы сидим молча, все еще находясь под гипнозом звуков давно отшумевшего митинга, и память перелистывает эскизы дорогого образа. Вот он, грузный, медлительный, вылезает, улыбаясь, из самолета, поддерживая под руку свою жену Матильду, и размахивает беретом, раскланиваясь с друзьями. Порхающие лохматые снежинки тают на его голой, яйцевидной голове... Вот он дремлет в президиуме какого-то писательского собрания,

до которых он был великий неохотник. Вот утробным голосом, небрежно, как бы нехотя, произносит свои стихи на вечере, посвященном его поэзии, в какой-то московской библиотеке... Вот, по-домашнему распустив галстук и расстегнув нижние пуговицы жилета, обедает у нас дома и, к радости моей жены, отдает должное каждому блюду, запивая их добрым грузинским вином... Вот уже в качестве полномочного министра своей страны во Франции выбирается из большого, как концертный рояль, лимузина, в светлой визитке с гвоздикой в петлице... Вот, грузно надвигаясь грудью на трибуну, дает отповедь какому-то провокатору на Конгрессе сторонников мира... Такого Неруду я видел, знал, любил. А вот только что, несколько месяцев спустя после его смерти, я познакомился с Нерудой-трибуном, умеющим владеть огромной толпой. Познакомился тут. В кабинетике болгарской писательницы был как бы дорисован портрет этого давнего друга.

— ...А вот эту пленку мне тайно передали уже после путча, когда я покидала Чили,— говорит Лада, ставя новую кассету в магнитофон.— Тут записаны похороны Неруды. Его хоронила на старом кладбище горстка его друзей, старейших коммунистов. К гробу никого, кроме этих стариков, не допустили, даже Матильду. Солдаты хунты стояли до самой могилы, образовывая коридор. Вот послушайте.

Сначала в затемненную комнату врывается грубый какой-то окрик. Потом шуршание шагов по гравию и тихий, не очень стройный хор голосов. Несколько человек поют «Интернационал». Поют едва слышно. В песню то и дело врываются злобные окрики.

— Я не была, конечно, на похоронах,— рассказывает наша милая хозяйка,— но один из участвовавших в погребении, старый коммунист, положил в карман миниатюрный магнитофон и сделал вот эту запись.

Процессия, видимо, продвигалась медленно. «Интернационал» поют куплет за куплетом. Песня то стихает, то возникает снова. После одного из окриков пение прервалось. Потом снова зазвучало, уже как бы издали. И мы ярко представили себе картину: старое кладбище, кресты, мраморные ангелы, южная зелень, и горстка пожилых людей медленно движется меж могил, неся на плечах гроб. А по бокам стоят солдаты, держа автоматы наизготовку. Это они прерывают мелодию своими окриками. Но старые люди все-таки поют, с риском для

собственной жизни и свободы отдавая долг одному из славнейших коммунистов того, очень далекого континента.

Слышатся крики, брань. Передача прерывается где-то на полуслове. О том, что произошло у самой могилы поэта, можно только догадываться. Пленка кончилась или испортился записывавший аппарат.

В комнате тишина, в окно вместе со свежим ветром врываются звуки ночной Софии. У женщин на глазах слезы. И еще долго звучит в ушах тихая мелодия, исполненная старческими, дребезжащими и все-таки вдохновенными голосами...

Да, Пабло Неруды нет теперь среди нас. Усталое сердце великого чилийца морально или физически поразили те самые силы реакции, против которых он боролся всю жизнь. Его жилище на Черном полуострове на берегу океана, резонирующее, как раковина на шум волн, которое он и называл поющей раковиной и населил массой интересных книг и всяческих диковин,— это жилище разгромлено и разграблено. На рукописях, валяющихся на полу, оттиснуты гвозди солдатских сапог. И все-таки врагам чилийской свободы не довелось торжествовать у гроба великого поэта Латинской Америки. Да, никакой хунте не убить такого человека, как Неруда. Такие люди не умирают. Наш добрый друг навечно остался жить в своих стихах. И эти его стихи будут всегда и неустанно сражаться за свободу, за независимость, за истинную демократию Чили и за мир на земле.

В ГОСТЯХ У ВОЛШЕБНИКА

Среди немногих детских книг моего детства был знаменитый в свое время «Крокодил» Корнея Чуковского — потрепанная, донельзя зачитанная тетрадка, вышедшая когда-то приложением к какому-то уже несуществующему детскому журналу. Смешные, лукавые стихи, заключенные в ней, были сопровождены полустертыми, но хорошими иллюстрациями. Я так и пронес эти стихи в своей памяти и через две революции, и через голодные годы, и через комсомольскую юность. Даже и сейчас вот живо себе представляю этого питерского Крокодила в клетчатом жилете, в башмаках на пуговицах, с огромной папиросой в зубах и храброго Ваню Васильчикова в коти-

ковой шапке с ушами и ужасной игрушечной саблей. И строфы из этой сказки помню — простые, казалось бы немудрящие, но, на́ вот, запавшие в голову на всю жизнь.

Вспомнился же мне этот пресловутый «Крокодил» в дни, когда я готовил доклад о детской литературе ко Второму съезду советских писателей. В списке особо читаемых детьми книг на счету у Чуковского были и «Мойдодыр», и «Бармалей», и «Доктор Айболит», и «Муха-Цокотуха», и другие прелестные сказки. А вот «Крокодила» не было. Навел справки: да, «Крокодила» не издают. Почему? Оказывается, по педагогическим соображениям. Педагогика не рекомендует. Что это за буржуазный анархизм: хулиганить, на улицах хватать людей, глотать псов и даже представителя власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Чему это все может научить современного школьника?

Но я не внял этим доводам и в докладе помянул добрым словом моего давнего любимца, сказав при этом пару реплик в адрес слишком уж строгих толкователей законов воспитания.

В перерыве ко мне подошел Корней Иванович, которого я, конечно, знал, которого хорошо представлял главным образом по шаржам и шуточным рисункам, но с которым знаком не был. Наклонившись ко мне с высоты своего незаурядного роста, он взял мою руку в свои большие теплые ладони.

— Спасибо, голубчик, за то, что вы реабилитировали моего «Крокодила». Признаюсь, я его тоже очень люблю.— И протянул мне книжку сказок.— Это вам и вашим детям. Тут есть одна, в этой книге тоже не представленная. Я выписал ее вам от руки по памяти.— И он прочел своим глуховатым и неожиданно тонким для его массивной фигуры голосом:

Промчатся над вами
Года за годами,
И станете вы старичками.
Теперь белобрысые вы,
Молодые,
А будете лысые вы
И седые.
И даже у маленькой Татки
Когда-нибудь будут внучатки,
И Татка наденет большие очки
И будет вязать своим внукам

И даже трехлетнему Пете
Будет когда-нибудь 70 лет,
И все дети, все дети на свете
Будут называть его дед.
Так вот: когда станете вы старичками
С такими большими очками
И, чтоб размять свои старые кости,
Пойдете куда-нибудь в гости,—
Ну, скажем, возьмете внучонка Николку
И поведете на елку.
Или тогда же, в 2024 году,
На лавочку сядете в Летнем саду,
Или не в Летнем саду, а в каком-нибудь
маленьком скверике,—
Ну, скажем, в Болгарии
Или в Америке,—
Всюду, куда б ни заехали вы, всюду, везде одинаково
Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова
На вас молчаливо укажут
И тихо, почтительно скажут:
«Он был в Ленинграде... во время осады,
В те годы... Вы знаете... в годы блокады...»
И снимут пред вами шляпу.

Вот с этого веселого и все-таки немного грустного стихотворения и началось знакомство с человеком, сумевшим и на девятом десятке сохранять в стареющем теле молодость души, энергичную целеустремленность и просто поразительную работоспособность, которой мог бы позавидовать любой писатель, находящийся в самой творческой поре.

Впрочем, знакомство было не близкое. Он редко приезжал из Переделкина в Москву, почти не бывал в писательском клубе, не принимал участия в собраниях коллег. Но я внимательно следил за всем, что выходило из-под его пера, интересовался его жизнью на даче, где, по рассказам близко знавших его людей, вокруг этого патриарха литературы всегда кипела детвора. Знал я о детской библиотеке, которую он организовал на свои средства и для которой добыл книги с автографами и пожеланиями от самых известных писателей современности, знал о «чуккострах», которые он устраивал для ребятишек, о детских маскарадах, проходивших при участии его самого и его друзей-писателей и гостей, приезжавших к нему из разных стран.

Хотелось, очень хотелось побывать у него, но говорили, что весь день у Чуковского разрезан на маленькие дольки и дольки эти строго распределены, что он пишет не одну, а сразу две или даже три книги, что он не жалует непрошеных гостей, — словом, не решался его беспокоить.

Помог случай. Александр Фадеев пригласил провести у него воскресный день. Была весна, и занимались мы тем, что, высаживая на грядки клубнику, говорили о том о сем и, главное, почему-то о пчелах, которыми я занимался уже давно и которых Фадеев в эту весну собирался завести. И вот в пустом доме требовательно заверещал телефон. Поморщившись, Фадеев вытер руки и пошел на звонок. Потом не без досады крикнул с крыльца: «Тебя».

В трубке зазвенел девичий, очень напористый голосок. Неведомая девушка извещала, что у них скоро загорится костер, и что я должен выступить перед ребятами, и что за мной зайдут на дачу Фадеева. Признаюсь, столь категорическое приглашение меня рассердило, тем более что и интересный для меня разговор о пчелах остался неоконченным. Я отказался и положил трубку. И вот полчаса спустя открывается калитка и в сопровождении трех или четырех ребятишек в ней появляется Корней Иванович. Большой, сутулый, носатый, он был раза в три выше своих спутников. Фадеев, перепрыгивая через грядки, бросился им навстречу.

— Корней Иванович, очень рад... Какими, так сказать, ветрами?

— Мы не к вам, не к вам, мы вот к этому господину,— свирепым голосом Бармалея ответил Чуковский.— Мы делегация. Мы уполномочены привести Полевого к нам на костер.— И, обращаясь к своей свите, которая благоговейно созерцала живого Фадеева, скомандовал: — Раз, два, три.

И ребята отрубили хором:

— При-хо-ди-те, ждем!

— Может быть, встать на колени? — грозно спросил Корней Иванович.— Могу. Мне это пока еще ничего не стоит. Кстати, вашим мрачным отказом, сеньор, вы обидели очень хорошенькую девушку.

Я почему-то живо представил себе, как этот патриарх литературы, сгибаясь, как складной аршин, встает на колени, и мне стало страшно.

Нечего уж говорить о том, что в назначенное время я был у костра. У настоящего костра, в котором ровным огнем горело несколько березовых поленьев. Мне, разумеется, пришлось рассказывать о встрече с Алексеем Маресьевым, описывать всю его историю. Оказывается, Маресьев уже приезжал к Чуковскому, провел с ребятами вечер, и все они знали его не хуже меня.

Потом ребята пели, прыгали через этот костер, играли в какие-то мудреные игры. Все это делалось под руководством румяной, крепкой, действительно очень хорошенькой девушки. Сам же Корней Иванович сидел на стульчике посреди этого веселого кипения, улыбаясь смотрел на огонь и явно получал не меньшее удовольствие, чем его гости. И на его большом, массивном, носатом лице брезжило умиротворенное выражение. Он был доволен. Он отдыхал в этом шуме и гаме.

И тут я заметил его особую черту. В маститом этом старце сохранялось что-то детское, он говорил с детьми серьезно, не подсюсюкивая, не подлаживаясь, но говорил на их родном языке. Он, кажется, умел и мыслить их категориями. Я понял, почему книги его, ну, скажем, такие, как «Крокодил», являющийся книгой моего детства, не стареют, не выцветают и находят путь в сердца детей не только той поры, в которую они были написаны, но и для детей иной среды, иного воспитания. У него, так сказать, был особый дар детского зрения, ярко сказавшийся в его знаменитой книге «От двух до пяти», выдержавшей десятки изданий...

Ну, а потом мы пошли к нему «закусить, чем бог послал». Вошли в дачу. Это была обычная писательская дача, каких много в поселке Переделкино, но мне показалось, что я вступил в какой-то сказочный мир, находящийся в ином измерении. Нет-нет, в мире этом ничего особенного не было. Все, что полагается жилищу писателя: и книги, и письменный стол, и кушетка для отдыха,— и в то же время мир этот был необычен, как необычен был и сам его властитель.

Прежде всего в этом мире поражала пестрота. Громадная полосатая рыба, висящая над дверью, строго смотрела на нас красным глазом. Журавлики из цветной бумаги, как бы плавая в небесах, совершали круги над настольной лампой, и тени их бесшумно и так же чинно двигались по стенам. С полки смотрел добродушный мордатый лев, который, как оказалось, был «говорящим». В углу горкой лежали маскарадные костюмы и маски, из них выглядывала зеленая морда крокодила, наверное, того самого, который в начале века безобразничал на Невском проспекте глотая барбосов и городовых.

И книги. Много книг. Пестрые заграничные издания Чуковского — огромная коллекция, зримое свидетельство всемирной славы создателя еще одного сказочного цикла,

обогатившего мир детей во многих странах. Полка литературы, посвященной Некрасову, о котором он тогда писал,— все, что касалось самого Некрасова, его времени и было написано о нем. И снова книги, книги. Читанные. Внимательно читанные, с закладками, с заметками на полях. В этом случае не просто книги как средство времяпрепровождения или художественного наслаждения, а книги как рабочий инструмент в большом литературном труде, который, вероятно, никогда не прекращался в этой комнате.

И конечно же знаменитая «Чукоккала» — толстенный альбом с рисунками, стихами, прозой, нотами, с автографами знаменитейших людей столетия, многие из которых, отстраненные временем, стали уже легендарными. Странное название этого своеобразного музея культуры, или, говоря по-иному, этого шутливого парада-алле знаменитейших культурных деятелей века, Корней Иванович объяснил мне так:

— «Чукоккала» родилась в 1914 году. Ее крестный отец — Илья Ефимович Репин. Имя крестницы он сколотил из начальных слогов моей фамилии и окончания названия места, где она родилась,— дачного поселка Куоккала под Петербургом.

Шутливую эту книгу я листал с невольным благоговением. В ней великие люди, имена которых мы чтим, представали в самом необычном облике. Репин выступал как писатель, Шаляпин — как рисовальщик, Собинов — как поэт, Блок, тонкий лирик Блок... как комедиограф.

— Вот мечтаю, когда-нибудь издадут,— говорит Корней Иванович, любовно поглаживая толстенный альбом.— Только вот жанр трудно определить, ведь такого, друзья мои, еще не бывало. Тут все разное: и авторы, и темы, общее только одно — юмор, это самое ценное качество человеческого характера, лучшее лекарство от всех душевных болезней. Юмор — великая вещь. Вам не кажется, что в теперешней нашей жизни мы стали все слишком серьезны и юмора не хватает, а он нам нужен, как кислород?

На столе неярко светила лампа старинного образца. Кружился над ней караван журавлей. Тени их тихо плавали по стенам, в открытое окно вместе с прохладой и сыростью ветер задувал обрывки песни, которую пели где-то далеко. Чуковский сидел, покрыв ноги пледом, подбитым плешивым мехом, и казался добрым волшебни-

ком, который устал удивлять мир чудесами и теперь тихо отдыхал. Но долго не усидел. Встал, вышел в соседнюю комнату и вдруг возник в дверях в средневековой серой мантии почетного доктора Оксфордского университета — широченной хламиде и странной черной шапочке с четырехугольным верхом и кисточкой, спускающейся к длинному носу.

Вошел в комнату. Повернулся, давая возможность обозреть себя со всех сторон. Спросил:

— Ну, как, не очень вызывающе? — Потом серьезно добавил: — Из наших русских такая мантия имелась только у Ивана Тургенева в 1879 году.

Добрейший волшебник, как оказывается, обладал еще и даром перевоплощения.

Снова и в последний раз встретились мы с Корнеем Ивановичем в загородной больнице. После не очень тяжелой, но противной операции я понемногу учился ходить по парку, куртины которого были в ту пору сплошь позолочены одуванчиками. Цвела черемуха. Счастливцы, имевшие возможность гулять по более широкой орбите, иногда приносили из леса ландыши.

Я брел потихоньку мимо так называемого инфекционного корпуса — длинного приземистого здания, где каждая палата имела не только внутренний, но и свой особый наружный вход, ведущий через маленькую терраску прямо на дорожку. На одной из этих террасок я приметил очень высокого человека, покрытого клетчатым пледом. Он смотрел на распустившуюся березу, к серебряному стволу которой была прикреплена скворешня. У скворешни разыгрывалась какая-то шумная птичья сцена.

Что-то в облике этого больного, может быть, сутуловатость фигуры, может быть, длинные руки, лежавшие на перилах, будто он приготовился читать лекцию и опирался на кафедру, вдруг показалось знакомым. Чуковский! Боже мой, вот подарок судьбы за все мои испытания последних дней!

По-моему, он тоже обрадовался.

— Идите, идите ко мне, сын мой. Я вас благословлю.

Обнялись, поцеловались. По-русски, троекратно, со щеки на щеку. Как водится, обменялись подробнейшими сведениями о своих недугах, и я стал жаловаться на вынужденное больничное безделье.

— А я привык. Я здесь, как говорят эскулапы, адаптировался. Знаете ли, не скучаю. Некогда скучать.

Он ввел меня в свою палату. Вместо стандартного больничного стола у окна стоял просторный обеденный, а на нем в беспорядке, а точнее говоря — в каком-то особом порядке, лежали книги и с трех концов стола, отдельно, начатые или исписанные листы бумаги. Явно рукописи. Но почему их было три? Лежали они так, будто три человека работали за этим столом, сидя каждый со своей стороны, а сейчас вот взяли да ушли.

Нет, оказывается, за столом этим работал один он, больной, и действительно работал над тремя книгами: над книгой о Некрасове, над подготовкой к печати нового, кажется, двадцать третьего по счету издания «От двух до пяти». А на третьей грани стола писалась какая-то, не помню уж, какая именно, литературоведческая работа.

Я принялся, по обычаю всех больных, интересоваться его болезнью, ходом лечения, состоянием здоровья. Он поморщился.

— Не тема, не тема. Я и сам знаю, что нахожусь в том возрасте, когда бо́льшая часть мочи уходит на анализы, но говорить об этом, ей-богу, не стоит.— Поправил на плечах плед, закутался и вернулся на терраску.— Вы лучше посмотрите, что на березе творится.

На березе продолжалась птичья возня. Конфликт был в разгаре. Слышались истеричные крики, из скворешни, порхая, летели пух, перья, какая-то ветошь. Вглядевшись, я понял, что стайка воробьев атакует скворца, который, забравшись в деревянный домик, выбрасывает из него их пожитки.

— Эти маленькие разбойники,— улыбаясь говорил Корней Иванович,— зимой оккупировали скворешню, натаскали туда какой-то своей рухляди. И вот вернулся из заграничной командировки хозяин и, естественно, вышибает их. Час наблюдаю эту потасовку. Видите, какой деловой, самоуверенный скворец. Характер! И он, конечно, прав, но мне все-таки жаль воробышек. Хотя, повторяю, право на его стороне: не в свои сани не садись... с чужого коня среди грязи долой... на чужой каравай рот не разевай. Ну, и так далее. Мало ли на эту тему насочинял русский народ.

— Много вы пословиц знаете.

— Мало, друг мой, мало. У Даля пять томов. А каждый новый день их рождать продолжает. Народ творит ежедневно, ежечасно. За ним не поспеешь... Вот правлю сейчас «От двух до пяти». Кажется, зачем бы — двад-

цать третье издание. Ан нет, уже и добавлять, и править надо. Волны времени вынесли новые золотые песчинки.

Он говорил о пословицах, а между тем все мы были свидетелями того, как сам он, этот старый добрый волшебник, обогащает народный язык, несет в него новые пословицы и поговорки: «Если могу — помогу». Сколько такого перешло из его сказок и побасенок в живой язык...

Мы сидели с ним до ужина. Говорил он один. Обаятельный, остроумный, громозвучный, любящий шутку, весь как бы пропитанный юмором, он легко вел беседу. Но его многоречье не было утомительным: он столько читал, столько знал и так по-своему умел видеть даже самое простое и не приметное в бытии явление!

Даже тут, в больнице, он жил по строгому графику.

— По-крестьянски, по-крестьянски живу. Встаю на заре и, если работники клистира не мучат вечерними процедурами, ложусь с заходом солнца.

И это было так. С четвертого этажа из окна моей палаты был виден «инфекционный» корпус. И если доводилось вставать часов в шесть, когда все еще было одето серым предутренним туманом, сквозь туман этот неясно пробивалось желтое пятно в знакомом окне. В палате у него стоял телевизор, но он никогда его не включал. Он не терпел общения с жизнью через голубой экран. А вот до общения с живыми людьми был жаден.

— Перед обедом наблюдал за вами. С кем это вы там, голубчик, разгуливаете? Что-то очень знакомое...

Я назвал видного нашего полководца, который пребывал в нашем хирургическом отделении по поводу сложного заболевания.

— Вы не шутите? Как это интересно! Приведите его сюда. Очень буду вам признателен.

Привел, познакомил их. Просидели на терраске до самого ужина. На этот раз спрашивал Корней Иванович, а полководец едва успевал отвечать на его вопросы. Когда, попрощавшись, он уходил, Чуковский шепотом вдохнул мне в ухо:

— ...Какой интереснейший человечище. Как это он ловко сказал: «В лоб-то только дураки бьют, да и то со страха». Великолепно. Целая стратегия в одной фразе. Я сейчас это запишу.

А полководец в свою очередь восхищался:

— Говорите, больше восьмидесяти! И такой светлый

ум. Нас с вами, наверно, в этом возрасте совковой лопатой собирать будут, а у него ясность мысли, отличная память...

Любил он природу. Даже в тех порциях, какие он видел со своей терраски. Каждый день сообщал новости. Березовые сережки сегодня облетать стали... Ольха пылит... У одуванчиков лохматые головы. И очень радостно: «А у скворцов-то моих, знаете ли, потомство. Бедные родители с ног сбились, уж очень прожорливы эти Тотошенька и Кокошенька»,— так называл он скворчат именами своих персонажей.

Май был в том году холодный. В сумерки температура заметно падала. В этот вечер Корней Иванович был в ударе. Стал вспоминать юность. Рассказывал, как работал в Одессе маляром, как лазил по крышам и как рост его помогал ему красить потолки. Но стемнело, и стало холодно. Дежурная сестра, обеспокоенная его здоровьем не раз выходила к нам на крылечко, но Корней Иванович продолжал разговор. Тогда сестра осерчала, решительно взяла его под руку, и, следуя за ней на буксире, он сказал своими стихами:

Да, нелегкая эта работа —
Из болота тащить бегемота.

А я, простившись и пожелав ему доброй ночи, шел в свою палату, как всегда, чем-то обогащенный, узнавший что-то новое и интересное.

ЮЛИУС И ПЕТЬКА

В день пятидесятилетия Юлиуса Фучика я делал доклад о его жизни в Колонном зале Дома Союзов. После доклада, в перерыв, когда публика выплеснулась в фойе, ко мне подошел незнакомый человек, показавшийся очень взволнованным. Выглядел он совсем молодым, по-юношески худощавым, с густой, синеватой цыганской смуглинкой, с жесткими волнистыми волосами, в которых, однако, кое-где пробивалась редкая седина. В те дни железнодорожники носили форму, и на нем были погоны начальника весьма высокого звания.

Но подошел он застенчиво, извинился и вдруг спросил, был ли Фучик летом 1930 года в Киргизии. Я ответил,

что был, и в свою очередь захотел узнать, почему это интересует собеседника. Тот мгновение точно бы взвешивал, стоит ли ему на этот счет разговаривать, потом в черных горячих глазах его мелькнуло мальчишеское озорство, и, оглянувшись на толстую рыжеватую девочку с туго заплетенными косичками-хвостиками, он заговорщицки подмигнул ей.

— Ну, как, Нина, расскажем, а? — Та, вспыхнув, утвердительно кивнула головой.— Тогда вот что: возьми, дочка, номерок, оденься, сбегай домой, и принеси ту старую фотографию; а мы пока, если вы не возражаете, присядем вот здесь.— Он указал на диван, стоявший между окон.— ...Видите ли, когда я был мальчишкой, я случайно познакомился с одним иностранцем, имя его я не знаю. Этот человек сыграл в моей жизни большую роль. Сегодня, когда мы с дочкой слушали ваш доклад, мне вдруг пришло в голову, не был ли этот иностранец Юлиусом Фучиком.

И незнакомец начал рассказывать. В детстве он был беспризорником, беспризорником, по его словам, «весьма квалифицированным, кадровым». Несколько лет он кочевал из города в город. На зиму попадал в детский дом и даже в колонию, весной убегал, устремлялся на юг, а летом возвращался в центр России. В последний раз он ухитрился убежать из колонии со строгим надзором, но суровая зима 1929 года все-таки загнала его в детский дом. Это было недалеко от города Фрунзе...

— Хотите — верьте, хотите — нет, но я в те дни просто представить себе не мог, как это можно жить на одном месте, кому-то подчиняться, кого-то слушаться, чем-то заниматься всерьез,— усмехаясь, произнес мой новый знакомый.

Весной, когда холода прошли, Петька Цыганок, как звали тогда моего собеседника, стал готовиться к новому побегу. Но вот в день, на который был назначен побег, случилось неожиданное. По детскому дому разнеслась весть, что в город приехали иностранные корреспонденты и должны посетить их дом. Иностранные гости в те дни были редкостью. Суматоха поднялась страшная. С утра ребят мыли, стригли, переодевали в новенькие костюмы, выдали всем панамки. На воротах прибили надпись: «Добро пожаловать».

В разгар суматохи как-то совсем незаметно во дворе появился невысокий, коренастый молодой человек без фу-

ражки, в спортивных туфлях на босу ногу, с засученными рукавами. Волосы у него были мокрые. С ним была тоненькая белокурая девушка, по обычаю комсомольцев тех лет одетая в юнгштурмовку, туго перехваченную ремнем. Из-под красной косынки у нее торчал пышный золотистый локон. Она остановила сестру-хозяйку, спешившую в столовую, и спросила, где им найти заведующего. Сестра-хозяйка сердито отмахнулась,— мол, не до вас,— и побежала было дальше. Но девушка оказалась настойчивой.

— Да отстаньте вы, что вы ко мне пристали?.. Мы же тут иностранцев ждем,— сказала она.

— Может быть, нас? — Молодые люди переглянулись и вдруг принялись хохотать. Это окончательно рассердило сестру-хозяйку.

— Нашли время разыгрывать! Ступайте отсюда. Гости вот-вот приедут.

Девушка в юнгштурмовке на миг стала серьезной, отвела сестру-хозяйку в сторону и сказала, что тот, кто так славно хохочет, и есть иностранный корреспондент. И что пришли они не по дороге, а с поля потому, что он купался в степной речке. Тут появились заведующий, врач, воспитатели.

Задним числом произнесли заготовленные приветствия. Вместе с гостем посмеялись над происшедшим. Изъявили готовность показать ему и спальни, и красный уголок, и мастерские, и столовую. Но он ничего смотреть не стал, уселся на ступеньках и, произнося слова со странным выговором, но весело блестя при этом глазами, стал расспрашивать самих ребят о том, как они живут, как проводят время, чем интересуются, о том, куда уходят ребята после детского дома, где и как работают и о каком будущем мечтают.

Беседа входила уже в нормальную колею, когда гость вдруг удивил всех, попросив познакомить его с самым озорным, с самым недисциплинированным воспитанником. Все взоры обратились на Петьку по прозванию Цыганок, осторожно топтавшегося за спинами ребят. Недоверчиво, настороженно и недружелюбно прислушивался он к беседе. Его подозвали. И вот он стоит перед гостем, весь в царапинах и ссадинах, глядя как волчонок, загнанный в глубь норы.

Но иностранный гость ничуть не смутился. Он вдруг спросил: «А вы в футбол играете?» Удивленный Петька ответил: «А тебе на что?» И иностранец тут же пояснил:

«Хочу посмотреть, какой ты игрок». Ребята оживились, загалдели и шумной стайкой повели гостя за дом, на пустырь, где босые их ноги вытоптали ровную площадку, по краям которой стояли сколоченные из жердей ворота.

— Ну, посмотрим, кто мне гол забьет.— И гость с серьезным видом снял рубашку, брюки и, оставшись в трусах, крепкий, загорелый, задорно смотрел на ребят.— Ну, бейте.

Все пришли в состояние крайнего возбуждения. Лучшие игроки стали бить по тряпичному мячу. Били всерьез. Гость ловко подпрыгивал, камнем бросался на траву. Ворота были прочно заперты. Все, в том числе и Петька Цыганок, старались изо всех сил, но мяч неизменно отлетал обратно.

Потом все вместе двинулись с поля. Каждый из ребят старался протиснуться поближе к гостю. Решили выкупаться. Гость вместе со всеми бросился в воду, нырял и, вынырнув, с не меньшим удовольствием, чем хозяева, кричал: «Угу-гу-гу!» А по пути в столовую ребята уже не стесняясь обсуждали, как было бы здорово, если бы этот «мировой фрайер» остался бы у них за воспитателя.

Вечером, после ужина, гость увел Петьку в дальний конец двора. Они сели на поленнице дров. И завязалась беседа.

Было в этом иностранце что-то душевное. Так по-хорошему внимательно и чуть насмешливо смотрели его глаза, так добродушно открывался его белозубый рот, когда он улыбался, что Петька Цыганок, этот маленький волчонок, злобно и подозрительно смотревший на все на свете, привыкший видеть во всем затаенный подвох, вдруг весь точно бы раскрылся, снова обрел свои годы и, ничего не тая, стал рассказывать этому совсем незнакомому, да к тому же иноземному человеку то, о чем он никогда никому не говорил. Рассказал про отца, убитого в гражданскую войну, вспомнил мать, умершую от тифа, вспомнил, как страшно ему было первое время одному. Рассказал даже о готовящемся побеге.

Гость слушал Петькину одиссею и изредка что-то записывал в раскрытый блокнот. Слушал и записывал с серьезным, вдумчивым видом, как будто собеседником его был не мальчуган с руками в цыпках, а министр, дававший интервью. Потом он попросил Петьку спеть, и тот послушно завел хриплым, сорванным голосом известную

в те дни песню беспризорников, а потом вдруг ни с того ни с сего заплакал, заплакал, не стесняясь слез, и даже уткнулся головой в плечо иностранца.

— Ты слышал, что есть на свете Прага? — спросил его вдруг собеседник.

— А то нет! Конечно, слышал. Это пивная у вокзала,— ответил Петька, вытирая кулаком мокрое лицо.

Но иностранец сказал, что так называется город, откуда он приехал, что он любит этот свой город. Но если бы его спросили, где ему хочется жить, он ответил бы, что в Москве, в Ленинграде, вот здесь, во Фрунзе, или в любом другом из советских городов.

— И чего заливаешь? — недоверчиво произнес Петька.

— Я говорю правду, и не только говорю, а и пишу об этом,— ответил иностранец.

И вдруг он заговорил так быстро по-своему, что девушка в красном платке едва успевала переводить.

— Ты счастливец, Петька. А я, а мы будем бороться, чтобы ваш сегодняшний день стал нашим завтрашним днем.

Петька Цыганок не понимал, что с ним творится, не вполне понимал, что говорит ему этот удивительный иностранец. Но он чувствовал, что тот будто протирает тряпкой мутные, запыленные окна и все вокруг становится светлее, яснее, приобретает отчетливые очертания. Он даже начинал испытывать какие-то свои преимущества перед этим красивым, ловким, сильным человеком. И вдруг сказал, может быть, впервые в жизни употребляя в разговоре уважительное «вы»: «Вы, дяденька, останьтесь у нас. Нет, верно, у нас тут неплохие огольцы... Ну что вам, жалко?»

И опять собеседник серьезно ответил, что он с радостью остался бы, если бы не было на свете Праги и если бы не нужно было бороться за то, чтобы сегодняшний день советских людей пришел и к нему на родину. А потом вдруг спросил, и Петька на всю жизнь запомнил и вопрос, и хитринку, которая вдруг зажглась в глазах иностранца: чего, дескать, ты меня сюда зовешь, когда сам бежать из детдома собираешься? И до сих пор помнит Петька, как полыхало его лицо огнем стыда.

Иностранца провожали всей гурьбой. По его просьбе спели хором знаменитую в те дни «Как в саду при долине...». Гость, уже успевший запомнить и слова, и мотив, подпевал. И песня эта, в обычное время тоскливая, рас-

считанная на людское сочувствие, на этот раз гремела, как победный марш...

— ...Вот это я сегодня и вспоминал во время вашего доклада,— сказал собеседник.— Как вы думаете, это был Фучик, а? — повторил он.

Разговорившись, мы не заметили, что фойе опустело, не услышали, как из зала понеслись звуки пения: там начался концерт.

В пустом фойе застучали торопливые шаги. Рыжеволосая девочка в коричневом школьном платье, разрумянившаяся и запыхавшаяся, подбежала к нам и, едва переводя дыхание, протянула отцу старый конверт.

— Вот, еле нашли.

Собеседник извлек из конверта фотографию. Снимок почти выгорел, и все же можно было разобрать на нем группу мальчишек в полосатых футболках. Они сидели, тараща глаза на аппарат, а в центре их — взрослый в белой рубашке «апаш» с расстегнутым воротом и закатанными рукавами. Он прижимал к себе худенького мальчугана с коротко остриженной круглой головой. Лицо взрослого розобрать было почти невозможно. И все-таки чудились и широкий разлет темных бровей, и белые зубы, открывающиеся в улыбке.

— Это вот я, Петька Цыганок,— сказал железнодорожный начальник.— А это... Как вы думаете, это не Фучик?

Чувствовалось, что и отцу и дочери очень хочется, чтобы подтвердилась именно эта их догадка. И я ответил как можно уверенней:

— Да, это Фучик.

P. S. После того как я рассказал в «Правде» об этой истории, мне удалось точно установить правильность такой догадки. Нашелся и еще один участник исторического штурма детдомовских футбольных ворот, ныне майор в отставке и военный пенсионер. Нашлась и девушка, запечатленная на снимке в юнгштурмовке и красной косынке,— она рассказала, как сопровождала Юлиуса в его путешествии по Киргизии. Увы, время не пощадило хорошенькую комсомолку. А вот Юлиус Фучик навсегда останется для всех, кто его знал, кто с ним работал, с кем он просто встречался, все таким же ясноглазым, молодым, веселым, каким он запечатлен на старом, выгоревшем снимке полвека назад.

ВАРПЕТ

Я знал, что на армянском языке существует такое слово: «Варпет». Знал, что так земляки почтительно именуют одного из великих художников нашего времени Мартироса Сарьяна. Но вот точно перевести мне это слово не смог даже знаток армянской культуры Мартын Мержанов. Мастер? Нет, не то. Мало. Французское мэтр? Опять не то. Мэтр — это только для круга художников, это слишком профессионально-замкнуто. Учитель? В том смысле, в каком употребляют иногда это слово работники культуры. И это слабо, ибо Варпет — это прежде всего всенародное признание.

Слово это в применении к Сарьяну я слышал много раз, однако точно объяснить его для себя смог лишь после того, как сам познакомился с этим человеком.

В послевоенные годы мне повезло — удалось приобрести два полотна Сарьяна. Небольшие полотна. На одном — типичный армянский пейзаж: черепичные крыши знаменитой теперь Бюроканской обсерватории, такой, какой она была в те давние дни, неторопливая цепь пологих гор по горизонту, ярчайшая растительность вдоль дороги и две неясно прорисованные женские фигуры в темном, которые, как кажется, просто двигаются по полотну. На другом полотне на ярко-оранжевом небе синие-синие горы, желтая спеющая нива на маленьком поле, ярко-зеленые кисточки пирамидальных тополей, подпирающие бездонное небо. Самые простые сюжеты, но все на них необычайное, сарьяновское, сразу же бросающееся в глаза и запоминающееся навечно. В минуту усталости или какой-нибудь душевной невзгоды смотришь на эти полотна, будто в иной поэтический мир, смотришь и как-то сразу согреваешься. В солнечном обаянии этого мира уходит усталость, успокаивается душа. А когда картины эти берут на какую-нибудь выставку, что иногда случается, просто физически ощущаешь пустоту, образовавшуюся на стене, и кажется, что уехал дорогой, близкий тебе человек.

Краски Сарьяна настолько необычны, что сразу в них как-то и не поверишь. Они так сильны и так контрастны, что кажется, рождены лишь воображением художника. Но вот мы с женой попали в Армению, попутешествовали по этой горной стране и вдруг убедились, что при всей необычности и индивидуальности в своей колористике Сарьян реалист в лучшем смысле этого, к сожалению, очень захватанного слова, что он не просто видит, но и

ощущает свой край, который живет и звучит в его сердце, как в прозе Ованеса Туманяна или в мелодике Комитаса.

Как-то я попытался это ощущение описать в статье. И вдруг получил через моего фронтового друга Мержанова, который, как я знал, связан с Сарьяном, приглашение посетить Варпета, в те дни работавшего в своей московской студии.

Москва. Москва пятидесятых годов. Где-то рядом сквозь вековую тишину арбатских улиц и переулочков уже проявляются мощные очертания проспекта Калинина. Чугунная баба бьет по стенам приземистого деревянного домишка, а он падает в прах в облаках пыли, топорщась старыми бревнами. Но эта улочка еще цела, ни разрушения, ни созидание ее еще не коснулись. Старый высокий дом. Запах кошек на лестнице. Коммунальная квартира на пятом или шестом этаже — старозаветная, большая, разделенная высокими переборками на отсеки. Из окон отсека, где работает художник, видны крыши. И церковь — одно из удивительнейших произведений московских зодчих, скромно, но с достоинством поднимает луковицы своих куполов над крышами домиков, уже обреченных на слом.

Шагнув из коридора в студию, переживаешь странное впечатление, будто сразу попадаешь в иной, новый и не очень реальный мир. Оштукатуренные стены почти сплошь закрыты полотнами: пейзажи, натюрморты, портреты, эскизы. Ясно, что художнику нет дела до уюта или неуюта этой огромной комнаты. Он не заботится о ней, не потрудился даже вставить современный замок в высоченную дверь — изнутри она замыкается на классическую задвижку, а с внешней стороны на нее вешается увесистый, почти амбарный замок. Ну что ж, мастер, завоевавший всемирную славу, может не заботиться о внешности этого временного жилья. Ну, а если теперь кто-то захочет представить себе эту временную московскую его студию, какой она тогда была, он может увидеть ее на полотне Сарьяна. Окно студии. Скупой зимний свет. Крыши, крыши, крыши, а за ними очертания нового, рождающегося Арбата. Все поэтично и очень точно, хотя и тусклый зимний свет, и бледность красок, кажется, очень противопоказаны художнику. Полотно это очень, как мне думается, опровергает утверждения иных критиков, считающих, что Сарьян — это художник лишь «солнечной Армении», что он, так сказать, локальный мастер, что талант

его развертывается в полную силу лишь в родных краях.

Нет, Сарьян оставался мастером всюду, куда только ни заносила его судьба: и в Персии, и в Турции, и в Египте, где он провел молодые годы, и в Центральной России, где он подолгу жил и работал. При всем своем национальном своеобразии он как художник оставался интернационалистом, творчество которого не ограничивалось пределами одной какой-либо страны или одного региона...

Но вернемся в московскую студию Сарьяна, куда я, признаюсь, ступал когда-то с душевным трепетом, как в мастерскую средневекового алхимика, ищущего секрет вечной молодости. Все кругом блистало неистовыми красками. Стены напоминали пестрый ситец. Но стоило вглядеться в это буйство красок — и на тебя смотрела жизнь, пригвожденная к полотнам талантливейшей кистью.

Много портретов смотрело со стен. Иных из тех, кто послужил моделью для мастера, я знал. Рассматривая лица, запечатленные художником, поражался тонкости характеристик. Ираклий Андроников, весь лучащийся юмором, как бы рвался с полотна, чтобы рассказать очередную импровизацию. Рубен Симонов — режиссер, пытавшийся когда-то, в давние времена, силою своего таланта гальванизировать на сцене одно мое мертворожденное драматургическое творение,— отличный артист и мудрый мастер сцены. Мне казалось, что он смотрит на меня с полотна с иронической усмешкой и сожалением: «Эх, ты, горе-драматург...» Константин Симонов, написанный у дачного окна,— уверенный, целеустремленный, чуть-чуть рисующийся платиновой прической древних римлян времен упадка империи. С Симонова в разное время сделано множество портретов. Но думается, что именно Сарьян с особой точностью запечатлел его образ, его характер. Тут же в нескольких авторских повторениях портрет и эскизы к портретам жены и друга Сарьяна Люсик Лазаревны, хрупкой женщины, маленькой хозяйки этого большого художественного дома. Портреты рассказывали, что в молодости она была красивой. Да и теперь покоряла своим изяществом, доброжелательством и этаким снисходительным отношением к мужчинам, которые конечно же без женской помощи и с едой как следует не управятся и обязательно закапают соусом брюки.

За столом Мартирос Сергеевич поразил меня предложением написать мой портрет. Портрет кисти Сарьяна! Кого не обрадует такая перспектива... Но и теперь вот, много лет спустя, когда мастера нет уже в живых, могу признаться, что мой энтузиазм тогда был вызван скорее репортерскими чувствами. Портрет — это много часов, проведенных с художником один на один. Это неограниченная возможность для бесед, узнавания, изучения.

Договорились о первом сеансе. Я постарался подготовиться. Читал литературу о Сарьяне, просматривал альбомы его работ. Нельзя же явиться к такому мастеру с обывательскими представлениями о его творчестве.

Как запомнились часы, которые я провел в его обществе во время сеансов. Ни один из них не был пустым. Каждый чем-то обогатил, каждый оставил след в душе и расширил мое представление о его творчестве и об искусстве вообще. По привычке своей вести дневники после каждого сеанса я делал записи и вот сейчас, когда детали тех свиданий уже поизгладились в памяти, постараюсь возможно точнее процитировать эти записи.

Сеанс первый. Поразительная простота обращения. Сам открыл дверь, за руку ввел в мастерскую, даже помог пройти между пачками рам и подрамников, торчащих со всех сторон. На нем свободная синяя, добела застиранная широкая блуза, рабочие штаны, тапки. Без лишних разговоров вывел на середину мастерской, поставил на нужное место табурет. Отойдя к окну, окинул критическим взглядом из-под седых нависающих бровей. И вдруг:

— Вы что же, всегда так одеваетесь?

Приходится признаться, что специально принарядился: галстук, белая рубашка, отглаженный пиджак — все это казалось мне данью уважения к художнику, даже некоторой жертвой искусству, потому что на дворе был жаркий июль, цвели липы и сидеть в накрахмаленном воротничке не было большой радостью.

— А обычно как вы ходите? В рубашке?.. Вот и прекрасно... Придете завтра в этой самой рубашке. Мне ведь писать не одежду. Только очень бездарные и неуверенные в себе художники наряжают свои модели, выписывают складки одежды и регалии.

Однако заставил сесть на табурет, долго вертел, ища подходящее освещение. Придвинул большой мольберт, взял палитру и стал сосредоточенно мешать краски, выдавливая их из тюбиков. Весь ушел в это, а на меня лишь изредка бросал короткие, но острые, испытующие взгляды: сидите, сидите. И вдруг:

— Пока я занимаюсь своими делами, рассказывайте о себе. Кто вы, что вы. Учтите, что в объеме статейки Большой Советской Энциклопедии я вас знаю.

Начинаю рассказывать. Занятие непривычное. Мямлю. А он занимается своими делами, укрепляет полотно, опять ищет нужное освещение. Весь, кажется, погрузился в свои дела. Однако стоит смолкнуть, как тут же: «Ну, ну, и как же? Рассказывайте, рассказывайте». И временами бросает пристальный, цепкий взгляд. Наконец делает несколько решительных мазков кистью. Щурится, будто прицеливаясь, начинает по-армянски напевать себе что-то под нос.

В этот день на холсте появилось лишь несколько сочных, решительных линий, из которых даже и не проглянули контуры лица.

— Так завтра оденьтесь обычно, так сказать, повседневно. Слышите? — напутствует мастер...

Сеанс второй. В движениях нетороплив. Сосредоточен, но умеет быть быстрым. Иногда кисть в его худой, точно пергаментом обтянутой руке делает решительные, просто молниеносные движения. Меня вчера будто бы и не слушал, так, изредка кивал между делом, но, оказывается, все запомнил. Просит поподробнее рассказать о тех двух солдатах, что три дня обороняли в Сталинграде дом на территории, оказавшейся в руках противника. Поинтересовался разведчицей, работавшей в немецкой комендатуре Харькова: «Хорошенькая? Очень хорошенькая? Да, ей было трудно. А собой смугла? Бела?» Узнав, что я уже после войны в театре узнал ее по белой пряди в пышных темных волосах, кричит в соседнюю комнату:

— Люсик, Люсик, у той девушки из Харькова, о которой я тебе вчера рассказывал, оказывается, в волосах седая прядь. Как интересно... Седая прядь! Название для трагической поэмы!

Люсик Лазаревна приносит на подносе хлеб, нарезанный сыр и кружки с молоком.

— Прервем, нужно подкрепиться.

Присаживаемся к столу. За едой он похож на какого-нибудь старого кузнеца или каменщика, отдыхающего от трудов своих. То, что написал, смотреть не дает: дурная примета, сглазить можно...

Сеанс третий. Вот теперь, пожалуй, мы по-настоящему познакомились. Он пишет. Пишет быстро, порой явно увлекаясь, и тогда говорит что-то по-армянски, не то сам с собой, не то с кистью, полотном, красками. Ворчит на них, бранит за что-то или, наоборот, ласково убеждает.

Сегодня поговорили о его мастерстве. Могу записать нечто любопытное.

— Почему у меня такой быстрый, ударный мазок? Да потому, что это, по-моему, лучше всего проявляет и цвет, и форму. Разом, вместе. Это лучший способ передать и то, что видишь, и то, что ощущаешь. В живописи и в особенности в портретах нельзя быть болтливым... Картины нужно созерцательно рассматривать. Рассматривать! А изучают только чертежи.

Рассказал ему недавний случай. Однажды привелось печатно поиронизировать по поводу одного художника-натуралиста — человека до того в произведениях своих старательного, что по его портрету можно точно установить артикул материала на пиджаке его модели. После этого я навестил в больнице своего доброго знакомого — знаменитого физика, которого недавно изобразил этот художник. Мы сидели с ним в больничном садике, и физик, известный как человек с хорошим художественным вкусом, вдруг стал пенять мне на эту статью.

— Вы портрет мой видели?

— Видел.

— Ну и как?

— Похожи.

— «Похожи»! — сердито проговорил физик.— Разве можно так говорить о высочайшем произведении искусства: «Похожи»! Я этому художнику глубоко благодарен за его шедевр. Его портрет меня, можно сказать, сейчас спасает. У меня бессонница, снотворные уже не действуют. И вот я гляжу на этот портрет и начинаю пересчитывать волосы в своей бороде. Иногда насчитаю сотню, иногда больше и засыпаю. Великолепное творение. Могучая кисть. А вы — «натуралист».

Рассказав это, я убедился, как весело может смеяться

Сарьян. Смеяться тоненько, заразительно, как смеются дети. Он положил кисти и помассировал затекшие пальцы.

— Художник, о котором вы говорили, напоминает мне одного человека, которого я знавал во Франции. Он по заказу мебельщиков на полированной поверхности столика изображал дымящий окурок, таракана или просто плевок. Так ловко изображал, что даже вблизи от настоящего и отличить нельзя было. За такие штуки богатые дураки большие деньги платили. Им приятно было разыгрывать гостей. Просто золотой дождь шел на этого ловкача... Вот и этот портрет тоже, о котором вы говорили. Я его видел. Там действительно все волосы на бороде пересчитать можно, а образа носителя бороды нет. Я не знаком с этим физиком, и ничего о нем, кроме бороды, художник мне не рассказал.

Потом, взявшись за кисти и уже работая, высказал свое кредо: точность, лаконизм, никакого пустословия в красках. Не прорисовывать, скажем, морщинки или веточки на дереве. Освободить суть вещи, предмета от мешающих, рассеивающих внимание подробностей. Воображение зрителей само дорисует все, что не досказано. Приглашать зрителя в соавторы. В этом отношении великолепны французские импрессионисты.

— Я ведь с некоторыми из них был знаком,— вдруг говорит он.

— И ни под чье не попадали влияние?

— Боже упаси! Можно любить многих, но ни к кому нельзя попадать в плен. Подражатель, сколь талантлив он бы ни был, никогда не художник... Вот вы говорите: краски Сарьяна, краски Сарьяна... А нет таких красок. Я всегда в поисках, всегда ищу и краски, и самые простые и прочные формы для передачи живописного существа, и цель моя — не поразить, удивить или эпатировать зрителя, а простыми средствами, избегая всякой нагроможденности, достигнуть наибольшей выразительности, передавая свои ощущения. Это, по-моему, и есть первооснова реализма. Так говорили и мои учителя Коровин и Серов...

Любопытная была беседа. Сейчас вот, когда на сон грядущий записываю эти мысли, стараюсь воспроизвести их как можно четче.

Сеанс четвертый. На кого он похож, Сарьян? Ему за восемьдесят. В эту пору мужские лица часто приобрета-

ют, так сказать, «бабьи» черты. Длинонос, броваст. Седые волосы, маленький рот крепко сжат. И хотя щеки дрябловаты, подбородок вырисовывается энергично. Все это, впрочем, он сам великолепно рассказал в своем автопортрете 1942 года. И хотя времени с тех пор прошло порядочно, это лицо не потеряло весьма энергичного выражения. Взгляд цепок, точен, строг, губы плотно сомкнуты.

Сегодня в первой половине сеанса писал без передышки больше часа, а потом ушел за перегородку, поставив передо мной кувшин с вином, глиняную кружку, и положил отличный альбом с репродукциями своих юношеских работ.

Ранний Сарьян! Египет... Турция... Персия. Целая живописная поэма о Востоке. Но это не Восток французских ориенталистов и не Восток Редьярда Киплинга. Это Восток Сарьяна. Это Восток не увиденный и изученный, Восток, живущий в крови. Лаконизм, чистота тонов, восточная гамма цветов. Просто полуденным жаром веет от некоторых из этих полотен, от угольных теней на раскаленном песке.

— Что вы думаете о Гогене? — спрашиваю я, когда он вновь принимается за работу.

— О Гогене? Что о нем думать? Великий художник. Я видел его. Большой талант.— Мастер, щурясь на полотно, делает длинную паузу и наконец, после нескольких бросков кисти, продолжает: — Но на Востоке Гоген был гостем, умным, добрым, проницательным гостем. Он отлично изучил Восток, а я... он, Восток, у меня в крови. Зажмурюсь — и перед глазами краски и образы Армении, пейзажи Закавказья, целые картины, которые я мог бы написать в Москве или в любом ином месте без натуры. А Гоген, Гоген именно ориенталист. Великий ориенталист.

И как бы уже для себя, не отрываясь от работы, обобщает:

— У каждого настоящего художника, что бы он ни писал, за какие бы темы он ни брался, должно быть что-то свое, особенно им знаемое, особенно ему дорогое. У Сурикова — Сибирь, у Левитана — Средняя Россия, ну и так далее. Они, конечно, могли писать и итальянские пейзажи, и парижские бульвары, но в каждом живет свое заветное, в чем они особенно сильны и в чем им легче выразить себя.

Сеанс пятый. Сегодня Мартирос Сергеевич показал, что у него получается. Признаюсь, я не сумел скрыть своего не разочарования, нет, а некоторого удивления. Разумеется, как водится, принялся довольно настырно хвалить, но в зорких глазах мастера появилось ироническое выражение:

— Не понравилось, да?.. Ну, говорите откровенно.

— Мне кажется, не совсем похоже, что ли.

— Холст не зеркало, а я не фотограф,— произнес мастер без тени обиды или огорчения.— По моим портретам не определишь артикул ткани на вашей рубашке и не пересчитаешь волосы на вашей голове. Важно выразить душу, сущность, устремления. Не огорчайтесь. Он еще не закончен, этот портрет. Главное еще не схвачено. Глаза не прописаны... Все будет...

На этот раз в минуту отдыха он положил передо мной альбом с репродукциями его портретов. Я долго рассматривал эти портреты и с особым вниманием портрет Е. Чаренца. Я не был знаком с этим прекрасным поэтом, давно уже ушедшим из жизни, но иные стихи его я знал. И именно таким, собранным, целеустремленным, строгим к себе, и представлял себе этого человека. Стихи как бы слились с живописным образом. Но особенно мне понравился автопортрет самого Сарьяна, своеобразный, может быть, даже единственный в своем роде автопортрет, подобных которому я, во всяком случае, не знаю. Он называется «Три возраста». Три Сарьяна в разную пору жизни на фоне широкого армянского пейзажа — горы, облака, контуры горных селений и ближе — шеренги тополей, проглядывающие сквозь наплывы облаков и тумана. И три Сарьяна. Молодой, щеголеватый, в крахмальном воротничке, Сарьян средних лет, с умудренными глазами, готовыми вобрать весь мир, и, наконец, Сарьян — мудрый старик со взглядом философа. Он бородат, и у бороды этой своя история. Когда писал он этот портрет, сыновья его были на войне. Он сбрил бороду лишь после победы. Романтично? Да. Ну что ж, и в этом художник остался художником. Так, беспощадно расчленив себя на три образа, мастер создал как бы живописную сагу о Сарьяне, повесть о себе, суровую и правдивую. Уверен, что со временем те, кто будет изучать творчество Сарьяна, будут начинать с этой живописной саги.

Пока я раздумывал над всем этим, мастер без устали работал и, увлеченный работой, что-то напевая, бросал

на меня иронические взгляды. Взгляд художника, требовательный и вдумчивый, походил, пожалуй, на взгляд следователя, допрашивающего подозреваемого, который все еще пытается отговориться от явных улик.

Сеанс шестой. Возле дома, где размещается московская мастерская Сарьяна,— старинная затейливой архитектуры церквушка какого-то там далекого века, охраняемая законом. Она бездействует, но в ней, слава богу, не размещены ни гараж, ни склад. Она пустует. На колокольне гнездятся голуби. Когда я шел сегодня в мастерскую, целая стая поднялась в небо, и крылья их заблестели на фоне черной, надвигавшейся с Арбата тучи. Очень было красиво. Я рассказал об этом мастеру.

— Да, очень красивый храм. Жаль, что он так запущен.— И, переходя от частного к обобщениям, что, как мне кажется, было в его характере, продолжал: — Вот несколько веков назад зодчий, имя которого, наверное, неизвестно, построил этот храм. Прошли века, сменились социальные системы. В бога мало кто верит. На дома наступают громады Нового Арбата, а вот храм стоит. Голуби летают над ним, и люди, смотря на него, радуются красоте его форм.

Человек, он весь в делах своих. Не в чинах, не в званиях, не в орденах, только в делах своих рук, своего ума. Только то, что ты сделаешь, о тебе и напоминать потомкам будет. Остальное забудется на следующий же день после погребения.

Я не удержался и привел строфу из стихов Александра Полежаева:

Что будет памятью поэта?
Мундир? Не может быть.
Грехи? Они оброк другого света.
Стихи, друзья мои, стихи.

Строфа заинтересовала мастера. Работал, казался весь погруженным в свое дело и вдруг попросил:

— А ну-ка, прочтите еще раз... Здорово, очень здорово. Он когда жил, этот Полежаев?

— В пушкинские времена.

— Урожайное было время.

А потом, уже в конце сеанса, обобщил:

— Вот если бы эти стихи высечь на мраморных досках да прибить в прихожих наших творческих союзов на самом видном месте. А то уж слишком много энергии серого мозгового вещества тратим мы на суету сует. Архитектор, создавший Василия Блаженного, наверное, ни званий, ни жалованных грамот не имел. Наверное, и сыт-то был, поди, не всякий день. А вот дело рук его до сих пор удивляет, радует.

Уже в дверях Мартирос Сергеевич говорит:

— В делах, только в делах своих по-настоящему живет человек, остальное — тлен и прах.

Сеанс восьмой. Сегодня на портрет он нанес последние мазки. Я глянул и поразился: это было совсем не то, что я видел в ходе работы. Портрет смотрел, жил и даже, как кажется, преследовал своим взглядом.

За переборкой милая Люсик Лазаревна накрыла по этому случаю роскошный завтрак: кувшин вина, сыр, горка пламенеющей редиски, помидоры, зеленый лук, тонкий и суховатый армянский хлеб. Стол походил на оживший натюрморт Сарьяна. Сам он снял свою широкую рабочую блузу и был непривычно строг: радушный хозяин, принимающий гостя.

Сидит за столом. Ест. И стакан не пустует. Но нет-нет да глаз его сощурится, скользнет по моему лицу, и опять я начинаю чувствовать себя как в кабинете следователя. Вдруг встал, вышел в мастерскую, сделал на портрете несколько мазков, вернулся. В это время пришли трое молодых людей, огромных, лохматых, пышущих здоровьем. По лестнице они поднимались довольно шумно, но у двери вдруг стихли, в коридоре сняли обувь и в мастерскую вошли в носках. Они осторожно пожали худенькую руку Люсик Лазаревны, низко поклонились Сарьяну. На цыпочках прошли в мастерскую и тихо спросили разрешение посмотреть портрет. Сняли материю, поглядели, о чем-то возбужденно заговорили, но тоже шепотом.

— Ученики?

Мартирос Сергеевич улыбнулся.

— Молодая поросль.

Было широко известно, что и в Ереване, и в Москве у него много учеников, что, несмотря на годы, он не устает работать с молодежью, не пропускает ни одной выставки молодых художников, подолгу стоит и даже при-

саживается у заинтересовавших его работ. Размышляет, иногда уводит автора в свою мастерскую и часами беседует.

— Поросль,— повторяет Сарьян и, улыбаясь, смотрит, с каким аппетитом три дюжих молодца сметают со стола все, что на нем поставлено.

Покончив с редиской, с помидорами, с вином, они столь же тихо и благостно покидают мастерскую. Но, обувшись в прихожей, вновь обретают голоса и по лестнице уже топают, как слоны.

— Поросль,— повторяет мастер, с улыбкой смотря им вслед.— Один из них очень талантлив. Великолепно владеет цветом. Большим художником будет. Это тот, что подлиннее.— И опять: — Поросль — это хорошо, поросль — это значит, что у дерева корни крепкие, соки земли хорошо берут.

Я уже давно заметил, что образный строй у художника весь из природы, из крестьянского быта, сегодня вот — поросль. А вчера, когда говорили об одном очень шумном художнике, делающем свои дела в искусстве не только своей бойкой кистью, но и с помощью шашлыков и армянского коньяка большой выдержки, Сарьян сказал:

— Вот сделал портрет, имел успех. А сейчас сосет свою лапу. Все, конец, кончился мастер. Когда дерево перестает расти, оно сохнет, как щедро его ни унавоживай, как ни окапывай. Нет роста, конец.— И пожалел: — А ведь подавал надежды...

У двери он по-старчески хитро подмигивает и вдруг вспоминает:

Что будет памятью поэта?
Мундир? Не может быть.
Грехи? Они оброк другого света.
Стихи, друзья мои, стихи.

Точно, озорновато так продекламировал и бесшумно смеялся, одними глазами.

Прощаемся. С глубоким почтением и даже сожалением покидаю мастерскую, где столько услышал и узнал за эти восемь дней.

Теперь уже и без толковых словарей я знаю, что означает армянское наименование «варпет», которое народ дает своим мастерам.

НЕИСТОВЫЙ

Лет двадцать назад, в дни Конгресса сторонников мира, проходившего на этот раз в Варшаве, мы с Назымом Хикметом глубокой ночью вернулись в отель. На нашу долю в тот день выпала нелегкая задача редактировать газету конгресса, выходившую на шести языках. Многонациональная редакция ее представляла собой вавилонское столпотворение: все объяснялись по-своему, на своих языках и разговаривать приходилось через двойной и даже тройной перевод. Уставали мы поэтому невероятно и добирались до своего жилья еле волоча ноги.

Холл отеля был пуст. Положив голову на стойку с ключами, дремал портье, переодевшийся в мягкую домашнюю куртку и оттого потерявший всю свою торжественную официальность. Но в глубине холла светилась маленькая настольная лампа, и за столиком, утонув в кресле, сидел Илья Эренбург. Сидел задумавшись. К нижней его губе была прилеплена уже затухшая сигарета, а на столе стояла чашка кофе и лежал какой-то толстый том.

— Что, Илья Григорьевич, устали?.. Не спится?

Не ответив на вопрос, он показал на лежащий перед ним альбом:

— Вот, посмотрите, какой я получил сегодня подарок.

Это была роскошно изданная монография, посвященная какому-то художнику. Мы из вежливости присели, раскрыли альбом, намереваясь его полистать и отправиться на покой, но со страниц его хлынул на нас такой кипучий поток человеческих страстей, выраженных в графике и живописи, что оторваться было невозможно. Так и рассматривали страницу за страницей, а Эренбург, вновь раскурив свою сигарету, насмешливо улыбаясь, посматривал на нас: дескать, что, попались в плен художнику?

— Чье это? — спросил наконец Хикмет.

— Сикейрос. Мексиканец. Он делегат нашего конгресса.

Так, глубокой ночью, в холле спящего отеля, впервые познакомился я с творениями одного из величайших художников века — Давида Альфаро Сикейроса.

— Мы с ним старые друзья,— сказал нам Эренбург.— Познакомились случайно в Мадриде, в музее Прадо. Как раз в тот день франкисты влепили в этот музей несколько снарядов. Он был совершенно пуст, великолепный музей. Только два человека и бродили по его залам: я и какой-то коренастый, курчавый латиноамериканец, на смуглом лице которого словно была запечатлена трагическая история его континента. На нем была форма офицера интербригады. В те дни он приехал в Испанию не с кистями, а с оружием. Был храбрым, как я потом узнал, офицером, а как о художнике мне рассказал о нем наш общий друг Хемингуэй... Великолепный художник, не правда ли?

Я знал Эренбурга. Знал, как он скуп на похвалы, на лестные характеристики и как взыскателен в живописи. Из современных живописцев он по-настоящему любил лишь Пикассо и, пожалуй, Леже. Но альбом мексиканца явно произвел впечатление и на него. Он листал его вместе с нами, снова и снова возвращаясь к той или иной композиции. Со страниц вставала перед нами трагическая история Латинской Америки, запечатленная страстной, кипучей, стремительной кистью на полотне, на стенах зданий, даже под куполами церквей...

Хикмет, у которого чувство прекрасного было развито в высшей степени, рассматривая репродукции, многозначительно цокал языком:

— Да, брат, это, брат, искусство. Надо завтра с ним познакомиться, с этим Сикейросом.

— Опоздали,— усмехнулся Эренбург, вновь зажигая потухшую сигарету.— Опоздали, он сегодня вечером улетел, у него заболела жена.— И, уже явно поддразнивая меня, заявил: — Вот вы охотитесь за настоящими людьми, а такого человека упустили. Это самый настоящий из настоящих. В дни мексиканской революции он был капитаном в войсках армии свободы, в головном отряде Сапато, а его отец был полковником в войсках диктатора. Отец и сын любили друг друга, но сражались друг против друга, отстаивая каждый свои убеждения. Сюжет? Как? Об этом рассказывал мне Эйзенштейн. Он дружил с Сикейросом, когда снимал фильм о Мексике. Очень высоко его ценил...

С той ночи, проведенной в холле варшавской гостиницы, крепко заинтересовал меня этот художник. Я изучил все, что было у нас о нем написано, и знал все его рабо-

ты, которые были репродуцированы. Но познакомиться с ним удалось лишь лет через десять, когда ему была присуждена Ленинская премия «За укрепление мира между народами» и мне по поручению Комитета привелось вылететь в Мексику для ее вручения.

Мы летели с женой, и по дороге она все время посмеивалась надо мной. Действительно, я волновался, будто летел на свидание с человеком, которого давно любил, знал, но с которым был надолго разлучен. Да так оно, в сущности, и было, ибо когда речь идет о художнике или писателе, познакомиться и полюбить человека можно и заочно, читая или рассматривая его произведения.

Мексика — одна из удивительнейших стран из всех, какие мне довелось посещать, странствуя по белу свету. В этой стране, где значительная часть населения цветные — индейцы и негры, не ощутишь даже тени расовой розни. На площадях стоят романтические памятники вождям аборигенов континента, а в искусстве, в архитектуре, в особенности современном искусстве и архитектуре, чувствуется плодотворное влияние великолепных традиций ацтеков, альменов, майя и других славных племен, некогда воздвигавших на этой земле гигантские постройки и целые комплексы, умевших украшать жизнь отличными произведениями прикладного искусства. Здесь и базар, самый обычный базар, где продавались и овощи, и фрукты, и предметы быта, можно было часами рассматривать, как музей.

Эта могучая живая струя высокой народности в соединении с революционностью оплодотворила в этом веке трех самобытных гигантов живописи: Хосе Клименто Ороско, Диего Риверу и конечно же Давида Альфаро Сикейроса, в творчестве которого эти две тенденции нашли наиболее сильное отражение.

Эти три художника украсили своими творениями наш беспокойный, столь богатый страшными, сокрушительными войнами и великими революциями век. Они очень различны, эти три мастера. У каждого из них свое лицо, свой метод, своя манера. Но все они, сами находясь в эпицентре кипения социальной и политической среды, жили жизнью своего народа, печалились его печалями, радовались его радостями. Они, и опять же все по-разному, каждый по-своему, отразили в своем творчестве самые острые этапы истории Мексики — от безжалостной оккупации страны железными ордами испанских конкистадоров, от ранних слепых и стихийных крестьянских бунтов до ра-

бочих забастовок, до могучих классовых битв уже сегодняшних дней.

Не восприняв ни одного из модных европейских увлечений, они, эти три мексиканских мастера, шли своим путем, заряжая свои творческие аккумуляторы от народных традиций аборигенов, и запечатлевали себя, свои раздумья о прошлом и мечты о будущем, и, может быть, не столько выразительно на полотнах, сколько на стенах общественных зданий, начиная с клубов профсоюзных ассоциаций и социальных учреждений до соборов, до президентского дворца.

И вот нам предстоит познакомиться с одним из этих мастеров, вживе ставшим легендой своего народа. Советский посол С. Т. Базаров, широко мыслящий человек, уважаемый местной интеллигенцией, давно уже дружит с этим художником. Посол сам везет нас из Мехико в маленький городок за гребнем гор, где у художника сейчас студия, в которой он работает над грандиознейшей композицией со сложным названием: «Марш человечества по Земле и в Космосе».

— Грандиознейшая работа, настолько большая и сложная, что даже представить ее трудно,— говорит посол, который, как оказывается, в курсе событий.— Восемь тысяч квадратных метров. Восемь тысяч! Для этой работы в Мехико строится специальное здание. Оно задумано как своеобразный мемориал Героическому Человеку... В этой стране много отличных фресок и стенных росписей, но в таком масштабе только Сикейрос мог размахнуться.

За окном несутся картины причудливого горного пейзажа. Мы высоко, машина занесла нас под облака. Становится трудно дышать, хотя горный воздух кристаллически чист и напоен ароматами альпийских трав. Посол продолжает:

— Фрески — это не то слово. Для того чтобы обозначить то, что он делает, в искусстве еще нет точного названия. Сам он называет это «скульптоживопись». Так это дословно переводится на русский. Не фреска, не барельеф, не горельеф, а как бы все это вместе.

Сбежав с гор, машина въезжает на улочки залитого солнцем городка с особнячками испанского типа, причем, как яркие, разноцветные облака, через белые глухие заборы вылезают наружу целые каскады каких-то цветущих кустов и деревьев. Все это неистово благоухает под жарким, палящим солнцем. А улицы совершенно

безлюдны. Мы приехали в час сиесты — послеобеденного отдыха, когда весь городок погружается в сон.

Весь городок, но не дом, у ворот которого остановилась машина с посольским флажком на радиаторе. За высоким забором, где студия художника, чувствуется интенсивная жизнь. Долетающие оттуда звуки совершенно необычны для художественного труда: стук молотков по упрямому металлу, визг пил, распиливающих сталь, а к аромату цветов примешиваются совсем индустриальные запахи каких-то химических соединений.

Художник и его жена радушно встречают на пороге. На нем белое помятое сомбреро, застиранный глухой комбинезон, какие в Соединенных Штатах зовут оверолами и в каких ходят на смену рабочие. И оверол этот измазан не только красками, но машинным маслом и ржавчиной. И руки у художника в масле и ржавчине, будто он слесарь и только что отошел от верстака. Вместо руки он подает нам локоть и добродушно извиняется: ничего не поделаешь, мы приехали раньше оговоренного часа и застали его за работой.

Его жена, маленькая, хрупкая женщина со смуглым, будто из бронзы отлитым, лицом, ведет нас в глубь двора, в небольшой домик, в комнату, обставленную очень просто, с подчеркнутой крестьянской обстоятельностью. Но в ту самую, так сказать, крестьянскую гостиную невидимые аппараты подают чистый, охлажденный воздух, и после солнечной кипени приятно отдыхать на застеленной ковром тахте.

На стене сразу обращает внимание большая фотография. На ней запечатлен угол какого-то сельского двора и в соломе молодые люди: он и она в крестьянской одежде. Оба молоды, оба красивы, у обоих те же медальные профили. Что-то очень знакомое в лицах этой молодой пары.

— Это же мы с Альфаро,— улыбаясь, поясняет донья Сикейрос.— Мы тогда только что поженились. За ним гонялась полиция, и нам сразу же пришлось скрываться. Крестьянская семья спрятала нас, предоставила нам одежду, жилье. Вот так мы и провели свой медовый месяц.

Ведь в самом деле, вся биография этого мастера, столько уже сделавшего для родного искусства, почти непрерывная революционная борьба, перемежающаяся ссылками, изгнаниями, тюремным заключением. Юношей он

бросился в освободительную борьбу; студент художественного училища, он стал капитаном армии свободы. В его кабинете на почетном месте огромный портрет легендарного Сапато — вожака крестьянских легионов. Он был другом художника. В 1920 году Сикейрос вступил в компартию. В 1927-м впервые побывал у нас, в Советском Союзе, но не с художественной выставкой своих произведений, а как один из вожаков профсоюзов Мексики. В тридцатых годах он — президент Национальной лиги борьбы против фашизма, в 1936-м — один из видных командиров интернациональной бригады в Испании.

Когда я рассказал ему о том, как ночью в варшавском отеле познакомил меня Эренбург с его произведениями, он улыбнулся.

— Да, с Ильей мы познакомились в Испании. Он не был военным, нет. Но в руках его было могучее оружие иного рода — его перо. И еще трубка. Илью и Хема[1] мы часто видели в окопах. Оба умели преспокойно курить свои трубки даже во время марокканских атак.

Разговор возвращается к грандиозной работе художника, которую он выполняет со своими учениками — молодыми людьми, приехавшими к нему из семнадцати стран.

— Как родилась у вас эта идея?

— В тюрьме, во время последнего заключения, которое было довольно долгим. Тогда я решил в финале жизни, так сказать, произнести гимн Человеку. Среди моих тюремщиков оказался один довольно приличный малый. Он приносил мне в камеру листы картона и краски. И я там делал эскизы.

Художник встает, выходит и через малое время приносит целую охапку картонных листов, которые ловко, как игрок карты, разбрасывает по полу да так, что они ложатся один к другому. Он хитро улыбается:

— В тюремной одиночке очень хорошо работается. Ни телефонных звонков, ни приглашений на всякие там рауты и собрания, ни восторгов, ни хулы критиков, ни уличного шума.

Мастер смеется.

— Вам это странно слышать, не так ли?

— И вам часто приходилось работать в таких условиях? — с ноткой удивления спрашивает моя жена.

---

[1] Так друзья называли Эрнеста Хемингуэя.

— Не очень часто, но иногда подолгу,— отвечает Сикейрос.— Ничего, донья Юлия, не поделаешь: живем при капитализме. У меня даже есть арестованные картины.

— ??!

— Да, да, арестованные. Существующие, но изолированные от глаз людских. Как это может быть? Опять же, повторяю вам, донья Юлия, таков капитализм. Я сделал монументальную роспись здания театра Мехико. Роспись на остросоциальную тему. Отцы театра испугались. Соскрести со стены не решились — все-таки как-никак Сикейрос,— и пришло Соломоново решение — заказали ширмы и ширмами этими загородили картины. Таким образом, моя работа арестована. Но, донья Юлия, разве можно арестовать искусство, да еще в век цветной фотографии? Во множестве репродукций она разошлась по всему миру, никакие ширмы не смогли ее скрыть, а арест картин лишь привлек к ним внимание.

Моя жена смотрит на художника с удивлением. Слишком невероятные вещи он говорит. Это удивление, по-видимому, льстит ему.

— А в Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе, один мультимиллионер, человек тщеславный и глупый, заказал мне расписать парадную залу своего дома. Триптих. Тема — тропическая Америка. Я поставил ему условие, что до окончания работы он не будет приставать ко мне ни с советами, ни с критикой. И он действительно условие выполнил, не приставал. Он даже и не знал, что я там пишу, ибо находился в своем оффисе в Нью-Йорке. Тропическая Америка. Он воображал, что я изображу ему экзотическую зелень, крокодилов, цветы, обнаженных бронзовых женщин. Как бы не так. На фоне богатейшей природы я нарисовал ему индейца в виде Иисуса Христа, распятого на кресте. А наверху на кресте посадил американского орла. Того самого, которым они украшают свои доллары. У заказчика хватило ума не поднимать шуму и не подавать в суд, так сказать, не вступать в конфликт с искусством. А соскребать фреску было жалко: как-никак заплачены деньги. И немалые. Тоже картину арестовали — заказали шикарную ширму и заставили ею картину. Вот какие вещи случаются у нас, дорогая донья Юлия.

Потом из маленького жилого домика переходим в большие, как ангар, помещения, где не сразу, а по частям, так сказать, по блокам, ибо это индустриальное

название в данном случае вполне уместно, рождается новая гигантская композиция. Тут выясняется, почему из мастерской художника на улицу доносятся заводские шумы. Юноши всех цветов кожи — белые, желтые, коричневые, черные — ученики Сикейроса, приехавшие к нему из разных стран, трудятся над гигантскими человеческими фигурами, монтируют стальные рельефы, выкладывают мозаики из весьма увесистых камней, рисуют. В соседнем помещении из металла варят специальные краски, изготовляя их по собственному рецепту Сикейроса: все делается на века. Цвета должны быть прочными.

Сейчас обеденный перерыв. Помещение пусто, со всех сторон смотрят человеческие фигуры, как бы несомые одним могучим потоком. Сотни фигур — и ни одной в состоянии покоя. И, как тогда, ночью в варшавском отеле, я оказываюсь окруженным всеми страстями человеческими: ужасом, торжеством, радостью, горем,— и все это несется в общем потоке из седой древности в нашу космическую эпоху ракет и луноходов.

Иные фигуры в этой созданной средствами изобразительного искусства «человеческой комедии» кажутся знакомыми. Ну да, это палач и диктатор Мексики генерал Диас, против которого когда-то сражался студент художественного училища Альфаро Сикейрос; это вожди мексиканской революции Сапато и Вилья; это портреты любимых художников мексиканского народа Риверы и Ороско. Человечество движется в этом непрерывном потоке через кровь войн, через крах надежд к освобождению. И хотя мы видим лишь малые частицы этой грандиозной работы, просто чувствуется, как художник, ненавидя вековечную эксплуатацию, страстно изобличает мир капитализма. Несмотря на драматизм воспроизведенных ситуаций, образное решение этой грандиозной темы лишено трагического звучания. Наоборот, вся борьба страстей воспринимается как апофеоз человеческой силы.

Чувствую, что, вернувшись домой, трудно будет рассказать землякам о масштабах грандиозной этой работы, и поэтому мы все фотографируемся вместе с мастером около одного из художественных блоков, так сказать, выполняем роль масштабных линеек.

Перед прощанием оговариваем детали процедуры вручения Ленинской премии. Мастер начинает волноваться. Он говорит, что всегда считал Ленина величайшим чело-

веком на Земле и что нет большей чести, чем прижать к сердцу знак с его изображением.

— Этот знак я буду носить у сердца. Что же касается денежной части моей премии, я переведу ее народам борющегося Вьетнама. Не устаю жалеть, что сейчас я уже в том возрасте, когда трудно носить боевое оружие. Я не могу поехать во Вьетнам, как когда-то поехал в Испанию в качестве боевого офицера. Пусть моя премия помогает вьетнамцам воевать.

Когда машина трогается, он и жена его стоят, обнявшись, в воротах виллы, и он машет нам вслед своим белым измятым, необъятных размеров крестьянским сомбреро.

В горы мы въезжаем запоздно. Ночь в этих краях надвигается без сумерек — просто солнце скрывается за хребтом, и тьма накрывает разом и улицы душистого городка, и горы, и землю. Только еще пронзительней начинают благоухать цветы.

Машина снова разматывает крутые извилины горного серпантина. Но мы уже не видим ни склонов, одетых голубоватыми соснами, ни обрывов, ни горных рек. Темно. Совершенно темно.

В темноте как-то особенно хорошо думается.

За несколько дней, которые мы с женой провели в Мексике, нам удалось немало повидать. Видели великолепные музеи древнего и современного искусства, видели ацтекские пирамиды — гигантские ритуальные комплексы, как будто построенные какими-то космическими пришельцами в сухой степи и донесшие до нас ритмы и прелесть древнего, доиспанского искусства здешних краев. С друзьями бродили по ночам по улицам Мехико. Подолгу стаивали на площадях, где дюжие смуглые парни в сомбреро, с гитарами в руках щедро угощали всех, кто хотел их слушать, и музыкой, и пляской. Целый день провели в выставочном зале университета, где в ту пору экспонировался, как говорилось в проспекте, «весь Сикейрос». А в окно этого зала любовались его первым экспериментом в области «скульптоживописи»,— огромным и многоцветным рельефом на здании университетского ректората, созданным на тему «Народ университету, университет народу». Интересные прожили мы здесь дни.

И когда вдруг из-за какого-то поворота дороги открылся внизу, вдали мерцающий океан огней Мехико, достающий до самого горизонта, как-то сам собой вдруг пришел главный вывод из всего виденного и слышанного.

Интереснейшая страна. Интереснейшая культура. Интересные люди. И все-таки самым интересным из всего того, с чем мы здесь встретились, был сам Давид Альфаро Сикейрос, этот неистовый Альфаро, как звали его друзья, и я решил, что завтра так и скажу, официально поздравляя с трибуны нового лауреата Ленинской премии мира.

РЕПОРТАЖ ИЗ-ЗА ОБЛАКОВ

В кабине полумрак. Ровно, убаюкивающе шелестят моторы. Густой слой облаков, лохматых, курчавых, белых, как шкуры овец, пасущихся на горных склонах, слегка позолочен неистово полыхающим солнцем. Земля где-то глубоко под нами, и, даже имея в руках карту, трудно определить, что там, внизу,— сухие ли равнины Индии, на которых желтеют клинышки и прямоугольнички вызревающих хлебов, зеленые ли холмы Пакистана или бесконечные нагромождения серых слоистых скал Афганистана, напоминающие апокрифические фрески древних художников.

Внизу — Азия. Но веселые, легкомысленные буддийские, суровые, напыщенные ламаистские боги и даже энергичный пророк Магомет, любивший, как известно, совать нос в чужие дела, должно быть, махнули рукой на наш самолет, затерявшийся в голубизне небес, и западный бог Морфей, сын Гипноса, незримо прокрался в его кабину. Пассажиры, населяющие чрево этого крылатого кита, неторопливо летящего из Дели в Москву, уже ощущают его присутствие. Они спят или дремлют, и даже хорошенькая индианка-стюардесса, похожая на старинную бронзовую ритуальную статуэтку, одетую в кокетливый мундирчик компании «Айр Индиа», уснула, свернувшись, как котенок, на одном из свободных кресел.

Справа от меня, на золотом фоне окна, будто бы вычеканен смуглый профиль Мухтара Ауэзова, славного казахского романиста и доброго товарища по этому дальнему путешествию. Во сне он сохраняет деловой, сосредоточенный вид, будто слушает нечто интересное на важном, ответственном заседании. Слева, через проход, в полумраке кабины вырисовывается седая голова Николая Семеновича Тихонова. У него утомленное лицо, тени залегли во впадинах под глазами. Все эти дни, проведенные

нами на сессии Совета Мира в индийской столице, были до краев полны кипучей деятельностью. Ему, как главе нашей делегации, особенно доставалось, и вот он спит сейчас крепким сном альпиниста, только что закончившего длинный, трудный путь по неизведанным горным склонам, и во сне этом отдыхает каждый натруженный мускул, каждая клетка утомленного мозга.

Я смотрю на его характерное, мужественное лицо, с которого даже сон не стирает энергичного, динамического выражения, и вдруг появляется странное желание — вот тут, в самолете, плывущем над облаками, бог весть над какой страной, написать репортаж об этом хорошем русском человеке, рассказать о нем все, что я знаю, что доводилось наблюдать во время совместных странствий по белу свету, совместных свирепствований на разных международных трибунах, что доводилось слышать о нем от общих друзей.

А что? Неплохая мысль! Но на высоте нескольких тысяч метров чернилами писать нельзя. Потихоньку вынимаю из кармана спящего Ауэзова его шариковую ручку и начинаю сочинять то, что вы сейчас читаете.

С Николаем Семеновичем я впервые познакомился давным давно, в дни своей ранней юности, познакомился неведомо для него и, скажем прямо, в крайне неблагоприятных для себя обстоятельствах. Был я тогда комсомольцем, работал в Твери, на фабрике «Пролетарка», и по вечерам пропадал в Ленинском клубе на фабричном дворе, бывшем в нашем текстильном краю эпицентром молодежного кипения. Подвизался я там на ролях скромных, пописывал в стенгазету и играл баритональную партию на домре в оркестре народных инструментов. Играл плохо, с огорчением сознавая это, но душа рвалась к залитой огнями рампе, к общению с публикой и, что там греха таить, к аплодисментам.

Звездой нашего клуба была «Синяя блуза». Она с успехом выступала не только на своей сцене, но и в рабочих столовках во время перерывов и даже на площади перед прядильной фабрикой в часы, когда дневные смены возвращались с работы. Пользуясь тем, что принимал некоторое участие в создании самодельных инсценировок для вышеупомянутой «блузы», я уговорил ребят попробовать и мой артистический дар. И вот мне было поручено в интермедии между сценками, посвященными боевым и сугубо местным делам, изобразить старого голодающего индуса, рассказывающего трогательную историю об индий-

ском мальчике, точнее — читающего в те дни чрезвычайно популярное стихотворение Николая Тихонова «Сами».

Из скатертей выпрошенных в клубном буфете, для меня соорудили одежду, из марли, добытой в медпункте, чалму, сплели из хлопковых концов белоснежную бороду, а на лицо с помощью жженой пробки навели такую смуглоту, что старый индус должен был показаться только что вылезшим из печной трубы. Не знаю, какого индуса увидел зрительный зал, но на сцену он вышел довольно нахально; сложив руки, чинно раскланялся и загробным голосом, но бодро начал:

Хороший сагиб у Сами и умный,
Только больно дерется стеком.
Хороший сагиб у Сами и умный,
Только Сами не считает человеком...

Произнеся эти стихи, старый индус вдруг смолк. Снисходительная аудитория, понимая, что почтенный старец не может трещать, как молодая ткачиха, терпеливо ждала секунду за секундой. А индус все молчал, покрываясь липким пóтом от сознания того, что все строчки хорошо вызубренного стихотворения вдруг разбежались в разные стороны. И тогда скептический голос, донесшийся издали, заметил:

— Забыл...

Грохнул сокрушительный смех. Несчастный индус на сцене рад бы был исчезнуть, как видение нирваны, провалиться под пол, превратиться в пар. Но тут совершилось невероятное. Несколько молодых голосов из разных концов зала подсказали потерянную строчку. Индус оживился, разгладил хлопковую бороду и довольно уверенно продолжал. Всякий раз, когда он застревал на какой-нибудь строке этой очаровательной маленькой поэмы, хор добровольных суфлеров приходил на помощь, и выяснилось, что аудитория знает стихи лучше, чем чтец.

С того дня я не отваживался публично декламировать что-либо, но продолжал с нетерпением ожидать каждое новое стихотворение Тихонова, многие выучивал наизусть и, каюсь, за сорок с лишним лет журналистской деятельности минимум раз десять употребил при разных обстоятельствах в своей публицистике концовку другой тихоновской баллады:

...Гвозди бы делать из этих людей.
Крепче б не было в мире гвоздей...

...Тихо, убаюкивающе жужжат моторы. Мой сосед слева погружен в сон. Он спит и не подозревает, что рядом, выражаясь пушкинским стихом, «...отшельник в темной келье здесь на него донос ужасный пишет».

Итак, с юных лет любил я стихи этого интересного, самобытного поэта, и за стихами очень ощутительно представлял его самого — мужественного, крепкого, активного человека с широко раскрытыми глазами, жадно схватывающими все интересное, с большим, пылким сердцем, которое всегда отзывалось и на радость, и на горе, и на торжество, и на беды своего народа.

Особенно пленяли стихи, посвященные Востоку, Кавказу, Туркмении, азиатскому зарубежью. Мне, никогда в те дни не бывавшему за пределами родного Верхневолжья, всегда казалось, что я вместе с поэтом разъезжаю по тем далеким местам, дышу разреженным воздухом ледников, пробираюсь по узким тропам над пропастями, на дне которых гремят горные потоки, слушаю песни Грузии, Армении, Дагестана, дружу с множеством мужественных, сильных, смелых людей.

Повторяю, автора этих стихов не видал в глаза. Но произведения его создали для меня конкретный пластический образ, и когда в трагические дни войны в газеты наши из блокированного, погруженного во тьму и холод, осыпаемого снарядами северного города шли корреспонденции «Ленинград в январе», «Ленинград в феврале», «Ленинград в марте», создавшие летопись героической обороны, мы с волнением читали на своих фронтах каждый очередной кусок этой летописи и, читая, не удивлялись, что под ними стоит подпись: «Николай Тихонов». Именно он, этот жизнелюбивейший поэт, и должен был рассказывать о битве советских людей со смертью.

Помнится, в самую тяжелую военную пору к нам, на Калининский, очень нелегкий тогда фронт, в снега под Ржевом, приехал Александр Фадеев, незадолго до этого побывавший в Ленинграде. И когда в офицерском сухом пайке нам удалось получить для него несколько тощих вобл и концентраты пшенной каши, которую у нас на фронте иронически называли «блондинкой» и тихо ненавидели, Фадеев восхищенно воскликнул:

— Хлопцы, да у вас же, так сказать, курорт! Да, да, да... Вот в Ленинграде, там...

И он начал рассказывать о трагедиях ленинградской блокады и, рассказывая, все время сворачивал на семью

Тихоновых, стойко переносившую вместе со всеми тяготы блокады, готовую поделиться с любым попавшим в беду писателем и теплом печки, если удавалось достать охапку дров, и уголком в комнате, в окнах которой были выбиты стекла, буханкой хлеба, замерзшей рыбиной, банкой консервов, если кто-нибудь из друзей или почитателей тихоновской поэзии ухитрялся каким-нибудь сверхъестественным манером переслать продукты сквозь кольцо гитлеровских армий, окружавших город.

— Мария Константиновна и Никола, так сказать, сами еле ходят, но постоянно о ком-нибудь заботятся, хлопочут... Я было попробовал с ними завести разговор об эвакуации, и сам был не рад...

И Фадеев махнул рукой, тоненько засмеялся, рассыпая свое «да, да, да».

В старину, когда неоглядные жаркие степи Средней Азии не знали проводов, существовал там, наверное еще со времен Тамерлана, так называемый узун-кулак, этакий своеобразный степной телеграф, с помощью которого вести быстро распространялись из кочевья в кочевье, порой на сотни и даже на тысячи верст. Существовал такой же не подчиняющийся законам физики телеграф и между военными корреспондентами. Благодаря ему, скажем, Мартын Мержанов или Павел Кованов, работавшие на кавказских фронтах, часто на другой день узнавали, какое острое словцо по какому-нибудь поводу отпустил Петр Павленко на фронте Северном или какие рифмыловушки совместно создали Константин Симонов и Алексей Сурков на фронте Западном. Вот этот корреспондентский телеграф, разносивший по фронтам всяческие новости из жизни «солдат пера», всегда с уважением и в самом героическом плане повествовал о семье Тихоновых, живущей в Ленинграде в кольце огня и дыма, где по утрам по его замерзшим проспектам и площадям, еле переступая на распухших ногах, двигались женщины с ведрами к невским прорубям, где не редкость было встретить на тротуаре влекомые детьми салазки, на которых они везли на братское кладбище окоченевший труп матери, завернутый в одеяло.

— Девятьсот дней битвы за Ленинград — это книга, которой еще не читало человечество! — воскликнул однажды Николай Семенович, который и сейчас, по прошествии стольких лет, не может вспоминать спокойно ленинградскую оборону.

Это так. Он сам, живя там, в этом страдающем и сражающемся городе, участвовал в создании этой книги. И о нем самом будут когда-нибудь написаны взволнованные слова на ее страницах. И мне кажется просто закономерным, что именно этот седовласый и немолодой уже человек встал в первые ряды движения сторонников мира в самый момент его зарождения, что советские люди доверили именно ему, участнику и летописцу ленинградской обороны, возглавить это движение в своей стране.

Мы летим сейчас с сессии, которую в некотором роде можно считать исторической. Ничего особенно выдающегося на ней как будто бы и не произошло. Но, находясь в эти дни в жаркой стране, где температура днем поднималась порой до тридцати пяти градусов, я, слушая доклады и выступления, все время вспоминал эдакий зимний, морозный денек у нас в Средней России: холодно, деревья густо одеты мохнатым инеем, искристо голубеют глубокие снега, солнце низко ползет над ними, как бы с трудом отрываясь от горизонта. И все-таки нет-нет да и ощутишь на лице его ласковое тепло. Знаешь — быть еще и морозам, и метелям, и сугробы еще не раз преградят дороги. Но чувствуешь — солнце уже греет, а холодный, острый ветер, от которого ломит лоб, пахнет весной.

Вот так в эти дни, сидя в большом удобном зале, под порхающими фенами, создающими искусственные сквознячки, мы, люди, съехавшиеся в Дели со всех концов света, ощутили предвестие весны, весны человеческого взаимопонимания, спокойных, деловых разговоров, и, ощутив, еще крепче поверили, и, поверив, сказали миру в документах сессии о том, что весна эта не может не прийти, если, конечно, человечество хочет продолжать жить на земле и не допустить, чтобы зеленая, цветущая планета наша превратилась в мертвую, голую Луну...

Я вспоминаю путь нашего движения: Вроцлав, Париж, Прага, Варшава, Стокгольм, Вена, Хельсинки, снова Стокгольм и вот — Дели. Все эти международные форумы имели каждый свой облик, каждый был отмечен своими заботами, своими тревогами, своими мечтами. Но, вспоминая любой из них, я отчетливо вижу коренастую подвижную фигуру седовласого человека, чей профиль так четко вырисовывается сейчас в кресле самолета слева от меня.

У Тихонова живое, очень подвижное лицо. Вероятно, трудно, может быть и вовсе невозможно, сделать с него хороший скульптурный портрет, ибо, запечатлев поэта в одном каком-либо состоянии, придется отказаться от множества других его состояний, и образ получится обедненным, неточным. Во сне же, вот сейчас, на лице его суровое, энергичное выражение. Может быть, оно-то и есть самое характерное?

Солнце поднялось в зенит. Облака, простирающиеся внизу, теперь сплошное золотое руно. Крестик самолета бежит по нему. А над ним небеса такой густой синевы, точно какая-нибудь хозяйка, стирая их перед весенним праздником, бросила в корыто горсть синьки.

До Москвы еще далеко. Три чашечки густого кофе, неосторожно выпитого мною в баре Делийского аэродрома, отгоняют уже совершенно оккупировавшего самолет Морфея, и я спокойно могу продолжать этот свой репортаж над облаками...

Тихонов из тех щедрых литераторов, которые вкладывают в произведение самих себя. Я знал его задолго до того, как случай свел нас однажды на военном аэродроме, у самолета, на котором мы оба вместе с несколькими другими советскими людьми должны были лететь в Болгарию. Это было поздней осенью 1945 года. Болгария была монархией. Реакционная клика, орудовавшая за спиной малолетнего царя Симеона, пыталась тащить историю назад. Но страна, разбуженная освобождением, клокотала в ожидании больших перемен. Приближался срок выборов, в которых народ впервые свободным волеизъявлением должен был определить свою судьбу. Мы летели на эти выборы — маленькая горстка людей в огромной кабине военно-транспортного самолета, наскоро и не очень умело переделанного в пассажирский.

Погодные условия были на редкость скверные. Но летчик, только что снявший военную форму, посмотрев сводку, с чисто фронтовым фатализмом изрек:

— Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.— Потом подошел к нам, пассажирам, и спросил Тихонова, как старшего: — Летим?

Николай Семенович поднял брови, будто бы сам этот вопрос удивил его.

— Да, да, конечно, летим. Нам же надо поспеть к выборам, понимаете?.. Какие тут могут быть разговоры? Конечно.

Летчик усмехнулся, с сомнением посмотрел на главу нашей маленькой делегации, произнес неопределенное: «Гм... гм...» — и скрылся в кабине. Мы поднялись в воздух.

На заре моей военно-корреспондентской деятельности в «Правде» мне приходилось летать на боевых машинах дальней бомбардировочной авиации на бомбежку неприятельских городов, участвовать в штурмовке вражеских колонн. Этот мирный рейс по остроте ощущений оказался куда богаче. Достаточно сказать, что в ноябре месяце мы ухитрились врезаться в грозовой фронт. Машина то взмывала, то проваливалась, прокладывая себе путь среди свинцовых клубящихся громад, и где-то сбоку и снизу сквозь сумерки туч бесшумно брызгали фиолетовые огни молний.

Самолет шел над Балканами, шел по приборам, без всяких зримых ориентиров. При сравнительно невысоком потолке это было совсем не безопасно. Что там греха таить, душа у меня в те часы не раз уходила в пятки.

И вот тут-то я смог по-настоящему оценить Николая Семеновича, с которым только что познакомился. Бодрый, оживленный, будто бы вовсе и не замечающий происходившего, он, сверкая своими выпуклыми глазами, рассказывал нам всяческие занимательные вещи. Истории одна интересней другой, и все остроумные, сдобренные добротным юмором, сыпались из него, как картошка из мешка. Рассказывая, он увлекался и, будто бы сам поражаясь тому, о чем говорил, то и дело перемежал повествование вопросом:

— Что такое?.. Как это могло быть? — и, подняв брови, он вопросительно глядел на слушателей.

И продолжал повествовать дальше, заставляя нас забывать или делать вид, что забываем, о том, где мы и что вокруг нас творится.

И мы, держась руками за кресла, чтобы на какой-нибудь воздушной яме или крутом вираже не треснуться головой о потолок, слушали, поддаваясь обаянию его рассказов, кривили побледневшие губы в ответ на его остроты и шутки.

Я смотрел на рассказчика, казавшегося совершенно увлеченным повествованием, и старался понять — понимает он или нет, в каком положении мы очутились? Ведь он же бывалый, много видевший воин, служивший еще в первую мировую войну в гусарском полку, прославившемся своими боевыми рейдами в Прибалтике. Как он

может не понимать опасности, которая нам угрожает? Ну, а если понимает, откуда этот феерический поток историй?

В этом ералашном рейсе, в самом его финале, когда самолет осторожно шел на снижение, прорывая сплошные облака, был жуткий момент — машина вырвалась из туманной завесы, и мы вдруг отчетливо увидели, что справа от нас возникла одна из вершин хребта, возникла выше самолета. И видно стало, как дальше хребет, разворачиваясь, гранитной стеной преграждал путь. Нерастерявшийся пилот сделал отчаянно крутую «горку». Нас опрокинуло и пригвоздило к спинкам кресел, чемоданы полетели через нас.

Из командирской рубки появилось взволнованное лицо штурмана. Он был так бледен, что щеки казались зелеными.

— Ничего, ничего, товарищи, снижаемся,— успокаивающе произнес он, но голос его дрожал, и дрожь эту он даже не пытался скрыть.

А Тихонов, не обращая внимания, продолжал:

— ...Нет, нет, вы слушайте: знаете, что такое телеграфный столб? Ага, не знаете! А это очень интересно. Что же такое? А? Ну, я вам сейчас скажу. Это хорошо отредактированная сосна. Как? Здорово? А? Хорошо отредактированная сосна.

И мы смеялись. А штурман, вцепившись в косяки двери, удивленно смотрел на нас: что происходит с пассажирами?

Наконец я понял, что замечательный наш рассказчик все понимает. Я заметил, как он косится в окно. Когда в беспорядочном нагромождении туч, теперь уже в стороне, в отдалении, снова возник серый, покрытый изморозью зуб скалы, он, несомненно, отчетливо видел его, но его хрипловатый тенор продолжал весело звенеть в кабине:

— А воробей? Вы знаете, что это такое? Это соловей, окончивший консерваторию. А? Как? Ловко?

Все-таки выскользнув в последнюю минуту из-под кромки туч, самолет уже бежал по полю небольшого Софийского аэродрома, лежавшего на дне скалистого ковша. И лишь в эту минуту, когда опасность уже миновала, когда можно было спокойно отстегнуть ремни, я заметил, как вдруг побледнело лицо нашего собеседника, как он устало призакрыл глаза. Летчики, похудевшие за один этот рейс, выходили из кабины и с уважением смотрели на Николая Семеновича, как на нечто до сих пор невиданное.

Впрочем, в следующее мгновение он уже оправился и легко, по-юношески спрыгнув на сырой бетон аэродрома, оживленно принимал приветствия болгарских друзей и, пользуясь поразительной близостью наших языков, шутил, горстями сыпал комплементы встречавшим нас дамам. А вечером с таким же неутомимым оптимизмом он сидел в кафе поэтов, пил чудесное болгарское вино, окуная в него по-крестьянски белый хлеб, слушал чужие, читал свои стихи и оживлял всех своим добродушием, будто бы совсем недавно жизнь его не подвергалась опасности в течение нескольких часов.

К концу этой встречи мы клевали носами, прятали зевки в салфетки и с трудом пялили закрывавшиеся глаза. Но он настоял, чтобы мы пошли с новыми друзьями осматривать болгарскую столицу, и мы двинулись скопом, шумной толпой, напевая песню про здешнюю реку Марицу, весьма смущая этим стражей порядка, которые в те дни именовались здесь еще полицейскими...

Мы не раз путешествовали с Николаем Семеновичем по Советскому Союзу и далеко за его рубежами. В каждый новый, совершенно неведомый для меня город он приезжал как в давно и хорошо ему знакомый. Он знал на память особенности местного быта, достопримечательности, диковинки, памятники старины, книги местных писателей, поэтов и их авторов. На Кавказе, в республиках Средней Азии это легко можно было понять. Он много путешествовал, он исходил, как неутомимый путник, с рюкзаком за плечами и посошком в руке, именно исходил, а не облетал или объездил, громадные пространства. Недаром на одном из домашних торжеств его жена и друг Мария Константиновна как первый, всем его знакомым дорогой и понятный тост провозгласила:

— За пешеходов!

Но и попадая за рубеж, неутомимый пешеход этот всегда оказывается более, чем кто-либо из нас, осведомленным обо всем, что мы видели вокруг, осведомленным настолько, что профессиональным гидам оставалось лишь поддакивать ему да удивляться тому, что этот седовласый иностранец так хорошо знает их края. Вот и теперь, в поездке по Индии, которая завершается этим полетом, мы не уставали слушать его рассказы о Дели, о нравах и обычаях страны, о пещерах Аджанта, о храмах Бангалора, о великих скульптурных памятниках Махабалипурах.

И в этих обширных знаниях проявляется его благородный интерес ко всему лучшему, что создал человек на земле...

В рейсе своем наш самолет догоняет солнце, удлиняя сутки. Сейчас по-прежнему сияет день. И все же чувствуется — Москва близка. Бронзоволицая стюардесса уже обходит пассажиров, потчуя их леденцами, зернышками имбиря и американской жевательной резинкой. На стене кабины вспыхивает надпись, требующая на трех языках, чтобы мы пристегнулись.

Спутники начинают просыпаться. Проснулся Николай Семенович. Как старый солдат, он умеет как-то разом, без всяких переходов, шагнуть от сна к бодрствованию. Вот и сейчас, обведя веселым взглядом помятые со сна физиономии, он будто бы продолжает начатый где-то над Индией рассказ:

— ...А вы знаете, что случилось с нами однажды в Пакистане? Любопытнейшая история. Как она могла произойти? Послушайте, послушайте!

Но в первый раз я не слушаю, вероятно, весьма интересную историю, ибо тороплюсь дописать этот свой заоблачный репортаж.

ЗАВЕТНОЕ «Н. Ж.»

Когда, вспоминая, я думаю о моем давнем и добром друге художнике Николае Николаевиче Жукове, которого уже нет среди нас, всегда выплывает из памяти такая картина.

Разгар Сталинградской битвы. Хмурая осенняя Волга. В воде отражаются дымы негаснущих пожарищ. Знаменитая 62-я переправа, бомбардируемая с воздуха, обстреливаемая из-за реки тяжелыми снарядами. Балочка безымянного ручья, впадающего в реку, и тихая нервная человеческая суетня в этой балке.

Здесь, под защитой ее глинистых откосов, скапливаются для переправы подразделения сибиряков, перебрасываемых из фронтового резерва туда, за реку, в пекло незатухающей битвы. Сейчас они тут, в пестрой осенней зелени Ахтубинской поймы, а через малое время им предстоит под обстрелом пересечь реку и сразу же оказаться на передовой, среди закоптелых развалин, над которыми не

уставая гуляет смерть. Это тот рубеж, где проходят пробу истинные человеческие качества солдата.

На берегу, у причала, принимает на борт части пополнения старенький, видавший виды, израненный речной трамвайчик, на столбе — дощатый круг какого-то навигационного знака, тоже обрызганный осколками. На нем теперь плакат: солдат в пилотке лежит у пулемета, нажимая гашетку. Он ведет огонь, этот пожилой солдат, и на лице его, напряженном до судороги, такая ярость, что ясно — он стоит насмерть, что никто и ничто не оторвет его от боевой работы. Я не помню слов, написанных на этом плакате, да они и не нужны, слова. Зато отчетливо вспоминается, что вокруг плаката все время до самой погрузки, теснились солдаты, словно накапливая в этом тихом, сосредоточенном созерцании свои нравственные силы перед теми испытаниями, которые ждали их в пылающем и громыхающем городе за хмурой, озябшей рекой.

И еще отчетливо помню, что в нижнем уголке этого плаката стояло: «Н. Ж.». Две такие знакомые мне буквы, означавшие — Николай Жуков.

Н. Ж.! Сколько графических листов, картонов, сколько портретов, зарисовок, иллюстраций, плакатов, сколько тончайших акварелей оставил этот человек, уйдя из жизни... И все они, эти портреты, зарисовки, иллюстрации, надолго останутся жить, и в них остается жить их автор, умевший вкладывать в любую свою работу частицу самого себя, свою душу, свою мысль, свою мечту. И образ его, жизнерадостный образ веселого, подвижного, деятельного, немножко суетливого, но при всем том организованного, целеустремленного, доброго, отзывчивого человека с незатухающей юмористической искрой в узеньких зорких глазах, живо встает передо мной, как только увижу я эти заветные «Н. Ж.».

Мы познакомились с ним на Калининском фронте в суровую вьюжную зиму сорок первого года. В какой-то дивизионной газете увидел я боевые зарисовки, исполненные необыкновенно точным и четким пером. Несмотря на несовершенства походных цинкографий, зарисовки эти сразу привлекли внимание, и не только мастерством исполнения, но и каким-то зорким проникновением во фронтовой быт. Заветные буквы «Н. Ж.» ничего еще мне тогда не говорили. Заехал в редакцию, поинтересовался:

— Кто это у вас так здорово рисует?

— Как, вы не знаете? — с удивлением и даже с некоторой обидой переспросил редактор.— Конечно же Николай Жуков... ну, тот самый, что иллюстрировал книгу «Воспоминания о Марксе».

И сразу припомнились мне действительно интересные иллюстрации этой книги, которые убедительно вводили человека сегодняшнего дня в середину прошлого столетия, в эпоху Маркса и Энгельса. Разумеется, захотелось познакомиться с художником.

— А он в редакции не сидит, он всегда в частях.

— Ну, и на каком участке?

— А кто его знает. Наверное, там, где горячо. Последние рисунки попутный офицер связи привез из...— Редактор назвал деревню. Мы отыскали эту деревню на карте. Действительно, это было место, где в те дни шли ожесточенные бои.— У него принцип,— продолжал редактор,— что-то вроде идефикс: все надо видеть своими глазами. Между прочим, научился рисовать в рукавицах, как-то там булавкой прикрепляет к теплой рукавице карандаш.

— Почему же в рукавицах? — задал я нелепый вопрос.

— Так холодно же там, на открытом воздухе, костров-то на передовой не зажигают.

Мне еще больше захотелось познакомиться с этим художником, что научился рисовать в рукавицах. Но знакомство состоялось позже, уже весной, когда Политуправление фронта, к которому его тогда прикомандировали, находилось в маленькой тверской деревеньке Ульяновке.

В те дни я только что вернулся из немецкого тыла, от земляков, из непокорившихся сел, продолжавших жить в тылу врага по советским законам, из партизанских деревень, прятавшихся в болотном краю, куда неприятель не показывал и носа. Был канун Первого мая. Я вылетал к этим непокоренным людям, чтобы забрать их коллективное письмо, адресованное Центральному Комитету партии, в котором писали они о своем нелегком и героическом житье-бытье. А вернувшись к себе «домой», то есть в Ульяновку, и выпарившись в курной баньке, узнал, что художник Жуков тоже только что вернулся от партизан, с другого направления. И увидел я его в полной партизанской справе — в ватнике, в какой-то шапчонке с торчащими в разные стороны лохматыми ушами, загорелого, небритого, в разбитых кирзовых сапогах, с

сосульками волос, нависающими на высокий белый, не тронутый загаром лоб. Он всерьез напоминал одного из тех героических партизан, с которыми, я только что встречался.

И тут мелькнула мысль: а что, если к тому коллективному письму, что я завтра повезу в «Правду», упросить его сделать иллюстрацию?

— Ну, а срок? Вчерашний день, наверное? — не без иронии спросил он.

— Не вчерашний, но завтрашний. Завтра к утру рисунок должен быть готов. Самолет в Москву вылетит на заре.

— Ну что ж, попробуем,— согласился новый знакомый и рассыпал на столе целый веер зарисовок на обрывках бумаги, на обложках школьных тетрадей. Зарисовки были торопливые, сделаны явно в спешке, но во всех них поражала точность лаконичных линий, зоркость художественного видения.— Сделаю. Но попрошу создать для меня творческие условия,— произнес он, хитро поблескивая узенькими своими глазами и складывая в трубочку пухлые губы.

— Что за условия?

— Ввиду спешности заказа и сложности работы, которую придется выполнять ночью,— литр.

Ну что ж, человека, пришедшего в этот день из неприятельского тыла, понять было можно. В отряде партизан-железнодорожников, у которых он побывал, мы знали, был очень строгий комиссар, провозгласивший «сухой закон». Литр горючего на такую гуманную культурную цель мы всей корреспондентской братией не без труда выпросили у скуповатых деятелей военторга. Выдали его нам почему-то в микрокупюре, в бутылочках, какие когда-то интеллигентные люди называли «мерзавчиками».

Десять «мерзавчиков» выстроились на подоконнике избы перед столом, к поверхности которого был уже пришпилен лист ватмана.

— И еще условие, братья писатели: над душой не стоять и в затылок мне не дышать... Гуляйте там, на улице.

Утром, когда на посадочной площадке уже трещал мотор вездесущего самолета «У-2», который должен был отвезти в Москву письмо непокоренных моих земляков, я появился перед окном жуковского обиталища. На подоконнике стоял всего только один «мерзавчик», а за ним

виднелась кудрявая голова, опущенная над столом. Потом последняя склянка исчезла и в окне появился Жуков. Он сдул с листа сучужки резины, отставив руку, пощурился на свое произведение. Подмигнул сам себе и, протянув мне в окно готовую композицию, заявил:

— Вези, а я пошел спать.

Сидя в кабине самолета, державшего курс на Москву, я не раз осторожненько, чтобы встречный ветер не вырвал и не унес, развертывал и рассматривал этот довольно широко известный теперь рисунок, помещенный в свое время на первой странице «Правды» и известный под названием «Утро в партизанском лесу». Сложную, добрую и правдивую во всех деталях композицию, как бы сфокусировавшую в себе десятки эскизов, торопливо набросанных на клочках бумаги и на обложках ученических тетрадей...

В дни войны художник был воином, яростно сражавшимся с оккупантами силой своего профессионального оружия. Из-под его карандаша выходили зарисовки, книжные иллюстрации, листовки, обращенные к немецким солдатам, адресованные их уму и сердцу. И, наконец, плакаты, подобные тому, что видел я у сталинградского причала.

Художник Жуков воевал неутомимо. Ему поручили возглавить студию военных художников имени Грекова, организованную еще до войны по инициативе К. Е. Ворошилова. Он собрал вокруг нее целое, так сказать, соединение молодых военных художников, которые учились, совершенствуя свое мастерство, учась, рисовали и писали на злобу дня, вместе со своим командиром искусно сражались с врагом пером и кистью. У Николая Жукова трое хороших детей. Но студию Грекова он всегда считал самым беспокойным и любимым своим детищем. Он отдавал ей все свое свободное время.

И было вполне логично, даже закономерно, что этот неутомимый художник-солдат был после войны командирован в немецкий город Нюрнберг, где победившие народы судили главных преступников второй мировой войны. Я прибыл на этот процесс с небольшим опозданием, когда Жуков со своей щедро отпущенной ему общительностью, или, как говорят теперь, коммуникабельностью, уже врос в международный журналистский быт, завел себе множество друзей, а главное — успел сделать серию портретных зарисовок основных подсудимых.

Помнится, при первом моем появлении в зале суда

меня больше всего поразила обыденная внешность тех, кто занимал скамью подсудимых. На первый взгляд, это были даже весьма респектабельные господа: военные с хорошей выправкой, почтенные бюргеры — отцы семейств. Но в тот же день Николай Николаевич, который здесь, в дружеском кругу, уже приобрел американское прозвище «Кока-Кола», извлек из папки свои зарисовки. Сохраняя с большой степенью точности их внешность, художник сумел при этом извлечь, вытащить откуда-то из душевных глубин и зафиксировать истинную сущность всех этих господ, сорвать с них маски обыденной благопристойности. И вот сила настоящего искусства: в зале суда ничего не изменилось, подсудимые остались теми же, но я уже видел их такими, какими запечатлел их «Кока-Кола».

Там, в Нюрнберге, начал я писать книгу об Алексее Маресьеве, идею которой вместе с тетрадкой записей проносил с собой всю войну, начиная с Курской битвы. Написав первые страницы, распираемый нетерпением поскорее выложить на бумагу все, что давно уже созрело в голове, рассказал я другу одиссею необыкновенного летчика и идею своей задумки. Жуков, умевший чутко откликаться на любое явление искусства, слушал меня с нетерпением. Слушал и торопил:

— Ну-ну, и дальше?.. Как там?.. Ну, и что получилось...

Мы гуляли с ним по аллее парка карандашного короля Иоганна Фабера, в дворце которого располагался тогда пресс-кемп, в буквальном переводе — лагерь прессы, где обитали в дни процесса журналисты всех стран света. Шел мягкий баварский март. Подснежники, крокусы проклевывались наружу, поднимая серый слой уже погнившей листвы. Пылили сережки орешника, и, сбросив снежные одеяла, просыпалась земля, дыша в лицо бражным ароматом прелой травы.

— Нет, в самом деле очень интересный сюжет... Плюнь на все и пиши. Пиши так, чтобы из всех щелей пар шел. Напишешь — возьмусь иллюстрировать.

С этого дня утром, когда мы встречались около умывальников, он вместо приветствия спрашивал:

— Ну как, идет? Какую главу смолишь? Что теперь делает твой летчик?

А потом он сдержал слово. Взялся иллюстрировать книгу. И тут, часто встречаясь, наблюдая за его работой, я постиг, с какой страстью вгрызается в жизнь этот жизнелюбивейший мастер. Не доверяя воображению, он

искал и находил в жизни людей, похожих по внешности, по характеру на того или другого героя. Живого Алексея Петровича Маресьева он рисовал много раз. Иногда, отвечая на телефонный звонок, я слышал возбужденный голос:

— Здравствуй! Радуйся, нашел Зиночку... Великолепная Зиночка... Заглядишься...

Долго не давался ему профессор Василий Васильевич. Было сделано несколько эскизов с разных людей, сделано и отброшено: не то, не то. И наконец, измученный поисками, спросил меня:

— Ты-то с кого писал? Есть такой человек на белом свете?

— Есть. Мой земляк, профессор Успенский. Живет в Калинине, в Москву наезжает читать лекции студентам, и очень не часто.

— Едем в твой разлюбезный Калинин.

Помнится, чем-то в те дни я был занят. Ехать было не с руки. Но Жуков, если он чем-то увлекался, был просто неотразим.

— Ах, если есть такой человек, немедленно же к нему едем. Калинин не Владивосток, что значат четыре часа езды...

И действительно поехали. Уломали сварливого старика позировать, и целый вечер Жуков провел с ним в разговорах, делая один набросок за другим. На обратном пути он довольно потирал руки, подмигивал, глаза его хитро сияли, полные губы складывались в трубочку:

— Ну что, разве зря потеряли время? Теперь я твоего Василия Васильевича закрыв глаза нарисую.

И действительно, за пару дней сделал несколько рисунков.

Он был необыкновенно жаден до жизни, до людей, в кармане его всегда была папочка с бумагой. Иногда, казалось бы в самый неподходящий момент, он доставал ее и набрасывал что-то, его заинтересовавшее. Раз сидели мы с ним рядом в президиуме весьма торжественного заседания. Я скучал, а он, положив свою папочку на колени, не стесняясь колдовал над ней. И подвижное лицо его при этом сохраняло маску внимания: ни дать ни взять заинтересованный слушатель, записывающий выступление докладчика. А он доклад и не слыхал. Он зарисовывал... нос председателя, чем-то показавшийся ему интересным. Потом потихоньку пояснил:

— Посмотри, какие у него распахнутые ноздри. Наверное, таким был нос у майора Ковалева из гоголевской новеллы.

«Повесть о настоящем человеке» иллюстрировали в разное время девятнадцать отечественных и зарубежных художников. Среди них были замечательные мастера книжной иллюстрации. И все же лучшие рисунки вышли из-под рук Николая Жукова. И говорю я это не потому, что в свое время он получил за них Сталинскую премию, а потому, что в этой своей работе он выступил не как иллюстратор художественного произведения, а как соавтор, каждый лист которого из этой серии может и сейчас жить вне книги, самостоятельной жизнью.

То же можно сказать и об иллюстрациях к книге «Современники», явившейся плодом нашей с ним жизни на строительстве Волго-Донского канала. И там, в постоянном общении, наблюдал я работу этого неутомимого Жукова. В ватнике, в сапогах-бахилах, в старенькой кепчонке, которую он обычно носил в кармане, он был неотличим от строителей. В погоне за заинтересовавшим его персонажем залезал в будку экскаватора, карабкался на леса и однажды, что было совсем уже удивительным для его возраста и положения, рисовал панораму строительства... со стрелы крана. Помнится, оттуда, с этой «позиции», и снял его знаменитый наш строитель, инженер С. Я. Жук. Жили мы с этим гидростроителем в одном домике. Потом, за столом, он пенял мне:

— Вы бы хоть присматривали за вашим другом. Свалится — мы все бед не оберемся. Искусство нам этого не простит.

Неутомимо трудолюбивый, он из любого своего путешествия, из любой поездки привозил новые свои работы, новые листы и даже картины. С трудом уломают домашние поехать отдохнуть на дачу, возвращается с папкой акварелей — цветы. Поехал в Чехословакию, лечиться в Карловы Вары,— вернулся с зарисовками городских и сельских пейзажей, жанровых сценок, набросками портретов, из которых впоследствии выросла серия отличных иллюстраций к книге Фучика «Репортаж с петлей на шее». Иллюстраций, о которых мой друг Густа Фучикова говорила:

— Никто, кроме Швабинского, не мог так рисовать Юлека, как Жуков. Но Швабинский чех, а Жуков иностранец... Как глубоко умеет он копать жизнь.

Копать жизнь. Это оговорка, по-моему, все-таки очень точна. Копать в данном случае лучше, чем «наблюдать», «видеть» или даже «вгрызаться».

А из туристской поездки в Италию он привез целую серию акварельных портретов итальянских партизан и борцов Сопротивления — красивых, точных портретов, в которых за обликом пожилых людей угадывались образы людей молодых, полных энергии и сил парней и девушек, тридцать лет назад наводивших страх на отечественных фашистов и немецких оккупантов в горах Северной Италии.

Художнику трудно работать за пределами родины и родной среды. Пейзажи, натюрморты, жанровые сценки иное дело, все это можно разглядеть и в туристский бинокль. Но портреты иное. Надо иметь очень вдумчивый глаз, надо, по выражению Густы Фучиковой, «глубоко копать», чтобы передать характер и душу иноземного человека. В серии «Итальянские партизаны» Жукову это удалось. И такой взыскательный художник, как сенатор Карло Леви, очень гордящийся тем, что сам он сделал, и действительно хорошо, проникновенно сделал, портреты Твардовского и Эренбурга, этот художник-сенатор говорил мне:

— Жуков сделал то, что должны были сделать мы, итальянцы. Когда-то наши партизаны пели вашу песню «Катюша». Русский маэстро своими портретами отдал им долг.

С особой полнотой раскрываются глубокий гуманизм, жизнелюбие и доброе сердце художника в бесконечной серии «Дети», которую он пополнял до самого своего последнего дня. Кто-то когда-то сказал, что в отношениях к детям определяется истинная суть человека. Детская серия рисунков, акварелей, набросков — десятки листов картонов из этой серии определяют характер этого такого жизнелюбивого мастера.

Он сам был отцом. Но, находясь, так сказать, при исполнении отцовских обязанностей, он тоже не расставался с карандашом и бумагой. Дети росли на его художнических глазах, и каждый этап их роста, начиная с самого нежного возраста, соответственно отражен в его работах, зарисовках, жанровых сценах, в портретах. Впрочем, это и не только две его дочери и сын, не только его внуки, это и их товарищи, подружки, это вообще дети, и наши, советские, и те, которых художник наблюдал за рубежом, в дни своих многочисленных путешествий.

Его сюиту детства, отрочества, юности, слагавшуюся добрые тридцать лет, можно смотреть часами. Она излучает свет добра, человеколюбия, лучится юмором, согревает человеческим теплом. Бывало, придешь к нему в студию, оборудованную в просторной мансарде большого дома в центре Москвы, придешь усталый или в мрачном настроении, а он, увидев это, усадит на табурет и начнет поочередно класть на мольберт детские рисунки.

— А это мой внук. А? Хорош? Ничего не скажешь — мужчина... А это он ораторствует. Видишь, какой? А это, гляди-ка, на горшке. А как сидит-то, будто ученый или полководец. Какое значительное выражение лица. Так вот и кажется — встанет и произнесет речь... А тут мы питаемся. Что греха таить, любим поесть. Это у него в меня, в деда.

И так лист за листом. Зарисовка за зарисовкой, и просто физически ощущаешь, как развеивается хмурое настроение и проблемы, заботившие тебя, уже не кажутся неразрешимыми. Эх, думается мне, издать бы весь альбом этих детских рисунков и рекомендовать его для лечебниц в качестве успокаивающего и исцеляющего лекарства. И в этих рисунках продолжает жить Жуков, добрый, веселый, жизнерадостный человек.

Но самое главное в его богатом и многообразном творчестве — это ленинская серия, приобретшая в стране такую известность и любовь. Еще с давних пор, на Калининском фронте, когда разговор заходил о его листах, посвященных Марксу и Энгельсу, говорил он, что заветная его мечта — воссоздать образ Владимира Ильича Ленина.

— Вот довоюем, воткнем красный флаг где-нибудь в центре Берлина, и возьмусь я за эту тему, как следует возьмусь.

И взялся. Отдался этой теме целиком. Жизнь его шла яркая, нелегкая. Создавал кадры военных художников вокруг студии, которую он бессменно возглавлял. По одному выбирал в массе творческой молодежи талантливых людей, тянущихся к армии, к флоту, к батальной теме. Учил, наставлял, показывал. Рисовал жизнь во всех ее проявлениях, иллюстрировал книги, писал портреты современников, рисовал детей и цветы, но при всем том в центре всех его художнических устремлений все время оставался образ вождя пролетарской революции.

Мы вместе с ним делали книгу «Наш Ленин», выступая в ней как полноправные соавторы. Для меня это была

самая трудная книга из всех, какие я написал, занявшая, несмотря на свои скромные размеры, около трех лет работы и поисков. Жуков работал над этой темой без малого четверть века.

В годы совместной работы над этой книгой я имел возможность наблюдать, с какой любовью, тщательностью, старанием трудился художник. Он изучал Ленина, том за томом. Сидел в ИМЭЛе, над ленинскими документами, делал выписки, изучал фотоснимки. Он не прочел, а изучил все воспоминания, какие только были изданы, завел знакомства, даже подружился с ветеранами революции, которым посчастливилось работать с Лениным, общаться с ним или хотя бы наблюдать его.

Мне не забыть нашей встречи с В. Д. Бонч-Бруевичем, одним из близких Владимиру Ильичу людей. Среброволосый, величественный старец этот сохранял до конца жизни ясность острого ума и юношескую живинку в глазах.

Жукова он принимал как доброго знакомого. Усадил нас в кресла, потребовал чай с сушками. Художник, обжигаясь, глотал чай. Ему не терпелось услышать приговор по поводу новой серии рисунков, которую он принес на суд ветерану партии. И вот наконец рисунки были разложены на полу. Хозяин дома, страдавший старческой дальнозоркостью, считал, что именно так удобнее и легче рассматривать, или, как он говорил, «изучать».

Неторопливо переходил от одного к другому. А Жуков жадно следил за его лицом, стараясь угадать его впечатления. Все рассмотрев, Бонч-Бруевич иногда возвращался к тому или другому заинтересовавшему его листу, при этом в выразительных глазах его было взволнованное, растроганное выражение. Я смотрел на него, и мнилось, что вот сейчас этот старый человек возвращается в свою молодость и в воспоминаниях его оживают давние, дорогие ему события.

С полчаса продолжалось это молчаливое изучение. Потом хозяин дома глубоко вздохнул, как бы отрываясь от воспоминаний, сел в кресло, протер очки, откашлялся.

— Неплохо. Кое-что совсем неплохо. Вот тут Ильич настоящий, живой, метко схваченный. И эта, и эта... А вот здесь,— он указал на несколько листов,— здесь, голубчик мой, вы уж меня извините, здесь Ильича нет. Он был сама простота, а тут будто позирует для фото-

графа. Улавливаете? Неверная нота в хорошей песне. И здесь он связанный, неестественный. И этот жест: рука, выброшенная вперед и вверх. Никогда Ильич не принимал такой позы. Его любимый жест — это рука от себя, он как бы отдает свои слова собеседнику, слушателям... Но в общем-то хорошо, поздравляю с удачей, голубчик. Доброе вы дело делаете, дорогой мой Николай Николаевич.

Мне хорошо запомнилась эта беседа, имевшая немалое значение в продолжении жуковской Ленинианы. Рисунки, покритикованные ветераном партии, хотя, на мой взгляд, они были совсем не плохи, художник, наверное, уничтожил, во всяком случае, ни на одной из его выставок они не висели.

Таких же строгих, квалифицированных консультантов и критиков имел Жуков и среди других ветеранов партии — Л. А. Фотиевой, Г. М. Кржижановского, Е. М. Соловей и других.

Сотни листов и картонов составляют жуковскую Лениниану. Лучшая часть из них была отобрана для последней его выставки в Музее В. И. Ленина в Москве. Он отбирал их придирчиво, беря лишь лучшее, испытанное временем. И все-таки выставка едва разместилась в двух больших залах.

Я был на открытии этой выставки. Оба зала оказались настолько полными, что, как это всегда бывает на удачных вернисажах, ничего как следует рассмотреть не удавалось, кроме затылков стоящих впереди людей. Поэтому я вернулся на выставку недельку спустя, с утра, в самые тихие в музеях часы. Никогда еще ленинская тема в творчестве Жукова не была показана так полно. Ходил от портрета к портрету, от рисунка к рисунку и думал, почему у иных из них люди толпятся в задумчивости, созерцательном молчании.

Заглянул в книгу отзывов. Положительные. Хорошие. Даже восторженные. И вот она запись, сделанная не очень красивым почерком: «...И еще удивило меня, как это получилось, товарищ Жуков не видел Владимира Ильича, а нарисовал, будто подглядывал ему в кабинет или в квартиру...»

Запись эта, не слишком грамотная, отразила секрет обаяния большинства рисунков. В своей многолетней работе над дорогим образом художник овладел тем, что зовется «фактором присутствия», этим ценнейшим фактором, который сообщает предметам изобразительного

искусства мощь эмоционального воздействия. Он так вжился в великую тему, так вжился в образ, что, вероятно, под его мысленным взором Владимир Ильич возникал как живой. И художник получил возможность как бы угадывать, что он сделает, как поведет себя, какой допустит жест в тех или иных обстоятельствах. Его лучшие рисунки и композиции выглядят так, что веришь, будто бы они сделаны с натуры, будто бы ему посчастливилось подсмотреть тот или иной момент ленинской жизни. Особенно хороши в этой серии те работы, которым придан вид беглых набросков. Тут кажется, что видишь настоящее волшебство.

Последние месяцы жизни, когда больное сердце все чаще давало себя знать, Николай Жуков удивил всех своих коллег, совершив замечательный гражданский акт: всю обширную Лениниану, выставленную в музее, Лениниану, с которой он всю жизнь не расставался, которая была ему особенно дорога, он безвозмездно отдал в дар Москве, Музею Ленина. Совершил пример высокой гражданственности, не знающей, пожалуй, подобных в истории искусства последних лет. Сделано это было тихо, без всякого торжественного шума, и лишь после смерти появились на эту тему коротенькие заметки.

А потом он поехал с очередной выставкой своих произведений в один из больших городов Нижнего Поволжья. Врачи отговаривали:

— Поберегите сердце. Мы вам категорически не рекомендуем.

Художники и близкие говорили:

— Пусть выставка едет без тебя.

Признаюсь, я ему тоже не советовал: раз нездоров, сиди дома. Великолепно без тебя посмотрят.

В ответ на это он сказал:

— Ничего со мной не случится. А случится — лучше уж догореть огнем, чем коптить, как головешка. Нет-нет, я еще поработаю, у меня еще столько задумок...

Выставка в нижневолжском городе тоже прошла с успехом. Но сам он, переутомленный дорогой, встречами, беседами с посетителями, слег там в больницу. Но вскоре встал, попрощался и с папкой новых эскизов и набросков вернулся в Москву.

— Ты, говорят, болел? — спросил я его по телефону.

— А, ну приболел немножко, ничего нового, зато зна-

ешь какие зарисовки привез! Приходи завтра смотреть. И знаешь, как там, в Поволжье, люди интересуются искусством, а главное — разбираются.

В ту пору в «Юности» готовился номер со вкладкой, посвященной творчеству великого нашего скульптора Андреева — мастера, которому посчастливилось в течение продолжительного времени лепить и рисовать Ленина с натуры. Жуков любил, нет, это не то слово,— со свойственной ему душевной щедростью он чтил этого замечательного ваятеля и графика. Работая над Лениниаиой, он учился у Андреева. К кому, как не к нему, обратиться с просьбой написать статью об андреевских работах. Сказал ему об этом. И тут же услышал жизнерадостный ответ:

— Здóрово. Отлично задумано. Молодцы твои «юниоры». На Андрееве, на Андрееве надо воспитывать молодежь.

— Ну, а как насчет статьи?

— Напишу. До чертиков некогда.— Он пулеметной очередью выпалил длинный список дел, которые ждут его, только что вернувшегося из длительной командировки.— Но сделаю. Вот что: заходи завтра ко мне в мастерскую в одиннадцать ноль-ноль. Захвати то, что вы собираетесь печатать. Обсудим, обмозгуем. Заодно покажу поволжские зарисовки. Заходи, жду.

Это была последняя фраза, которую я слышал от Николая Жукова. На следующий день мне позвонила его жена — его друг и помощник во всех его делах и начинаниях, позвонила и дрожащим голосом сказала:

— А Колечку ночью увезли. «Скорая помощь». Сильнейший приступ. Когда увозили, просил предупредить, что свидание переносится. Но статью об Андрееве обещал написать. Как только отдышится.

Этой статьи о любимом скульпторе Андрееве он не написал. Через несколько дней мы читали объявление о его кончине, забранное в черную рамку. Со страниц газет смотрел его портрет: немолодой бравый полковник с круглым, добрым, таким русским лицом. И даже на этих траурных фотографиях в уголке его глаз угадывалась невидимая, но как бы ощутимая жуковская улыбка.

Он, этот славный мастер, умер как солдат, выполняя боевой приказ своего времени. И хоронили его как солдата. Гроб стоял в зале Дома Советской Армии. Сменялись наряды почетного карула, и вперемежку с толпами поклонников его боевого, целиком отданного сегодняшнему

дню искусства целыми подразделениями проходили солдаты, матросы, летчики. Гроб его опустили в землю под звуки траурного залпа. Он уходил из жизни как солдат бессрочной службы, погибший при выполнении ответственного боевого задания своего славного времени.

КАРМЕН

Наше знакомство с этим человеком произошло случайно и состоялось в самую волнующую минуту для меня, в те дни военного корреспондента «Правды» на Втором Украинском фронте. Фронт находился в большом наступлении. Много было позади великих и славных сражений — и разгром гитлеровского «Тайфуна» под Москвой, и ставший уже легендой Сталинград, и огонь Курской дуги, и великое сражение на Правобережной Украине — Корсунь-Шевченковская операция, уже поименованная в народе Вторым Сталинградом на Днепре. Но такого, что в те дни назрело уже на нашем фронте, ни мне, да и никому из моих собратьев, описывать еще не приходилось. Форсировалась река Прут. Впервые огонь войны переносился на землю неприятеля. Свершилось то, о чем четыре года мечтали все советские люди.

Где точно это произойдет, когда, какой из дивизий посчастливится совершить исторический рывок — было неизвестно, и мы со своим напарником по «Правде», фотокорреспондентом Яковом Рюмкиным, дали слово первыми описать и отснять эту необычную операцию. И когда пограничная река была форсирована, надувные понтоны с ударной группой десанта уже зарылись в камыши противоположного румынского берега, мы были тут как тут.

Весеннее солнце поднялось над молдавской степью. Оно согнало туман, прикрывший первые десанты, и все кругом — и белые, с затейливыми террасками хатки, и розовые облака цветущих абрикосов, и каждая травиночка — заискрилось и засверкало, точно бы отлакированное обильной росой. Вместе с солнцем поднялась и нацистская авиация. Засекла район форсирования, и самолеты «Ю-87» — бомбардировщики, именовавшиеся в нашей армии «лаптежниками»,— устремились на еще не закреп-

ленные переправы. Мы с Яковом Рюмкиным уже завоевали себе места на очередном понтоне. Мой коллега, человек вулканического темперамента, просто-таки подпрыгивал от нетерпения, встряхивал своими фотоаппаратами, как шаман бубенцами, и, чтобы погасить свое собственное возбуждение, успокаивал меня:

— Ничего, ничего, Боренька, поспеем. Все равно будем там первыми. Первыми, ты слышишь первы-ми!..

Тут я заметил, что за Прутом, в чаще измятого, истоптанного камыша, в который прямо с ходу входили десантные баркасы, сверкает что-то непонятное. Бинокля на этот раз с собой не было, но, приглядевшись, можно было все-таки рассмотреть, что в косых лучах утреннего солнца сверкает чей-то объектив. Кто-то, какой-то человек, снимал самолеты, пикирующие на переправу, снимал, как «юнкерсы» устремляются вниз, снимал упорно, как серии бомб, похожих на капли черной краски, стряхнутой с кисти, несутся к воде. Продолжал упорно снимать соприкосновения бомб с водой, но в момент разрыва исчезал, вероятно присаживаясь в каком-то окопчике, а потом снова появлялся, снимая столбы воды, подброшенные взрывами.

— Да, мы уже не первые,— сказал я с грустью.

— Боря, я знаю, кто это. Знаю по почерку. Это же Римка Кармен. Можешь меня застрелить, если это не Кармен. Он, наверное, приплыл с первыми понтонами. Только Римка мог нас обштопать.— В голосе моего неистового напарника звучали одновременно и досада об утраченном первенстве, и невольное восхищение.— Ты же, Боря, не знаешь, что такое Римка Кармен.

Да, лично тогда я знаком с Романом Карменом не был. Но знал, что есть такой неистовый кинорепортер, появляющийся то на том, то на другом, то на третьем фронте — и всегда там, где назревают острые события. Видел его кинохроники, всегда горячие, страстные, смонтированные со вкусом, всегда рассказывающие нечто особенное о войне. И был у нас с ним общий друг, который много интересного рассказал мне об этом кинохроникере. Речь идет о командире 13-й гвардейской дивизии, в те дни еще полковнике Александре Родимцеве, в частях которого я провел дни сталинградской обороны. Когда-то этот полковник был командиром пулеметной роты в Испании, известный бойцам Интернациональной бригады под именем Павлито. Родимцев говорил в поучение:

— Из вашего брата особенно уважаю Кармена. Мальчишка, совсем мальчишка. Хорошенький такой, интеллигентный, причесанный. Лазил по мадридским окопам со своим киноаппаратом, который трещал, как трактор, и снимал. Не кланяясь пулям, снимал. Интербригадовцы его уважали, Кармена. У него испанское имя, и псевдоним ему придумывать не надо было... Он сейчас где-то тут, в Сталинграде, появился, познакомься, советую...

В те дни познакомиться не привелось. Не привелось и в дальнейшем, хотя репортерские пути наши не раз пересекались. И вот, пожалуйста, где довелось его увидеть: на первом клочке фронта, перенесенном за границы Советского Союза.

— Ах, не попали, не попали мы первыми! — бормотал Рюмкин, будто постанывая от зубной боли, и утешал себя: — Но ничего, Римке и дорогу уступить не стыдно. Кстати, кино ведь не газета, так? Из газетчиков-то все-таки мы с тобой будем первыми. Так?

И вот тупой удар пузатого понтона о пойменный берег Прута. Шуршат истоптанные камыши. Выпрыгиваем прямо в вязкую грязь и под треск перестрелки, идущей где-то уже за камышовыми зарослями, впервые ступаем на иностранную землю.

— Пойдем прямо к Римке, он все знает,— убежденно говорит Рюмкин и тащит меня к окопчику, врытому в узкую полоску прибрежного песка.

Тут в фуражке, надетой козырьком назад, в запыленной гимнастерке с закатанными рукавами я вижу человека, прижимающего к себе ручной киноаппарат. Определение Родимцева — тоненький, хорошенький, голубоглазый, как мальчишка — к нему уже не идет. Не тоненький и не мальчишка. И волосы сбиты на голове, и пот течет из-под фуражки по лицу, оставляя светлые следы. Рюмкина, как старого знакомого, он по-дружески хлопает по заду, а мне довольно церемонно протягивает тонкую руку с длинными пальцами.

— Роман Кармен.

В этот день было о чем писать и было что снимать. По пути за Прут я уже мысленно придумал было заглавие будущей корреспонденции — «На земле врага», но почти тут же забраковал его, ибо чужая земля встретила наших солдат отнюдь не по-вражески. И хотя гитлеровские самолеты вьются над переправой, как слепни над коровьим стадом, стараясь прервать переправу, хотя у

прибрежной полосы немецкие части оказывают довольно стойкое сопротивление, румынские крестьяне в белых рубахах из белой домоткани, в постолах из сыромятной кожи уже помогают саперам наводить переправу, а население деревень, скрывшееся было в камышах в ожидании обещанных ему железногвардейцами большевистских зверств, понемножку выходит из камышей в свои деревни, гоня перед собой скотину.

Весь этот день жужжит в руках Кармена его кинама, и он, вспотевший, покрытый замшевым слоем пыли, появляется то тут, то там, жадно записывая на кинопленку все, что вокруг происходит. Уже под вечер мы переправляемся через Прут обратно. Он — с коробками отснятой пленки, я — с листками корреспонденции, которая озаглавлена уже по-другому: «Мы в Румынии».

Мою машину отправили на телеграф с корреспонденцией и на аэродром с кинофотопленкой. На ночь Кармен приглашает к себе в какой-то прибрежный домик, который он уже обжил со своей киногруппой.

— Соглашайся, идем, идем, у Римки всегда все есть,— многозначительно шепчет мне на ухо Рюмкин.— Это такой человек — у него и поесть, и выпить, и поспать можно.

Но спать нам в этом домике не пришлось. Немецкое командование, спохватившись, подтянуло к месту прорыва авиацию из резерва, самолеты идут сомкнутым строем, эшелон за эшелоном. Вода в реке кипит от взрывов, вздыбливаясь фонтанами. В домике, где Роман Кармен держит свой флаг, уже вылетели все стекла, и сам этот глинобитный домик дал трещину. Нужно уезжать. Ребята Кармена грузят всю свою аппаратуру в единственный «виллис» и сами садятся в него, мы же с Рюмкиным размещаемся на плоском капоте, и машина, которую ведет сам Кармен, покидает опасное жилище.

Сколько уже прошло с тех пор, но когда я вспоминаю Романа Кармена, с которым мы много и в разных концах страны и планеты встречались, он обязательно приходит из памяти таким, каким я увидел его за Прутом, на первом клочке чужой земли, в день, когда армия маршала Конева впервые перенесла огонь войны за пределы Родины.

Теперь Кармен уже признанный лидер советского документального кино, автор-экспериментатор, весьма плодотворно живущий в своем искусстве, человек, справив-

ший свой почетный юбилей и награжденный самыми большими наградами и званиями Родины, но в душе своей, как мне кажется, он остается тем же неистовым кинохроникером, стремящимся ценою любых усилий сохранить для потомков самые яркие страницы современной истории.

Особенно, как мне кажется, раскрылся его талант после войны, в немецком городе Нюрнберге, где победившие народы на международном процессе над главными военными преступниками как бы анатомировали поверженный нацизм, лежащий перед ними на резекционном столе. Здесь, где соревновались самые славные кинорежиссеры мира, Кармен как-то само собой, без всяких избраний и оформлений, стал их общепризнанным лидером.

Со своим отличным английским и, вероятно, интуитивным пониманием почти всех языков, на каких говорила эта многонациональная вавилонская башня журналистики, он всегда был, и был вовремя, там, где происходило самое интересное. С ним большая группа его коллег и учеников, но главным образом он действовал сам, и действовал не просто как хроникер, но всегда как художник, заранее обдумывая тематику съемки, занимая место, с которого он мог увидеть и запечатлеть самое важное, типичное.

В особо страдные дни процесса его подтянутая фигура и тогда уже седеющая и будто рассеченная аккуратнейшим пробором голова, его лицо, со спортивным румянцем появлялись и тут, и там, и казалось, существует не один, а два, три, а может, и больше Карменов.

Он часами мог сидеть у кинокамеры, наведенной на скамью подсудимых, ловя мгновение, когда кто-нибудь из них примет характерную позу, сделает гримасу или жест, который раскрыл бы сущность того или иного персонажа. И при такой работе Кармен никогда не зевал событий, требующих быстрой, молниеносной реакции.

Вот почему все снятое и задокументированное им в своих фильмах несет правду жизни, самую большую и самую сильную правду на земле.

Путешествуя по свету, по разным континентам и городам, мне часто приходится идти след в след за Карменом. Везде, где этот неутомимый человек побывал со своей кинамой, он оставил добрый след, добрые воспоминания.

И хотя с первой нашей давней встречи прошли уже десятилетия, хотя с тех пор Карменом снято бесчисленное количество сюжетов, сделано немало полнометражных фильмов, написаны толстые книги, он для меня останется таким, каким я увидел его на Пруте,— весь в своем деле, в выгоревшей гимнастерке с засученными рукавами, с расстегнутым воротом и пылью, размазанной по вспотевшему лицу.

По-моему, это хорошо, когда человек не стареет хотя бы в воспоминаниях друзей.

ВЫСШИЙ ПРИЗ

Судьба наградила этого человека самым высоким титулом, какие только были когда-то в королевской Италии. Родители, образованные аристократы, дали ему красивое имя. Но известен в своей стране, а потом и во всем мире он стал под тем шутливым псевдонимом, под которым в юношеские годы вышел на цирковой ковер.

Мы познакомились случайно. Послевоенный Рим еще не видел советских военных. Наша армейская и флотская форма привлекала тогда общее внимание. В ту пору в столице с огромным успехом шло веселое ревю «Любовь в XXI веке». Шло оно в постановке этого артиста, и сам он играл несколько ролей, в том числе одну женскую. Озорное остроумие пьесы проникало даже сквозь толщу беглого перевода. Мы, несколько советских офицеров, занимавшие ложу у самой сцены, искренне потешались. Наша необычная для Италии форма, а возможно, и густой российский хохот и привлекли внимание артиста. Мы получили приглашение посетить его за кулисами. Несмотря на усталость, он встретил нас сердечно, крепко жал руки и в заключение обещал сам показать Рим.

Приглашение это было с благодарностью принято, и, встретившись на следующий день, мы убедились, сколь тяжелым может быть бремя актерской славы. Ходить с ним по городу было просто невозможно. Прохожие узнавали его, оглядывались, останавливались. Стоило нам ненадолго задержаться среди руин древнего Форума, как откуда-то из-за заросших травой и мхом колонн вдруг возникала стайка тощеньких, смуглых, чернооких девиц. Отчаянно перешептываясь, они двинулись за нами, по-

жирая нашего спутника любопытными взглядами. Шофер такси после расчета потребовал у него автограф. Торговец, что продавал в тени Колизея жареный миндаль, вручив ему пакетик своего нехитрого лакомства, вдруг отвел руки назад: нет-нет, не надо денег. Он, конечно, человек небогатый, но все-таки он может себе позволить удовольствие угостить любимого артиста.

К этой своей славе наш новый знакомый давно привык. С заученной приветливостью отвечал на поклоны, улыбка как бы сама собой зажигалась и гасла на его лице, рука механически выводила какую-то сложную загогулину в записных книжках, на визитных карточках, на папиросных коробках, которые ему подставляли. А глаза, выпуклые, черные, блестящие, глаза, так часто глядевшие с театральных афиш, сохраняли при этом свое обычное, задумчиво-грустное выражение.

Он был малоросл, худощав. Только глаза и были по-настоящему красивы. Лицо же, необычайно белое для итальянца, казалось собранным по частям: высокий шишковатый лоб нависал над ястребиным носом, резко очерченный рот был великоват, скулы сильно выдавались. Но все эти черты, вроде бы совсем не подходившие друг к другу, вместе составляли лицо столь выразительное, что артист, выступая всегда почти без грима, с одинаковым успехом играл и комические, характерные, и даже трагические роли.

Заключительную часть нашей экскурсии артист убедил нас проделать в одном из тех черных старинных фаэтонов, которые в Риме сохраняются и до сих пор специально для туристов, падких на экзотику. Пожилой возница с пышными угольными усами, сидя на облучке, щелкал бичом, лошадь выступала с неторопливой торжественностью, вполне современный спидометр считал километры, а спутник наш, окончательно развеселившись, поочередно изображал, как осматривают итальянскую столицу в таких вот фаэтонах богатые американские туристы, путешествующая английская семья, подгулявшие французы и, наконец, католические паломники из Западной Германии.

Лицо его становилось то пренебрежительно-самодовольным, дышащим тупостью и скукой, то застывало в ледяной чопорности, то загоралось забубенным весельем, то вдруг наливалось какой-то чугунной, деловитой набожностью. Можно было только поражаться, как неузнаваемо умел перевоплощаться этот немолодой уже чело-

век. И мы шумно поражались, а он улыбался, но глаза его оставались серьезны и сохраняли все то же задумчиво-грустное выражение.

— А как выглядят советские туристы?

— Ну, вы все пай-мальчики, вы никогда не берете этих дурацких экипажей... А впрочем...

Он снова совершил одно из своих преображений, взлохматил, бросил на лоб волосы, с мальчишеским любопытством начал оглядываться кругом и тут же с откровенной жадностью стал водить пальцем словно бы по бумаге, от вящей старательности даже высунув кончик языка. В этой колючей карикатуре сразу угадался один из нас. Но смеяться было уже некогда. Фаэтон остановился на тихой улице, у калитки в зеленой садовой решетке, через которую валили на улицу клубы каких-то пышных белых цветов.

Наш спутник отпер калитку. В глубине, отгородившись от улицы бруствером зелени, был небольшой особняк, до самой крыши оплетенный диким виноградом. Домик в этом зеленом чехле выглядел своеобразно, но, когда мы вошли в него и, миновав маленькую прихожую, попали в зальце, нам показалось, будто мы не раз уже тут бывали. Это ощущение пришло, вероятно, оттого, что жилища артистов всех стран, несмотря на различие вкусов, все-таки похожи одно на другое. Бесконечные портреты хозяина в разных ролях, афиши, пыльные венки, фото знаменитостей с дарственными надписями на лицевой стороне. Все это было не раз видано. Те же вороха альбомов, бюваров, папок, ларцов с гравированными табличками и всяческих других сувениров. Маленький дом был так густо начинен всем этим, что в нем и повернуться было трудно, не опрокинув какую-нибудь вазу, не стряхнув на себя пыль с лаврового венка.

— Сто ролей,— сказал хозяин, обводя рукой все эти свои сокровища и точно бы оправдываясь.

— Сто ролей?! — вежливо удивились мы.

— Чтобы быть точным — сто две. Сто третью репетирую сейчас.

— И какая же ваша любимая?

— Хорошая мать любит всех детей. Каждого по-своему,— дипломатично ответил хозяин.

— Но ведь среди детей всегда есть сын или дочь, которые наиболее оправдали ожидания родителей.

— Ожидания? А не кажется ли вам, синьоры, что самые большие радости доставляют родителям именно те

дети, на которых не возлагается больших надежд? Что же касается театральных ролей, то это уж точно.

Он усмехнулся. В глазах на миг мелькнуло что-то такое мальчишеское, что заставило подумать: полно, да правда ли, что этот человек уже отпраздновал свое шестидесятилетие? Расставив перед нами стаканы и разливая рубиновое кьянти, хозяин вдруг признался:

— Я и приволок вас в свою нору, чтобы рассказать вам о лучшей своей роли. Точнее, чтобы показать вам вещественное свидетельство моей гениальности... Нет, нет, вам правильно перевели, я так и сказал. Ведь говорят же, что любому, даже самому заурядному актеру суждено раз в жизни сыграть гениально... Так вот, друзья, держу пари на любых условиях, что ни один из вас не догадается, что это была за роль!

Видя, что он затеял какую-то игру, мы, перебивая друг друга, назвали несколько ролей из классических и современных популярных пьес, в которых он был занят. Он, посмеиваясь, качал головой: нет-нет... Опять нет. Конечно же нет.

— Бесполезно. Вы не знаете этой роли и не можете ее знать, потому что пьесу написал я сам, шла она только один раз, и то не до конца. Об этом спектакле не было ни одной рецензии. Но это, бесспорно, моя лучшая роль. Я получил за нее приз, который стоит всех этих венков,— и он обвел рукой многочисленные сувениры.

Вышел в соседнюю комнату и вернулся с любительской фотографией. На фотографии был снят невысокий человек в комбинезоне. У этого маленького человека был весьма грозный вид. На поясе две гранаты. В руках автомат. Из-под широкого, низко надвинутого берета глядели выпуклые, грустно-задумчивые знакомые глаза.

— Роль партизана? — хором спросили мы.

Он отрицательно покачал головой. Живое лицо его как-то сразу потеряло свою подвижность и от этого постарело.

— Нет, в роли партизана я выступал тогда в жизни. Там, на севере, в горах,— сказал он.

— Вы были партизаном?

— Около года... Зимой нам пришлось очень туго... Вот тогда, в декабре, я и сыграл свою лучшую роль.

— В жизни?

— Нет, на сцене.

Он стоял, рассеянно вертя в руках фотографию, черты его совершенно застыли. Теперь было ясно, что все другие выражения этого лица, которые мы видели сегодня, были лишь быстро менявшимися масками. Настоящим оно стало теперь — немолодое, некрасивое, умное и даже, пожалуй, суровое.

— Я читал, что для ваших партизан зима была матерью. Для нас, южан, когда все кругом замерзло, а горы стали белыми, она оказалась злой мачехой. Люди обмораживались, болели бронхитом, воспалением легких. Даже самые храбрые стали раздумывать: стоит ли держаться, не лучше ли рассыпаться, разойтись до весны? Командир нашего отряда был коммунист. Он постоянно, в любую свою свободную минуту, старался поймать по радио Москву и потом рассказывал новости с Восточного фронта. У вас тогда каждый день были хорошие новости. Но и это уже не действовало. Люди шатались от голода. По утрам им стоило большого труда разгибать опухшие руки и ноги. Вот командир однажды и пригласил меня к себе. Пригласил и сказал:

«Оставьте автомат и сдайте гранаты. Ваше оружие — ваше искусство. Используйте его, чтобы вселить в ребят веру и бодрость. Люди устали, и это сейчас самое важное».

Что ж, он был прав. Этим оружием я владею неплохо. И вот там, в горах, я решил подготовить и поставить спектакль, который поднял бы дух людей.

Чтобы быть до конца правдивым, должен сказать, что не только слова командира привели меня к этой мысли. С нами была девушка. Наверно, это была самая юная партизанка из всех, какие сражались в наших горах. Дочь батрака с юга, почти неграмотная, но поразительно, просто бешено талантливое существо. Когда она порою принималась плясать, петь или начинала декламировать стихи, даже самые толстокожие не могли оставаться равнодушными. И внешность у нее была прелестная: большеглазая, с пышными, волнистыми волосами, гибкая, изящная. Звали ее Анита. Любуясь ею, когда она своими ловкими смуглыми руками чистила овощи, крошила лук, перебирала макароны, или возилась у закопченного котла, или зашивала чью-нибудь шинель, я думал о том, что когда-нибудь она потрясет сердца со сцены. Она не была красавица. Нет. Но в ней, в этой крестьяночке с юга, чувствовалась та особая женская привлекательность, о которой мечтают все артистки на свете.

После разговора с командиром мне захотелось поставить пьесу, в которой эта девочка смогла бы почувствовать свое сценическое призвание. И эта пьеса, как бутылка доброго вина, должна бы была бодрить голодных, усталых, больных людей, по утрам потрясавших своим кашлем заиндевевшие ущелья. Сидя у огня, я перебирал в уме образы юных патриоток, созданных мировой драматургией. Жанна д'Арк? Не годится. Гитлер позолотил ее статую в Париже, и это было слишком известно в Италии. Электра? Нет, Электра Софокла для Аниты слишком уж рассудительна и риторична. Еврипидовская Ифигения? Прекрасный образ! Но как далеки страсти троянских войн от этих мужественных, суровых, храбрых ребят и как чужда дочь греческого царя этой прелестной итальянской батрачке! Словом, я понял, настоящая роль для Аниты еще не написана, и решил сам ее сочинить. Командир отряда черпал бодрость в героизме ваших солдат и партизан. Я решил сделать героиней своей будущей пьесы ту самую юную москвичку, подвиг которой потряс людей! Зоя! Разве придумаешь более сильную роль для девушки с такими данными, как наша Анита? Понемногу образ захватил и меня. Я, разумеется, не знал подробностей подвига Зои — так, отрывочные сведения из передач «Би-Би-Си» на Италию,— но у меня есть воображение, и за несколько вечеров пьеса была готова. Собственно, это даже была и не пьеса, а трагический диалог между офицером войск СС и юной русской девушкой, диалог между ночью и утром... Но какой получился диалог!

Наш собеседник остановился посреди комнаты. Он весь сразу как-то напружинился, стал похож на кошку, приготовившуюся броситься на мышь, но почему-то боявшуюся это сделать. Подвижное лицо отразило странную смесь бешенства и бессилия, ярости и тоски. Мы думали, что вот сейчас он разразится страстным монологом, и тот из нас, кто говорил по-итальянски, уже придвинулся к нему, чтобы переводить. Но актер рассмеялся и опять стал самим собой.

— ...Ничего не получится. Чтобы возникла вольтова дуга, нужно свести полярно противоположные электроды. Без Аниты сцена не выйдет... В пьесе было всего три роли: Зоя, офицер войск СС и старуха крестьянка. Роль русской крестьянки пришлось исполнять мужчине-партизану, по профессии цирковому клоуну. Эсэсовца, как вы, вероятно, догадались,— мне... Мы начали репетиции.

Анита с нескольких читок вполне овладела текстом. Каким-то особым артистическим чутьем она поняла суть своей роли, проникла в ее глубины. Эта крестьяночка с юга сумела понять трагизм и пафос борьбы, что там, на Востоке, в неведомой ей стране, вел неведомый ей народ. Я тоже не был в Советском Союзе и до сих пор даже не видел портрета Зои. Но какой бы она ни выглядела в жизни, я представляю себе эту вашу юную героиню такой, какой ее изобразила Анита.

Итак, три роли. Зоя, старая крестьянка и эсэсовец. Театр — это большой бетонный склад при полустанке в горах. Сцена — дощатый помост, утвержденный на бочках. Декораций никаких. Веревка с петлей свисает прямо с балки потолка. Не бутафорская, а настоящая веревка, от которой пахнет смолой. Две газовые лампы с рефлекторами освещают сцену. Зрители в тени. Но чувствуется, что их много, слышится скрип скамеек, хрипловатое дыхание и сухой, простудный кашель, раздающийся то и дело в разных концах зала. Какая-то из ламп бросает косой луч в публику, и я вижу, что у сидящего с краю партизана — Большого Джузеппе — глаза сверкают, как у лошади, на которую упал свет автомобильных фар...

Прервав рассказ, хозяин выходит в соседнюю комнату. Мы сидим молча, не шевелясь: столько неожиданного обрушилось на нас тут, в этом маленьком особнячке на тихой улице римского предместья. Хозяин застает нас в тех же позах. Впрочем, и сам он взволнован не меньше. В руках у него короткий китель из черного сукна, какие носили немецкие офицеры войск СС. Ну да, вот и две серебряные молнии в петлице.

— Костюмеру не пришлось трудиться над этим?

— Совершенно верно. Этот мундир однажды принес, вернувшись из очередной вылазки, тот самый Большой Джузеппе, о котором я поминал. Он был влюблен в нашу Аниту. «Джузеппе и Анита — совсем как супруги Гарибальди!» — посмеивались партизаны. Парень бродил за ней как тень. Своими огромными лапищами он покорно чистил овощи, перебирал макароны, мыл посуду, лишь бы быть к ней поближе. Но она была к нему равнодушна, да и как могло быть иначе? Он был только сила, грубая, простодушная сила, а она, она... Впрочем, это к делу не относится. Вернемся на сцену.

Можете мне поверить, что за всю мою артистическую жизнь я не волновался, как в этот вечер. К досаде своей, я чувствовал, что волнуюсь даже больше, чем эта девочка. Анита — та просто жила в одежде Зои и как бы вся горела ее чистым, почти святым народным гневом. Оставаясь сама собой, она была особенно обаятельна. А я? Ведь у меня была иная роль и иные задачи. Анита — Зоя должна была вселять веру, звать на подвиги. Моя игра должна была дать зрителям заряд ненависти, укрепить их волю к борьбе. Так я понимал свою задачу, и я волновался: хватит ли у меня сил, сумею ли? И, кроме того, трудно итальянскому партизану, воюющему с наци, влезать в шкуру врага.

Говорят, что, волнуя сердца, актер сам должен оставаться рассудочным и холодным... Может быть, может быть... Но когда начался диалог офицера с юной партизанкой, которую он должен был повесить, когда Анита с яростью и пренебрежением стала бросать мне в лицо гневные слова, я почувствовал, что сцена идет совсем не так, как мы репетировали. Вместо молодых, полных тоски глаз на меня смотрели глаза сухие и гневные. Она, эта Анита — Зоя, говорила так, будто не только правда, но и сила была на ее стороне. Она говорила как судьба. И я видел в ее расширившихся зрачках настоящую ненависть, лютую, непримиримую. Но еще более странно было, что я, артист, сыгравший столько ролей, в роли эсэсовского палача испытывал настоящий страх, страх и безнадежность, которые, вероятно, испытывал тот эсэсовец, что повесил девушку под Москвой. Мы продолжали диалог, будто насмерть рубились на саблях, и из глаз клоуна, игравшего крестьянку, лились настоящие, не театральные слезы.

А оттуда, из полумрака склада, смотрели на нас сотни глаз. Мы не видели, мы чувствовали эти взгляды. Даже кашель стих. Я понимал: зрители захвачены, сердца их в наших руках. Это успех. Надо теперь только не сорваться, довести сцену до конца. Я схватил веревку, стал делать петлю. Руки мои неподдельно дрожали, как руки настоящего убийцы. Когда же с петлей в руках я двинулся к Аните, она не отпрянула, как это было на репетициях, а осталась стоять неподвижная, точно застывшая. И вместо того, чтобы замахнуться, я опустил глаза... Все шло не по пьесе. Вместо реплики: «Будьте прокляты, звери, люди отомстят вам за нас!» — Анита

вдруг яростно плюнула мне в лицо. И в мгновение в напряженной тишине склада раздался выстрел. Я почувствовал как что-то горячее толкнуло меня в грудь, ниже правого погона, и стал падать на пол. Помню, страшно закричала Анита, помню, какой шум поднялся в зале, помню, как совсем рядом, возле своего лица, я увидел глаза Большого Джузеппе. Тут я потерял сознание...

Актер смолк. Черный эсэсовский китель дрожал в руках. Он протянул его нам.

— Посмотрите внимательней.

Под правым погоном нетрудно было заметить дыру, а на спине — дыру побольше, с рваными краями.

— Навылет?

Актер утвердительно кивнул головой.

— Случайный выстрел?

— Ну конечно же нет. Это Большой Джузеппе мне влепил... Он не стал дожидаться, пока мерзкий гитлеровец повесит эту очаровательную русскую девушку, понимаете? Я могу ощипать и отдать на кухню все листья вот с этих лавровых венков,— он обвел руками стены,— но это,— и он не театрально, а естественным жестом прижал куртку к себе,— это на всю жизнь!..

— Ну, а дальше?

— Собственно, это все, что касается данного события. Ну, а вообще я провалялся довольно долго, сначала там, в горах, в палатке, где партизанский врач сделал мне операцию. Большой Джузеппе, этот темпераментный зритель, давший такую высокую оценку моей игре, частенько сидел, молча сопя, у моей койки. Потом он не пришел день, два, неделю, и мне сказали, что он погиб при попытке подорвать нацистскую машину.

— А Анита?

— Анита? — Актер помолчал. Из глаз его исчезло обычное задумчиво-печальное выражение. Они сделались ироническими.— Вы, вероятно, ожидаете, что я сейчас расскажу вам, что она стала кинозвездой, заседает в сенате или сделалась секретарем коммунистической ячейки? Ведь так? Вы же обожаете такие концовки. Вы же не можете без хеппи-энд.

— Ну что ж. Если она действительно так славно повоевала и так талантлива, как вы рассказываете, у нас бы это было вполне естественным.

— А у нас, увы, нет. Окончилась война. Все стало на свои обычные места. Партизаны разошлись по домам. Мало кто вспоминает теперь об их героизме. Наоборот, многие стараются забыть о нем.

— Ну, и все же что стало с Анитой?

— Когда я поднялся с койки, отряд уже не существовал. Я потерял ее след. Впрочем, честно говоря, я его и не искал... Зачем?

И он замолчал, задумчиво глядя на черный форменный китель...

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ

ИСЧЕЗНУВШИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Вот пожелтевшая военная телеграмма, до сих пор хранящая густой запах клейстера: «3. XII. 1942 года из Гранита в Аметист. Корреспонденту «Правды» батальонному комиссару Полевому тчк К вам Аметист качестве нашего спецкора выехал писатель бригадный комиссар Фадеев тчк Познакомьте людьми представьте начальству введите обстановку обеспечьте срочную передачу корреспонденций тчк Полковник Лазарев».

Помню, у ДС, что в переводе с фронтового на обычный язык означало — дежурный связи, молодого, краснощекого капитана, слывшего в штабе большим другом литературы, по-мальчишески сияли глаза, когда он вручил эту телеграмму.

— Товарищ батальонный комиссар, ведь это, подумать только, сам Фадеев! Когда приедет, разрешите, забегу, будто по делу. Просто посмотреть. Ничего?

Признаться честно, получив эту телеграмму, я такого энтузиазма не испытывал. «Разгром» любил с юности. «Последний из удэге» перечитывал раза три. И самого Фадеева видел однажды на каком-то литературном бдении в конце двадцатых годов. Очень он мне тогда понравился и запомнился: высокий, худощавый, в струнку вытянутый человек в длинной рыжей кавказской рубахе с бесконечным количеством пуговок, с умной, смело вылепленной головой, гордо сидевшей на длинной шее.

В ту пору наш Калининский фронт, именовавшийся по-телеграфному «Аметистом», наступал тяжело и бурно

в снегах под Ржевом. Сердитые вьюги за одну ночь преграждали дороги сугробам. Связь с «Гранитом», как по тому же коду именовалась тогда Москва, то и дело прерывалась. Корреспонденции наши неподвижным ворохом лежали на пюпитрах телеграфных аппаратов, а новости из наступающих частей, которые нам, корреспондентам, доставались с таким трудом, оставались подолгу неизвестными читателям наших газет. А тут: «Познакомьте людьми... представьте начальству... введите обстановку... обеспечьте передачу»! Да и трудно было даже представить такого гостя в тесной избенке, где в те дни буквально в три этажа — на полу, на деревянных кроватях и на полатях, как в сказочном терем-теремке,— обитала вся столичная пресса.

Несмотря на постоянные заносы, наиболее энергичные из корреспондентов добирались тогда на машине из «Гранита» в «Аметист» за сутки, любителям комфорта на это требовалось двое. А тут проходит трое, четверо, на исходе пятые сутки, а Фадеева все нет. Я — забил тревогу.

Из «Гранита» по прямому проводу подтверждают: выехал в срок. Из второго эшелона сообщают: да, четыре дня назад проехал, залил канистры бензином и, отказавшись переночевать, проследовал дальше. Словом, прибыл в зону активно действующих частей и исчез. Исчез, не оставив следов.

Тут вся корреспондентская братия уже не на шутку всполошилась. За несколько дней до этого мы почти при аналогичных обстоятельствах потеряли нашего общего друга, очеркиста «Красной звезды» Леонида Лося, одного из тех неутомимых журналистов, что все хотят видеть своими глазами. Вылетел в страшный мороз на связном самолете в передовые части, к месту назначения не прибыл и назад не вернулся. Исчез вместе с самолетом и летчиком в районе густых верхневолжских лесов. И вот та же история.

Как всегда бывало в такие минуты, корреспондентский корпус, и без того живший дружно, особенно сплотился. Разослали в армейские и дивизионные газеты тревожные телеграммы: наведите справки в своих частях.

Помогли мне разжиться трофейным вездеходом. Наперекор бушевавшей метели, я выехал навстречу, чтобы навести справки у дорожников, пошарить в госпиталях, куда в те дни частенько попадали водители и пассажиры

разбомбленных машин. Миссия эта успеха не имела. Бригадный комиссар Фадеев среди жертв воздушных налетов нигде не значился.

На душе становилось все тревожней. Шли уже шестые сутки.

ЗНАКОМСТВО С ЛЮДЬМИ

...Перед рассветом, подмяв гусеницами последний сугроб, вездеход остановился наконец перед избой, где жили корреспонденты. В единственной нашей комнате было жарко, как в парилке, когда на каменку плеснут шайки две воды. Со всех трех этажей несся если и не богатырский, то, во всяком случае, довольно звучный храп. На столе горела трофейная стеариновая плошка. Тусклый, задыхающийся ее огонек освещал высокого человека в бязевой нательной рубашке с засученными рукавами. Он что-то усердно писал, иногда вытирая лоб тыльной стороной ладони. Ощутив холод, которым на него пахнуло от открытой двери, он оглянулся.

— Товарищ Фадеев?

— Товарищ Полевой!.. Говорят, вы меня искать ездили... Какая чепуха! Что же я, так сказать, иголка?.. Тут страшно повезло, на тракторных санях тащили снаряды на передовые в хозяйство Поленова... В кабине место, ну, я и пересел. Иначе разве по таким дорогам туда доберешься? Вот пять дней у них и прожил: горячо, так сказать, до рукопашной доходит. Да, да, да! А люди? Вы знаете, совсем иной боец, чем в начале войны. Преобразились. У всех уверенность в победе. Храбрецы... Вот я тут пишу...— Он поднял лист бумаги, потом спохватился, и тут я услышал его смех, знаменитый фадеевский смех, тоненький, рассыпчатый. Подняв брови, весь лучась улыбкой такой силы и привлекательности, что она всегда отражалась на лицах собеседников, он заявил: — А ведь мы еще не познакомились! Александр Александрович, можно Саша, можно на «ты». Так легче.

— Вы... ты хоть сыт?

— Все, все в порядке. Меня тут чудно устроили, и, ради бога, старик, ложись спать... Ты понимаешь, повезло, такие встретились в частях люди... Да, да, да... Этот дух наступления, он прямо в крови... И, пожалуйста, не мешай, спи.

И, как-то разом от всего отключившись, он снова согнулся над листками бумаги, должно быть больше ничего уже не видя, не слыша, весь поглощенный этим процессом переплавки живого, свежего, только что почерпнутого на самом горячем участке фронта материала в первую свою корреспонденцию отсюда, из «Аметиста».

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУ

Ночь. Голубая холодная луна. Иглисто сверкают снега. Крыши изб придавлены сугробами. Тихо так, будто это не штабная деревня, а декорация из «Снегурочки» перед началом действия. Звучно скрипят замерзшие ступени крыльца. Молодцеватый часовой берет «на караул». И вот мы в бревенчатой комнате, стены которой обшиты картоном. Маленький стол, три складных стула. На стене самодельная полочка для книг — и все.

За столом невысокий худощавый человек в кителе, на ворот которого вывернут вязаный свитер, так что знаков различия в петлицах не видно. Это член Военного совета, корпусной комиссар Д. С. Леонов. Перед ним исчерченная оперативная карта, закрытая листом бумаги. Фадеев зашел представиться, и оба мы хотели, как говорилось в те дни, «проориентироваться» насчет наступления, которое ведут войска фронта, посоветоваться, куда лучше подъезжать.

— ...Ладно,— кивает головой корпусной комиссар,— но сначала вы, Александр Александрович, расскажите о Москве: что нового, как она живет?

На фронте люди узнают друг друга быстро, и я уже успел убедиться, что Фадеев — отличный рассказчик. У него удивительный дар через какую-нибудь остро, метко подмеченную частность, через занятное, порой даже анекдотическое происшествие раскрыть суть целого явления. Вот и тут он рассказывает, совершенно не прибегая к общим словам, не употребляя восклицательных знаков:

— Фронтовики, не снимая полушубков, сидят в красных креслах Большого театра... От танцующих лебедей, если приглядеться, видишь, валит парок, как от лошадей на морозном перегоне... Телеграмма от приятеля-фронтовика: «Перебазируясь на передовые, проезжаем Москву. Ради бога, сорок билетов на новую постановку, все равно

куда». Враг у Клязьмы и тут вот, у Ржева, а крупнейшие издательства передрались из-за бумаги, все хотят увеличивать план издания книг... Понимаете? Да, да, да... В приемной НКИД один иностранный корреспондент, англичанин, весьма известный представитель респектабельной буржуазной газеты, влепил в ухо корреспонденту-американцу, который сказал, что битву у Москвы выиграли якобы не русские воины, а русская зима. Подрались. Да, да! Разбили очки. И в са́мый разгар схватки были приглашены в кабинет Молотова для получения интервью... А, как? То-то вот, да, да, да. Пожилая женщина в очереди, сдавая кровь для раненых, упала в обморок... Что такое? От голода. Привели в чувство, отвезли домой. Через полчаса снова увидели ее на донорском пункте. Почему? «Сына убили, хоть чем-нибудь хочу помочь сыновьям других».

Бесценные эти примеры чередой следуют один за другим. Рассказчик сам увлечен. Речь его все гуще пересыпается «так сказать» и «да, да, да», отчего сам рассказ по непонятной причине приобретает какую-то особую задушевность, теплоту. Из отдельных штрихов, подмеченных в настороженной, затемненной Москве, как-то сама собой вырисовывается картина подвига советского тыла.

— ...Какой народ... С таким народом любую войну можно выиграть,— задумчиво говорит наш собеседник, проводя ладонью по седеющему бобрику, и потом сам начинает рассказывать нашумевшую тогда у нас на фронте историю о том, как машинистка и старик кассир, беспартийные люди, от старой границы, от города Себежа, и почти до самого Калинина по тылам врага несли случайно попавший к ним в руки мешок с государственными ценностями. Говорит о невиданно бурном притоке заявлений в партию, начавшемся в войсках как раз в те трагические дни, когда враг был под Москвой, и продолжающемся сейчас, когда у нас идет жесточайшая битва.

— Да, да, да, и в Москве так же, и в Москве! — оживленно говорит Фадеев.— Голодные люди работают по две смены, засыпают у станка, а партия растет небывало...— И вдруг, спохватившись, перебивает себя: — Мы же пришли к вам не рассказывать, а слушать, да, да, да. Слушаем, слушаем.

Наш собеседник ненадолго снимает лист, закрывающий карту. Красная Армия наступает по всему Калинин-

скому фронту. Острые красные стрелки на карте, проколов синюю линию вражеского фронта, врезались в нее. Видно, что они вонзаются глубже и глубже. В одном месте, западнее Ржева, две такие стрелки почти сомкнулись, обняв синие овалы с номерами и цифрами немецких дивизий. Фадеев направляет палец на острие вытянувшейся на запад стрелки.

— Мы поедем сюда,— говорит он, хотя никакого разговора между нами на этот счет еще не было, и я не очень представляю себе даже, куда именно нацелена стрелка.

— Не рекомендую,— задумчиво говорит член Военного совета.— Там части еще недостаточно закрепились, и потом танки противника рубят этот клин под основание вот здесь и здесь... Мы, разумеется, отбиваем атаки, но... Кроме того, территория простреливается с двух сторон.

— Но ведь здесь лес и овраги! — Фадеев опытным взглядом рассматривает карту.

— Я и не говорю, что прицельно обстреливают. Просто регулярно бьют по квадратам. Это тоже довольно неприятно.

— А вы полагаете, что бомбы, падающие на Москву, так сказать, приятнее? Да, да, да...

И раздается тоненький, дробный, такой веселый и такой заразительный смешок, что к нему присоединяется и улыбка члена Военного совета.

ВВЕДЕНИЕ В ОБСТАНОВКУ

Мы, так сказать кадровые военные корреспонденты, уже успели набить руку и знаем, что, находясь в атакующей цепи, ничего не увидишь, кроме разрывов, то там, то тут вздыбливающих на белой равнине черные комья земли, да нескольких темных фигурок, перебежками двигающихся по снегу в короткие перерывы между разрывами снарядов. Фадеев тоже знает это, но для него это не довод. Когда-то он в числе делегатов партийного съезда с винтовкой и парой гранат в руках бежал по ровному, отполированному метелями льду Финского залива на неприступные форты мятежного Кронштадта. И теперь он заявил, что хочет видеть подлинную войну, даже если после не даст в корреспонденцию ни строчки. Он считает себя не вправе писать с фронта, не «погла-

зев войну» своими глазами. Разубедить его невозможно, да и стыдно как-то разубеждать: а вдруг подумает, что ты трусишь.

И вот трое журналистов — он, корреспондент Совинформбюро Александр Евнович и я — на острие того самого клина, что глубоко врезался в расположение противника в этих верхневолжских лесистых, обильных водою краях. Что там говорить, неуютное местечко. Расстались с машиной, ибо все тут простреливается даже не из орудий, а из минометов. С утра до вечера в белесом январском небе, будто прицепившись к нему, висят двухфюзеляжные немецкие корректировщики, именуемые по-солдатски «фриц с оглоблями» или «очки». Стоит машине выбраться на дорогу, как неприятельские артиллеристы тотчас же кладут сзади и спереди аккуратнейшую вилку и со своим прославленным педантизмом начинают ее сужать. Тут уж бросай все и закапывайся в снег... Бьют по скоплению людей, бьют по кострам, по любому бойцу, если он зазевается на открытом месте.

Ходим только по лесу. Странный это лес. Он весь посечен и поломан снарядами и минами. По ночам на машинах с величайшей осторожностью, без огней, по дорогам, вьющимся по дну подмерзших оврагов, подвозят боеприпасы. Продукты бросают с самолетов, но больше все мимо. Выкапываем из-под снега лошадей кавалерийского корпуса, побитых здесь еще осенью, пилим замерзшую конину, строгаем ее ножами на тонкие куски, коптим на костре и, натерев чесноком, а на худой конец хвоей, чтобы отбить запах тления, откусываем и глотаем, стараясь не дать ей растаять во рту. В иные дни весь рацион — один сухарь или концентраты сухого горохового супа, который приходится грызть.

Фадееву не сидится. Он все время бродит от артиллеристов к саперам, от саперов к пехоте. Мы тоже стараемся не отставать, хотя уже, по чести говоря, еле таскаем ноги. Впрочем, обстановка для бесед самая подходящая. Части в обороне, наступать нечем, да и некем. В полку по сотне, а то и по нескольку десятков активных штыков. Но зато что это за люди! Люди, знающие горечь отступлений и ликование победы, люди, участвовавшие во множестве боев, по звуку определяющие, откуда стреляют, куда полетит снаряд или мина, и без надобности не оборачивающиеся даже на выстрел.

Вместо умывания обтираемся снегом. Бриться нечем.

Бледное лицо Евновича обметала густая, «арестантская» щетина. У Фадеева обозначились бородка и усы, отчего он сразу стал похож на партизана Вершинина из ивановского «Бронепоезда» в провинциальной постановке. Замечаем, что он тоже устает, но до всего, что касается душ человеческих, он по-прежнему необыкновенно жаден. Готов по нескольку раз в день возвращаться к какой-нибудь особенно поразившей его, необычной ситуации.

— ...Вы понимаете, хлопцы,— бледный, худой, глаза провалились, злые, колючие. Ведет он этого дюжего, раскормленного гитлеровца в очках, с челкой, начесанной на лоб, а сам от него отворачивается,— рассказывает Фадеев о своей встрече с разведчиком, конвоировавшим пленного.— Да, да, да, отворачивается. Вы понимаете, у него вся семья, вся родня на Смоленщине уничтожена, а он вот, рискуя, должен доставить этого типа в штаб целым, невредимым, так сказать, и еще от немецких же снарядов уберечь. Да, да, да, ситуация!..

Иногда мы с Евновичем, выбившись из сил, объявляем забастовку и на денек оседаем в чьем-нибудь шалаше.

— Поражаюсь вашему нелюбопытству,— говорит Фадеев и уходит один, высокий, прямой, широко шагающий, в валенках, которые ему почему-то страшно не идут.

На острие этого клина мы, разумеется, без всякой пользы для своих редакций, пробыли довольно долго, почти до того самого дня, когда клин этот превратился в «мешок». Когда этот «мешок» немцам предстояло только завязать и вся наша связь с армией поддерживалась лишь по одной дороге, проложенной по дну небольшого извилистого оврага, сверху пришел приказ, требующий, чтобы «бригадный комиссар Фадеев и сопровождающие его лица» немедленно вернулись обратно в «Аметист». Под приказом стояла другая подпись, но я угадал за ней заботливую руку члена Военного совета. Как «сопровождающее лицо», я даже обрадовался. Приказ есть приказ.

Нам дали по автомату, которых тогда было еще недостаточно, прикомандировали к нам четырех разведчиков, и в туманную ночь мы двинулись в путь. Собственно, туман наполнял только овраг, а над ним, как осветительная ракета, холодным магниевым светом сияла луна. Мы видели черный гребень деревьев, склоняющихся к оврагу. Оттого, что в морозном воздухе все время звуча-

ла беспорядочная стрельба, тут, на дне оврага, казалось, жила такая тишина, что, хотя мы были в валенках и старались ступать как можно мягче, звук наших шагов раздавался где-то в отдалении.

Вдруг боец-разведчик, скользящим шагом двигающийся впереди, застыл и дал знак остановиться. Мы замерли. Где-то совсем невдалеке мы услышали голоса. Двое перекликались на чужом языке. Разведчики застыли, приподняв уши шапок. Мы нетвердой рукой стали снимать автоматы. Кровь стучала в висках так громко, что казалось, стук этот тоже раздается в отдалении, как и скрип шагов. Нет, что там ни говори, скверное было ощущение. Только Фадеев стоял, как всегда, прямой, высокий, еще более высокий оттого, что настороженно вытягивал шею. На лице, хорошо освещенном луной, было написано что угодно: охотничий азарт, любопытство, возбуждение, но только не страх. Нет, не страх.

Ничего опасного больше на пути не было, дошли благополучно. Остаток ночи досыпали в хате знакомого нам полкового комиссара Юсима, уже вне полузавязанного «мешка». Изба стояла на крутоярье, над изгибом узенькой в этих краях Волги. Из окон можно было видеть деревню, что была уже на той стороне, за рекой.

ПЕЛЬМЕНИ

Проснулись рано. Нас, спавших втроем на скрипучей деревянной кровати, разбудил пленительный запах пельменей. Да, миска с пельменями действительно стояла на столе, и Юсим, румяный с мороза, уже успевший с рассветом объездить батальоны, в районе которых немцы в эту ночь особенно активничали, насмешливо посматривал на наши сонные физиономии.

Пельмени вообще отличная вещь, а после длительного существования на мороженой и, мягко выражаясь, несвежей конине это было просто невероятное блюдо! Сидим. Едим. И вдруг знакомые противные удары в рельс доносятся из деревни: «Воздух!»

Видим, как сразу, будто летом перед грозой, опустела улица штабной деревни... Слышим нарастающий гул самолетов. Тягуче вибрируя, он все приближается. Рюмки начинают позванивать на столе. В дверях появляется взволнованный порученец Юсима.

— Товарищ полковой комиссар, враг в количестве

двенадцати самолетов «Ю-87» приближается с западного направления!

Хозяин дома вопросительно смотрит на нас, мы все — на Фадеева. Тот неторопливо, насадив пельменину на вилку, окунает ее в уксус, мажет сметаной, посыпает перцем и как ни в чем не бывало отправляет в рот, продолжая рассказывать какую-то интересную историю, только что виденную на фронте. По тому, как нарастает гул и меняется его направление, ясно — самолеты разворачиваются на бомбежку. Хозяин опять вопросительно смотрит на гостей, гости смотрят на Фадеева, тот вновь неторопливо повторяет всю операцию с очередной пельмениной и, прожевав, продолжает рассказ:

— ...Чудовищно!.. Вы, товарищ Юсим, понимаете: столько времени носить на теле брезентовые вериги и держать в пришитых к ним кармашках всякую валюту, награбленную в разных странах, а в самых нижних, что на животе, золотые коронки, сорванные с зубов, какие-то жалкие золотые сережки, вырванные из чьих-то ушей, пустяковые брелочки, перстеньки... Да, да, да. Вы подумайте, во сколько же ртов залез этот мерзавец, чтобы набить несколько мешочков коронками!

Мы знаем, о ком он говорит. Мы видели этого приземистого, длиннорукого, рыжего эсэсовца, с которого при обыске стащили эти пропахшие потом брезентовые вериги. Мы втроем допрашивали его, и до сих пор, вспоминая это, невольно содрогаемся от омерзения.

Гул самолетов уже перешел на свист. Идут в пике. Стреляют.

И вот близко, на том берегу, все: бревенчатая изба, колодезный журавль, заиндевевшие березки, сама земля — вдруг взметывается в бурых дымках разрывов, поднимается и падает. Несколько бомб попали в реку. Летят в небо фонтаны воды и зеленые осколки льда. Взрывом выдавило стекло и в нашей избе. Мороз ворвался в комнату.

— Уцелели! — сквозь зубы сердито говорит Юсим. Он бледен, но, по-прежнему владея собой, вытирает полотенцем лоснящиеся от масла губы.

И вдруг мы слышим такой знакомый рассыпчатый смех Фадеева.

— Ну и дураки!.. Хлопцы, в блиндаж, да, да, да! И скорее. Второй раз жизнь по старому трамвайному билету не выиграешь.

Уже в мерзлой деревянной щели, когда все кругом

снова гудит и грохочет, он философским, я бы сказал даже — академическим, топом поясняет свою неоконченную мысль:

— Все-таки в жизни масса условностей... Легче показать себя глупцом, идиотом, как мы все сейчас и сделали, да, да, да, чем дать повод подумать, что ты, так сказать, трус... Сколько хороших людей гибнет из-за этого, так сказать, не за понюшку табаку. Это показывает: все мы в душе, как раньше говорили, штафирки, необстрелянные штафирки, наряженные в военную форму и наделенные воинскими званиями... Да, да, да, и вы, товарищ полковой комиссар, я ведь знаю вашу биографию... А вот там третьего дня настоящий солдат не постеснялся в таком вот случае повалить меня на снег, зарыться рядом и поливал меня предпоследними словами, пока не кончилась бомбежка... Вот это настоящая военная косточка. Да, да, да. Такого подстрелить трудно.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ

Мы привезли с собой целые охапки, что там охапки — горы корреспонденции. Но из-за метели наземная связь все эти дни, как и солнце, появлялась редко. По военному телеграфу едва успевали проходить оперативные сводки командования, политдонесения. Даже некоторые из наших старых корреспонденций продолжали лежать на столике нашего друга ДС — дежурного связи.

В телеграммах же, пришедших из «Гранита», наш начальник, полковник Лазарев, не без иронии интересовался, почему, мол, в такую горячую пору от нас ни слуху ни духу и как мы проводим свои досуги. Последняя телеграмма требовала уже не объяснения, а немедленного выезда в Москву вместе с материалом. В этом был резон. Даже милый ДС, слывший другом литераторов и влюбленными глазами смотревший на расстроенного, рассерженного Фадеева, развел руками и в ответ на его сетования привел веселенькую галльскую пословицу, что, мол, даже и самая красивая девушка Франции не может дать больше того, что имеет.

— То есть как это так, капитан? — вспылил Фадеев.

— Позвольте доложить, товарищ бригадный комиссар: обрываются провода,— огорченно разъяснил ДС.— Не

имею «Гранита» на проводе сутками. Идут только шифровки.

...И вот мы в Москве, в «Правде», где в те дни было, пожалуй, даже похолоднее, чем в сложенном из веток шалаше в ржевских лесах. И так же, как там, люди ходят в ватниках, в стеганых штанах, в валенках. Ночью, после выпуска номера, редакция превращалась в своеобразную гостиницу. Не только мы, военные корреспонденты, но и весь ее литературный аппарат во главе с главным редактором, насчитывавший в те дни не более полутора десятков человек, ложились спать на диванах в тех же комнатах, где и работали.

На второй день в комнате, которую мы делили с корреспондентом Петром Лидовым, только что прибывшим с Западного фронта, зазвонил телефон. Фадеев. Он говорил из какой-то гостиницы.

— Ну как, материал передал?

— Вручил.

— И что сказали?

— Читают...

— Еще все читают... А мы столько километров по морозу, да, да, да...

— К ночи обещали просмотреть...

— Это когда же? Сейчас полночь.

— Под утро. Когда загорится последняя полоса...

— Столько ждать!.. И все-таки... Ну вот что — есть новость. В Москве Жан Ришар Блок... Да, да, да... Жан Ришар Блок. Сходим к нему. Великолепнейший француз. Хотите?

— Что за вопрос — хотим, конечно.

— Ладно... Тогда захватите что у кого есть из съестного...

У меня в подсумке оказалась банка консервов «лосось» и черствая, с позеленевшим брюшком, булка, полученная в редакционном буфете. Лидов извлек из кармана шинели аптекарский пузырек с жидкостью, казавшейся зеленоватой. На пузырьке был кокетливый гофрированный колпачок, и из-под него тянулся шлейф добротной довоенной сигнатурки. Но великолепие содержимого не вызывало сомнений. Тут уж сказались связи друга с фронтовой медициной.

Фадеев ждал нас в вестибюле. Он нетерпеливо шагал по ковру, держа в руке красную головку сыра, как царь державу.

Оценил припасы.

— Не густо, но для дружеской международной встречи хватит,— определил Александр Александрович, имевший изрядный дипломатический опыт.

И вдруг сказал:

— А может быть, знаешь, гостевание побоку? Извинимся по телефону и поедем в редакцию... Именно в редакцию... Вдруг там вопросы какие-нибудь, что-нибудь, так сказать, переделать, уточнить надо, а?.. Ведь неплохой материал привезли. Интересный...

Решили все-таки сходить в гости. Уже поднимаясь по лестнице, величественно неся в развернутой ладони свою сырную державу, Фадеев снова остановился.

— А вдруг он устарел, этот наш материал... Да, да, да, столько времени не было связи — свободно мог устареть... Вот будет жалость. Такой материал!

СЮЖЕТ, ДОСТОЙНЫЙ ГЮГО

На исходе был уже второй год войны. Войска нашего фронта окружили Великие Луки, и немецкие дивизии, оборонявшие этот район, оказались в широком кольце. Но битва не кончилась. Наоборот, она становилась все яростнее. У противника в городе было много войск, огромные запасы продовольствия, боеприпасов на складах. На внешней стороне нашего кольца, охватывавшего город, он сосредоточил артиллерию, танки и все время таранил наши части, явно стремясь пробить выход для окруженного немецкого гарнизона.

Интенсивность боев нарастала. Снова к этому участку приковано внимание страны. У нас, корреспондентов, много работы. В это время из «Гранита» в «Аметист» приходит телеграмма. В ней всего три слова: «Выезжаю привет Фадеев». Все мы уже полюбили его, подружились с ним. Телеграмма вызвала в «Белом доме» всеобщий подъем. Но тут требуется пояснить, почему именно в «Белом доме». Наш корреспондентский корпус передислоцировался в деревню Ново-Бридино, в здание старой, еще земской постройки, начальной школы — ветхое, серое от времени и непогоды. Вот эта-то школа почему-то и значилась на плане штабного коменданта под шикарным названием «Белый дом».

Вся пресса ютилась в огромном классе, разгорожен-

ном шкафами и нами же самими сколоченными из горбыля переборками. Класс этот делили с нами пожилая, очень больная учительница и несколько колхозных семейств, втиснувшихся сюда вместе с детьми после того, как гитлеровцы, отступая, сожгли их избы. Сюда-то и прикатил к нам снова Фадеев. И опять полный впечатлений. На этот раз он успел по дороге заехать в дивизион реактивной артиллерии. С ним вместе выезжал на обстрел неприятельских скоплений. От реактивщиков перебрался к летчикам-истребителям на их секретный аэродром, замаскированный на лесной поляне.

— ...Веселый народ. Жизнерадостность гигантская! — увлеченно рассказывал он нам.— Вы знаете, хлопцы, у них правило: если собьешь самолет к обеду, к положенным наркомовским ста граммам военторг добавляет от себя полтораста за наличный расчет. Поэтому победитель, возвращаясь, делает над военторговским сарайчиком круг или два — сигнализирует начальнику военторга Раппопорту: «Готовь угощение!» Это у них называется «потрещать над Раппопортом». Что, могуче? Да, да, да! — Он награждает себя большой порцией рассыпчатого смеха.— «Потрещать над Раппопортом»!.. Прошу в корреспонденции не вставлять, уже использовано.

Все, даже наша соседка, учительница, целыми днями печально сидевшая у окна в плетеном дачном кресле, улыбаются. Хромой колхозник Егор Васильевич, наш общий друг, мастер на все руки, точно в бочку бьет: «Хо, хо, хо!»

Едва забрезжил рассвет, как Фадеев уже разбудил меня:

— Пора, старина, проспишь Великие Луки...

И вот мы уже на месте. Город дрожит от непрерывной канонады. Он затянут дымами пожарищ. В западной части освобождены целые районы. По дороге мы узнаем, что передовые батальоны дивизии полковника Кроника прорвались в нескольких местах к набережной реки Ловать. Это новость.

Осторожно лавируя между холмов, объезжаем город и, остановив машину, пешком бежим к освобожденной окраине, к домику, над крыльцом которого поднят красный флаг. Это комендатура. Через домик то и дело летают снаряды, посылаемые противником и из старой крепости, что на реке, и из внешнего кольца. Мы обосновываемся у коменданта Приходько — маленького, деятельного, рас-

торопного украинца... Остаток вечера бродим по улицам, переходя из одной части в другую по дорогам, пробитым саперами прямо сквозь стены домов. Ночевать возвращаемся в комендатуру.

Ночь на этот раз выдалась на редкость тихая, и мы, бросив на пол полушубки, отлично выспались. А перед рассветом где-то восточнее завязывается вдруг густая пулеметная перестрелка. Комендант, подняв с полевой сумки курчавую голову, встревоженно вслушивается.

— Он, гад! — определяет он наконец.— Не иначе, пошел в контратаку.

Мы начинаем торопливо надевать валенки, еще хранящие уютное печное тепло. Но с Ловати возвращается посланный туда боец и докладывает, что это не контратака. По льду через реку на эту, освобожденную, сторону бежала большая группа «цивильных», и по ним немецкие пулеметчики и минометчики открыли огонь из крепости... Есть убитые, много раненых. Тех, кто уцелел, удалось попрятать в подвалах домов. Комендант крутит один, другой, третий телефоны. Из всех трех полков вызывает машины, санитаров.

Фадеев тем временем принял решение идти на Ловать. Комендант протестует: нельзя, уже рассвело. Каждую точку близ Ловати из крепости держат на прицеле. Фадеев упорствует. Комендант начинает сердиться и просто не пускает. Тут происходит то, чего я меньше всего ожидал. Писатель, который до сих пор держался со всеми необыкновенно просто, вдруг преображается так, что комендант мгновенно вытягивается перед ним по стойке «смирно».

— Прошу вас, товарищ капитан, не превышать своих полномочий,— холодно произносит Фадеев тоненьким голосом.— Понятно?

— Слушаюсь, товарищ бригадный комиссар! — отвечает комендант и даже стукает валенком о валенок.

Туман еще не совсем рассеялся. Он тянется волокнами, цепляясь за острые углы развалин. По той же дороге, сквозь дома, без всяких приключений добираемся до набережной. Теперь, чтобы дойти до крайнего порядка, вытянувшегося уже вдоль реки, нужно перебежать широкую улицу. А пули то и дело щелкают о мерзлый асфальт. Но вот из-за угла показывается черная фигура танкиста в комбинезоне и шлеме. Он идет странной, пошатывающейся походкой, даже не стараясь прижиматься

к стене. Под мышкой у него объемистый сверток. «Беги скорее! Стреляют!» — кричат ему бойцы, сидящие в засаде, под защитой обрушенной стены.

— Вот дурила, нашел время надрызгаться! — осуждающе говорит наш провожатый, маленький, проворный солдатик из комендатуры.— Подтрофеил чего-то, видать... Подстрелят, как глухаря, и пропадет ни за что. Э, танки, давай бегом!..

Снова щелкают пули об обледенелый асфальт и, с визгом отрикошетив, летят дальше. Танкист почему-то не обращает на них внимания. Той же странной походкой он неторопливо пересекает улицу, приближается к нам и вытягивается перед Фадеевым.

— Товарищ бригадный комиссар, ранен я,— говорит он через силу.— Рука... Рука... Прикажите взять это.

Он поводит тоскующими глазами на сверток, что у него под мышкой, и вдруг начинает медленно опускаться на снег. Фадеев, подхватив его под мышки, осторожно оттаскивает под защиту стены. Сверток оказывается у меня, и я чувствую, что держу живое существо.

Но разглядывать некогда, снег под танкистом медленно краснеет и парит. Наш провожатый, исчезнувший было, уже появляется, таща за руку медицинскую сестру. Она наклоняется над танкистом, мы же обследуем сверток. В спорок с какой-то старой шубы, оказывается, завернут ребенок лет двух, худой, с мертвенно-бледным личиком и такой слабенький, что и раскутанный продолжает спать. Он в шубке, в шапочке. Но сверх того запеленат в шелковый желтый опознавательный флаг, какие немцы за Ловатью выкладывают на земле для самолетов, сбрасывающих им на парашютах еду и снаряды. Из-под желтой материи выпадает записка. На клочке бумаги написано только имя. И все. Девушка-санинструктор, уже направившая танкиста на носилках в тыл, бережно берет живой сверток и идет вслед за носилками.

Мы добираемся до реки и беседуем там с советскими гражданами, что перебежали ночью, оставив на льду ранеными и мертвыми пятнадцать человек. Потрясающие рассказы. Но все все заслоняет история с необыкновенной находкой.

— Хлопцы, это же сюжет, достойный Виктора Гюго... Да, да, да, вы представьте себе зрительно: ночью, вьюга, стрельба, бегут люди, падают, опять бегут. Кто-то несет ребенка среди вьюги и пуль... А вот дальше, дальше ни-

чего не известно... Но все-таки колоссальный сюжет. Да, да, да, обязательно напишу рассказ. Но где он его нашел, как?

Вечером, не зайдя в комендатуру, спешим к высоте Воробецкой, в теле которой неприятель вырыл блиндажи, ходы сообщений, артиллерийские дворики. Там сейчас наблюдательный пункт дивизии полковника Кроника, штурмующей город с запада. На тыльной стороне высоты, защищенной от снарядов и мин, летящих из города, в бывших подземных артиллерийских складах — медсанбат.

Танкист в сознании, хотя, по словам врача Галины Михайловны, очень плох. Он узнает нас, глазами делает знак, чтобы мы наклонились к нему. Его сухие, потрескавшиеся, побелевшие губы шелестят чуть слышно. Его танк был подожжен на Ловати. Удалось выскочить из заднего люка только ему. Но тут же снайпер из-за реки взял его на мушку, и рука к черту. Пополз под защиту дома, и вдруг детский плач. Откуда? Посреди мостовой лежит подросток лет пятнадцати. Мертвый. А возле него сверток, который он, видимо, нес. Плач доносился из свертка.

— ...Наверно, из тех... кто ночью... перебег,— шелестят губы танкиста.

Галина Михайловна, взволнованная не меньше нас, ведет в угол блиндажа, где толпятся легкораненые. Они расступаются. На койке ребенок. Он весь утонул в солдатской бязевой рубахе. Крохотное личико и ручки того цвета, какой имеют побеги картофеля, выросшие без света, во мраке подвала. Огромные черные глаза. На одеяльце перед ребенком сокровища: губная гармошка, затейливая зажигалка, сложенный перочинный ножик, блестящая колодка от бритвы и несколько пузыречков — все, что отыскалось у раненых здесь, в блиндаже. Фадеев долго стоит у койки, потом поднимает глаза на врача.

— Ну, и что же будем делать? — спрашивает он.

— Мне очень хочется оставить его здесь,— отвечает Галина Михайловна.— Ведь нам, женщинам, нелегко на войне, а он тут, видите, как солнечный лучик, всех согрел,— говорит милый этот врач.— Не знаю, не знаю, наверное, не разрешат. Да и опасно. Снаряды-то не всегда через нас перелетают.

Фадеев берет с тумбочки какую-то баночку с мазью и, отвернувшись к окну, долго, сосредоточенно рассматривает ее содержимое.

— Нет, даже у Виктора Гюго не было таких сюжетов,— произносит он наконец странным, изменившимся голосом.

НОЧНОЙ КОНЦЕРТ

На ночлег располагаемся в пещерке, недурно обжитой офицерами связи, людьми молодыми, веселыми, с энтузиазмом встретившими Фадеева и уступившими ему единственный сплетенный из веток лежак. Жарко. Отличный воздух. Мы уже предвкушаем, как хорошо заснем. Но едва успеваем сбросить валенки и вытянуть к огоньку усталые ноги, влетает порученец командира дивизии. Командир дивизии приглашает нас поужинать.

— У него там гость,— сообщает он таинственно.

— Кто?

— Не могу сказать. Увидите.

По обледеневшим ходам сообщения двигаемся к командирскому блиндажу. Докладывают. Входим. От карты, лежащей на столе, отрываются две головы: черная, цыгановатая — командира дивизии и седоватая, с высоким шишковатым лбом — его гостя. У полководца тяжелый подбородок с продолговатой ямкой поперек. Ну кто теперь не знает мужественное, суровое лицо Г. К. Жукова.

Серые глаза смотрят жестко, но с появлением Фадеева взгляд теплеет, в нем появляется какое-то особое и, видимо, редко свойственное этому лицу выражение.

— А что тут делает автор «Разгрома»?.. Ну, садитесь, садитесь, мы с полковником на карте уже отвоевались. Все обсудили. Сейчас ужинать будем. Воюет он, кажется, неплохо, посмотрим, что у него за кухня.

Кухня тоже, по фронтовым временам, оказывается хорошей. И напитки имеются. Разговор оживляется, и выясняется чисто кинематографическое стечение обстоятельств. Командир дивизии когда-то служил под командованием Жукова, был вахмистром в эскадроне, которым тот командовал, и Фадеев знал их обоих еще в те годы. Старые друзья, старые советские воины, старые большевики. Без кителей, в одних свитерах сидят они трое за столом. А там, где на Руси встретятся три старых друга, без песен не обойдешься.

Выясняется еще одно и совершенно неожиданное обстоятельство для нас. Полководец, оказывается, играет

на баяне. Где-то во взводе охраны отыскивается старенький инструмент. Пальцы Жукова делают молниеносную пробежку по ладам, широко разведены мехи. Возникает тихая, задумчивая, печальная мелодия. Два голоса, тонкий фадеевский тенор и хрипловатый баритон полководца, переплетаясь, обгоняя один другого, заводят песню:

...Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки.

И когда дело подходит к припеву, сквозь тихую и задумчивую музыку к ним присоединяется бас командира дивизии:

Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.

Грустит баян. Три голоса ведут задумчивую, печальную мелодию о разлуке, о несчастной любви, о девичьем горе. Согласно, дружно поют знаменитый писатель, славный полководец и командир дивизии, которой с рассветом надлежит развернуть решающий штурм осажденного города. А там, за скрипучей, прикрытой плащ-палаткой дверью, обдуваемая северным ветром, освещенная луной, затаилась высота Воробецкая, как муравейник изрезанная ходами и переходами, ощетинившаяся в сторону крепости стволами пушек.

Фырчат моторы, лязгают гусеницы.

Войска сосредоточиваются для штурма.

ОТ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО...

Утром парламентеры, ходившие в крепость с белым флагом, вернулись ни с чем: предложение о капитуляции отвергнуто. Загрохотала артиллерия. Из-за холмов рванулись и полетели к крепости реактивные снаряды — и те, что зовутся в войсках «катюшами», и покрупнее, что летят с разбойным свистом и именуются «иван-долбаями», и совсем уже крупные, добродушно названные солдатами так, что в тексте это наименование воспроизвести нельзя. Все это обрушивается на крепость. Земля дрожит под ногами. На Ловати лопается лед, и трещины затекают зеленой водой...

Горячий, интересный материал, но связь ни к черту. Под вечер мне все же удается послать с офицером свя-

зи, направляющимся в штаб армии, короткую, тут же набросанную корреспонденцию о наших делах. Когда офицер уезжал, или, вернее, уходил, ибо ехать отсюда нельзя, Фадеев, все эти дни поглощенный сбором материалов, ничего не смог послать с ним на телеграф. Он очень этим огорчился. Молоденький офицер, который, конечно, тоже оказался одним из поклонников «Разгрома», видя, как расстроился любимый писатель, утешил его, заявив, что вечером он вернется, а утром снова пойдет в армию, захватит фадеевскую корреспонденцию, зайдет на телеграф, позаботится, чтобы она скорее прошла.

На ночлег мы устраиваемся в блиндажике наблюдательного пункта артиллеристов, откуда вынесены трупы неприятельских солдат, погибших при его обороне. Вынесли три ведра стреляных гильз. Кое-как завесили плащ-палаткой дыру в развороченном нашим снарядом накатнике... Ничего, выспаться можно. Я с Евновичем и корреспондентом «Комсомольской правды» Крушинским залезаю на нары, а Фадеев, соорудив себе сиденье из патронных цинков, пристроился в углу и разложил бумагу на ящике из-под мин. Усевшись, он размашисто написал: «От нашего специального корреспондента» — и задумался, вертя карандаш, постукивая им по зубам.

Посреди ночи мы просыпаемся не от выстрелов — от голосов. В блиндаже идет крупный разговор. Неведомо как и почему попавший сюда полковник Кроник распекает за что-то артиллерийского командира. Вижу знакомых офицеров из его штаба. Должно быть, пока мы спали, полковник тоже перетащил свой НП сюда. Но это нас не касается. В углу, переломившись пополам, все так же склоняется над ящиком фигура Фадеева. Лицо у него сосредоточенное, самозабвенное, губы что-то шепчут, пальцы шевелятся, как бы взвешивая невидимое. Потом он хватает карандаш и быстро пишет, пишет без остановки.

Снова просыпаюсь, на этот раз уже от толчка, и долго не могу понять, что случилось. Все помещение заволочено пылью и дымом. Ага, влепили куда-то близко! Разрывы грохочут рядом. Когда настает тишина, слышно урчание удаляющихся самолетов.

— Освежают,— мрачно поясняет корреспондент «Красной звезды» майор Арапов, лежащий со мной рядом, и с головой укрывается шинелью.

Потом грохот и гул моторов стихают. Серый рассвет просачивается в окно блиндажа. На полу куски сухой

глины, осколки битого стекла, валяется опрокинутая печурка. Старый солдат собирает разбросанные коптящие головешки. А в углу все та же склонившаяся фигура Фадеева. На ящике стопка крупно исписанных листков, а он все еще пишет. Разогнет спину, пошевелит затекшими от карандаша пальцами и сейчас же склоняется к бумаге, что-то про себя бормоча и даже жестикулируя иногда левой рукой. Старый солдат, собирающий головешки, смотрит на него, ухмыляется, качая головой.

БАЛ В «БЕЛОМ ДОМЕ»

В свое временное жилье, в «Белый дом», мы возвращаемся поздно. И первое, что поражает нас на пороге,— это необычайная тишина, нарушаемая лишь воем огня в печурке да шелестом сухого снега о стекло. Нам, пришедшим с мороза, молча уступают место у огня, и, поддавшись общему настроению, мы тоже молчим, протянув к теплу окоченевшие руки. Мягко ступая валенками, Фадеев молча расхаживает по комнате. О чем он думает? Может быть, тоже о своих — о жене и сыне, обитающих в эвакуации? Может быть, о великолукском найденыше, который все эти дни не выходит у него из ума? Грустная тишина начинает навевать дрему.

С треском лопается в печке отсыревшее полено, на миг освещая комнату. Фадеев стоит, смотря на кучку колхозной детворы, тоже молча теснящуюся у нашего огонька. И вдруг во тьме раздается его бодрый голос:

— Идея, братцы! А что, если мы учиним елку? Да, да, да!

Мгновение все молчат, потом сразу поднимаются, точно бы встряхнувшись. Елку? Да это же великолепная мысль!

Засветили лампу, сделанную из сплющенной гильзы. Тут же обобществили всю снедь, какая у кого оказалась, отложенную до лучших времен. Повытряхнули из чемоданов все, что могло блестеть и сверкать. Фадеев, увлеченный этой своей затеей, начал собирать бритвенные лезвия и стаканчики, пробки от одеколонных пузырьков, форменные пуговицы и звездочки от погон, гигроскопическую вату из индивидуальных пакетов, гипосульфит из запасов фотографов, который, как оказалось, может отлично изображать снежные блестки, и массу те-

леграфных лент, с волнующими произведениями всех жанров, переданных уже в адрес ненасытного «Гранита».

За елкой ходить далеко не приходится. Скоро, врубленная в тяжелую колоду, она стоит посредине комнаты, блестя и сверкая всеми этими странными, но издали просто-таки прекрасными украшениями. Под елкой есть даже Дед-мороз, изготовленный одним умелым фотокорреспондентом из нескольких офицерских ушанок. Этот Дед-мороз сидит на пакетиках с подарками. Наконец Фадеев последний раз окидывает придирчивым взглядом наше скороспелое сооружение.

— А что, неплохо получилось, старики. Да, да, да.— Подходит к дверям, за которыми томятся, плюща носы у щели, наши маленькие друзья, и важно, торжественным голосом церемониймейстера произносит: — По поручению Деда-мороза прошу всех сюда.

Боже, какое начинается веселье! Танцуют, поют, бегают, играют в жгутики, в третьего лишнего. Думаете, одни ребятишки? Ошибаетесь. Вместе с ними на одинаковых правах шумят, веселятся, пляшут весьма известные журналисты, знаменитые фоторепортеры, их верные друзья — водители фронтовых машин. И среди них больше всех, шумнее всех, веселее всех — писатель с мировым именем. А степенные колхозники сидят за столом, пьют чай и то, что покрепче чая, и с удивлением и любовью поглядывают на него. Потом самодельный медведь, изготовленный нами из вывернутой овчинной шубы и корреспондента Совинформбюро Евновича, на четвереньках вползает в комнату, наделяет ребят подарками, катает самых маленьких и начинает хоровод...

В разгар торжества, когда мы надышали так, что с потолка уже стало капать, я вышел на крыльцо. Луна «в рукавичке» все еще сияла, но мороз спал. Метель полировала сухим снегом косой сугроб, протянувшийся к крыльцу. Когда порыв ветра сникал, наверху колюче светились звезды. Было тихо. Скрипнула дверь. Взвизгнули половицы крыльца. Я оглянулся. Позади светилась цигарка, выхватывая из тьмы крыльца широкое лицо пожилого колхозника Егора Васильевича, инвалида, который руководил теперь всем ограбленным и разоренным хозяйством, пытаясь наладить в нем жизнь.

— Дорогой товарищ,— задумчиво произнес он вслух.

— Как? Кто? — не понял я.

— Да ваш бригадный Ляксан Ляксаныч. Фадеев ваш,— уточнил собеседник...

С того разговора безликое и официальное обращение это наполнилось для меня большим и хорошим смыслом.

ВСТРЕЧА С ДРУГОМ

Однажды, собираясь в дальнюю дорогу, я увидел в киоске аэровокзала книгу Сергея Крушинского. Это были его очерки разных лет, собранные его друзьями уже после смерти. Купил. Раскрыл в самолете, и длинный путь от Москвы до Нью-Йорка прошел для меня незаметно, будто пробеседовал я с другом, которого давно не видел, с умным, зорким человеком, умеющим замечать в жизни интересное и хорошо делиться этим.

Многое из того, о чем рассказывал в книге выдающийся советский очеркист, было у меня на памяти. Я знал людей, им описанных, происшествия, давшие автору сюжеты, и часто даже обстоятельства самого написания той или другой вещи. Порою, и, увы, нередко, что там скрывать, иные из очерков служили когда-то предметом моей зависти — чувства хотя и неблагородного, однако вполне естественного в маленькой группе литераторов, которые вместе живут, вместе становятся свидетелями тех или иных событий, но из которых лишь одному посчастливится как-то особенно хорошо рассказать о них читателю.

Автор этой книги был хороший журналист. Он был одним из тех, кто умел чувствовать биение пульса народа. У него был острый глаз, тонкий слух и какая-то святая неудовлетворенность собою, которая заставляет настоящего литератора неутомимо стремиться к эпицентрам событий, знакомиться с новыми и новыми людьми, в самых неподходящих условиях слушать и записывать их рассказы и порою, даже не дав десяти строк в свою газету, пускаться в поиски новых встреч, новых бесед, новых материалов.

С Сергеем Крушинским я и познакомился во время таких его поисков. Было это на Калининском фронте, в дни затяжных боев. Зимою неприятелю удалось именно здесь задержать наше наступление. Линия фронта как бы застыла на несколько месяцев. Весной, когда были подтянуты свежие части, наши войска рванулись вперед, заняли первую и вторую линии неприятельских укрепле-

ний. Но и противник ввел в бой свои резервы. Силы снова уравновесились. Фронт замер. Началось затяжное сражение: кто кого.

И вот однажды, когда весенние сумерки уже окутывали окрестности, добравшись до батальона, закопавшегося в размякшей торфяной жиже, мы с корреспондентом Союзрадио Павлом Ковановым были загнаны внезапным минометным налетом в пустую, отбитую недавно у противника землянку, наполовину залитую водой. Попасть в нее можно было, лишь подтянувшись на руках, на верхние нары, остававшиеся еще сухими. Мины шлепались близко. Деваться некуда, пришлось забираться в эту неуютную нору.

Добрались до нар и увидели: в дальнем углу светит трофейная парафиновая плошка. Возле, согнувшись, сидит коренастый человек с коротко остриженными волосами, одетый в военную, изрядно засаленную гимнастерку без знаков различия. Он что-то писал, положив на подсумок длинные, узкие бумажные полоски. Мы поняли — газетчик. На нас он взглянул без всякого интереса и, оторвавшись на мгновение от писания, лишь предупредил:

— На крайние жерди не садитесь, ухнете в воду,— и продолжал писать.

Потом снова оторвал глаза от узеньких бумажных листков, на каких, сколько я помню, он писал потом всю войну, и добавил:

— Здесь здорово воняет. Подозреваю — под нарами плавают трупы, которые похоронная команда не заметила. Не смущайтесь, развиднеет — посмотрим.— И неожиданно спросил: — Журналисты?

— Как вы узнали?

— Ну, голубчики, плохим бы я был газетчиком, если бы сразу не опознал собрата.— И озабоченно: — Как тут со связью? У меня интереснейший материал набежал.— И только после всего этого отрекомендовался: — Сергей Крушинский, из «Комсомольской правды».— Пожал нам руки и деловито спросил: — Поесть, конечно, ничего нет? Так я и знал. Плохо. Я прямо из Москвы сюда, не успел в дивизии разменять аттестат...

Вздохнул, придвинул поближе плошку и опять склонился над своими узкими полосками, энергично лепя одну к другой угловатые буквы, покусывая карандаш, почесывая в затылке.

Когда мы спросили, как он попал сюда, даже не по-

бывав в Политуправлении фронта, не познакомившись с товарищами по корреспондентскому корпусу, он оторвался от писания, не скрывая досады и не боясь обидеть малознакомого человека, отмахнулся:

— Потом, потом,— видите, пишу... Не мешайте...

Ничто — ни мины, лопавшиеся то далеко, то близко, ни сладковатый смрад, которым тянуло из-под нар, ни присутствие незнакомых коллег, с какими ему еще предстояло работать,— не помешало ему окончить корреспонденцию. Он дописал ее, сориентировался по карте в обстановке, уточнил путь к ближайшему узлу связи и исчез, ибо считал, что обязан тотчас же уведомить читателей и редакцию о том, что происходит на фронте, куда он только что попал.

Таким он и был — трудолюбивым, непреклонным в достижении цели, непримиримым в отстаивании того, в чем был убежден, деятельным, сдержанным в общении с людьми, храбрым,— Сергей Крушинский, автор книги, которая, как я в этом убедился, обладала свойством превращать неминуемую самолетную скуку, слабо рассеиваемую даже непрерывными едой и питьем, в интересное времяпрепровождение. Плавился в стакане виски ледяной кубик. Неподвижным ворохом лежали толстые, как матрацы, американские иллюстрированные журналы. Где-то внизу, за слоем посеребренных луной облаков, плескал океан. А мне ни до чего не было дела. Книжка заворожила меня.

Превыше всего ценил Сергей Крушинский правду жизни. Уверенный, что наше социалистическое бытие интересно и прекрасно во всех своих новых проявлениях и не нуждается ни в украшательстве, ни в сглаживании углов, ни в умолчании, ни тем более в лакировке,— он умел взволнованно рассказывать эту правду. Лакировщиков он ненавидел ненавистью человека, знающего, что такое жизнь, что такое война, понимающего, какой дорогой ценой даются наши победы, и, не трудясь даже скрывать, презирал тех коллег, кто спокойно, бездумно жил себе во вторых эшелонах, варя жиденькую похлебочку своих корреспонденций из фактов, извлеченных из политдонесений, с прибавлением изрядной доли розового сиропа.

При мне он вгорячах чуть было не ударил одного прыткого фоторепортера, который добился-таки, чтобы отличившихся бойцов привели к нему с передовой в тыл, под защиту монументальной монастырской стены; а по-

том еще потребовал от них, чтобы они по очереди облекались в новенький полушубок и ушанку, которые этот корреспондент возил с собой, объявляя их тоже атрибутами своего ремесла.

Крушинский, в этот момент только что вернувшийся с передовой, сам закопченный, грязный, небритый, вскипев, сразу сказал этому человеку все, что он о нем думает, сказал самыми крепкими словами, к которым в общем-то сам никогда не прибегал, а когда тот, оправдываясь, захорохорился, поднял кулак, и мне лишь в последний момент удалось перехватить его руку и предупредить столь необычное «ЧП» в корреспондентском корпусе.

Да, это был настоящий советский человек, с честной и чистой душой, широко открытой для восприятия всего хорошего и потому непримиримо злой ко всем проявлениям пошлости, приспособленчества, чинодральства, ловкачества и всего того, что в среде военных корреспондентов определялось одним всеобъемлющим, но довольно выразительным словом — «арапство». «Арапов» он ненавидел и всегда готов был броситься на них в атаку, блюдя традиции советской печати.

Вот почему, как мне кажется, любой очерк из книги, оказавшийся моим неожиданным спутником в путешествии по США,— и ранние, печатавшиеся в «Комсомольской правде» в довоенные времена, и военные — «Письма от походных костров», и корреспонденции, посланные из немецкого города Нюрнберга, где победившие народы судили главных военных преступников,— все они сильны именно этим ощущением большой правды. И автор в них не постороннее лицо, не человек с блокнотом, не наблюдатель, а активный участник. Он то и дело врывается в повествование нетерпеливыми публицистическими репликами. Он незримо действует в них. Его страстный голос звучит в любом из этих материалов, организует, зовет.

Даже в самые трудные дни войны, когда немецко-фашистские армии рвались к Москве и уже были от нее на расстоянии нескольких пеших переходов, корреспонденции Сергея Крушинского были полны оптимизма и веры. Нет, он ничего не замалчивал, не скрывал тяжести положения, остроты боев, потерь, которые несут защитники Москвы,— его оптимизм был в самом мышлении, он был его сущностью и проявлялся неизменно в существе его работы, хотя сам автор, по складу харак-

тера, был человек критически мыслящий, не чуждый иронии и, как я уже сказал, ненавидящий любую лакировку.

Вспомнился мне такой случай. На Калининском фронте, именно в дни тяжелых, затяжных боев на Ржевском плацдарме, мы принимали его в партию. Кто-то из коммунистов задал вопрос: как, мол, он оценивает военное положение? Крушинский сидел сбычившись, прихмурив негустые брови, которые резко выступали на его высоком упрямом лбу, и несколько мгновений молчал.

— Серьезное,— односложно ответил он и добавил: — Тяжелое.— Снова помолчал, потом поднял свои широко посаженные глаза, где частенько загорались озорные, мальчишеские огоньки, и сказал: — А я все-таки корреспонденцию о взятии Берлина напишу.— И, обращаясь к нам, к его товарищам по работе, пригрозил: — Погодите, я вам всем фитиль вставлю своими репортажами с процесса, на котором будем мы всех этих гитлеров и герингов судить... И вставлю, что вы думаете. Я ведь на заре туманной юности судебную хронику в газету «Всходы коммуны» давал, а вы — нет.

Это было сказано осенью 1942 года, в тяжкую пору, когда моторизованные дивизии фельдмаршала Паулюса прорывались к Дону и в сводках уже мелькало: «Сталинградское направление».

Он оказался прав, наш друг Сергей Крушинский. Действительно, два с половиной года спустя он писал свою корреспонденцию о падении Берлина, и действительно, через три года мы с ним сидели рядом на корреспондентских местах в немецком городе Нюрнберге и наблюдали, как Геринг, Гесс, Кальтенбруннер, Риббентроп и остальные подручные Гитлера, обагрившие человеческой кровью земной шар, давали международному трибуналу показания. И он, Сергей Крушинский, действительно писал отличные корреспонденции, лучшие из которых я нашел в книге, летевшей со мной в Америку.

Он был отличным товарищем. Зимой подо Ржевом, когда мы вдруг оказались в дивизии, отрезанной от своих частей, и с едой стало совсем плохо, он однажды добыл со дна своего подсумка два сухаря, долго делил их на пять равных частей, а потом, заставив одного из нас отвернуться, распределил их по справедливому способу: кому, кому...

Во время тяжелого прорыва наших и чехословацких

войск у Дуклянского перевала, когда нам на вездеходе пришлось удирать по дороге, оказавшейся под неприятельским обстрелом сразу с двух горных склонов, он вдруг заставил шофера остановить машину и соскочил, чтобы посадить в нее раненых — чешского войника и медицинскую сестру, тоже легко раненную, которая, однако, тащила его на закорках. За это мы счастливо расплатились лишь шиной, пробитой у поворота дороги осколком мины, в сущности когда все уже оказались в безопасности. Он готов был поделиться с товарищем последней коркой, рискнуть жизнью, чтобы спасти другого, но место у телеграфа при передаче корреспонденции ни за что никому не уступал, как не уступал и возможности первым наилучшим образом сообщить читателям какую-нибудь особо интересную фронтовую новость.

На корреспондентском языке это именовалось — вставить фитиль. И на это Сергей Крушинский был великий мастер. Помнится, мне довелось от этого даже и пострадать. Когда за линией фронта началось знаменитое теперь Словацкое восстание, я начал переговоры со своей редакцией и с командованием о том, что полечу туда, чтобы дать в «Правду» корреспонденции об этом немаловажном в ту пору событии. Пока я, добывая разрешение, убеждал командующего, члена Военного совета, вел утомительный диалог по прямому проводу с Москвой, Сергей Крушинский, с которым мы жили в одной комнате и спали на соседних койках, исчез. Все было на месте — и его шофер Петр Васильевич, и видавшая виды «эмка», и блиноподобный тюфяк, который он почему-то возил с собой по странам, богатым пуховиками, и даже рукопись повести, создаваемой им по ночам. Все было тут, а он исчез. И вместе с ним, как я установил, исчезли две итальянские гранаты-«самоварчики», из тех, что мы всегда таскали с собою, и мой трофейный автомат «шмайсер». Я поднял тревогу — мало ли что случается на войне... И лишь тогда шофер признался, что ночью отвез капитана на аэродром, где в самолеты грузилось оружие для повстанцев.

Тут мы все ахнули — «фитиль». Так оно и оказалось. Крушинский, восседая на ящиках с оружием, на сутки раньше меня приземлился на повстанческом аэродроме «Три дуба». И когда, получив наконец разрешение, я выпрыгнул в повстанческом краю с парашютом, он уже успел отстучать по рации корреспонденцию, которую я

теперь нашел в книге, в разделе «У повстанцев Словакии».

Но и оказавшись в столице восстания Банска-Бистрице, я его не догнал. В штабе восстания Крушинского не оказалось. Он раздобыл где-то машину и укатил в одну из повстанческих бригад. Мы провели с ним в тылу у немцев не один день, прежде чем встретились. Когда потом я вернулся «домой», на нашу корреспондентскую квартиру, значительно передвинувшуюся к тому времени на запад, Крушинского там тоже не было. Он «отписался» от повстанческого материала, привел в порядок свои записи для будущего романа «Горный поток», а сам отправился в новую, хотя на этот раз и не увенчавшуюся успехом, поездку к польским партизанам...

Уже в Америке дочитывал я последние очерки из купленной в киоске московского аэропорта книги. И со страниц ее вставал сам автор, Сергей Крушинский, один из тех советских литераторов, чьим самоотверженным трудом, чьим талантом запечатлены черты нашей эпохи, один из неутомимых людей, какими славна наша печать. И радостны были эти новые встречи со старым товарищем на чужой, далекой земле, среди чужих людей, живущих по чужим для нас обычаям, в чужом мире.

Со многими интересными людьми познакомился я в этой книге, и через все ее страницы об руку со мной, читателем, прошел ее автор — хороший, талантливый советский человек, вложивший в свои писания большое сердце.

ДЖ.-Д. БЕРНАЛ. РАССКАЗЫ ДЛЯ МИСТЕРА БОРИСА Н. ПОЛЕВОГО

1. НАЧАЛЬНЫЙ ТОЛЧОК

Было это давно. Я рос в срединной, захолустной части Ирландии, где о науке знали очень мало, где и не пахло наукой. Хорошо помню, как всколыхнуло городок появление первых автомобилей; проводились какие-то гонки, и народ высыпал на улицу смотреть.

Я знал, что есть такая вещь — наука, но имел о ней самое смутное понятие; с помощью науки, слышал я,

люди дознаются до всего. Первым толчком в науку послужило мне происшествие с сестренкой. Мне тогда шел шестой год, она же была совсем малышкой-ползунком и загнала себе иголку в колено, и та обломилась под кожей. Дело нешуточное, выход один — везти девочку в ближайший большой город Лимерик, расположенный от нас милях в тридцати. Меня, маленького, разумеется, не взяли, но рассказали мне потом, что привезли ее в больницу, а там есть чудесный просвечивающий аппарат — рентген, и врачи сделали снимок, увидели тень от иголки и извлекли эту иголку. Я поразился — что за рентген такой и как же он просвечивает?

Должно быть, от него, подумал я, свет настолько яркий, что проходит через тело насквозь и тенями обозначает кости. В яркий летний день загородишься рукой от солнца, а оно розово просвечивает сквозь пальцы, и проступают как бы тени костей. Значит, и рентген, решил я, это свет большущей силы. Задача состояла в том, как такой свет получить.

Карапуз я был весьма привилегированный, мне разрешалось читать в постели. В те времена мы зажигали вечерами свечи, но для чтения у меня стояла керосиновая лампа. И я додумался, что если взять самые наибелейшие из книг и окружить ими лампу так, чтобы осталась только небольшая дырочка для света, и подставить под этот усиленный свет руку, то рука просветится и очертятся кости. Я тогда не знал физики, а главная беда — экспериментатором тогда был никудышным. И все это прилаживание и громождение книг кончилось тем, что только я приложил руку к дырочке, как вся постройка рухнула со страшным грохотом, сшибла лампу со стола, стеклянный резервуар ее разбился и керосин растекся по полу, но не вспыхнул. Шум всполошил отца, и, прибежав снизу, он увидел весь разгром — с облегчением и с яростью. С облегчением, поскольку дом я все же не спалил, а с яростью, поскольку лампа разбилась. До сих пор помню, какую трепку задал мне отец (в те далекие времена это было в обычае). Но он лишь крепче вбил в меня решимость дознаться, что такое рентген и как его устроить.

Я сказал уже, что наука была для меня смутным понятием. Яснее оно стало примерно год спустя, когда мне было около семи. У нас среди книг стояла хрестоматия, и в самом конце там была запись лекций, читанных Фарадеем для детей в Королевском институте восемьдесят или

больше лет назад. Что такое Королевский институт и кто Фарадей, я не знал, но меня приманило заглавие: «Химическая история свечи». Уж свеча-то вещь мне известная! А что химии не знаю — что ж, может, и так эту историю пойму. И вот прочел я «Историю свечи», и она захватила меня. Язычок свечного пламени, а сердцевинка у него темная, потому что там горючий газ, и это можно доказать, задув свечу,— газ тогда задымит и запахнет... Но сильнее всего меня пленили странные слова «кислород» и «водород» — названия вещей, о которых я никогда не слышал. И там рассказывалось даже, как их получить...

С кислородом дело выглядело сомнительно, потому что для его получения требовались реторты и другая невиданная и неслыханная аппаратура, а текст был к тому же без картинок. Верней будет заняться водородом, решил я. Вчитался в указания. «Взять разбавленной серной кислоты и смешать с гранулированным цинком во флорентийской склянке». Смысла этих наименований я не знал, но, как бы ни было, в аптеке, наверно, достать можно. И, аккуратненько списав названия, я пристал к маме: мне для опыта надо, напиши, пожалуйста, аптекарю, чтоб отпустил. Мама, разбиравшаяся в науке еще меньше моего,— она и Фарадеевой «Истории свечи» не читала,— послушно написала записку, и аптекарь выдал мне просимое — и зря, конечно, потому что в руках у меня очутилась бутылочка с купоросным маслом, то есть с концентрированной серной кислотой, которая могла причинить немалый ущерб и мне, и всему дому. Меня, однако, спасло слово «разбавленная»,— значит, надо воды долить. Я и долил воды в кислоту. Последовал первый сюрприз, продемонстрировавший мне весомость науки. Кислота вдруг нагрелась, почти закипела. Я порядком струхнул, но на этом чудеса кончились, жидкость остыла, и я подумал — ну вот, и ничего страшного.

Оставалась проблема «флорентийской склянки». Что это за склянка, было неизвестно, но в буфете у нас стояла длинногорлая старая бутылка, оплетенная соломой и, судя по этикетке, содержавшая прежде вино из Флоренции (это была бутылка из-под кьянти). Ничего ближе к «флорентийской» склянке мне не найти, подумал я. А родство здесь действительно близкое, ибо прототипом теперешних колб послужили винные бутылки, изготовлявшиеся флорентийцами сотни лет тому назад.

Но теперь возникал вопрос, где проводить опыт. Мама держалась разумного правила: «В доме — никаких опытов». Так что оставалось экспериментировать на заднем дворе. Там торчал старый пень, и на нем я решил установить свою флорентийскую склянку. За приготовленьями прошло время, наступил вечер. Дело было зимой, стало уже смеркаться. «И пусть, а все равно поставлю опыт»,— решил я и, крепко труся, высыпал во флорентийскую бутылку цинк, а сверху налил кислоты,— и — ничего не произошло. Абсолютно ничего! Цинк лежал себе в бутылке, залит кислотой,— и все. «Чего другого было и ожидать»,— подумал я. В хрестоматии множество всяких историй, сказочных и шуточных, и эта одна из сказок или шуток. Выдумки и враки вся эта наука!

Надо было идти ужинать, затем спать; хотя я и был горько разочарован, но не окончательно еще потерял надежду. Перед сном, решил я, пойду гляну напоследок. Выскользнул украдкой во двор — там, конечно, ничего было уже не разглядеть, стояла темень, но я помнил примерно, где пень, и направился туда. Не видно ни зги, а взглянуть надо же, и, достав из кармана коробок, я зажег спичку, поднес. Грохнул великолепный взрыв, бутылку разнесло вдребезги!

Я стоял не очень близко к пню и отделался в основном испугом,— только несколько капель серной кислоты брызнуло на руку. Но тут уже я совершенно убедился, что наука не враки. И вот эти два случая, вместе взятые, и дали мне начальный толчок в науку, хотя в Ирландии стать ученым было тогда делом непростым, и много еще минуло лет, прежде чем я уяснил химическое действие серной кислоты и осознал, что посвящу себя исследованию строения кристаллов посредством рентгеновых лучей. По странному совпадению позднее я работал лаборантом в Лондонском Королевском институте — как встарь Фарадей, и в том же подвале, где и он когда-то.

2. СТРОЕНИЕ ВОДЫ

Работать как исследователь я начинал у сэра Уильяма Брегга в Королевском институте, где занимался структурой всевозможных кристаллов. Затем я переехал в Кембридж и через несколько лет заинтересовался там работой Хопкинса; ученый этот — почти что основополож-

ник биохимии — поднял вопросы, на которые структура кристаллов, подумалось мне, способна дать ответ. Особенно заинтересовало меня вещество, являющееся основой всего живого,— белковое вещество. Но чтобы понять строение белка, надо было прежде структурно понять нечто еще более общее всему живому — то, в чем возникает жизнь,— я говорю о воде.

А именно вода, эта древнейшая из всех стихий (Фалес считал, что мир сотворен из воды), вечно ставила в тупик физиков и химиков. Хотя в известном смысле вода — типичнейшая жидкость, но при ближайшем рассмотрении она оказывается весьма отличной от наших представлений о нормальной жидкости. Многие из этих ее отличий имеют для нас громадное значение.

К примеру, естественно ожидать, что когда жидкость переходит в твердое состояние, то ее частицы располагаются тесней и вещество делается тяжелее, плотнее; многие жидкости так себя и ведут — скажем, большинство металлов при затвердевании. С водой происходит как раз обратное. Охлаждаясь, вода плотнеет, но точка наибольшей плотности находится в районе 4°C, а ниже этой температуры вода становится несколько легче. Замерзая, она делается еще — и намного — легче и образует лед, плавающий на поверхности воды. Понятно, что вся география, да и биология перевернулась бы вверх тормашками, если бы вода не обладала этим аномальным свойством,— если бы все реки и пруды замерзли не сверху, а со дна.

Мы так свыклись с этим свойством что оно вроде бы само собою разумеется. А тем не менее объяснения ему не было. Да и другое свойство воды взять, еще даже обыденней: почему вода вокруг нас — жидкость, а не газ? Молекулы ее очень невелики — атом кислорода и два атома водорода. У сероводорода, H_2S, молекула гораздо тяжелей, однако сероводород — газ; между водяными же молекулами, легчайшими из малых молекул, силы сцепления почему-то достаточны, чтобы при обычных температурах вода была жидкостью. Химики обходили это затруднение с помощью довода, что вода — жидкость необычная, а ассоциированная. Молекулы ее ассоциируются, объединяются в большие, дигидрольные молекулы и т. п. Для меня как физика все это звучало весьма туманно и неудовлетворительно, и я чувствовал, что для понимания роли воды в живом веществе необходимо существенно уточнить ее структуру.

Я все еще думал над этим вопросом, когда поехал в 1932 году с группой английских физиков и химиков в Советский Союз, чтобы принять там участие в научных дискуссиях. Часть времени мы провели в Москве, часть в Ленинграде. До этого я приезжал уже однажды в Советский Союз, но впервые вошел теперь в тесный контакт с советскими учеными; должен сказать, что для всех нас этот контакт послужил большим творческим стимулом. Особенно сильное впечатление произвела на меня работа профессора Френкеля, чья смерть в 1952 году была такой утратой для физики. Мы с ним обсудили многие из проблем твердого и жидкого состояний, которые его особенно занимали. Но, понятно, пребывание в Советском Союзе было так заполнено встречами, посещениями, осмотрами, что у нас просто не было возможности и времени для разработки фундаментальных теорий. И все же такая возможность в конце концов представилась, причем именно в Советском Союзе.

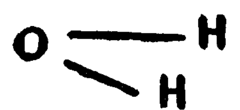
Наш визит близился к концу; мы уже все увидели, истратили все деньги, оформили все документы, чтобы выехать в самый последний момент, исчерпав полностью возможности визита, и вернуться в начале октября к преподаванию в Кембридже.

Прибыли мы из Англии морем, в Ленинград, а возвращались воздушным путем, из Москвы. В московском аэропорту, лишь недавно тогда открывшемся, расписание полетов отличалось суровостью. От нас потребовалась явка в аэропорт к четырем часам утра. Так что возникла проблема — как бы не проспать. Возможно, русский человек решил бы ее очень просто — не стал бы вообще ложиться. Я, однако, ухитрился раздобыть будильник — единственный, кажется, во всем Институте физики — и, благополучно им разбуженный, вовремя прибыл в аэропорт, но обнаружил там, что улететь нет никакой возможности. Все было окутано густым осенним туманом, и неизвестно было, когда он разойдется.

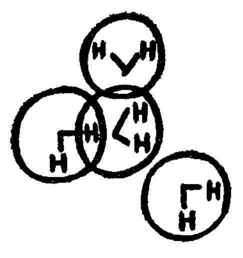
Оставалось одно — ждать. А для ожидания в те времена не было предусмотрено никаких удобств. Негде было поесть, негде посидеть, оставалось лишь ходить взад-вперед в тумане и надеяться, что он рассеется. А если не рассеется, то нас ожидали немалые заботы: смена маршрута, переоформление выездных документов, добывание еще какого-то количества денег — и сотня других затруднений, неминуемо связанных с переменой планов. Но как бы ни было, надо было чем-то занять вре-

мя ожидания, и, прохаживаясь у аэродрома, мы с профессором Р.-Х. Фаулером, ныне покойным, повели разговор о том о сем и в конце концов свернули на научную тему. Больше всего прочего нас занимал туман, и естественно, что о нем и пошла речь. Туман состоит из воды, из водяных капелек размером в какую-нибудь тысячную долю миллиметра, и странно прежде всего то, что, образовавшись, эти капельки не крупнеют, иначе бы туман, разумеется, превратился в дождь; однако туман обычно в дождь не обращается, упрямо продолжает быть туманом, и капельки его оседают медленно — до неприметности медленно.

Итак, речь у нас шла о воде, и профессор Фаулер, большой знаток термодинамики, но не очень сведущий в структурной теории, попросил меня объяснить структуру воды, как я эту проблему понимаю. И тут-то я задумался над нею заново — в свете наших московских дискуссий. Меня вдруг осенило, что, быть может, ключ ко всей природе воды — в структуре самой молекулы. Хотя обычно мы обозначаем молекулу воды как H_2O, не уточняя, как размещены в ней атомы водорода, но проще всего, конечно, расположить их на бумаге так: Н О Н — то есть на прямой линии. Однако водяная молекула подобным образом построена быть не может, ибо при такой структуре молекула, содержащая два положительных атома водорода и отрицательный атом кислорода, была бы электрически нейтральной, не обладала бы определенной направленностью, моментом. А вода обладает весьма сильным электрическим моментом, и этим, возможно, объясняются ее особенности. Такой электрический момент может образоваться, только если оба атома водорода примыкают с одной и той же стороны:



И мелькнула мысль, что именно такое «однобокое» расположение частиц водорода и способно объяснить чрезвычайно свободный способ межмолекулярного сцепления в воде (см. рисунок); отсюда становится, быть может, объяснимым и правильный порядок водяных молекул льда.



Структуру льда раскрыл за много лет до того мой старый учитель сэр Уильям Брегг. Он обнаружил, что каждую водяную молекулу льда окружают четыре других, образуя тетраэдр (треугольную пирамиду). Как именно размещены там атомы водорода, он не мог установить, да и никто тогда не мог. Сперва предполагали, что атомы водорода размещены посредине между атомами кислорода. Однако если мы предположим, что атомы водорода размещаются не между атомами кислорода, а внутри их, тогда каждая водяная молекула окажется совершенно естественно связанной с четырьмя другими молекулами: с двумя свяжут ее собственные атомы водорода, а с остальными двумя — водородные атомы соседних молекул. И тогда парадоксальный факт, что лед легче воды, получит объяснение. Если та или иная группа связана с четырьмя другими группами, то обычно возможен ряд различных способов расположения, поскольку структура по своей рыхлости напоминает скорее кружево, чем плотно упакованную дробь или горох. А нам известно уже кое-что о таких четверочастных кружевных структурах — известно по структуре кварца, которую раскрыл Гиббо в лаборатории, где я незадолго до этого работал.

Кварц — общераспространенная форма двуокиси кремния. В двуокиси кремния частица тоже соседствует с четырьмя другими — у каждого атома кремния четыре соседних с ним атома кислорода, и каждый кислородный атом связывает два атома кремния. Существует несколько возможных способов такого размещения, и один из них весьма отчетливо выражен в кварце; а кремниевая вулканическая порода тридимит демонстрирует нам другой способ размещения. Любопытно, что строение тридимита сходно со строением льда. Кварц структурно плотней, тяжелей тридимита. И мне подумалось, что если вода сходна по структуре не с тридимитом, а скорее с кварцем, то, понятно тогда, почему она тяжелей льда.

Я развил эту мысль и многие другие в течение тех

часов, что мы прохаживались взад-вперед. Собственно, за всю нашу поездку это было единственное незанятое время — ходи, думай, говори, все равно делать больше нечего. А я склонен думать и говорить на ходу, и, как видно из последующего, иногда это дает неплохие результаты. В этот раз все бы разговором и кончилось, не будь моим собеседником Фаулер. Я уж не помню, до какого момента довел изложение, как вдруг, словно по волшебству, туман рассеялся, засветлел погожий октябрьский день, и хотя утро давным-давно миновало — беседовать мы начали в четвертом часу ночи, а сейчас было четыре часа дня,— но самолет вылетел.

Он доставил нас недалеко, в Кенигсберг. Но так или иначе, а отъезд наш состоялся и теория родилась. Фаулер сказал мне: «Непременно изложите на бумаге». (Мне это как-то не пришло самому в голову.) Письменное изложение оказалось делом очень скучным, но полезным. Занявшись им, я обнаружил, разумеется, что порядочный процент светлых мыслей, осенивших меня в это мглистое утро, нуждается в существенной переработке и консолидации, что рассуждения требуется одеть в математический наряд. Но прежняя основа не поколебалась, и через несколько месяцев наша с Фаулером работа о структуре воды вышла в свет. Как ни удивительно, вот уже третий десяток лет теория держится. И до сих пор я думаю, что вряд ли она возникла бы, если бы не стимул пребывания в СССР и не этот лишний проведенный там денек.

Вторая часть моего рассказа — о том, как, оттолкнувшись от исследования структуры простых веществ, я занялся структурой самых сложных — белков. Произошло это два года спустя.

Проблема структурного анализа белков и теперь еще не решена, мы начинаем лишь проникать в ее суть. А в те годы она была почти полностью загадкой. Значение белка было уже общепризнано. Энгельс говорит о жизни как о способе существования белковых тел. И белки эти — вещества невероятной сложности, с десятками тысяч атомов в каждой молекуле — представляли неустранимую проблему не только для химиков, но и для кристаллографов.

Белки — вещества кристаллические, они рассматривались как таковые еще в начале девятнадцатого века; было обнаружено, что многие простые семенные экстракты дают, постояв, очень хорошие кристаллы. Кристаллы гемоглобина (кровяного красящего вещества) известны из-

давна. А когда современный, вооруженный рентгеном кристаллограф видит кристалл, он тут же стремится раскрыть его структуру — хочет, поместив в рентгеновскую камеру, получить на снимке дифракционную картину. Можно предположить, что с 1913 года, со времени открытия Брегга, многие пытались получить рентгенограмму белков,— но безрезультатно. Белковые кристаллы — отличные с виду кристаллы, с плоскими гранями и острыми ребрами — вместо картины, отражающей кристаллическую решетку, давали на снимке мутное пятно. Я чувствовал, что в этот странный результат требуется внести ясность. Но у меня не было кристаллов. Хотя мне и случалось порой увидеть под микроскопом мельчайший кристаллик белка, но действительно годных кристаллов не попадалось. Я часто слышал о хороших белковых кристаллах, но всякий раз оказывалось, что кристаллы растворились или выброшены — что их уже нет.

У белковых кристаллов отмечена и другая странность, дававшая повод утверждать, что они, собственно, вовсе не кристаллы. Дело в том, что они нарушают первейший закон кристаллографии — о постоянстве углов между гранями кристаллов. В белковых кристаллах угол способен меняться: иногда он острый, иногда тупой. Кристалл то так, то этак расширяется, сжимается в различных направлениях; многие поэтому считали, что имеют дело с лжекристаллами, мнимыми кристаллами, и, стало быть, не удивительно, что снимок не дает желанного результата. Я же продолжал держаться мнения, что результат достижим, и твердил об этом встречному и поперечному, во всех лабораториях, где я бывал,— но сам не ждал, что из этих разговоров выйдет толк. Однако толк вышел.

В нашей первой поездке в Советский Союз (в 1931 году) участвовал молодой химик Глен Милликэн — альпинист, парень очень предприимчивого склада. К большой нашей печали, он позднее погиб при восхождении. Было крайне трудно обуздывать его туристские порывы, он то и дело пропадал куда-то, но в критический момент всегда оказывался налицо. Ему, одному среди немногих, удалось даже, по-моему, в те времена пройти в Кремль без пропуска! Он был так мило напорист, что ему почти всегда все удавалось. Ярый любитель странствий, Милликэн путешествовал обычно налегке, с одним рюкзаком.

Как-то он со своим рюкзаком отправился из Москвы в Ленинград ночным экспрессом, не делающим в пути

остановок. В те годы ездить было сложно, Милликэн ехал в жестком общем. Приняв меры предосторожности — застропив рюкзак за стойку полки,— он подмостил его под голову и уснул. Ночью вскинулся — рюкзака нет. Кто-то стащил, перерезав рюкзачный ремень бритвой. Другие отнеслись бы к пропаже философски, махнули рукой,— но не Милликэн. Он поднял на ноги проводников, обошел, обыскал с ними весь поезд, от первого вагона до последнего, тревожа среди ночи пассажиров. Переполоху было много, но рюкзака — ни следа. Однако Милликэна это не обескуражило; раз в вагонах нет, сказал он, значит, надо искать на вагонах. И через окно взобрался на крышу. Там действительно рюкзак нашелся — вместе с другими крадеными вещами оказался привязан к вентилятору. Этот эпизод хотя и не имеет отношения к белковым кристаллам, но говорит кое-что о человеке, который мне их раздобыл, об его упорстве и предприимчивости.

Лето 1934 года Милликэн провел в горном походе в северной Лапландии. Возвращаясь через Стокгольм, он задержался в лаборатории Сведберга, великого создателя ультрацентрифуги, позволяющей определять размеры белковых молекул. Разговаривая с кем-то из сотрудников и, по своей привычке, оглядывая лабораторию, Милликэн заметил: на стеллаже наверху что-то блеснуло.

— Что в той склянке? — поинтересовался он.

Никто не помнил уже, взглянули на ярлык. Там оказался пепсин — пищеварительный желудочный фермент, которым занимался в свое время Павлов. Этот пепсин давно стоял на полке, позабытый, и достоялся до кристаллизации, причем кристаллы образовались не микроскопические, а крупные, издали заметные глазу. Милликэн вспомнил, что мне нужны хорошие кристаллы, и попросил несколько штук. Ему извлекли оттуда несколько кристаллов, опустили в пробирку, залили пепсинной жидкостью из склянки, и Милликэн сунул пробирку в карман.

В Кембридже он прямиком явился ко мне и вручил пробирку с кристаллами. Я крайне обрадовался и подумал: «Ну, теперь добьюсь рентгенограммы!» Вынув один кристалл, я поместил его в рентгеновскую камеру, сделал снимок. И ничего не увидел на снимке — ровно ничего нужного мне! Сейчас-то я не сомневаюсь, что, пристально всмотревшись, я заметил бы кое-что, но я не знал тогда, во что и всматриваться. Велико было мое разочарование.

А ведь на этот раз есть все требуемое. Есть кристаллы: кристаллы вызывают дифракцию рентгеновых лучей; дифракции не обнаружилось. Что-то, значит, у меня не так. Что же именно? Разве лишь то, что я вынул кристалл из его естественной среды. Мелькнула мысль, что надо исследовать кристалл в жидкости, где он растет. Выбрав тоненькую пробирку, я принялся выуживать этим странным сачком — вернее, черпаком — один из кристаллов. Зачерпнул его вместе с жидкостью, закупорил пробирку, сделал снимок — и, к моему изумлению и восторгу, получил прекрасную дифракционную картину.

Это явилось лишь началом очень длинной истории, но уже оно показало, что белковые молекулы обладают вполне правильным пространственным порядком. Теперь, когда мы знаем это, десятки исследователей пытаются разрешить загадку расположения атомов. Дело это долгое, продвигается оно усилиями многих. Мы в нашей лаборатории помогаем двигать его, решать проблему расположения атомов в кристалле. Но не о том мой рассказ. Я хотел только проиллюстрировать, как возникают научные открытия. Может показаться, что это целиком вопрос удачи, случая, — и, в известном смысле, так оно и есть. Но, как в притче об отце, сыновьях и зарытом среди поля золоте, удача приходит лишь тогда, когда знаешь, где искать, и когда ты готов копать без устали и не теряя надежды.

3. ИСТОРИЙКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

На время войн я полностью оставил свою научную работу и занялся практическим применением науки к различным аспектам военного дела. Вначале деятельность моя сводилась к мерам защиты от немецких воздушных атак. Да и сама война тогда сводилась к тому, что на нас сыпались немецкие авиабомбы, и моей задачей было, изучив их действие, по возможности ослабить это действие.

С бомбами взорвавшимися делать было нечего. Но очень много было и таких авиабомб, которые сразу не взрывались. Во-первых, сюда относились неисправные бомбы, то есть неспособные взорваться, а во-вторых — бомбы замедленного действия, которые взрывались, но через сколько часов они взорвутся, было совершенно не-

известно. Отличить второй разряд бомб от первого, разумеется, крайне трудно; в дни «блица»[1] много зряшных хлопот доставляли сообщения о бомбах, которые оказывались на поверку неспособными взорваться или уже взорвавшимися, а иногда никакой бомбы не оказывалось вообще. С другой же стороны, случались и трагедии из-за того, что о бомбе не сообщили. К тому времени я уже немного набил руку на авиабомбах и стал как бы главным разъездным консультантом по всяческим невзорвавшимся бомбам. Приводимые ниже историйки — просто эпизоды из моей тогдашней практики.

Помимо прочего, я проводил тогда во всех районах Лондона беседы о том, как отличить бомбу замедленного действия от неспособной взорваться и как определить, взорвалась ли бомба, глубоко зарывшаяся в землю. Свои беседы я, бывало, иллюстрировал наглядными примерами — благо их хватало вокруг в те времена большого лондонского «блица».

Работы, разъездов в связи с этими бомбами у меня было по горло, и я даже однажды убедился, что мои наставления дают какие-то плоды. Я и сейчас отлично помню этот случай. Большое кирпичное здание, занимавшее целый квартал, попало под бомбы. Одна из бомб разрушила крыло дома, все десять этажей, сверху донизу, но другие части громадного здания остались стоять. Всех жильцов эвакуировали; когда я прибыл на место, там находились только уполномоченный ПВО и офицер службы обезвреживания невзорвавшихся бомб. Уполномоченный встретил меня, повел по зданию и неожиданно спросил, вглядевшись:

— Вы тот самый профессор, что проводит беседы о бомбах?

— Тот самый,— подтвердил я.

— Ну вот, а я, как увидел бомбу, сразу подумал: «Надо действовать, как профессор говорил».

И примечательней всего, что он в самом деле запомнил мои указания, и правильно запомнил. В частности, та бомба, которую он обнаружил невзорвавшейся в одной из комнат, относилась к типу бомб, как правило, не имеющих взрывателя с замедлением,— и, вспомнив это, он не испугался бомбы и оттранспортировал ее вниз.

---

[1] Речь идет о массированных налетах немецкой авиации в 1940 году, во время «битвы за Англию».

Я обычно брал с собой фотографа, чтобы снимать интересные аспекты бомбежек. Мы обошли уже здание, как вдруг уполномоченный спросил, не угодно ли мне мороженого. Был сентябрь, погода стояла жаркая, мороженое пришлось бы кстати,— но отчего это он заговорил о мороженом? Он объяснил, что сегодня у них к обеду мороженое, а теперь всех эвакуировали, и оно осталось — сто порций, а есть некому.

— Все равно пропадают, хоть вас угощу.

Мальчишкой я бы счел, пожалуй, что моего аппетита вполне хватит на сотню порций, но теперь, увы, смог осилить всего лишь одну. Затем я спустился вниз и увидел, что бомба лежит на ручной тележке, а между офицером и моим фотографом идет жаркий спор.

Служба обезвреживания бомб и Гражданская оборона — два разных ведомства, и, естественно, каждая из сторон считала, что право на информацию о бомбе принадлежит ей. У этого спора, решил я, нездоровая окраска, поскольку все мы стоим рядом с бомбой, а я отнюдь не разделял неколебимой уверенности уполномоченного в том, что моя оценка бомбы безошибочна. В конце концов, сфотографировав бомбу под шумок, я отправился восвояси.

...У второй истории конец тоже счастливый (а иначе некому было бы эти историйки рассказывать). Она связана с одним из лондонских вокзалов. Как-то, во время довольно сильного дневного налета, я сидел в штабе противовоздушной обороны. Поступали сообщения о бомбах, падающих на Букингемский дворец, на речные доки. Затем доложили, что на одном из главных вокзалов обнаружена невзорвавшаяся бомба

«Сидеть зря нечего,— подумал я,— поеду-ка взгляну, что за бомба, что с ней делать». И отправился вдвоем с моим верным фотографом, и, преодолев уличные завалы и заграждения, очутился на площади перед вокзалом.

Там собралась, конечно, большая толпа — люди спешили выбраться из Лондона, а вход на вокзал был загражден огромными воротами. Как же нам туда пройти? Тот, кто воздвигал ворота, не учел средневекового правила, что в них должна быть предусмотрена калитка для выборочного допуска. Потребовалось человек шесть полисменов, чтобы, преодолев напор толпы, приоткрыть ворота и пропустить нас. За воротами все было мне знакомо, я не раз бывал здесь еще в детстве,— тогда вокзал казался

огромным и поездов в нем, казалось, без счета. Я направился прямо к особе настолько вельможной, что о трудом верилось в ее существование, — к начальнику вокзала. Он вместе со всеми вокзальными служащими пребывал в глубоком бомбоубежище. Меня встретили вопросом:

— Вы по поводу бомбы?

— Да, я из Гражданской обороны,— ответил я.

— Ну, слава богу. Вы нас научите, что делать.

— А где эта бомба? — спросил я.

— На первой платформе,— ответил начальник вокзала.— Она упала и не взорвалась, я остановил все поезда, а как дальше быть, мы не знаем.

— Что ж, пойду взгляну,— сказал я.

Вышел на перрон и в конце первой платформы действительно увидел большое углубление на месте, где бомба вошла в землю. Но я заметил характерное почернение по краям и несколько осколков и смог незамедлительно установить, что это вовсе не бомба, а зенитный разорвавшийся снаряд; воронка от него была в самом деле схожа по размерам с ямой от бомбы. Понятно, что никакого вреда снаряд причинить уже не мог, и, весело вернувшись к начальнику вокзала, я имел удовольствие сказать ему:

— Можете снова пускать поезда, тревожиться не о чем, это всего-навсего разорвавшийся снаряд.

Третья историйка, пожалуй, тривиальнее всех прочих, но случай тот меня позабавил. Нас особенно интересовали различные новые бомбы и новые взрыватели, и когда приходила откуда-нибудь весть о необычном немецком гостинце, то я выезжал на место для личного ознакомления, поскольку знал, что информация из вторых рук редко обходится без искажений. И вот пришло сообщение о бомбе странного типа. Она упала в отдаленной части Англии, но у меня была машина, и погожим днем я отправился туда. Однако, не доезжая, уперся в опущенный шлагбаум, охраняемый полицией. Я предъявил пропуск, сказал, что хотел бы взглянуть на бомбу, и в ответ услышал:

— О нет, к сожалению, этого нельзя, это воспрещено. Сюда должно прибыть очень важное должностное лицо для осмотра бомбы, и у меня строжайший приказ не допускать никого к бомбе до его прибытия.

— Хорошо,— сказал я,— а когда лицо прибудет?

— Ожидаем через полчаса,— ответили мне.

— Что ж,— сказал я,— подожду.— И стал ждать.

Прождал полчаса — безрезультатно. Еще подождал — опять попусту. «Все это очень мило,— подумал я,— однако я теряю время из-за чепухи».

— Очень жаль,— сказал я,— но дольше ждать не могу, ехать надо.

И, отъехав, я дал небольшой крюк, затем пролез сквозь две-три живых изгороди, как следует осмотрел бомбу, сделал нужные снимки и вернулся к себе в штаб. А там секретарша встречает меня словами:

— Надеюсь, я угодила вам своим распоряжением относительно бомбы?

— Каким распоряжением? — спрашиваю.

— Я велела, чтобы никому не разрешали осматривать бомбу до вашего прибытия туда.

Да, долго бы пришлось мне дожидаться самого себя!

Перевод с английского О. Сороки

КОММЕНТАРИИ

В томе представлена книга биографических новелл «Силуэты».

Впервые — Борис Полевой. Силуэты. М., «Советский писатель», 1974.

Это издание составил цикл новелл из 35 очерков-портретов реальных людей, современников писателя, с которыми ему довелось встречаться в Твери (г. Калинин), где он учился и работал, на фронтах Великой Отечественной войны и в послевоенные десятилетия, когда он, исполняя высокие обязанности члена Всемирного Совета мира, заместителя председателя Советского Комитета защиты мира, председателя Советского фонда мира и вице-президента Европейского Общества Культуры, принимал участие в международных конференциях и конгрессах в защиту мира.

Второе, значительно расширенное и дополненное издание вышло в том же издательстве в 1978 году. Оно является последним прижизненным, по нему и печатаются тексты. Автор ввел в книгу портреты-очерки таких известных деятелей советской культуры, как А. Сурков, И. Андроников, С. Смирнов, К. Симонов, Р. Кармен, Ю. Левитан, а также портретные новеллы о Марии Майеровой, Анне Зегерс, Мартине Андерсене-Нексе и других.

Портреты-новеллы, составившие книгу, создавались в основном в семидесятые годы. Одни появлялись, по-видимому, сразу после общения с тем или иным человеком, привлекшим к себе внимание писателя. Другие рождались из дневников и записных книжек. Главное содержание книги «Силуэты» — борьба за мир, размышления о событиях и героях минувшей войны, ее нравственные уроки для народов всей земли.

«Да» — миру, «нет» — войне — эти призывы, активизировавшие сильный отряд советских писателей — наших современников, — писал критик В. Озеров, — окрыляли и общественную и творческую деятельность Бориса Полевого» (Вступительная статья к Собр. соч. Б. Полевого, т. 1, с. 21—22).

Герои новелл Б. Полевого — поэты, писатели, художники, кинематографисты, ученые, общественные прогрессивные деятели — борцы за мир разных стран и народов. Все они талантливы, все яркие личности. И можно сказать, что, изображая их характеры и судьбы, Б. Полевой по сути писал портрет Времени, воссоздавал неповторимую атмосферу эпохи.

Критик В. Огнев в статье «Настоящие из настоящих» («Правда», 1975, 20 января) отметил: «Писатель героической темы, Борис Полевой и в мемуарах своих... проявляет жадный интерес к людям эпохи, не деля их на знаменитых и незнаменитых, но пове-

ряя единственным мерилом: их вкладом в дело мира, верностью своему народу, бескорыстием служения правде». И далее: «Силуэты» — это восторженное признание в любви к активному герою, кто бы он ни был, каким бы оружием ни боролся за освобождение человека...»

Замысел идейной конструкции книги «Силуэты» очевиден: каждый герой — личность, за каждым из сорока шести персонажей Полевой утверждает право называться настоящим человеком.

Выступая на Пятом съезде советских писателей, Полевой говорил: «Народ-герой не лозунг... Это спокойно-реалистическое определение нашей действительности. Жизнь... выковывает такие характеры, создает такие ситуации, дает писателю такие сюжеты, какие порою не придут в голову и литератору с самым богатым воображением».

Доверие к жизни как «лучшему соавтору» (известное выражение Полевого), умение рассматривать людские судьбы как частицы «общественной истории» — в их активном взаимодействии с действительностью — ярко и убедительно проявились в книге «Силуэты».

Написана книга в манере живого непринужденного рассказа очевидца, являет собой синтез нескольких жанров. Б. Полевой и сам подтверждал, что «Силуэты» — «книга свободного жанрового течения», «произведение лирическое, несмотря на документальность основы». (Из письма Б. Полевого к автору комментариев от 18 сентября 1976 г.)

Не нарушая целостности повествования, автор «Силуэтов» легко и органично сопрягает под одной обложкой и «дневниковые были» («Дорогой товарищ», «Юлиус и Петька», «Товарищ Че») и публицистические новеллы и очерки («Голос Америки», «Менестрель Латинской Америки», «Слово о великом чилийце»), портретные очерки («Великолепная тройка», «Хороший мужик Антей», «Пилигрим мира» и др.). Некоторые из портретов-очерков, скажем об А. М. Горьком («История одной дружбы»), об Александре Фадееве («Дорогой товарищ»), о Мадлен Риффо — героине французского Сопротивления («Мадлен Риффо») — это не просто эскизы человеческих характеров, а произведения более масштабной жанровой палитры.

Возможно, у писателя существовал замысел на основе этих зарисовок написать биографические повести.

Как и в цикле рассказов «Мы — советские люди» (т. 2 наст. Собр. соч.), «Ангарские записи», «Созидатели морей», «Тридцать лет спустя» и в других произведениях этого жанра, Б. Полевой и в «Силуэтах» переносит приемы художественной прозы в материал документальной публицистики, обогащая факты той или иной

конкретной судьбы яркой портретной характеристикой, создавая таким образом цельные живые образы.

Более того, в «Силуэты» вошла новелла «Высший приз», где автор не назвал имени героя. Можно предположить по конкретным деталям, что речь идет о знаменитом итальянском актере театра и кино Тото (сценический псевдоним Антонио де Куртиса; 1898—1967). Как и указано в новелле, он действительно отпрыск древнего рода, происходит из династии Компинов. Тото первым из актеров в фашистской Италии вынес на подмостки театра острую политическую сатиру на Муссолини и Гитлера, в разгар второй мировой войны его сатирические куплеты пела вся Италия.

В то же время некоторые детали биографии героя новеллы почти полностью совпадают с фактами биографии таких художников Италии, как Джузеппе де Сантис и Лукино Висконти (и с первым и со вторым Б. Полевой был хорошо знаком). Лукино Висконти — известный режиссер, участник Сопротивления, тоже потомок старинного аристократического рода, пришедший к коммунистической партии.

Все это позволяет считать, что в данном случае конкретный образ Антонио де Куртиса в процессе создания новеллы обогащен деталями и подробностями жизненного пути других художников Италии и является в известной мере собирательным.

Собранные в единый цикл новеллы близки не только своей композицией, дневниковой интонацией, документальностью, но и главным, чем отличается творчество Б. Полевого — умением увидеть душу человека в ответственные, лучшие и высокие минуты его жизни. Читатель познает страницы вечно живой истории революции на примерах судьбы Пабло Неруды, Че Гевары, становится свидетелем жизни таких писателей — солдат Великой Отечественной войны, как К. Симонов, И. Эренбург, С. Смирнов, Р. Кармен и другие. Так на страницы документальных портретных новелл входит как бы сама История. В. Огнев очень верно заметил, что «...В этой цепи героических поступков люди и книги как бы зажигаются друг о друга»,

Ощущая в новеллах присутствие живой истории искусства, героичного по сути своей и потому помогающего жить людям («Волшебство штриха», «Варпет», «В гостях у волшебника» и др.), читатель осознает, что и сам автор «Силуэтов» по праву является героем этого цикла. Человек, жизнь и творчество которого были неотделимы от жизни страны и всей земли, человек, как бы «пропускавший» через себя и время, отведенное ему на земле, и судьбы людей, которых позволило ему узнать это Время.

Б. Полевой, намеренно оставаясь на втором плане повествова-

ния, что тоже роднит «Силуэты» со всей документально-художественной публицистикой писателя, тем не менее раскрывается как личность высоконравственная, и гражданский облик его вырисовывается ясно и убедительно.

И сегодня «Силуэты» не утратили своего значения, своего боевого накала, со страниц книги по-прежнему звучит страстный призыв к миру.

Н. Железнова

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Б. Н. ПОЛЕВОГО, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Полевой Б. Н.

П 49 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 9. Силуэты: Новеллы/Коммент. Н. Железновой. — М.: Худож. лит., 1986. — 431 с.

Заключительный том Собрания сочинений Б.Полевого составил цикл новелл о людях, с которыми автору довелось встретиться в годы войны и впоследствии, во время его многочисленных поездок по стране и за рубежом. Это — поэты, писатели, художники, борцы за мир. В книге четко намечены две главные темы: минувшая война и борьба за мир.

П $\frac{4702010200-160}{028(01)-86}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ПОЛЕВОЙ

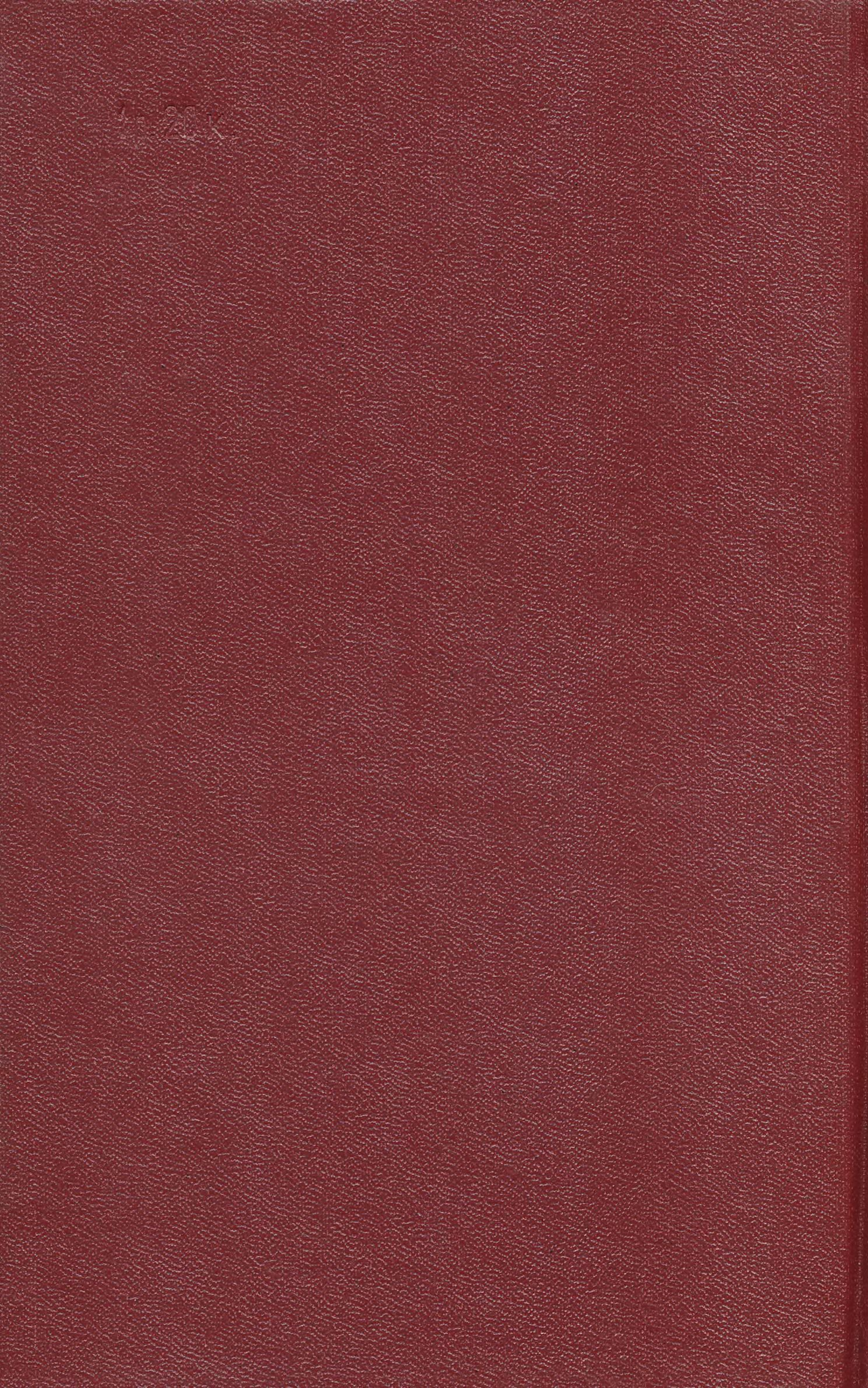
Собрание сочинений

Том девятый

Редакторы **З. Батурина, О. Дворцова.** Художественный редактор **Е. Ененко.** Технический редактор **Т. Фатюхина.** Корректоры **Л. Лобанова, И. Макаревич.** ИБ № 3533. Сдано в набор 14.06.85. Подписано в печать А 14167. 18.12.85. Формат 84×108[1]/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,68. Уч.-изд. л. 24,7. Тираж 35 000 экз. Изд. № III—1462. Заказ № 621. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.


20 к